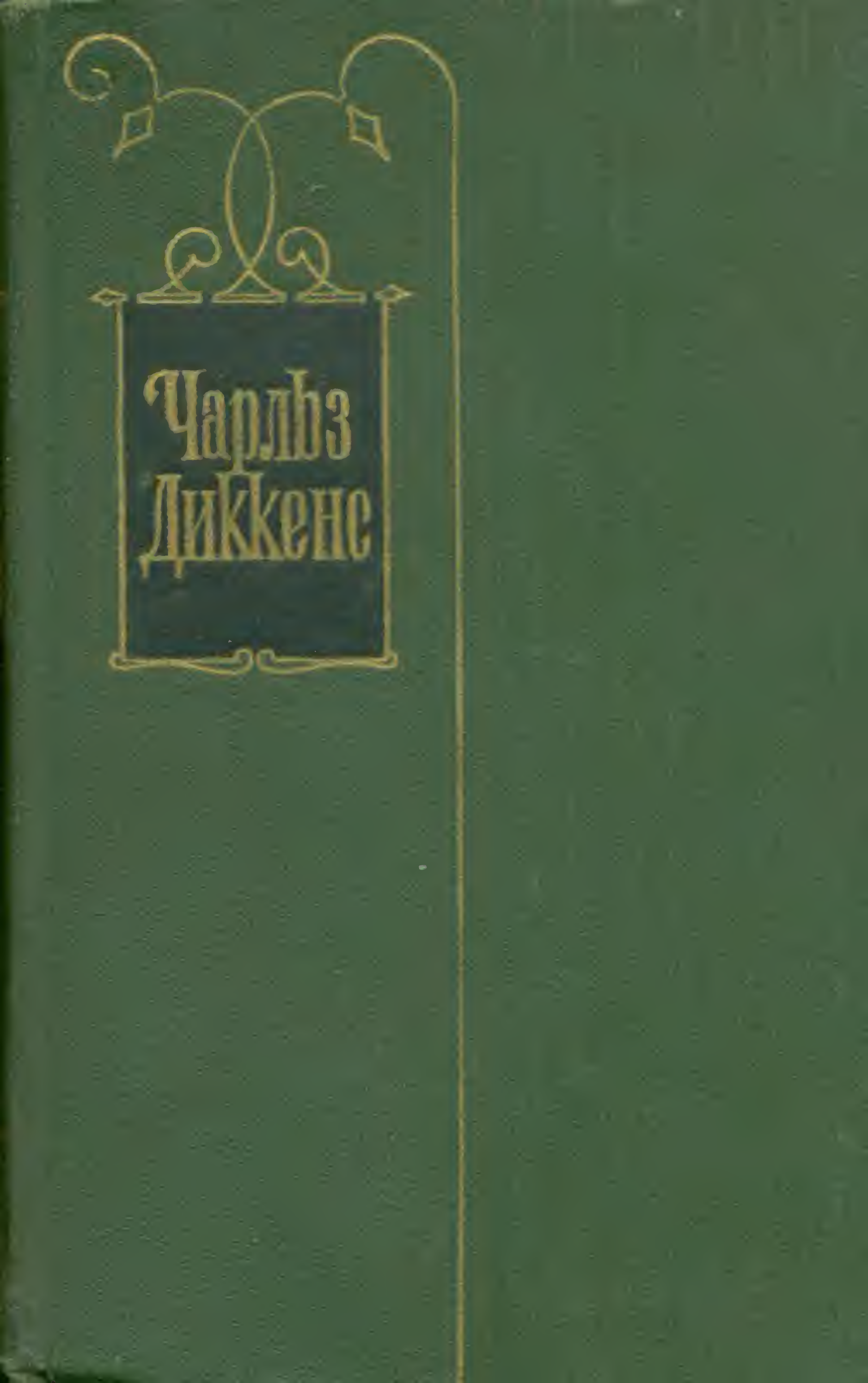

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА, В. В. ИВАШЕВОЙ,
ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ

Роман
(Главы XXXII—LXV)

Перевод с английского
А. В. КРИВЦОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

CHARLES DICKENS

THE LIFE AND ADVENTURES OF NICHOLAS NICKLEBY

Ch. XXXII—LXV

1838—1839

Иллюстрации
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Четвертое, пересмотренное издание перевода.

ГЛАВА XXXII,

повествующая главным образом о примечательном разговоре и примечательных последствиях, из него вытекающих

— Наконец-то Лондон! — воскликнул Николас, сбросив пальто и разбудив заспавшегося Смайка.— Мне казалось, что мы никогда до него не доберемся.

— Однако ехали вы с немалой скоростью,— заметил кучер, не очень-то любезно посмотрев через плечо на Николаса.

— Да, это верно,— последовал ответ,— но мне не терпелось как можно скорее быть у цели, а от этого путь кажется долгим.

— Да,— сказал кучер,— если путь показался долгим с такими лошадьми, какие вас везли, значит вам и в самом деле на редкость не терпелось приехать.

Они с грохотом неслись по шумным, запруженным суетливой толпой лондонским улицам, обрамленным двумя длинными рядами ярких огней, среди которых кое-где мелькали ослепительные фонари аптек,— по улицам, залитым светом, льющимся из витрин магазинов, где мелькали груды искрящихся драгоценностей, шелковые и бархатные ткани чудеснейших цветов, самые соблазнительные деликатесы и самые изысканные предметы роскоши. Вперед и вперед текли толпы людей,

казавшиеся бесконечными; люди толкали друг друга и как будто едва замечали окружавшее их богатство, а экипажи всех видов и фасонов, сливаясь, подобно текучей воде, в бурный поток, своим непрерывным стуком усиливали шум и грохот.

Когда они мчались мимо быстро сменявшихся картин, любопытно было наблюдать, в каком странном чередовании эти картины проносились перед их глазами. Магазины великолепных платьев, тканей, привезенных из всех частей света; заманчивые лавки, где все возбуждало пресыщенный вкус и заставляло снова мечтать о пиршествах, столь привычных; посуда из сверкающего золота и серебра, принявшего изящную форму вазы, блюда, кубка; ружья, сабли, пистолеты и патентованные орудия разрушения; кандалы для преступников, белье для новорожденных, лекарства для больных, гробы для мертвых, кладбища для усопших — все это, наползая одно на другое и располагаясь рядом, пролетало, казалось, в пестром танце, как фантастические группы старого голландского живописца, преподавая все тот же суровый урок равнодушной неугомонной толпе.

И в самой толпе не было недостатка в фигурах, придающих остроту меняющимся картинам. Лохмотья убогого певца баллад развевались в ярком свете, озаряющем сокровища ювелира; бледные, изможденные лица мелькали у витрин, где были выставлены аппетитные блюда; голодные глаза скользили по изобилию, охраняемому тонким хрупким стеклом — железной стеной для них; полунагие дрожащие люди останавливались поглазеть на китайские шали и золотистые ткани Индии. В доме крупнейшего торговца гробами праздновали крестины, а перестройку аристократического дома приостановило появление погребального герба *. Жизнь и смерть шли рука об руку; богатство и бедность стояли бок о бок — пресыщение и голод повергали их в одну могилу.

Но это был Лондон. И провинциальная старая леди, которая мили за две до Кингстона высунула голову из окна кареты и кричала кучеру, что, конечно, он проехал мимо и позабыл ее высадить, была, наконец, удовлетворена.

Николас позаботился о ночлеге для себя и для Смайка в той гостинице, куда прибыла карета, и, не теряя ни

секунды, отправился к дому Ньюмена Ногса, потому что тревога его и нетерпение усиливались с каждой минутой и нельзя было их преодолеть.

В мансарде у Ньюмена был затоплен камин и горела свеча; пол был чисто подметен, в комнате аккуратно прибрано, насколько это возможно в такой комнате, а на столе приготовлены мясо и пиво. Все говорило о дружеской заботе и внимании Ньюмена Ногса, но самого Ньюмена не было.

— Вы не знаете, когда он будет дома? — осведомился Николас, постучав соседу Ньюмена в дверь мансарды, выходившей окнами на улицу.

— Мистер Джонсон! — сказал, представ перед ним, Кроуль.— Добро пожаловать, сэр! Какой у вас прекрасный вид! Никогда бы я не поверил...

— Простите,— перебил Николас.— Я спросил... мне не терпится узнать...

— У него какое-то хлопотливое дело,— ответил Кроуль,— и домой он вернется не раньше двенадцати. Ему очень не хотелось уходить, могу вас уверить, но ничего нельзя было поделать. Впрочем, он просил вам передать, чтобы вы располагались здесь без стеснения, пока он не придет, и чтобы я вас развлекал, что я исполню с большим удовольствием.

В доказательство полной своей готовности потрудиться для всеобщего развлечения мистер Кроуль придвинул при этих словах стул к столу и, щедрой рукой положив себе холодной говядины, пригласил Николаса и Смайка последовать его примеру.

Огорченный и обеспокоенный, Николас не мог притронуться к еде и, удостоверившись, что Смайк удобно устроился за столом, вышел из дому (вопреки многочисленным протестам, которые выражал с набитым ртом мистер Кроуль), поручив Смайку задержать Ньюмена, в случае если тот вернется первый.

Как и предвидела мисс Ла-Криви, Николас отправился прямо к ней. Не застав ее дома, он некоторое время раздумывал, идти ли ему к матери, что могло бы скомпрометировать ее в глазах Ральфа Никльби. Однако, вполне уверенный, что Ньюмен не настаивал бы на его возвращении, если бы не было каких-то веских причин, тре-

бующих его присутствия дома, он решил пойти туда и быстро зашагал в восточную часть города.

Миссис Никльби вернется домой в начале первого или еще позднее, сказала служанка. Она полагала, что мисс Никльби здорова, но она не живет теперь дома и приходит домой очень редко. Служанка не знала, где она живет, но во всяком случае не у мадам Манталини. В этом она была уверена.

С сильно бьющимся сердцем, предчувствуя какое-то несчастье, Николас вернулся туда, где оставил Смайка. Ньюмена дома не оказалось. Не было никакой надежды, чтобы он вернулся раньше двенадцати. Нельзя ли послать кого-нибудь за ним, чтобы он вышел хоть на миг, или передать ему короткую записку, на которую он ответил бы устно? Это оказалось совершенно неосуществимым. На Гольдн-сквере его не было, и, должно быть, он был послан куда-нибудь далеко с каким-то поручением.

Николас сделал попытку остаться там, где был, но он чувствовал такое волнение и возбуждение, что не мог сидеть спокойно. Ему чудилось, что он зря теряет время, если не находится в движении. Он знал, что это нелепая фантазия, но был совершенно неспособен противостоять ей. И вот он взял шляпу и снова пошел слоняться.

На этот раз он повернул на запад и быстро зашагал длинными улицами, тревожимый тысячью опасений и дурных предчувствий, которые не мог побороть. Он зашел в Гайд-парк, сейчас немой и безлюдный, и ускорил шаг, словно надеясь оставить позади свои мысли. Но они еще теснее обступили его теперь, когда мелькающие мимо предметы не привлекали его внимания; и все время не оставляла его догадка, не обрушился ли такой жестокий удар судьбы, что все боятся сказать ему. Старый вопрос возникал снова и снова: что могло случиться? Николас бродил, пока не устал, но это ничуть ему не помогло, и в сущности он вышел, наконец, из парка еще более смятенным и взволнованным, чем вошел в него.

С раннего утра он почти ничего не ел и не пил и чувствовал себя измученным и ослабевшим. Устало возвращаясь к тому месту, откуда он пустился в путь, по одной из тех оживленных улиц, какие находятся между

Парк-лейн и Бонд-стрит, он поравнялся с великолепной гостиницей, перед которой машинально остановился.

«Должно быть, цены здесь очень высокие,— подумал Николас,— но пинта вина и печенье — не такое уж роскошное пиршество, где бы это ни заказать. А впрочем, я не знаю».

Он сделал несколько шагов, но, задумчиво посмотрев на длинный ряд газовых фонарей, подумал о том, как долго придется идти до конца этого ряда; будучи в том состоянии духа, когда человек наиболее расположен уступить первому своему импульсу, и чувствуя, что его влекут к этой гостинице отчасти любопытство, а отчасти какие-то странные побуждения, которые он затруднился бы определить, Николас вернулся назад и вошел в кофейню.

Она была очень красиво декорирована. Стены были обиты лучшими французскими обоями, украшены позолоченным карнизом изящного рисунка. Пол был покрыт дорогим ковром, и два превосходных зеркала — одно над камином, другое в противоположном конце комнаты, поднимавшееся от пола до потолка,— дополняли убранство залы.

В отделении за перегородкой у камина сидела довольно шумная компания, состоявшая из четырех джентльменов, а кроме них, здесь было только два джентльмена — оба пожилые, сидевшие в одиночестве.

Заметив все это с первого взгляда, каким окидывает человек незнакомое ему место, Николас уселся в отделении рядом с шумной компанией, спиной к ней, и, отложив свой заказ на пинту кларета до той поры, пока официант и один из пожилых джентльменов не обсудят спорного вопроса касательно какой-то цифры в счете, взял газету и стал читать.

Он не прочел и двадцати строк и, по правде сказать, находился в полудремоте, когда его заставило встрепенуться упоминание имени его сестры. «За малютку Кэт Никльби!» — были слова, коснувшиеся его слуха. Он с изумлением поднял голову и, взглянув на отражение в зеркале напротив, увидел, что двое из сидевшей за его спиной компании поднялись и стоят перед камином. «Должно быть, это сказал один из них»,— подумал Николас. Он ждал продолжения, негодуя, ибо тон, каким

были произнесены эти слова, казался далеко не почтительным, а наружность человека, в котором он заподозрил того, кто говорил, была грубой и фатовской.

Говоривший,— Николас заметил это, взглянув в зеркало, которое помогло ему разглядеть его лицо,— повернулся спиной к камину, беседуя с человеком помоложе, который стоял спиной к остальной компании и, не снимая шляпы, поправлял перед зеркалом воротничок сорочки. Они разговаривали шепотом, то и дело разражаясь громким смехом, но Николас не мог уловить ничего похожего на слова, какие привлекли его внимание.

Наконец оба вернулись на свои места, и, потребовав еще вина, компания стала веселиться более шумно. Однако не было ни разу упомянуто о лицах, ему знакомых, и Николас начал убеждаться, что эти слова либо почудились его воспаленному воображению, либо он превратил другие звуки в имя, столь занимавшее его мысли.

«Все-таки это странно,— подумал Николас,— будь это «Кэт» или «Кэт Никльби», я бы не так удивился, но «малютка Кэт Никльби»...»

Вино, поданное в этот момент, оборвало течение его мыслей. Он залпом выпил рюмку и снова взялся за газету. И в это мгновение...

— За малютку Кэт Никльби! — крикнул голос за его спиной.

— Я был прав,— пробормотал Николас, выронив из рук газету.— Как я и предполагал, это тот самый человек.

— Кто-то возражал против того, чтобы пить за нее из початой бутылки,— раздался тот же голос.— Это правильно. Поэтому осушим в ее честь первую рюмку из новой. За малютку Кэт Никльби!

— За малютку Кэт Никльби! — крикнули другие трое. И рюмки были осушены.

Тон и манера этого легкомысленного и пренебрежительного упоминания имени сестры в общественном месте ошеломили Николаса, он мгновенно вспыхнул, но страшным усилием воли заставил себя сдержаться и даже не повернул головы.

— Дрянная девчонка! — продолжал тот же голос, что и раньше.— Она настоящая Никльби — достойная копия


Phiz

своего дяди Ральфа... Она упирается, чтобы ее усиленно упрашивали, как и он: от Ральфа вы ничего не добьетесь, если не будете к нему приставать, а тогда деньги оказываются сугубо желанными, а условия сделки сугубо жестокими, потому что вы охвачены нетерпением, а он нет. О, это чертовски хитро!

— Чертовски хитро! — повторили два голоса.

Когда два пожилых джентльмена, сидевших поодаль, встали один вслед за другим и направились к выходу, Николас перенес жестокую пытку, опасаясь упустить хоть одно слово. Но беседа прервалась, пока они уходили, и приняла еще более вольный характер, когда они ушли.

— Боюсь,— сказал джентльмен помоложе,— боюсь, как бы старуха не вздумала ре-ев-новать и не посадила ее под замок. Честное слово, на то похоже.

— Если они поссорятся и малютка Никльби вернется домой к матери, тем лучше,— заявил первый.— Со старой леди я все что угодно могу сделать. Она поверит всему, что бы я ей ни сказал.

— Ей-богу, это правда,— отозвался другой голос.— Ха-ха-ха! Черт побери!

Смех был подхвачен двумя голосами, всегда раздававшимися одновременно, и стал всеобщим. Николас почувствовал прилив бешенства, но овладел собой и стал слушать дальше.

То, что он услышал, нет нужды повторять. Скажем только, что пока в соседнем отделении распивали вино, он услышал достаточно, чтобы познакомиться с характерами и намерениями тех, чей разговор подслушивал, получить полное представление о подлости Ральфа и узнать подлинную причину, почему потребовалось его присутствие в Лондоне. Он услышал все это — и больше того. Он услышал, как насмехаются над страданиями его сестры, как жестоко издеваются над ее целомудренным поведением и клевещут на нее; он услышал, как повторяют они ее имя, держат наглые пари и говорят о ней развязно и с непристойными шутками!

Человек, который заговорил первым, руководил беседой и почти целиком завладел ею, лишь время от времени подстрекаемый короткими замечаниями того или другого из своих приятелей. К нему-то и обратился Николас,

когда настолько успокоился, что мог предстать перед компанией; он с трудом выдавливал слова из пересохшего и воспаленного горла.

— Позвольте сказать вам два слова, сэр,— выговорил Николас.

— Мне, сэр? — произнес сэр Мальбери Хоук, разглядывая его с презрительным удивлением.

— Я сказал — *вам,*— ответил Николас, говоря с величайшим трудом, потому что ярость душила его.

— Таинственный незнакомец, клянусь честью! — воскликнул сэр Мальбери, поднеся к губам рюмку и окидывая взглядом своих друзей.

— Согласны вы удалиться со мной на несколько минут или вы отказываетесь? — сердито спросил Николас.

Сэр Мальбери ограничился тем, что перестал пить и предложил ему либо изложить, какое у него дело, либо отойти от стола.

Николас вынул из кармана визитную карточку и швырнул ее перед ним на стол.

— Вот, сэр! — сказал Николас.— Какое у меня дело — вы догадаетесь.

Изумление, не без примеси некоторой растерянности, на секунду отразилось на лице сэра Мальбери, когда он прочел фамилию, но он мгновенно овладел собой и, перебросив карточку лорду Фредерику Верисофту, который сидел против него, взял зубочистку из стоявшего перед ним стакана и не спеша сунул ее в рот.

— Ваша фамилия и адрес? — спросил Николас, бледнея по мере того, как распалялся его гнев.

— Ни фамилии, ни адреса я вам не скажу,— ответил сэр Мальбери.

— Если есть в этой компании джентльмен,— сказал Николас, озираясь и с трудом складывая слова побелевшими губами,— он мне сообщит фамилию и адрес этого человека.

Последовало мертвое молчание.

— Я брат молодой леди, которая послужила предметом разговора,— сказал Николас.— Я заявляю, что этот человек лгун, и обвиняю его в трусости. Если есть у него здесь друг, он спасет его от бесчестной, презренной попытки скрыть свое имя — попытки, совершенно бесполез-

ной, потому что я до тех пор не выпущу его, пока не узнаю его имя.

Сэр Мальбери посмотрел на него презрительно и, обращаясь к своим приятелям, сказал:

— Пусть болтает! Мне нечего сказать мальчишке, занимающему такое положение, как он. А его хорошенькая сестра избавит его от того, чтобы я проломил ему голову, хотя бы он болтал до полуночи.

— Подлый и трусливый негодяй! — крикнул Николас.— Об этом станет известно всем! Я узнаю, кто вы! Я буду идти за вами следом, хотя бы вы до утра бродили по улицам.

Рука сэра Мальбери непроизвольно сжала горлышко графина, и была секунда, когда он как будто собирался запустить им в голову того, кто бросил ему вызов. Но он только налил себе рюмку и насмешливо захохотал.

Николас сел, повернувшись лицом к компании, и, подозвав официанта, расплатился.

— Вам известно имя этого субъекта? — громко задал он ему вопрос, указывая на сэра Мальбери.

Сэр Мальбери снова захохотал, и два голоса, которые всегда говорили вместе, подхватили смех, но довольно неуверенно.

— Этого джентльмена, сэр? — отозвался официант, который несомненно знал свою роль и вложил в свой ответ ровно столько — не больше — почтительности и ровно столько — не меньше — наглости, сколько мог себе позволить, ничем не рискуя.— Нет, сэр, неизвестно, сэр.

— Эй, вы, сэр! — крикнул сэр Мальбери, когда тот собирался уйти.— Вам известно имя вот этого субъекта?

— Имя, сэр? Нет, сэр.

— В таком случае вы найдете его здесь,— сказал сэр Мальбери, бросая ему карточку Николаса,— а когда вы его усвоите, швырните этот кусок картона в камин.

Официант ухмыльнулся и, взглянув с опаской на Николаса, пошел на компромисс, сунув карточку за зеркало над камином. Сделав это, он удалился.

Николас скрестил руки и, закусив губу, сидел совершенно неподвижно, однако явно показывая всем своим видом твердое намерение привести угрозу в исполнение и проследить сэра Мальбери до его дома.

Было ясно по тону, которым младший из этой компании увещевал своего друга, что он возражает против такого образа действий и уговаривает его подчиниться требованию Николаса. Однако сэр Мальбери, который был не совсем трезв и проявлял хмурое и настойчивое упорство, вскоре положил конец протестам своего слабохарактерного молодого друга, а затем, словно желая избежать их повторения, потребовал, чтобы его оставили одного. Как бы там ни было, молодой джентльмен и те двое, что всегда говорили вместе, вскоре после этого поднялись и ушли, оставив своего друга с глазу на глаз с Николасом.

Можно без труда предположить, что для человека, находящегося в положении Николаса, минуты тянулись так, словно у них были свинцовые крылья, и их течение не казалось быстрее от монотонного тиканья французских часов или от пронзительного звона маленького колокольчика, который отмечал четверти. Но Николас продолжал сидеть; а у противоположной стены развалился сэр Мальбери Хоук, положив ноги на диванную подушку, небрежно бросив носовой платок на колени и допивая бутылку кларета с величайшим хладнокровием и равнодушием.

Так пребывали они в полном молчании больше часа,— Николасу это молчание показалось бы трехчасовым, если бы маленький колокольчик не прозвенел только четыре раза. Два-три раза он сердито и нетерпеливо оглянулся, но сэр Мальбери оставался все в той же позе, время от времени поднося рюмку к губам и рассеянно глядя на стену, как будто он понятия не имел о присутствии какого бы то ни было живого существа.

Наконец он зевнул, потянулся и встал, спокойно подошел к зеркалу и, обозрев себя в нем, повернулся к удостоил Николаса пристальным и презрительным взглядом. Николас с величайшей охотой ответил ему тем же; сэр Мальбери пожал плечами, слегка улыбнулся, позвонил и приказал официанту подать пальто.

Человек повиновался и приоткрыл дверь.

— Можете не ждать,— сказал сэр Мальбери.

И снова они остались вдвоем.

Сэр Мальбери несколько раз прошелся по комнате, все время небрежно насвистывая, остановился, чтобы допить последнюю рюмку кларета, которую налил несколько

минут назад, снова зашагал по комнате, надел шляпу, поправил ее перед зеркалом, натянул перчатки и, наконец, медленно вышел. Николас, который дошел до исступления, сорвался с места и последовал за ним.

Здесь ждал кабриолет; грум откинул фартук и бросился к лошади.

— Скажете вы мне свое имя? — сдавленным голосом спросил Николас.

— Нет! — злобно ответил тот и скрепил отказ проклятьем.— Нет!

— Вы думаете, что вас спасет бег вашей лошади? Ошибаетесь! — сказал Николас.— Я поеду с вами. Клянусь небом, поеду, хотя бы мне пришлось висеть на подножке!

— Если вы это сделаете, вас отстегают хлыстом,— заявил сэр Мальбери.

— Вы мерзавец! — воскликнул Николас.

— Вы, насколько мне известно, мальчишка на посылках! — сказал сэр Мальбери Хоук.

— Я сын провинциального джентльмена, равный вам по рождению и воспитанию и, надеюсь, выше вас во всех остальных отношениях. Повторяю, мисс Никльби — моя сестра. Будете вы держать ответ за ваше гнусное поведение?

— Перед достойным противником — да. Перед вами — нет! — ответил сэр Мальбери, взяв вожжи.— Прочь с дороги, собака! Уильям, пускайте лошадь!

— Не советую! — крикнул Николас, прыгая на подножку, когда сэр Мальбери вскочил в экипаж, и хватая вожжи.— Вы видите, он не может править лошадью! Вы не уедете, клянусь, вы не уедете, пока не скажете мне, кто вы такой!

Грум колебался, так как кобыла — горячая чистокровная лошадь — рвалась вперед с такой силой, что он с трудом мог ее удержать.

— Говорю тебе, пускай! — загремел его хозяин.

Тот повиновался. Лошадь стала на дыбы и ринулась вперед так, словно хотела разбить экипаж на тысячу кусков, но Николас, невзирая на опасность и не сознавая ничего, кроме своей ярости, удержался на подножке и не выпустил вожжей.

— Разожмете вы руку?
— Скажете вы мне, кто вы?
— Нет!
— Нет!

Эти слова прозвучали быстрее, чем могут они в обычное время сорваться с языка, а затем сэр Мальбери злобно стал стегать хлыстом Николаса по голове и плечам. Хлыст сломался. Николас вырвал тяжелую рукоятку и раскроил ею своему противнику щеку от глаза до рта. Он увидел глубокую рану, понял, что кобыла понесла бешеным галопом, сотни огней заплясали у него перед глазами, и он почувствовал, как его швырнуло на землю.

Он ощущал головокружение и дурноту, но поднялся, шатаясь, на ноги, оглушенный громкими криками людей, которые бежали по улице и кричали тем, кто был впереди, чтобы они освободили дорогу. Он сознавал, что людской поток быстро катится мимо; подняв глаза, он разглядел кабриолет, который с устрашающей быстротой мчался по тротуару, потом он услышал громкий вопль, падение какого-то тяжелого тела и звон разбитого стекла, а потом толпа сомкнулась вдали, и больше он ничего не мог ни видеть, ни слышать.

Общее внимание было всецело сосредоточено на человеке в экипаже, и Николас остался один. Правильно рассудив, что при таких обстоятельствах было бы безумием бежать за экипажем, он свернул в боковую улицу в поисках ближайшей стоянки кэбов, убедился минуты через две, что шатается, как пьяный, и только теперь заметил струйку крови, стекавшую по его лицу и груди.

ГЛАВА XXXIII,

в которой мистера Ральфа Никльби очень быстро избавляют от всяких сношений с его родственниками

Смайк и Ньюмен Ногс, который не утерпел и вернулся домой значительно раньше условленного часа, сидели у камина, чутко прислушиваясь, в ожидании Николаса, к шагам на лестнице и к малейшему шороху, раздававше-

муся в доме. Время шло, и было уже поздно. Он обещал прийти через час, и его продолжительное отсутствие начало серьезно беспокоить обоих, о чем явно свидетельствовали тревожные взгляды, которыми они время от времени обменивались.

Наконец они услышали, как подъехал кэб, и Ньюмен выбежал посветить Николасу на лестницу. Увидев его в состоянии, описанном в конце предыдущей главы, он оцепенел от изумления и ужаса.

— Не пугайтесь! — сказал Николас, быстро увлекая его в комнату.— Никакой беды нет, мне нужен только таз с водой.

— Никакой беды! — вскричал Ньюмен, торопливо проводя руками по спине и плечам Николаса, как бы желая убедиться, что все кости у него целы.— Что вы учинили...

— Я все знаю,— перебил Николас.— Часть я слышал, остальное угадал. Но, прежде чем я смою хоть одно из этих кровавых пятен, я должен услышать от вас все. Вы видите — я спокоен. Решение принято. Теперь, мой добрый друг, говорите! Потому что прошло время смягчать или скрывать, и теперь уже ничто не поможет Ральфу Никльби!

— У вас платье в нескольких местах разорвано, вы хромаете, я уверен, что вам очень больно,— сказал Ньюмен.— Позвольте мне сначала заняться вашими повреждениями.

— У меня нет никаких повреждений, кроме легких ушибов и онемелости, которая скоро пройдет,— возразил Николас, с трудом садясь.— Но допустим даже, у меня были бы переломаны руки и ноги,— и тогда, если бы я не потерял сознания, вы бы мне не сделали перевязки, пока не рассказали бы о том, что я имею право знать. Послушайте,— Николас протянул руку Ньюмену,— вы мне говорили, что и у вас была сестра, которая умерла, прежде чем вас постигла беда. Подумайте сейчас о ней и расскажите мне, Ньюмен.

— Да, да, расскажу,— отозвался Ногс.— Я вам скажу всю правду.

Ньюмен заговорил. Время от времени Николас кивал головой, когда рассказ подтверждал подробности, которые

уже были ему известны, но он не сводил глаз с огня и ни разу не оглянулся.

Закончив свое повествование, Ньюмен настоял на том, чтобы его молодой друг снял одежду и позволил заняться нанесенными ему повреждениями. После некоторого сопротивления Николас в конце концов согласился, и, пока ему растирали маслом и уксусом сильные кровоподтеки на руках и плечах и применяли всевозможные целительные снадобья, позаимствованные Ньюменом у разных соседей, он объяснял, каким образом эти кровоподтеки были получены. Рассказ произвел сильное впечатление на пылкое воображение Ньюмена: когда Николас описывал бурную сцену драки, тот тер его с такой энергией, что причинил мучительнейшую боль; однако Николас ни за что на свете не признался бы в этом, так как было совершенно ясно, что в тот момент Ньюмен расправлялся с сэром Мальбери Хоуком и забыл о своем пациенте.

По окончании этой пытки Николас условился с Ньюменом, что на следующее утро, пока он займется другим делом, все будет приготовлено для того, чтобы его мать немедленно выехала из своей теперешней квартиры, и что к ней будет послана мисс Ла-Криви сообщить новости. Затем Николас надел пальто Смайка и отправился в гостиницу, где им предстояло ночевать; написав несколько строк Ральфу, передать которые должен был на следующий день Ньюмен, он воспользовался тем отдыхом, в котором так нуждался.

Говорят, пьяные могут скатиться в пропасть и, очнувшись, не обнаружить никаких серьезных повреждений. Быть может, это применимо к ушибам, полученным в любом другом состоянии чрезвычайного возбуждения; несомненно одно: хотя Николас, проснувшись утром, и чувствовал сначала боль, но, когда пробило семь, он почти без всякого труда вскочил с постели и вскоре мог двигаться с такою живостью, как будто ничего не произошло.

Заглянув в комнату Смайка и предупредив его, что скоро за ним зайдет Ньюмен Ногс, Николас вышел на улицу и, подозвав наемную карету, велел кучеру ехать к миссис Уититерли, чей адрес дал ему накануне вечером Ньюмен.

Было без четверти восемь, когда они приехали на Кэдоген-Плейс. Николас уже стал опасаться, что никто еще не проснулся в такой ранний час, и с облегчением увидел служанку, скоблившую ступени подъезда. Это должностное лицо направило его к сомнительному пажу, который появился растрепанный и с очень раскрасневшимся и лоснящимся лицом, как и полагается пажу, только что вскочившему с постели.

От этого молодого джентльмена Николас узнал, что мисс Никльби вышла на утреннюю прогулку в сад, разбитый перед домом. Услыхав вопрос, может ли он позвать ее, паж сначала приуныл и выразил сомнение, но, получив в виде поощрения шиллинг, воспрянул духом и решил, что это возможно.

— Передайте мисс Никльби, что здесь ее брат и что он хочет как можно скорей ее увидеть,— сказал Николас.

Позолоченные пуговицы исчезли с быстротой, совершенно им несвойственной, а Николас зашагал по комнате, пребывая в том состоянии лихорадочного возбуждения, когда каждая минута ожидания кажется нестерпимой. Скоро он услышал легкие шаги, хорошо ему знакомые, и не успел он двинуться навстречу Кэт, как та бросилась ему на шею и залилась слезами.

— Милая моя девочка,— сказал Николас, целуя ее,— какая ты бледная.

— Я была так несчастна здесь, дорогой брат! — всхлипывала бедная Кэт.— Я очень, очень страдала. Не оставляй меня здесь, дорогой Николас, иначе я умру от горя.

— Нигде я тебя не оставлю,— ответил Николас.— Никогда больше, Кэт! — воскликнул он, глубоко растроганный, прижимая ее к сердцу.— Скажи мне, что я поступал правильно. Скажи мне, что мы расстались лишь потому, что я боялся навлечь на тебя беду, а для меня это было не меньшим испытанием, чем для тебя... О, если я поступил неправильно, то только потому, что не знал жизни и не имел опыта.

— Зачем я буду говорить тебе то, что мы и так хорошо знаем? — успокоительным тоном отозвалась Кэт.— Николас, дорогой Николас, можно ли так падать духом?

— Мне так горько знать, что́ ты перенесла,— сказал ей брат,— видеть, как ты изменилась и все-таки осталась

такой кроткой и терпеливой... О боже! — вскричал Николас, сжав кулак и внезапно изменив тон.— Вся кровь у меня закипает! Ты немедленно должна уехать отсюда со мной. Ты бы не ночевала здесь эту ночь, если бы я не узнал обо всем слишком поздно. С кем я должен поговорить, прежде чем мы уедем?

Вопрос был задан весьма своевременно, так как в эту минуту вошел мистер Уититерли, и ему Кэт представила брата, который сейчас же заявил о своем решении и о невозможности отложить его.

— Предупреждать об уходе надлежит за три месяца, но этот срок не истек и наполовину,— сказал мистер Уититерли с важностью человека, сознающего свою правоту.— Поэтому...

— Поэтому жалованье за три месяца будет потеряно, сэр,— перебил Николас.— Я приношу извинения за эту крайнюю спешку, но обстоятельства требуют, чтобы я немедленно увез сестру, и я не могу терять ни минуты. За теми вещами, какие она сюда привезла, я пришлю, если вы мне разрешите, в течение дня.

Мистер Уититерли поклонился, но не привел никаких возражений против немедленного отъезда Кэт, которым он в сущности был доволен, так как сэр Тамли Снафим высказал мнение, что она не подходит к конституции миссис Уититерли.

— Что касается такой безделки, как недоплаченное жалованье,— сказал мистер Уититерли,— то я...— тут его прервал отчаянный припадок кашля,— то я останусь должен мисс Никльби.

Надлежит отметить, что мистер Уититерли имел привычку не уплачивать мелких долгов и оставаться должником. У всех есть какие-нибудь маленькие приятные слабости, и это была слабость мистера Уититерли.

— Как вам угодно,— сказал Николас.

И, снова принеся торопливые извинения за столь внезапный отъезд, он поспешил усадить Кэт в экипаж и велел ехать как можно быстрее в Сити.

В Сити они прибыли с той быстротой, на которую способна наемная карета; случилось так, что лошади жили в Уайтчепле и привыкли там завтракать, если

вообще им приходилось завтракать, а потому путешествие совершено было быстрее, чем казалось возможным.

Николас послал Кэт наверх на несколько минут раньше, чтобы его неожиданное появление не встревожило мать, и затем предстал перед нею с величайшей почтительностью и любовью. Ньюмен не провел времени праздно, так как у двери уже стояла двуколка и быстро выносили вещи.

Миссис Никльби была не из тех людей, кому можно второпях что-нибудь сообщить или за короткое время растолковать нечто сугубо деликатное и важное. Поэтому, хотя маленькая мисс Ла-Криви подготавливала славную леди в течение доброго часа и теперь Николас и его сестра втолковывали ей все, что полагалось, весьма вразумительно, она находилась в состоянии странного замешательства и смятения, и никак нельзя было заставить ее понять необходимость столь скоропалительных мер.

— Почему ты не спросишь дядю, дорогой мой Николас, каковы были его намерения? — сказала миссис Никльби.

— Милая мама,— ответил Николас,— время для разговоров прошло. Теперь остается сделать только одно, а именно — отшвырнуть его с тем презрением и негодованием, каких он заслуживает! Ваша честь и ваше доброе имя этого требуют. После того как нам стали известны его подлые поступки, ни одного часа вы не должны быть ему обязанной. Даже ради приюта, который дают эти голые стены!

— Совершенно верно! — сказала, горько плача, миссис Никльби.— Он чудовище, зверь! И стены здесь голые и нуждаются в покраске, а потолок я побелила за восемнадцать пенсов, и это чрезвычайно неприятно... Подумать только! Все эти деньги пошли в карман твоему дяде... Никогда бы я этому не поверила, никогда!

— И я бы не поверил, да и никто не поверит,— сказал Николас.

— Господи помилуй! — воскликнула миссис Никльби.— Подумать только, что сэр Мальбери Хоук оказался таким отъявленным негодяем, как говорит мисс Ла-Криви, дорогой мой Николас! А я-то каждый день поздравляла себя с тем, что он поклонник нашей милой Кэт, и думала:

каким было бы счастьем для семьи, если бы он породнился с нами и использовал свое влияние, чтобы доставить тебе какое-нибудь доходное место на государственной службе. Я знаю, при дворе можно получить хорошее место. Вот, например, один наш друг (ты помнишь, милая Кэт, мисс Кропли из Эксетера?) получил такое местечко; главная его обязанность, я это хорошо знаю,— носить шелковые чулки и парик с кошельком *, похожим на черный кармашек для часов. А что теперь получилось! О, это может каждого убить!

Выразив такими словами свою скорбь, миссис Никльби снова предалась горю и жалобно заплакала.

Ввиду того что Николас и его сестра должны были в это время наблюдать за тем, как выносят немногочисленные предметы обстановки, мисс Ла-Криви посвятила себя делу утешения матроны и очень ласково заметила, что, право же, она должна сделать усилие и приободриться.

— О, разумеется, мисс Ла-Криви,— возразила миссис Никльби с раздражительностью, довольно естественной в ее печальном положении,— очень легко говорить «приободритесь», но если бы у вас было столько же оснований приободряться, сколько у меня...— Затем, оборвав фразу, она продолжала: — Подумайте о мистере Пайке и мистере Плаке, двух безупречнейших джентльменах, когда-либо живших на свете! Что я им скажу, что я могу им сказать? Ведь если бы я сказала им: «Мне сообщили, что ваш друг сэр Мальбери гнусный негодяй»,— они посмеялись бы надо мной.

— Ручаюсь, что больше они над нами смеяться не будут,— подходя к ней, сказал Николас.— Идемте, мама, карета у двери; и до понедельника, во всяком случае, мы вернемся на нашу старую квартиру.

— Где все готово и где вдобавок вас ждет радушный прием,— прибавила мисс Ла-Криви.— Позвольте, я спущусь вместе с вами.

Но миссис Никльби не так-то легко было увести, потому что сначала она настояла на том, чтобы подняться наверх посмотреть, не оставили ли там что-нибудь, а затем спуститься вниз посмотреть, все ли оттуда вынесли; а когда ее усадили в карету, ей померещился забытый кофейник на плите в кухне, а после того как захлопнули

дверцу, возникло мрачное воспоминание о зеленом зонте за какой-то неведомой дверью. Наконец Николас, доведенный до полного отчаяния, приказал кучеру трогать, и при неожиданном толчке, когда карета покатилась, миссис Никльби уронила шиллинг в солому, что, по счастью, сосредоточило ее внимание на карете, а потом было уже слишком поздно, чтобы еще о чем-нибудь вспоминать.

Удостоверившись в том, что все благополучно вынесено, отпустив служанку и заперев дверь, Николас вскочил в кабриолет и поехал на одну из боковых улиц близ Гольдн-сквера, где условился встретиться с Ногсом; и так быстро все уладилось, что было только половина десятого, когда он явился на место свидания.

— Вот письмо Ральфу,— сказал Николас,— а вот ключ. Когда вы придете сегодня ко мне, ни слова о вчерашнем вечере. Плохие вести путешествуют быстро, и скоро они все узнают. Вы не слыхали, очень ли он пострадал?

Ньюмен покачал головой.

— Я выясню это сам, не теряя времени,— сказал Николас.

— Вы бы лучше отдохнули,— возразил Ньюмен.— Вас лихорадит, и вы больны.

Николас небрежно покачал головой и, скрывая недомогание, которое действительно чувствовал теперь, когда улеглось возбуждение, поспешно распрощался с Ньюменом Ногсом и ушел.

Ньюмен находился всего в трех минутах ходьбы от Гольдн-сквера, но за эти три минуты он по крайней мере раз двадцать вынимал письмо из шляпы и снова его прятал. Он восхищался лицевой стороной письма, восхищался им сзади, с боков, восхищался адресом, печатью. Затем он вытянул руку и с упоением обозрел письмо в целом. А затем он потер руки, придя в полный восторг от своего поручения.

Он вошел в контору, повесил, по обыкновению, шляпу на гвоздь, положил письмо и ключ на стол и стал нетерпеливо ждать появления Ральфа. Через несколько минут на лестнице послышался хорошо знакомый скрип сапог, а затем зазвонил колокольчик.

— Была почта?

— Нет.

— Писем никаких нет?

— Одно.

Ньюмен пристально посмотрел на него и положил письмо на стол.

— А это что? — спросил Ральф, взяв ключ.

— Оставлено вместе с письмом. Принес мальчик, всего четверть часа назад.

Ральф взглянул на адрес, распечатал письмо и прочел следующее:

«Теперь я знаю, кто вы такой. Одни эти слова должны пробудить в вас чувство стыда в тысячу раз более сильного, чем пробудили бы любые мои упреки!

Вдова вашего брата и ее осиротевшая дочь отказываются искать приюта под вашей кровлей и сторонятся вас с омерзением и отвращением. Ваши родственники отрекаются от вас, ибо кровные узы, связывающие их с вами, для них позор.

Вы старик, вам недолго ждать могилы! Пусть все воспоминания вашей жизни теснятся в вашем лживом сердце и погружают во мрак ваше смертное ложе».

Ральф дважды прочел это письмо и, мрачно нахмурившись, глубоко задумался; бумага затрепетала в его руке и упала на пол, но он сжимал пальцы, как будто все еще держал ее.

Вдруг он встал и, сунув смятое письмо в карман, повернулся в ярости к Ньюмену Ногсу, словно спрашивая его, почему он не уходит. Но Ньюмен стоял неподвижно, спиной к нему, и водил грязным огрызком старого пера по цифрам на таблице процентов, приклеенной к стене, и, казалось, ни на что другое не обращал никакого внимания.

ГЛАВА XXXIV,

где Ральфа посещают лица, с которыми читатель уже завязал знакомство

— Как вы дьявольски долго заставляете меня звонить в этот проклятый старый, надтреснутый чайник, именуемый колокольчиком, каждое звяканье которого может

довести до конвульсий здоровенного мужчину, клянусь жизнью и душой, черт побери! — сказал Ньюмену Ногсу мистер Манталини, очищая при этом свои сапоги о железную скобу у дома Ральфа Никльби.

— Я всего один раз слышал колокольчик,— отозвался Ньюмен.

— Значит, вы чрезвычайно и возмутительно глухи,— сказал мистер Манталини,— глухи, как проклятый столб.

Мистер Манталини был уже в коридоре и без всяких церемоний направлялся к двери конторы Ральфа, когда Ньюмен загородил ему дорогу и, намекнув, что мистер Никльби не желает, чтобы его беспокоили, осведомился, срочное ли дело у клиента.

— Дьявольски важное! — сказал мистер Манталини.— Нужно расплавить несколько клочков грязной бумаги в ослепительном, сверкающем, звякающем, звенящем, дьявольском соусе из монет!

Ньюмен многозначительно хмыкнул и, взяв протянутую мистером Манталини визитную карточку, заковылял с нею в контору своего хозяина. Просунув голову в дверь, он увидел, что тот снова сидит в задумчивой позе, какую принял, когда прочел письмо своего племянника, и что он как будто опять его перечитывал, так как держал развернутым в руке. Но Ногс кинул только мимолетный взгляд, потому что потревоженный Ральф оглянулся, чтобы узнать причину вторжения.

Пока Ньюмен излагал ее, сама причина с чванным видом ввалилась в комнату и, с необыкновенным жаром пожимая жесткую руку Ральфа, поклялась, что никогда в жизни тот не бывал еще в таком прекрасном виде.

— У вас прямо-таки румянец на вашей проклятой физиономии,— сказал мистер Манталини, усаживаясь без приглашения и приводя в порядок волосы и бакенбарды.— У вас прямо-таки радостный и юношеский вид, черт меня побери!

— Мы здесь одни,— резко сказал Ральф.— Что вам от меня нужно?

— Прекрасно! — воскликнул мистер Манталини, осклабившись.— Что мне от вас нужно! Ха-ха-ха! Великолепно! *Что* мне нужно! Ха-ха! Черт побери!

— Что вам от меня нужно, сударь? — проговорил грубо Ральф.

— Учесть проклятые векселя,— ответил мистер Манталини, ухмыляясь и игриво покачивая головой.

— С деньгами туго... — сказал Ральф.

— Дьявольски туго, иначе они не были бы мне нужны,— перебил мистер Манталини.

— Времена настали плохие, и не знаешь, кому доверять,— продолжал Ральф.— В данный момент я не хочу заниматься делами, собственно говоря, я бы и не стал, но раз вы — друг... Сколько у вас тут векселей?

— Два,— ответил мистер Манталини.

— На какую сумму?

— Какая-то мелочь... Семьдесят пять.

— А сроки платежа?

— Два месяца и четыре.

— Я их учту для вас,— помните, только для *вас,* мало для кого бы я это сделал,— за двадцать пять фунтов,— спокойно сказал Ральф.

— Черт подери! — вскричал мистер Манталини, чья физиономия сильно вытянулась при таком блестящем предложении.

— Да ведь вам остается пятьдесят,— возразил Ральф.— Сколько бы вы хотели? Дайте мне взглянуть на имена.

— Вы дьявольски прижимисты, Никльби,— запротестовал мистер Манталини.

— Дайте мне взглянуть на имена,— повторил Ральф, нетерпеливо протягивая руку к векселям.— Так. Полной уверенности нет, но они достаточно надежны. Согласны вы на эти условия и берете деньги? Я этого не хочу. Я предпочел бы, чтобы вы не соглашались.

— Черт возьми, Никльби, не можете ли вы... — начал мистер Манталини.

— Нет! — ответил Ральф, перебивая его.— Не могу. Берете деньги? Сейчас, немедленно? Никаких отсрочек. Никаких прогулок в Сити и никаких переговоров с компаньонами, которых нет и никогда не было. Согласны или нет?

С этими словами Ральф отодвинул от себя какие-то бумаги и небрежно, словно случайно, затарахтел своей

шкатулкой с наличными деньгами. Этого звука не вынес мистер Манталини. Он согласился, как только звон коснулся его слуха, и Ральф отсчитал нужную сумму и бросил деньги на стол.

Он только что это сделал, а мистер Манталини еще не все собрал, когда раздалось звяканье колокольчика и немедленно вслед за этим Ньюмен ввел ни больше ни меньше как мадам Манталини, при виде которой мистер Манталини обнаружил сильное смущение и с удивительным проворством препроводил деньги в карман.

— О, ты здесь! — сказала мадам Манталини, тряхнув головой.

— Да, жизнь моя и душа, я здесь! — отозвался ее супруг, падая на колени и с игривостью котенка бросаясь на упавший со стола соверен.— Я здесь, услада души моей, на земле Тома Тидлера *, подбираю проклятое золото и серебро.

— Мне стыдно за тебя! — с величайшим негодованием воскликнула мадам Манталини.

— Стыдно? За *меня,* моя радость? Моя радость знает, что говорит дьявольски очаровательно, но ужасно сочиняет,— возразил мистер Манталини.— Моя радость знает, что ей не стыдно за ее милого котика.

Каковы бы ни были обстоятельства, приведшие к такому результату, но, очевидно, в данном случае милый котик плохо учел душевное состояние своей супруги. Мадам Манталини ответила только презрительным взглядом и, повернувшись к Ральфу, попросила простить ей ее вторжение.

— Которое вызвано,— продолжала мадам,— недостойными поступками и в высшей степени зазорным поведением мистера Манталини.

— Моим, мой ананасовый сок?

— Твоим! — подтвердила его жена.— Но я не позволю, я не допущу, чтобы меня разорило чье бы то ни было мотовство и распутство. Я хочу сообщить мистеру Никльби о тех мерах, какие я намерена применить к тебе.

— Пожалуйста, сударыня, не сообщайте мне,— сказал Ральф.— Улаживайте это между собой, улаживайте между собой.

— Да, но я должна почтительно просить вас,— сказала мадам Манталини,— чтобы вы послушали, как я буду предупреждать его о том, что твердо намерена сделать... Твердо намерена, сэр! — повторила мадам Манталини, метнув гневный взгляд на своего супруга.

— Неужели она будет называть меня «сэр»! — вскричал Манталини.— Меня, который обожает ее с дьявольским пылом! Она, которая оплетает меня своими чарами, как чистая и ангельская гремучая змея! Все будет кончено с моими чувствами! Она повергнет меня в дьявольское уныние.

— Не говорите о чувствах, сэр! — сказала мадам Манталини, садясь и поворачиваясь к нему спиной.— Вы не уважаете моих.

— Я не уважаю ваших, душа моя? — воскликнул мистер Манталини.

— Не уважаете,— ответила его жена.

И, несмотря на всевозможные улещиванья со стороны мистера Манталини, мадам Манталини еще раз сказала: «Не уважаете!» — и сказала с такой решительной и неумолимой злобой, что мистер Манталини явно смутился.

— Его мотовство, мистер Никльби,— продолжала она, обращаясь к Ральфу, который, заложив руки за спину, прислонился к креслу и созерцал очаровательную чету с улыбкой, выражающей величайшее и беспредельное презрение,— его мотовство не знает никаких границ.

— Никогда бы я этого не подумал,— саркастически отозвался Ральф.

— Но уверяю вас, мистер Никльби, это правда,— возразила мадам Манталини.— Я так страдаю от этого! Я живу среди вечных опасений и вечных затруднений. Но и это еще не самое худшее,— сказала мадам Манталини, вытирая глаза.— Сегодня утром он взял из моего стола ценные бумаги, не спросив у меня разрешения.

Мистер Манталини тихо застонал и застегнул карман брюк.

— Я принуждена,— продолжала мадам Манталини,— со времени наших последних несчастий очень много платить мисс Нэг за то, что она дала свое имя фирме, и, право же, я не могу поощрять его в мотовстве. Так как

я не сомневаюсь, мистер Никльби, что он пришел прямо к вам, чтобы обратить бумаги, о которых я упомянула, в деньги, и так как вы и раньше очень часто нам помогали и очень тесно связаны с нами в такого рода делах, я хочу, чтобы вы знали, к какому решению заставил он меня прийти своим поведением.

Мистер Манталини снова застонал под прикрытием шляпки своей жены и, вставив в один глаз соверен, другим подмигнул Ральфу! Проделав очень ловко этот фокус, он сунул монету в карман и застонал с сугубым раскаянием.

— Я приняла решение перевести его на пенсию,— сказала мадам Манталини, заметив признаки нетерпения, отразившегося на лице Ральфа.

— Что сделать, радость моя? — осведомился мистер Манталини, который как будто не уловил смысла этих слов.

— Назначить ему,— сказала мадам Манталини, смотря на Ральфа и благоразумно остерегаясь бросить хотя бы мимолетный взгляд на своего супруга из боязни, как бы многочисленные его прелести не заставили ее поколебаться в принятом решении,— назначить ему определенную сумму... И я скажу, что, если он будет иметь сто двадцать фунтов в год на костюмы и мелкие расходы, он может почитать себя очень счастливым человеком.

Мистер Манталини ждал, соблюдая все приличия, в надежде услышать размеры стипендии, но, когда цифра достигла его слуха, он швырнул на пол шляпу и трость и, вынув носовой платок, излил свои чувства в горестном стоне.

— Проклятье! — вскричал мистер Манталини, внезапно срываясь со стула и столь же внезапно бросаясь на него снова, к крайнему потрясению нервов своей владычицы.— Но нет! Это дьявольски страшный сон! Это не наяву! Нет!

Утешив себя этим завереньем, мистер Манталини закрыл глаза и стал терпеливо ждать пробуждения.

— Очень разумное соглашение, если ваш супруг будет соблюдать его, сударыня,— с усмешкой заметил Ральф.— И несомненно он будет.


INTEREST
TABLE

— Проклятье! — воскликнул мистер Манталини, открыв глаза при звуке голоса Ральфа.— Это страшная действительность. Вот она сидит здесь, передо мной! Вот очаровательные контуры ее фигуры! Как можно ее не узнать? Второй такой не найдешь! У двух графинь не было вовсе никакой фигуры, а у вдовы... у той была дьявольская фигура! Почему она так невыносимо прекрасна, что даже сейчас я не могу рассердиться на нее?

— Все это вы сами навлекли на себя, Альфред,— отозвалась мадам Манталини все еще укоризненно, но более мягким тоном.

— Я дьявольский негодяй! — вскричал мистер Манталини, колотя себя по голове.— Я разменяю соверен на полупенни, набью ими карманы и утоплюсь в Темзе. Но на нее я сердиться не буду. По дороге я пошлю ей письмо и напишу, где искать мой труп. Несколько красивых женщин будут рыдать, она будет смеяться!

— Альфред, жестокое, жестокое создание! — всхлипнула мадам Манталини, рисуя себе эту ужасную картину.

— Она называет меня жестоким... Меня! Меня, который ради нее готов стать проклятым, сырым, мокрым, отвратительным трупом! — воскликнул мистер Манталини.

— Ты разбиваешь мне сердце, когда говоришь такие вещи! — сказала мадам Манталини.

— Могу ли я жить, если мне не верят! — возопил мистер Манталини.— Разве я не разрезал свое сердце на чертовски маленькие кусочки и не отдал их, один за другим, этой дьявольской чаровнице? И разве я могу вынести, чтобы она подозревала меня? Не могу, черт побери!

— Спроси мистера Никльби, приличную ли я назвала сумму,— увещевала мадам Манталини.

— Не хочу я никакой суммы! — ответил безутешный супруг.— Мне не понадобится никакая чертова пенсия. Я стану трупом!

При повторении мистером Манталини этой зловещей угрозы мадам Манталини заломила руки и взмолилась о вмешательстве Ральфа Никльби. И после долгих слез, и разговоров, и нескольких попыток со стороны мистера Манталини добраться до двери, чтобы сейчас же вслед за этим наложить на себя руки, сего джентльмена с тру-

дом уговорили дать обещание, что он не станет трупом. Добившись этой важной уступки, мадам Манталини подняла вопрос о пенсии, и мистер Манталини его поднял, пользуясь случаем пояснить, что он может, к полному своему удовольствию, прожить на хлебе и на воде и ходить в лохмотьях, но не может существовать под бременем недоверия той, кто является предметом его самой преданной и бескорыстной любви. Это вызвало новые слезы у мадам Манталини, чьи глаза только-только начали раскрываться на некоторые недостатки мистера Манталини, но легко могли снова закрыться. Результат был тот, что, не совсем отказавшись от мысли о пенсии, мадам Манталини отложила дальнейшее обсуждение вопроса, а Ральф понял достаточно ясно, что мистер Манталини снова завоевал право на привольную жизнь и что унижение его и падение откладываются во всяком случае еще на некоторое время.

«Но этого недолго ждать,— подумал Ральф.— Любовь,— ба, я говорю на языке мальчишек и девчонок! — проходит быстро. Впрочем, любовь, которая зиждется на восхищении усатой физиономией вот этого павиана, может длиться гораздо дольше, поскольку ее породило полное ослепление и питается она тщеславием. Ну что ж, эти дураки льют воду на мою мельницу! Пусть живут, как им хочется, и чем дольше, тем лучше».

Эти приятные мысли мелькали у Ральфа Никльби, в то время как объекты его размышлений обменивались нежными взглядами, полагая, что их не видят.

— Если тебе больше нечего сказать мистеру Никльби, дорогой мой,— промолвила мадам Манталини,— мы распрощаемся с ним. Я уверена, что мы и так уже задержали его слишком долго.

Мистер Манталини ответил сначала похлопыванием мадам Манталини по носу, а затем изъяснил словами, что больше он ничего не имеет сказать.

— Черт побери! А впрочем, имею,— добавил он тотчас же, отводя Ральфа в угол.— Это касается истории с вашим другом сэром Мальбери. Такая чертовски необычайная, из ряда вон выходящая штука, какой никогда еще не случалось!

— Что вы имеете в виду? — спросил Ральф.

— Неужели вы не знаете, черт побери? — осведомился мистер Манталини.

— Я читал в газете, что вчера вечером он выпал из кабриолета, получил серьезные повреждения и жизнь его до известной степени в опасности,— с большим хладнокровием отозвался Ральф,— но ничего особенного я в этом не вижу. Несчастные случаи не чудо, когда человек живет широко и сам правит лошадью после обеда.

— Фью! — протяжно и пронзительно свистнул мистер Манталини.— Значит, вы не знаете, как было дело?

— Нет, если не так, как я предположил,— ответил Ральф, небрежно пожимая плечами, как бы давая понять своему собеседнику, что не любопытствует знать больше.

— Черт побери, вы меня удивляете! — вскричал мистер Манталини.

Ральф снова пожал плечами, словно невелика была хитрость удивить мистера Манталини, и бросил выразительный взгляд на Ньюмена Ногса, несколько раз появлявшегося за стеклянной дверью, ибо Ньюмен был обязан, когда приходили люди незначительные, притворяться, будто ему позвонили, чтобы их проводить: деликатный намек таким посетителям, что пора уходить.

— Вы не знаете, что это был совсем не несчастный случай, но дьявольское, неистовое, человекоубийственное нападение на него, совершенное вашим племянником? — спросил мистер Манталини, взяв Ральфа за пуговицу.

— Что! — зарычал Ральф, сжимая кулаки и страшно бледнея.

— Черт возьми, Никльби! Вы такой же тигр, как и он,— сказал Манталини, испуганный этими симптомами.

— Дальше! — крикнул Ральф.— Говорите, что вы имеете в виду. Что это за история? Кто вам рассказал? Говорите! Слышите вы меня?

— Какой вы чертовски свирепый старый злой дух, Никльби! — сказал мистер Манталини, пятясь к жене.— Вы можете испугать до полусмерти мою очаровательную малютку-жену, мою жизнь и душу, когда вдруг приходите в такое неистовое, неудержимое, безумное бешенство, черт бы меня побрал!

— Вздор! — отозвался Ральф, силясь улыбнуться.— Это просто такая манера.

— Дьявольски неприятная манера, позаимствованная из сумасшедшего дома,— сказал мистер Манталини, взяв свою трость.

Ральф постарался улыбнуться и снова спросил, от кого получил мистер Манталини эти сведения.

— От Пайка. И он чертовски приятный и любезный джентльмен,— ответил Манталини.— Дьявольски любезный и настоящий аристократ.

— Что же он сказал? — спросил Ральф, нахмурившись.

— Ваш племянник встретил сэра Мальбери в кофейне, напал на него с самой дьявольской яростью, последовал за ним до его кэба, поклялся, что поедет с ним домой, хотя бы ему пришлось сесть на спину лошади или уцепиться за ее хвост, разбил ему физиономию — чертовски красивую физиономию в натуральном ее виде, испугал лошадь, вышвырнул из кэба сэра Мальбери и самого себя и...

— И разбился насмерть? — сверкнув глазами, перебил Ральф.— Да? Он умер?

Манталини покачал головой.

— Уф! — сказал Ральф, отвернувшись.— Значит, дело кончилось ничем. Постойте,—прибавил он, оглядываясь.— Он сломал себе руку или ногу, или вывихнул плечо, или раздробил ключицу, или сломал одно-два ребра? Шея его уцелела для петли, но он получил какие-нибудь мучительные и медленно заживающие повреждения? Не так ли? Уж об этом-то вы во всяком случае должны были слышать.

— Нет,— возразил Манталини, снова покачав головой.— Если он не разбился на такие мелкие кусочки, что они разлетелись по ветру, значит он не пострадал, потому что ушел он вполне спокойно и такой довольный, как... как... как черт меня побери,— сказал мистер Манталини, не подобрав подходящего сравнения.

— А что...— не без колебания спросил Ральф,— что послужило причиной ссоры?

— Вы дьявольский хитрец,— с восхищением отозвался мистер Манталини,— самая лукавая, самая подозрительная, несравненная старая лиса... о, черт побери!.. вы притворяетесь, будто не знаете, что причиной была

маленькая племянница с блестящими глазками — нежнейшая, грациознейшая, прелестнейшая...

— Альфред! — вмешалась мадам Манталини.

— Она всегда права,— примирительно ответил мистер Манталини,— и, если она говорит — пора идти, значит пора, и она идет. А когда она пойдет по улице со своим тюльпаном, женщины будут говорить с завистью: «Какой у нее чертовски красивый муж!», а мужчины будут говорить с восторгом: «Какая у него чертовски красивая жена!» И те и другие будут правы, и те и другие не ошибутся, клянусь жизнью и душой, о, черт побери!

В таких и подобных выражениях, не менее разумных и уместных, мистер Манталини попрощался с Ральфом Никльби, поцеловав пальцы своих перчаток, и, продев руку леди под свою, жеманно ее увел.

— Так, так,— пробормотал Ральф, бросаясь в кресло.— Этот дьявол опять сорвался с цепи и становится мне поперек дороги. Для этого он и на свет родился. Однажды он мне заявил, что рано или поздно настанет день расплаты. Я из него сделаю пророка, потому что этот день несомненно настанет.

— Вы дома? — спросил Ньюмен, неожиданно просунув голову.

— Нет! — не менее отрывисто ответил Ральф.

Ньюмен втянул голову, но затем снова ее просунул.

— Вы уверены, что вас нет дома, а? — сказал Ньюмен.

— О чем толкует этот идиот? — резко крикнул Ральф.

— Он ждет с тех пор, как те пришли, и, быть может, слышал ваш голос, вот и все,— сказал Ньюмен, потирая руки.

— Кто ждет? — спросил Ральф, доведенный до крайней степени раздражения только что услышанной новостью и вызывающим хладнокровием своего клерка.

Необходимость дать ответ была утрачена неожиданным появлением человека, о коем шла речь, который, обратив один глаз (ибо у него был только один глаз) на Ральфа Никльби, отвесил множество неуклюжих поклонов и уселся в кресло, положив руки на колени и так высоко подтянув короткие черные штаны, что они едва достигали его веллингтоновских сапог.

— Вот так сюрприз! — сказал Ральф, устремив взгляд на посетителя, внимательно присматриваясь к нему и чуть улыбаясь.— Следовало бы мне сразу узнать ваше лицо, мистер Сквирс.

— Ах,— отозвался этот достойный человек,— вы бы лучше его узнали, если бы не случилось всего, что выпало мне на долю. Снимите-ка этого мальчугана с высокого табурета в задней конторе и скажите ему, чтобы он пришел сюда, слышите, любезный? — сказал Сквирс, обращаясь к Ньюмену.— О, он сам слез! Мой сын, сэр, маленький Уэкфорд. Что вы о нем скажете, сэр, каков образец питания в Дотбойс-Холле? Разве на нем не готово лопнуть его платье, расползтись швы и отлететь все пуговицы, такой он толстый? Вот это мякоть так мякоть! — воскликнул Сквирс, поворачивая мальчика и тыча пальцем и кулаком в самые пухлые части его особы, к величайшему неудовольствию своего сына и наследника.— Вот это упругость, вот это плотность! Попробуйте-ка его ущипнуть! Не удастся!

В каком бы превосходном состоянии ни был юный Сквирс, но он несомненно не отличался такой компактностью, ибо, когда указательный и большой пальцы отца сомкнулись для иллюстрации сделанного предположения, он испустил пронзительный крик и самым натуральным образом потер пострадавшее место.

— Тут я его подцепил,— заметил Сквирс, слегка обескураженный,— но это только потому, что сегодня мы рано закусили, а второй раз он еще не завтракал. Но вы его дверью не прищемите, когда он пообедает. Обратите внимание на эти слезы, сэр! — с торжествующим видом сказал Сквирс, пока юный Уэкфорд утирал глаза обшлагом рукава.— Ведь они маслянистые!

— У него действительно прекрасный вид,— отозвался Ральф, который из каких-то соображений как будто хотел ублаготворить школьного учителя.— А как поживает миссис Сквирс и как поживаете вы?

— Миссис Сквирс, сэр, остается такой, как всегда,— ответил владелец Дотбойса,— мать для этих мальчишек и благословение, утешение и радость для всех, кто ее знает. У одного из наших мальчиков,— он объелся и заболел, такая у них манера,— вскочил на прошлой неделе

нарыв. Вы бы посмотрели, как она произвела операцию перочинным ножом! О боже! — сказал Сквирс, испустив вздох и множество раз кивнув головой.— Какое украшение для общества эта женщина!

Мистер Сквирс позволил себе на четверть минутки призадуматься, словно упоминание о превосходных качествах леди, естественно, обратило его мысли к мирной деревне Дотбойс, что неподалеку от Грета-Бридж в Йоркшире, а затем он посмотрел на Ральфа, как бы в ожидании, не скажет ли тот что-нибудь.

— Вы оправились после нападения этого негодяя? — осведомился Ральф.

— Если и оправился, то совсем недавно,— ответил Сквирс.— Я был одним сплошным кровоподтеком, сэр,— сказал Сквирс, притронувшись сначала к корням волос, а затем к носкам сапог,— вот *отсюда и досюда*. Уксус и оберточная бумага, уксус и оберточная бумага с утра до ночи! Чтобы облепить меня всего, ушло примерно полстопы оберточной бумаги. Когда я лежал, как мешок, у нас в кухне, весь обложенный пластырями, вы бы подумали, что это большой сверток в оберточной бумаге, битком набитый стонами. Громко я стонал, Уэкфорд, или я тихо стонал? — спросил мистер Сквирс, обращаясь к сыну.

— Громко,— ответил Уэкфорд.

— А мальчики горевали, видя меня в таком ужасном состоянии, Уэкфорд, или они радовались? — сентиментальным тоном спросил мистер Сквирс.

— Ра...

— Что? — воскликнул Сквирс, круто повернувшись.

— Горевали,— ответил сын.

— То-то! — сказал Сквирс, угостив его хорошей пощечиной.— В таком случае, вынь руки из карманов и не заикайся, отвечая на вопрос. Не хнычьте, сэр, в конторе джентльмена, а не то я сбегу от моего семейства и никогда к нему не вернусь. А что будет тогда со всеми этими дорогими покинутыми мальчиками, которые вырвутся на волю и потеряют лучшего своего друга?

— Вам пришлось прибегнуть к медицинской помощи? — осведомился Ральф.

— Да, пришлось,— ответил Сквирс,— и недурной счет представил помощник лекаря; впрочем, я заплатил.

Ральф поднял брови с таким видом, который мог выражать либо сочувствие, либо изумление — как угодно было истолковать собеседнику.

— Да, заплатил все до последнего фартинга,— подтвердил Сквирс, по-видимому слишком хорошо знавший человека, с которым имел дело, чтобы предположить, что какие бы то ни было обстоятельства побудят его покрыть часть чужих расходов.— И вдобавок ничего не потратил.

— Ну? — сказал Ральф.

— Ни полпенни,— отозвался Сквирс.— Дело в том, что с наших мальчиков мы берем доплату только на докторов, когда они требуются, да и то, если мы уверены в наших плательщиках, понимаете?

— Понимаю,— сказал Ральф.

— Прекрасно,— продолжал Сквирс.— Так вот, когда вырос мой счет, мы выбрали пять маленьких мальчиков (сыновья торговцев, из тех, кто непременно заплатит), у которых еще не было скарлатины, и одного из них поселили в доме, где были больные скарлатиной, и он заразился, а потом мы положили четверых остальных спать вместе с ним, они тоже заразились, а тогда пришел доктор и лечил их всех сразу, и мы разложили на них всю сумму моих расходов и прибавили ее к их маленьким счетам, а родители заплатили. Ха-ха-ха!

— Недурно придумано! — сказал Ральф, украдкой присматриваясь к школьному учителю.

— Еще бы! — отозвался Сквирс.— Мы всегда так делаем. Когда миссис Сквирс производила на свет вот этого самого маленького Уэкфорда, мы пропустили через коклюш шестерых мальчиков, и расход на миссис Сквирс, включая месячное жалованье сиделке, разделили между ними. Ха-ха-ха!

Ральф никогда не смеялся, но сейчас он по мере сил воспроизвел нечто, наиболее приближающееся к смеху, и, выждав, пока мистер Сквирс не насладился всласть своей профессиональной шуткой, спросил, что привело его в город.

— Хлопотливое судебное дело,— ответил Сквирс, почесывая голову,— связанное с тем, что они называют

нерадивым отношением к питомцу. Не знаю, что им нужно. Мальчишка был выпущен на самое лучшее пастбище, какое только есть в наших краях.

У Ральфа был такой вид, будто это замечание ему не совсем понятно.

— Ну да, на пастбище,— повысив голос, повторил Сквирс, считая, что если Ральф его не понял, значит он глух.— Если мальчишка становится вялым, ест без аппетита, мы переводим его на другую диету — ежедневно выпускаем его на часок на соседское поле репы, а иногда, если случай деликатный, то на поле репы и на морковные гряды попеременно, и позволяем ему есть, сколько он захочет. Нет лучшей земли в графстве, чем та, на которой пасся этот испорченный мальчишка, а он возьми да и схвати простуду, и несварение желудка, и мало ли что еще, а тогда его друзья возбуждают судебное дело против *меня!* Вряд ли вы могли бы предположить, что неблагодарность людская заведет их так далеко, не правда ли? — добавил Сквирс, нетерпеливо заерзав на стуле, как человек, несправедливо обиженный.

— Действительно, неприятный случай,— заметил Ральф.

— Вот это вы сущую правду сказали! — подхватил Сквирс.— Думаю, что нет на свете человека, который бы любил молодежь так, как люблю ее я. В настоящее время в Дотбойс-Холле собралось молодежи на сумму восемьсот фунтов в год. Я бы принял и на тысячу шестьсот фунтов, если бы мог найти столько учеников, и к каждым двадцати фунтам относился бы с такой любовью, с какой ничто сравниться не может!

— Вы остановились там, где и в прошлый раз? — спросил Ральф.

— Да, мы у «Сарацина»,— ответил Сквирс,— и так как до конца полугодия ждать осталось недолго, мы там задержимся, пока я не соберу деньги и, надеюсь, еще нескольких новых мальчиков. Я привез маленького Уэкфорда нарочно для того, чтобы его показывать родителям и опекунам. На этот раз я думаю поместить его на рекламе. Посмотрите на этого мальчика — ведь он тоже ученик! Ну, не чудо ли упитанности этот мальчик?

— Я бы хотел сказать вам два слова,— заметил Ральф, который некоторое время и говорил и слушал как будто машинально.

— Столько слов, сколько вам угодно, сэр,— отозвался Сквирс.— Уэкфорд, ступай поиграй в задней конторе и поменьше возись, не то похудеешь, а это не годится. Нет ли у вас такой штуки, как два пенса, мистер Никльби? — спросил Сквирс, позвякивая связкой ключей в кармане сюртука и бормоча что-то о том, что у него найдется только серебро.

— Как будто... есть,— очень медленно сказал Ральф и после долгих поисков в ящике конторки извлек пенни, полпенни и два фартинга.

— Благодарю,— сказал Сквирс, отдавая их сыну.— Вот! Пойди купи себе пирожок — клерк мистера Никльби покажет тебе где — и помни, купи жирный. От теста,— добавил Сквирс, закрывая дверь за юным Уэкфордом,— у него кожа лоснится, а родители думают, что это признак здоровья.

Дав такое объяснение и скрепив его особо многозначительным взглядом, мистер Сквирс подвинул стул так, чтобы расположиться против Ральфа на небольшом расстоянии, и, поместив стул к полному своему удовлетворению, уселся.

— Слушайте меня внимательно,— сказал Ральф, слегка наклоняясь вперед.

Сквирс кивнул.

— Я не думаю, что вы такой болван,— сказал Ральф,— чтобы с готовностью простить или забыть совершенное над вами насилие и огласку?

— Как бы не так, черт побери! — резко сказал Сквирс.

— Или упустить случай уплатить с процентами, если таковой вам представится? — продолжал Ральф.

— Дайте мне его и увидите,— ответил Сквирс.

— Уж не это ли заставило вас зайти ко мне? — спросил Ральф, взглянув на школьного учителя.

— Н-н-нет, этого бы я не сказал,— ответил Сквирс.— Я думал... если у вас есть возможность предложить мне, кроме той пустячной суммы, какую вы прислали, некоторую компенсацию...

— Ах, вот что! — воскликнул, перебивая его, Ральф.— Можете не продолжать.

После длинной паузы, в течение которой Ральф, казалось, был погружен в созерцание, он нарушил молчание вопросом:

— Что это за мальчик, которого он увел с собой?

Сквирс назвал фамилию.

— Маленький он или большой, здоровый или хилый, смирный или буян! Говорите,— приказал Ральф.

— Ну, он не так уж мал,— ответил Сквирс,— то есть, знаете ли, не так уж мал для мальчика...

— Иными словами он, должно быть, уже не маленький? — перебил Ральф.

— Да,— бойко ответил Сквирс, как будто этот намек доставил ему облегчение,— ему, пожалуй, лет двадцать. Но тем, кто его не знает, он не покажется таким взрослым, потому что у него вот здесь кое-чего не хватает,— он хлопнул себя по лбу.— Никого, понимаете ли, нет дома, сколько бы вы ни стучали.

— А вы, разумеется, частенько стучали? — пробормотал Ральф.

— Частенько,— с усмешкой заявил Сквирс.

— Когда вы письменно подтвердили получение этой, как вы выражаетесь, пустячной суммы, вы мне написали, что его друзья давным-давно его покинули и у вас нет никакого ключа, никакой нити, чтобы установить, кто он такой. Правда ли это?

— На мою беду, правда,— ответил Сквирс, становясь все более и более развязным и фамильярным по мере того, как Ральф с меньшей сдержанностью продолжал расспросы.— По записям в моей книге прошло четырнадцать лет с тех пор, как неизвестный человек привел его ко мне осенним вечером и оставил у меня, уплатив вперед пять фунтов пять шиллингов за первую четверть года. Тогда ему могло быть лет пять-шесть, не больше.

— Что вы еще о нем знаете? — спросил Ральф.

— С сожалением должен сказать, что чертовски мало,— ответил Сквирс.— Деньги мне платили лет шесть или восемь, а потом перестали. Тот парень дал свой лондонский адрес, но, когда дошло до дела, конечно никто

ничего о нем не знал. И вот я оставил мальчишку из... из...

— Из милости? — сухо подсказал Ральф.

— Совершенно верно, из милости,— подтвердил Сквирс, потирая руки.— А когда он только-только начал приносить какую-то пользу, является этот негодяй, молодой Никльби, и похищает его. Но самое досадное и огорчительное во всей этой истории то,— сказал Сквирс, понизив голос и придвигая свой стул ближе к Ральфу,— что именно теперь о нем начали, наконец, наводить справки; не у меня, а окольным путем, в нашей деревне. И вот, как раз тогда, когда я, пожалуй, мог бы получить все, что мне задолжали, а быть может,— кто знает, такие вещи в нашем деле случались,— еще и подарок, если бы спровадил его к какому-нибудь фермеру или отправил в плавание, чтобы он не покрыл позором своих родителей, если... если допустить, что он незаконнорожденный, как многие из наших мальчиков... черт бы меня побрал,— как раз в это время мерзавец Никльби хватает его средь бела дня и все равно что очищает мой карман!

— Скоро мы оба с ним посчитаемся,— сказал Ральф, положив руку на плечо йоркширского учителя.

— Посчитаемся! — повторил Сквирс.— И я бы охотно дал ему в долг. Пусть вернет, когда сможет. Хотел бы я, чтобы он попался в руки миссис Сквирс! Боже мой! Она бы его убила, мистер Никльби. Для нее это все равно что пообедать.

— Мы об этом еще потолкуем,— сказал Ральф.— Мне нужно время, чтобы это обдумать. Ранить его в его привязанностях и чувствах... Если бы я мог нанести ему удар через этого мальчика...

— Бейте его, как вам угодно, сэр,— перебил Сквирс,— только наносите удар посильнее, вот и все. А затем будьте здоровы!.. Эй! Достаньте-ка с гвоздя шляпу этого мальчика и снимите его с табурета, слышите?

Выкрикнув эти приказания Ньюмену Ногсу, мистер Сквирс отправился в маленькую заднюю контору и с родительской заботливостью надел своему отпрыску шляпу, в то время как Ньюмен с пером за ухом сидел, застывший

и неподвижный, на своем табурете, глядя в упор то на отца, то на сына.

— Красивый мальчик, не правда ли? — сказал Сквирс, слегка склонив голову набок и отступив к конторке, чтобы лучше оценить пропорции маленького Уэкфорда.

— Очень,— сказал Ньюмен.

— Неплохо упитан, а? — продолжал Сквирс.— У него жиру хватит на двадцать мальчиков.

— А! — воскликнул Ньюмен, внезапно приблизив свое лицо к лицу Сквирса.— У него хватит... жиру на двадцать мальчиков!.. Больше! Он все себе забрал! Да поможет бог остальным! Ха-ха! О боже!

Произнеся эти отрывистые замечания, Ньюмен бросился к своей конторке и начал писать с поразительной быстротой.

— Что такое на уме у этого человека? — покраснев, вскричал Сквирс.— Он пьян?

Ньюмен ничего не ответил.

— Он с ума сошел? — осведомился Сквирс.

Но по-прежнему у Ньюмена был такой вид, как будто он не сознавал, что здесь кто-нибудь находится, кроме него; поэтому мистер Сквирс утешился замечанием, что он и пьян и с ума сошел, и с такими прощальными словами увел своего многообещающего сынка.

По мере того как Ральф Никльби начинал подмечать у себя зарождающийся интерес к Кэт, ненависть его к Николасу усиливалась. Возможно, что во искупление своей слабости, выражавшейся в приязни к одному человеку, он считал необходимым еще глубже ненавидеть другого; во всяком случае, так развивались его чувства. Знать, что ему бросают вызов, гнушаются им, убеждают Кэт в том, что он гнусен, знать, что ей внушают ненависть и презрение к нему и учат считать прикосновение его отравой, а общение с ним — позором, знать все это и знать, что виновником был тот же бедный юноша-родственник, который стал хулить его при первой же их встрече и с тех пор открыто выступал против него и его не страшился,— все это распалило его скрытую ненависть до таких пределов, что он воспользовался бы любым средством для утоления ее, если бы нашел путь к немедленной расплате.

Но, к счастью для Николаса, Ральф Никльби этого пути не видел; и хотя он размышлял до самого вечера и, несмотря на повседневные дела, не переставал задумываться об этом одном тревожащем его предмете,— однако, когда настала ночь, его преследовала все та же мысль, и он тщетно думал все об одном и том же.

— Когда мой брат был в его возрасте,— говорил себе Ральф,— меня впервые начали сравнивать с братом, и всегда не в мою пользу. Он был прямодушным, смелым, щедрым, веселым, а я — хитрым скрягой с холодной кровью, у которого одна страсть — любовь к сбережениям, и одно желание — жажда наживы. Я об этом вспомнил, когда в первый раз увидел этого мальчишку. Теперь я припоминаю еще лучше.

Он занимался тем, что разрывал на мельчайшие кусочки письмо Николаса, и при этих словах швырнул их, и они рассыпались дождем.

— Когда я отдаюсь таким воспоминаниям,— с горькой улыбкой продолжал Ральф,— они надвигаются на меня со всех сторон. Если есть люди, притворяющиеся, будто презирают власть денег, я должен показать им, какова она.

И, придя в приятное состояние духа, располагающее ко сну, Ральф Никльби отправился спать.

ГЛАВА XXXV

Смайка представляют миссис Никльби и Кэт. Николас в свою очередь завязывает новое знакомство. Более светлые дни как будто настают для семьи

Устроив мать и сестру в квартире добросердечной миниатюристки и удостоверившись, что сэру Мальбери Хоуку не грозит опасность распрощаться с жизнью, Николас начал подумывать о бедном Смайке, который, позавтракав с Ньюменом Ногсом, сидел безутешный в комнате этого превосходного человека, ожидая с большой тревогой дальнейших сведений о своем покровителе.

«Так как он будет одним из членов нашего маленького семейного кружка, где бы мы ни жили и что бы судьба нам ни готовила,— думал Николас,— я должен представить беднягу со всеми церемониями. Они будут добры к нему ради него самого, а если и не в такой степени, как мне бы хотелось, то хотя бы ради меня».

Николас сказал «они», но его опасения ограничивались одной особой. Он не сомневался в Кэт, но знал странности своей матери и был не совсем уверен в том, что Смайку удастся снискать расположение миссис Никльби.

«Впрочем,— подумал Николас, отправляясь в путь с такими добрыми намерениями,— она не сможет не привязаться к нему, когда узнает, какое он преданное создание, а так как это открытие она должна сделать очень скоро, то срок его испытания окажется коротким».

— Я боялся, что с вами опять что-нибудь случилось,— сказал Смайк, придя в восторг при виде своего друга.— Время тянулось так медленно, что я испугался, не пропали ли вы.

— Пропал! — весело воскликнул Николас.— Обещаю вам, что вы не так легко от меня отделаетесь. Я еще тысячи раз буду выплывать на поверхность, и чем сильнее меня толкнут, тем быстрее я вынырну, Смайк! Но идемте, я должен отвести вас домой.

— Домой? — пробормотал Смайк, пугливо попятившись.

— Да,— ответил Николас, беря его под руку.— А в чем дело?

— Когда-то я этого ждал,— сказал Смайк,— днем и ночью, днем и ночью, много лет. Я тосковал о доме, пока не измучился и не зачах от горя... Но теперь...

— Что же теперь? — спросил Николас, ласково заглядывая ему в лицо.— Что теперь, дружище?

— Я бы не расстался с вами ни для какого дома на земле,— ответил Смайк, пожимая ему руку,— кроме одного, кроме одного. Мне не дожить до старости, и если бы ваши руки положили меня в могилу и я знал перед смертью, что иногда вы будете приходить и смотреть на могилу с вашей доброй улыбкой, в летнюю пору, когда

вокруг все живет — не мертво, как я,— я мог бы уйти в этот дом почти без слез.

— Зачем вы так говорите, бедный мальчик, если вы счастливы со мной? — сказал Николас.

— Потому что тогда изменился бы я, а не те, кто меня окружает. И, если меня забудут, я этого никогда не узнаю,— ответил Смайк.— На кладбище мы все равны, но здесь никто не похож на меня. Я жалкое существо, и это я хорошо знаю.

— Вы нелепое, глупое существо! — весело отозвался Николас.— Если вы это хотели сказать, я готов с вами согласиться. И с таким унылым видом появиться в обществе леди! Да еще перед моей хорошенькой сестрой, о которой вы меня так часто расспрашивали! Так вот какова ваша йоркширская галантность! Стыдитесь! Стыдитесь!

Смайк повеселел и улыбнулся.

— Когда я говорю о доме,— продолжал Николас,— я говорю о моем доме, который, конечно, также и ваш. Будь он ограничен какими-то определенными четырьмя стенами и крышей, богу известно, я бы затруднился сказать, где он находится. Но не это я имел в виду. Говоря о доме, я говорю о том месте, где, за неимением лучшего, собрались те, кого я люблю; и будь это цыганский шатер или сарай, я все равно называл бы его этим славным именем. Итак, в мой нынешний дом, который, как бы велики ни были ваши опасения, не устрашит вас ни грандиозностью, ни великолепием!

С этими словами Николас взял своего приятеля под руку и, продолжая говорить в том же духе и показывая ему по дороге все, что могло развлечь и заинтересовать его, направился к дому мисс Ла-Криви.

— Кэт,— сказал Николас, входя в комнату, где его сестра сидела одна,— вот мой верный друг и преданный спутник; я прошу тебя принять его.

Сначала бедный Смайк робел и смущался, но когда Кэт подошла к нему и ласково, нежным голосом сказала, как хотелось ей увидеть его после рассказов брата и как должна она благодарить его за помощь Николасу во время тяжелых превратностей судьбы, он начал колебаться, заплакать ему или не заплакать, и пришел в еще большее смятение. Однако он ухитрился выговорить пре-

рывающимся голосом, что Николас — единственный его друг и что он готов жизнь отдать, чтобы помочь ему; а Кэт, хотя она и была такой доброй и внимательной, казалось, вовсе не замечала его терзаний и замешательства, так что он почти тотчас же оправился и почувствовал себя дома.

Затем вошла мисс Ла-Криви, и Смайк был представлен также и ей. И мисс Ла-Криви тоже была очень доброй и удивительно много говорила — не со Смайком, потому что это бы его сначала смутило, но с Николасом и его сестрой. Немного спустя она начала изредка обращаться и к Смайку; спрашивала его, может ли он судить о сходстве, и думает ли он, что она, мисс Ла-Криви, похожа на том портрете в углу, и не лучше ли было бы, если бы она изобразила себя на портрете на десять лет моложе, и не думает ли он, что молодые леди и на портрете и в жизни интереснее, чем старые. И много еще она острила и шутила так весело и с таким добродушием, что Смайку она показалась самой любезной леди, какую случалось ему видеть,— любезнее даже, чем миссис Граден из театра мистера Винсента Крамльса, хотя и та была любезной леди и говорила если не больше, то во всяком случае громче, чем мисс Ла-Криви.

Наконец дверь снова отворилась, и вошла леди в трауре, а Николас, нежно поцеловав леди в трауре и назвав мамой, повел ее к стулу, с которого поднялся Смайк, когда она вошла в комнату.

— У вас всегда было доброе сердце и горячее желание помочь тем, кто в том нуждается, дорогая мама,— сказал Николас,— вот почему, я знаю, вы будете расположены к нему.

— Разумеется, дорогой мой Николас,— отвечала миссис Никльби, пристально глядя на своего нового знакомого и кланяясь ему, пожалуй, более величественно, чем того требовали обстоятельства,— разумеется, любой из твоих друзей имеет — и, натурально, так и надлежит быть — все права на радушный прием у меня, и, конечно, я считаю большим удовольствием познакомиться с человеком, в котором ты заинтересован. В этом не может быть никаких сомнений, решительно никаких, ни малейших,— сказала миссис Никльби.— Тем не менее я должна ска-

зать, Николас, дорогой мой, как говаривала твоему бедному дорогому папе, когда он приводил джентльменов к обеду, а в доме ничего не было, что если бы твой друг пришел третьего дня — нет, я имею в виду не третьего дня, пожалуй, мне бы следовало сказать два года назад,— мы имели бы возможность принять его лучше.

После таких замечаний миссис Никльби повернулась к дочери и громким шепотом осведомилась, думает ли джентльмен остаться ночевать.

— Потому что в таком случае, Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби,— я не знаю, где можно уложить его спать, и это сущая правда.

Кэт подошла к матери и без малейших признаков досады или раздражения шепнула ей на ухо несколько слов.

— Ах, Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби, отодвигаясь,— как ты меня щекочешь! Конечно, я это и без твоих слов понимаю, моя милочка, и я так и сказала Николасу, и я *очень* довольна. Ты мне не говорил, Николас, дорогой мой,— добавила миссис Никльби, оглянувшись уже не с такой чопорностью, какую раньше на себя напустила,— как зовут твоего друга.

— Его фамилия Смайк, мама,— ответил Николас.

Эффект этого сообщения отнюдь нельзя было предвидеть; но как только было произнесено это имя, миссис Никльби упала в кресло и залилась слезами.

— Что случилось? — воскликнул Николас, бросившись поддержать ее.

— Это так похоже на Пайка! — вскричала миссис Никльби.— Совсем как Пайк! О, не разговаривайте со мной — сейчас мне будет лучше!

Проявив всевозможные симптомы медленного удушения во всех его стадиях и выпив чайную ложку воды из полного стакана и расплескав остальное, миссис Никльби почувствовала себя лучше и со слабой улыбкой заметила, что, конечно, она вела себя очень глупо.

— Это у нас семейное, такая слабость,— сказала миссис Никльби,— так что, разумеется, меня нельзя в этом винить. Твоя бабушка, Кэт, была точь-в-точь такая же. Легкое возбуждение, пустячная неожиданность — и она тотчас падала в обморок. Я частенько слыхала, как она рассказывала, будто еще до замужества своего она

однажды свернула за угол на Оксфорд-стрит и вдруг налетела на своего собственного парикмахера, который, повидимому, убегал от медведя *. От неожиданности она мгновенно упала в обморок. А впрочем, погодите! — добавила миссис Никльби, приостановившись, чтобы подумать.— Позвольте мне припомнить, не ошибаюсь ли я. Парикмахер ли убегал от медведя, или медведь убегал от парикмахера? Право же, я сейчас не могу вспомнить, но знаю, что парикмахер был очень красивый мужчина и настоящий джентльмен по манерам; словом, это не имеет отношения к рассказу.

С этой минуты миссис Никльби, незаметно предавшись воспоминаниям о прошлом, пришла в более приятное расположение духа и, непринужденно меняя темы разговора, принялась рассказывать различные истории, в такой же мере связанные с данным случаем.

— Мистер Смайк родом из Йоркшира, Николас, дорогой мой? — спросила после обеда миссис Никльби, некоторое время не нарушавшая молчания.

— Совершенно верно, мама,— ответил Николас.— Вижу, вы не забыли его печальной истории.

— О боже, нет! — воскликнула миссис Никльби.— Ах, действительно, печальная история! Вам не случалось, мистер Смайк, обедать у Гримбля из Гримбль-Холла, где-то в Норт-Райдинге? * — осведомилась, обращаясь к нему, добрая леди.— Очень гордый человек сэр Томас Гримбль. У него шесть взрослых очаровательных дочерей и прелестнейший парк в графстве.

— Дорогая мама,— вмешался Николас,— неужели вы полагаете, что жалкий пария из йоркширской школы получает пригласительные билеты от окрестной знати и дворянства?

— Право же, дорогой мой, я не понимаю, что в этом такого из ряда вон выходящего,— сказала миссис Никльби.— Помню, когда я была в школе, я всегда ездила по крайней мере дважды в полугодие к Хоукинсам в Тоунтон-Вэл, а они гораздо богаче, чем Гримбли, и породнились с ними благодаря брачным союзам; итак, ты видишь, что в конце концов это не так уж невероятно.

Разбив с таким триумфом Николаса, миссис Никльби вдруг забыла фамилию Смайка и обнаружила непреодо-

лимую склонность называть его мистером Сламонсом, каковое обстоятельство она приписала поразительному сходству в звучании обоих имен — оба начинались с «С» и вдобавок писались через «м». Но если и могли возникнуть какие-нибудь сомнения касательно этого пункта, то не было никаких сомнений, что Смайк оказался превосходнейшим слушателем, что̀ имело большое значение, способствуя наилучшим отношениям между ними и побудив миссис Никльби высказать высокое мнение о его характере и уменье держать себя.

Итак, са̀мые дружеские чувства объединили членов маленького кружка; в понедельник утром Николас отлучился на короткое время, чтобы серьезно подумать о положении своих дел и, если удастся, избрать какой-нибудь род деятельности, который дал бы ему возможность поддерживать тех, кто всецело зависел от его трудов.

Не раз приходил ему на ум мистер Крамльс, но, хотя Кэт была знакома со всей историей его отношений с этим джентльменом, мать его ничего не знала, и он предвидел тысячу досадливых возражений с ее стороны, если бы стал искать пропитания на сцене. Были у него и более веские основания не возвращаться к этому образу жизни. Не говоря уже о скудном и случайном заработке и его собственном глубоком убеждении, что у него нет надежды отличиться даже в качестве провинциального актера, может ли он возить сестру из города в город и с места на место и лишить ее общения с людьми, кроме тех, с кем он принужден будет встречаться, почти не делая выбора?

— Это не годится,— покачав головой, сказал Николас.— Нужно испробовать что-нибудь другое.

Легче было принять такое решение, чем привести его в исполнение. О жизни он знал лишь то, что успел узнать за время своих коротких испытаний; он отличался в достаточной мере пылкостью и опрометчивостью (свойствами довольно натуральными в его возрасте), денег у него было очень мало, а друзей еще меньше,— что мог он предпринять?

— Ей-ей, попробую-ка я опять пойти в контору по найму,— сказал Николас.

Быстро отправившись в путь, он улыбнулся, потому что бранил себя мысленно за свою стремительность. Однако насмешки над самим собой не заставили его отказаться от этого намерения, и он шел дальше, рисуя себе по мере приближения к цели различные блестящие перспективы, как возможные, так и несбыточные, и, пожалуй, не без основания почитая большим счастьем, что он наделен таким жизнерадостным и сангвиническим темпераментом.

На вид контора была точь-в-точь такой, как в тот день, когда он в последний раз там был, и даже, за двумя-тремя исключениями, в окне красовались как будто те же самые объявления, какие он видел раньше. Здесь были те же безупречные хозяева, нуждавшиеся в добродетельных слугах, и те же добродетельные слуги, нуждавшиеся в безупречных хозяевах, и те же великолепные поместья для вложения в них капитала, и те же огромные капиталы для вложения в поместья — короче говоря, все те же блестящие возможности для людей, желающих нажить состояние. И самым поразительным доказательством национального благополучия был тот факт, что так долго не являлись люди, чтобы воспользоваться такими благами.

Когда Николас остановился перед окном, случилось, что какой-то старый джентльмен остановился тут же; Николас, скользя взглядом по оконному стеклу слева направо в поисках объявления, которое подошло бы ему в его положении, обратил внимание на наружность этого старого джентльмена и непроизвольно отвел взгляд от окна, чтобы посмотреть на него внимательнее.

Это был коренастый старик в широкополом синем фраке, просторном, без талии; его толстые ноги были облечены в короткие темные штаны и длинные гетры, а голова защищена широкополой, с низкой тульей шляпой, какую можно увидеть на зажиточном скотоводе. Фрак его был застегнут, а двойной подбородок с ямочкой покоился в складках белого галстука — не одного из этих ваших туго накрахмаленных апоплексических галстуков, а хорошего, свободного, старомодного белого шейного платка, в котором человек может лечь спать и не почувствовать ни малейшего неудобства. Но особенно при-

влекли внимание Николаса глаза старого джентльмена: не бывало еще на свете таких ясных, искрящихся, честных, веселых глаз. Он стоял, глядя вверх, одну руку засунув в вырез фрака, а другою перебирая старомодную золотую цепочку от часов, голову слегка склонив набок,— причем шляпа склонилась чуточку ниже, чем голова (но, очевидно, это была случайность, а не обычная его манера носить шляпу),— с такой приятной улыбкой, мелькавшей на губах, и с таким забавным выражением лукавства, наивности, мягкосердечия и добродушия, освещавшим его веселое старое лицо, что Николас охотно стоял бы тут и смотрел на него до вечера, забыв на время, что на свете можно встретить озлобленный ум или сердитую физиономию.

Но даже сколько-нибудь удовлетворить это желание было невозможно, ибо, хотя старик как будто и не подозревал, что является объектом наблюдения, он случайно взглянул на Николаса, и тот, опасаясь вызвать неудовольствие, немедленно вернулся к изучению окна.

Однако старый джентльмен продолжал стоять, переводя взгляд с одного объявления на другое, и Николас не мог удержаться, чтобы снова не посмотреть ему в лицо. В этом странном и своеобразном лице было что-то невыразимо привлекательное, и такие лучезарные морщинки собирались у уголков его рта и глаз, что смотреть на него было не только развлечением, но подлинным удовольствием и наслаждением.

И потому не чудо, что старик не один раз ловил Николаса за этим занятием. В таких случаях Николас краснел и смущался, потому что, сказать по правде, он начал подумывать, не ищет ли незнакомец клерка или секретаря, и, когда у него мелькнула эта мысль, он почувствовал себя так, будто старый джентльмен должен был ее угадать.

Рассказывать обо всем этом приходится долго, но в действительности прошло не больше двух минут. Когда незнакомец собрался уходить, Николас снова встретил его взгляд и в замешательстве пробормотал какое-то извинение.

— Вы меня ничуть не обидели... Ничуть! — сказал старик.

Это было сказано таким дружеским тоном, и голос был как раз такой, какой должен быть у подобного человека, и столько было сердечности в обращении, что Николас расхрабрился и снова заговорил.

— Как много прекрасных возможностей, сэр! — сказал он с полуулыбкой, указывая на окно.

— Полагаю, многие, желающие и жаждущие получить место, очень часто это думали,— отозвался старик.— Бедные, бедные!

С этими словами он отошел, но видя, что Николас намеревается еще что-то сказать, добродушно замедлил шаги, словно ему не хотелось его обрывать. После недолгого колебания, какое случается наблюдать, когда два человека обменялись кивком на улице и оба не знают, разойтись им или остаться и поговорить, Николас очутился рядом со стариком.

— Вы собирались заговорить, молодой джентльмен. Что вы хотели сказать?

— Я почти надеялся... Я хочу сказать — думал, что вы преследовали какую-то цель, знакомясь с этими объявлениями,— ответил Николас.

— Так, так. Какую же цель, какую цель? — подхватил старик, хитро посматривая на Николаса.— Вы подумали, что я ищу место? А? Вы это подумали?

Николас покачал головой.

— Ха-ха! — засмеялся старый джентльмен, потирая руки, словно он мыл их.— Мысль натуральная во всяком случае, раз вы видели, как я глазею на эти объявления. Я то же самое подумал сначала о вас. Честное слово, подумал.

— Если бы вы и сейчас так думали, сэр, вы бы недалеко ушли от истины,— отозвался Николас.

— Как? — воскликнул старик, осматривая его с головы до ног.— Что? Ах, боже мой! Нет, нет. Благовоспитанный молодой человек дошел до такой крайности! Нет, нет, нет, нет!

Николас поклонился и, пожелав ему доброго утра, повернул назад.

— Постойте,— сказал старик, поманив его в боковую улицу, где они могли беседовать более спокойно.— Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду?

— Только то, что ваше доброе лицо и обращение, столь не похожие на все, что мне доводилось до сих пор видеть, толкнули меня к признанию, которое мне бы и в голову не пришло сделать кому бы то ни было еще в этих дебрях Лондона,— ответил Николас.

— Дебри! Да, верно, верно! Это действительно дебри,— с большим оживлением сказал старик.— Когда-то и для меня это были дебри. Я пришел сюда босиком... Я этого никогда не забываю. Слава богу!

И он приподнял шляпу и принял очень серьезный вид.

— В чем дело?.. Что такое?.. Как это все произошло? — спросил старик, положив руку на плечо Николасу и идя с ним по улице.— Вы... э?..— Он коснулся пальцем рукава его черной одежды.— Вы это по ком, а?

— По отцу,— ответил Николас.

— А! — быстро подхватил старый джентльмен.— Плохо для молодого человека лишиться отца. Овдовевшая мать, быть может?

Николас вздохнул.

— Братья и сестры, а?

— Одна сестра,— отозвался Николас.

— Бедняжка, бедняжка! И вы, должно быть, ученый? — сказал старик, пристально всматриваясь в лицо молодого человека.

— Я получил довольно приличное образование,— сказал Николас.

— Дело хорошее,— сказал старый джентльмен.— Образование — великое дело, величайшее дело!.. Я никогда никакого не получал. Тем больше я восхищаюсь им у других. Прекрасное дело... Да, да. Расскажите еще что-нибудь о себе. Дайте мне послушать всю вашу историю. Это не назойливое любопытство — нет, нет, нет!

Было что-то столь искреннее и простодушное в тоне, каким все это было сказано, и такое полное пренебрежение всеми условными правилами сдержанности и холодности, что Николас не мог ничего возразить. На людей, у которых есть какие-нибудь подлинно хорошие качества, ничто не действует столь заразительно, как сердечная целомудренная откровенность. Николас заразился мгновенно и без умолчаний рассказал обо всех основных событиях своей жизни, скрыв только имена и, по

возможности, вскользь коснувшись поведения дяди по отношению к Кэт. Старик слушал с величайшим вниманием и, когда он кончил, нетерпеливо продел его руку под свою.

— Ни слова больше! Ни слова! — сказал он.— Идемте со мной. Мы не должны терять ни минуты.

Говоря это, старый джентльмен потащил его назад на Оксфорд-стрит и, остановив омнибус, ехавший в Сити, впихнул туда Николаса и сам последовал за ним. Казалось, он был в крайнем возбуждении и беспокойстве, и каждый раз, когда Николас пробовал что-то сказать, перебивал его:

— Ни слова, ни слова! Ни под каким видом! Ни слова!

Поэтому молодой человек счел наилучшим больше ему не перечить. Итак, они отправились в Сити, сохраняя молчание, и чем дальше они ехали, тем больше недоумевал Николас, каков может быть исход этого приключения.

Когда они подъехали к Банку *, старый джентльмен вышел очень проворно и, снова взяв под руку Николаса, повлек его по Треднидл-стрит и какими-то переулками и проходами направо, пока они, наконец, не вышли на тихую и тенистую маленькую площадь. Он повел его к самому старому и самому чистенькому на вид торговому дому. Единственная надпись на двери гласила: «Чирибл, братья», но, бросив быстрый взгляд на лежавшие вокруг тюки, Николас предположил, что братья Чирибл — купцы, ведущие торговлю с Германией.

Пройдя через склад, где все указывало на процветающую торговлю, мистер Чирибл (ибо таковым считал его Николас, судя по тому уважению, какое ему свидетельствовали кладовщики и грузчики, когда он проходил мимо них) повел его в маленькую, разделенную перегородкой контору, похожую на большой стеклянный ящик, а в конторе сидел — без единой пылинки и пятнышка, словно его поместили в стеклянный ящик, накрыли крышкой и с той поры он оттуда не выходил — дородный пожилой широколицый клерк в серебряных очках и с напудренной головой.

— Мой брат у себя, Тим? — спросил мистер Чирибл так же приветливо, как он обращался к Николасу.

— Да, сэр,— ответил дородный клерк, поднимая очки на своего патрона, а глаза на Николаса,— но у него мистер Триммерс.

— А! По какому делу он пришел, Тим? — спросил мистер Чирибл.

— Он собирает по подписке на вдову и детей человека, который погиб сегодня утром в ост-индских доках *, сэр,— ответил Тим.— Его придавил бочонок с сахаром, сэр.

— Триммерс хороший человек,— с жаром сказал мистер Чирибл.— Он добрая душа. Я очень признателен Триммерсу. Триммерс один из наших лучших друзей. Он сообщает нам о тысяче случаев, о которых мы сами никогда бы не узнали. Я *очень* признателен Триммерсу.

Говоря это, мистер Чирибл с наслаждением потер руки, и, так как в этот момент в дверях показался мистер Триммерс, направлявшийся к выходу, он бросился вслед за ним и схватил его за руку.

— Тысяча благодарностей, Триммерс, десять тысяч благодарностей! Я это рассматриваю как дружескую услугу с вашей стороны, да, как дружескую услугу,— сказал мистер Чирибл, увлекая его в угол, чтобы не было слышно.— Сколько детей осталось и что дал мой брат Нэд, Триммерс?

— Детей осталось шестеро, а ваш брат дал нам двадцать фунтов,— ответил джентльмен.

— Мой брат Нэд хороший человек, и вы тоже хороший человек, Триммерс,— сказал старик, с горячностью пожимая ему обе руки.— Запишите и меня на двадцать... или... подождите минутку, подождите минутку! Не следует выставлять себя напоказ: запишите меня на десять фунтов и Тима Линкинуотера на десять фунтов. Чек на двадцать фунтов для мистера Триммерса, Тим. Да благословит вас бог, Триммерс... Заходите на этой неделе пообедать с нами; для вас всегда найдется прибор, а мы будем очень рады. Так-то, дорогой мой сэр... Чек от мистера Линкинуотера, Тим. Придавило бочонком с сахаром, и шестеро ребятишек! Ах, боже мой, боже мой!

Продолжая говорить в том же духе со всей живостью, на какую он был способен, чтобы предотвратить дружеские возражения сборщика против такой крупной суммы

пожертвования, мистер Чирибл повел Николаса, удивленного и растроганного тем, что он видел и слышал за это короткое время, к полуоткрытой двери, ведущей в смежную комнату.

— Брат Нэд! — окликнул мистер Чирибл, постучав согнутым пальцем, и остановился, прислушиваясь.— Ты занят, дорогой брат, или у тебя найдется время перемолвиться со мной двумя словами?

— Брат Чарльз, дорогой мой,— отозвался из комнаты голос, столь похожий на только что прозвучавший, что Николас вздрогнул и готов был подумать, что это тот же самый голос,— не задавай мне никаких вопросов и входи немедля.

Они вошли без дальнейших разговоров. Каково же было изумление Николаса, когда его спутник шагнул вперед и обменялся горячими приветствиями с другим старым джентльменом, точной копией его самого: то же лицо, та же фигура, тот же фрак, жилет и галстук, те же брюки и гетры, мало того — та же белая шляпа висела на стене!

Когда они пожимали друг другу руку — у обоих при этом лица просияли любовью, которая восхитительна у маленьких детей и невыразимо трогательна у людей таких старых,— Николас мог заметить, что второй старый джентльмен был немного полнее, чем его брат; эта черта и что-то слегка неуклюжее в его походке и манере составляли единственную уловимую разницу между ними. Никто не мог сомневаться в том, что они близнецы.

— Брат Нэд,— сказал новый знакомый Николаса, закрывая дверь,— это мой молодой друг, которому мы должны помочь. Мы должны надлежащим образом проверить его слова как ради него, так и ради нас, и, если они подтвердятся,— а я уверен, что они подтвердятся,— мы должны ему помочь, мы должны ему помочь, брат Нэд.

— Достаточно, если ты говоришь, что мы должны помочь, дорогой брат,— ответил тот.— Раз ты это говоришь, никакие справки не нужны. Он *получит* помощь. В чем он нуждается, и чего он хочет? Где Тим Линкинуотер? Позовем его сюда.

Следует здесь отметить, что речь обоих братьев отличалась большой живостью и жаром. Оба потеряли чуть

ли не одни и те же зубы, что делало их произношение одинаково своеобразным; и оба говорили так, как будто, обладая ясностью духа, какой наделены самые добродушные и доверчивые люди, они вдобавок выбрали изюминки из наилучшего пудинга Фортуны и, припрятав несколько изюминок впрок, держали их теперь во рту.

— Где Тим Линкинуотер? — спросил брат Нэд.

— Постой! Постой! — сказал брат Чарльз, отводя его в сторону.— У меня есть план, дорогой брат, у меня есть план. Тим стареет, а Тим был верным слугой, брат Нэд, и я не думаю, чтобы пенсия матери и сестре Тима и покупка маленького семейного склепа, когда умер его бедный брат, были достаточным вознаграждением за его верную службу.

— Ну, разумеется, нет! — ответил тот.— Конечно, нет. Совсем недостаточным.

— Если бы мы могли облегчить труд Тима,— сказал старый джентльмен,— и заставили бы его уезжать время от времени за город и спать раза два-три в неделю на свежем воздухе (а он мог бы это делать, если бы по утрам начинал работу на час позже), старый Тим Линкинуотер снова помолодел бы со временем, а сейчас он старше нас на добрых три года. Старый Тим Линкинуотер помолодеет! А, брат Нэд? Да ведь я помню старого Тима Линкинуотера совсем маленьким мальчиком. А ты? Ха-ха-ха! Бедный Тим, бедный Тим!

Славные старики посмеялись, у обоих выступили на глазах слезы любви к старому Тиму Линкинуотеру.

— Но послушай сначала, послушай сначала, брат Нэд,— быстро заговорил старик, поставив по стулу справа и слева от Николаса. Я сам расскажу, брат Нэд, потому что молодой джентльмен скромен, и он ученый, Нэд, и было бы нехорошо, если бы он должен был снова рассказывать нам свою историю, как будто он нищий или как будто мы в нем сомневаемся. Нет, нет, нет!

— Нет, нет, нет! — подхватил тот, серьезно кивая головой.— Совершенно верно, дорогой брат, совершенно верно.

— Он меня остановит, если я ошибусь,— сказал новый друг Николаса.— Но ошибусь я или нет, ты будешь очень растроган, брат Нэд, вспомнив то время, когда мы

были совсем юны и одиноки и заработали наш первый шиллинг в этом огромном городе.

Близнецы молча пожали друг другу руку, и брат Чарльз со свойственной ему простодушной манерой рассказал подробности, услышанные им от Николаса. Последовавший за сим разговор был длинный, и почти такое же длительное секретное совещание имело место между братом Нэдом и Тимом Линкинуотером в другой комнате. К чести Николаса следует сказать, что не провел он и десяти минут с братьями, как уже мог отвечать только жестами на каждое новое выражение сочувствия и доброты и всхлипывал, как ребенок.

Наконец брат Нэд и Тим Линкинуотер вернулись вместе, и Тим тотчас подошел к Николасу и сообщил ему на ухо одной короткой фразой (ибо Тим обычно был немногословен), что он записал адрес и зайдет к нему вечером в восемь часов. Покончив с этим, Тим протер очки и надел их, приготовляясь слушать, что еще имеют сказать братья Чирибл.

— Тим,— сказал брат Чарльз,— вы поняли, что мы намерены принять этого молодого джентльмена в контору?

Брат Нэд заявил, что Тим знает об этом намерении и вполне одобряет его; Тим кивнул, сказал, что одобряет, выпрямился и стал как будто еще более дородным и очень важным. Затем наступило глубокое молчание.

— Я, знаете ли, не буду приходить на час позже по утрам,— сказал Тим, вдруг прорвавшись и принимая очень решительный вид.— Я не буду спать на свежем воздухе, да и за город я не буду ездить. Хорошенькое дело — в эту пору дня! Тьфу!

— Будь проклято ваше упрямство, Тим Линкинуотер,— сказал брат Чарльз, смотря на него без малейших признаков гнева и с лицом, сияющим любовью к старому клерку.— Будь проклято ваше упрямство, Тим Линкинуотер! Что вы хотите сказать, сэр?

— Сорок четыре года,— сказал Тим, делая в воздухе вычисления пером и проводя воображаемую черту, прежде чем подвести итог,— сорок четыре года исполнится в мае с тех пор, как я начал вести книги «Чирибл, братья». Все это время я открывал несгораемый шкаф каждое

утро (кроме воскресенья), когда часы били девять, и совершал обход дома каждый вечер в половине одиннадцатого (за исключением дней прибытия иностранной почты, а в те вечера — без двадцати двенадцать), чтобы удостовериться, заперты ли двери и погашены ли огни. Ни одной ночи я не ночевал за пределами задней мансарды. Там все тот же ящик с резедой на окне и те же четыре цветочных горшка, по два с каждой стороны, которые я принес с собой, когда только что сюда поступил. Нет в мире — я это повторяю снова и снова, и я это утверждаю,— нет в мире второй такой площади, как эта. *Знаю,* что нет! — сказал Тим с неожиданной энергией, насупил брови и огляделся по сторонам.— Нет такого! И для дела и для развлечения, летом или зимой — все равно когда,— нет ничего похожего на нее. Нет такого источника в Англии, как насос в подворотне. Нет такого вида в Англии, как вид из моего окна. Я на него смотрю каждое утро, когда еще не начал бриться, значит о нем я кое-что должен знать. Я спал в этой комнате,— добавил Тим, слегка понизив голос,— сорок четыре года, и если бы это не представляло неудобств и не мешало интересам дела, я бы просил разрешения там и умереть.

— Проклятье, Тим Линкинуотер! Как вы смеете говорить о том, что умрете?! — вскричали близнецы в один голос, энергически прочищая свои старые носы.

— Вот что я хотел вам сказать, мистер Эдвин и мистер Чарльз,— произнес Тим, снова расправляя плечи.— Уже не в первый раз вы говорите о том, чтобы перевести меня по старости лет на пенсию, но, с вашего разрешения, пусть это будет в последний раз, и больше мы к этому вопросу не вернемся.

С этими словами Тим Линкинуотер гордо вышел и заперся в стеклянном ящике с видом человека, сказавшего то, что имел сказать, и твердо решившего не подчиняться.

Братья переглянулись и, не говоря ни слова, кашлянули раз шесть.

— Нужно что-то с ним сделать, брат Нэд! — с жаром сказал другой брат.— Мы должны пренебречь его старческой щепетильностью, ее нельзя терпеть и сносить. Его нужно сделать компаньоном, брат Нэд, а если он этому

не подчинится мирно, мы должны будем прибегнуть к насилию.

— Совершенно верно! — ответил брат Нэд, кивая головой с видом человека, принявшего твердое решение.— Совершенно верно, дорогой брат. Если он не желает слушать разумные доводы, мы должны сделать это помимо его воли и показать ему, что мы решили проявить власть. Мы должны с ним поссориться, брат Чарльз.

— Должны. Разумеется, мы должны поссориться с Тимом Линкинуотером,— подтвердил тот.— Но пока что, дорогой брат, мы задерживаем нашего молодого друга, а старая леди и ее дочь будут беспокоиться, ожидая его возвращения. Итак, мы сейчас распрощаемся, и — так, так... не ударьтесь об этот ящик, дорогой сэр... нет, нет, нет, ни слова больше... будьте осторожны на перекрестках и...

И, произнося бессвязные и отрывистые слова, чтобы удержать Николаса от изъявления благодарности, братья поспешно его выпроводили, всю дорогу пожимая ему руку и весьма неудачно делая вид,— они были плохими притворщиками,— будто совсем не замечают, какие чувства им овладели.

У Николаса сердце было слишком переполнено, чтобы он мог показаться на улице прежде, чем овладеет собой. Выскользнув, наконец, из темного уголка у двери, где принужден был задержаться, он мельком увидел, как близнецы украдкой заглядывают в стеклянный ящик, видимо не зная, что делать: продолжать ли начатую атаку безотлагательно, или на время отложить наступление на неумолимого Тима Линкинуотера.

Рассказывать о том восторге и удивлении, какие были вызваны в доме мисс Ла-Криви только что изложенными обстоятельствами, и обо всем, что было сделано, сказано, передумано, чего ждали, на что надеялись и что в результате предвещали,— не отвечает цели этого повествования. Достаточно будет сообщить, что мистер Тимоти Линкинуотер явился пунктуально в назначенный час, что, хотя он и был чудаком и хотя он ревностно заботился, как и следовало ему заботиться, о том, чтобы всеобъемлющая щедрость его хозяев получала надлежащее применение, он высказался энергически и горячо в пользу Николаса

и что на следующий день Николас был определен на вакантный табурет в конторе «Чирибл, братья» на жалование в сто двадцать фунтов в год.

— И я думаю, дорогой брат,— сказал новый друг Николаса,— что, если бы мы сдали им тот маленький коттедж в Боу, который сейчас пустует, за плату ниже обычной арендной платы?.. А, брат Нэд?

— Совсем бесплатно! — сказал брат Нэд.— Мы богаты, и нам стыдно брать при таких обстоятельствах арендную плату. Где Тим Линкинуотер? Бесплатно, дорогой брат, бесплатно.

— Пожалуй, лучше было бы назначить что-нибудь, брат Нэд,— кротко возразил другой брат.— Это, знаете ли, помогло бы сохранить привычку к бережливости и избавило бы от мучительного чувства чрезмерной благодарности. Мы могли бы назначить пятнадцать или двадцать фунтов и, если бы эта сумма уплачивалась аккуратно, возместить им ее как-нибудь иначе. И я мог бы тайно предложить маленькую ссуду на обзаведение коекакою мебелью, а ты мог бы тайно предложить другую маленькую ссуду, брат Нэд, и если мы увидим, что у них все идет хорошо,— а мы это увидим, опасаться не приходится, опасаться не приходится,— мы можем превратить эту ссуду в подарок. Осторожно, брат Нэд, и постепенно и не слишком их принуждая. Что ты на это скажешь, брат?

Брат Нэд дал согласие и не только сказал, что это будет сделано, но и сделал; и на протяжении одной короткой недели Николас вступил во владение табуретом, а миссис Никльби и Кэт вступили во владение домом; и так много было связано с этим суеты, так много веселья и упований!

Право, никогда еще не бывало такой недели открытий и неожиданностей, как первая неделя в этом коттедже. Каждый вечер, к возвращению Николаса домой, обнаруживалось что-нибудь новое. Сегодня это была виноградная лоза, завтра — кипятильник, а на следующий день — ключ от стенного шкафа в гостиной, найденный на дне кадки, и сотни других вещей. Затем одна комната украсилась муслиновыми занавесками, а другая стала совсем элегантной благодаря шторе, и такие были сделаны

улучшения, каких никто и вообразить не мог. Потом приехала в омнибусе денька на два погостить и помочь мисс Ла-Криви, которая вечно теряла очень маленький пакет с тонкими гвоздиками и очень большой молоток, и бегала повсюду с засученными рукавами, и падала с лестницы, и очень больно ушибалась; и была здесь миссис Никльби, говорившая без умолку и редко-редко что-либо делавшая; и была здесь Кэт, потихоньку работавшая повсюду, и Смайк, превративший сад в чудеснейший уголок, и Николас, помогавший всем и всех подбадривавший. Уют и безмятежность домашнего очага были восстановлены, но лишь перенесенные несчастья и разлука могли дать ту радость, какую давали скромные удовольствия, и то наслаждение, которое приносил каждый час, проведенный вместе.

Короче говоря, бедные Никльби были окружены людьми и счастливы, а богатый Никльби был одинок и несчастен.

ГЛАВА XXXVI,

интимная и конфиденциальная, имеющая отношение к семейным делам, повествующая о том, как мистер Кенуигс перенес жестокое потрясение, и о том, что миссис Кенуигс чувствовала себя хорошо, насколько это было возможно

Было часов семь вечера, и в узких улицах близ Гольдн-сквера начинало темнеть, когда мистер Кенуигс послал за парой самых дешевых лайковых перчаток — те, что по четырнадцати пенсов,— и, выбрав более прочную перчатку, каковой оказалась приходившаяся на правую руку, спустился по лестнице с видом торжественным и весьма возбужденным и принялся обертывать перчаткой кольцо у входной двери. Исполнив эту работу с большой аккуратностью, мистер Кенуигс захлопнул за собой дверь и перешел через дорогу, чтобы полюбоваться эффектом с противоположного тротуара. Убедившись, что лучшего и представить себе нельзя, мистер Кенуигс вернулся и, крикнув в замочную скважину Морлине, чтобы она

открыла дверь, скрылся в доме и больше не показывался.

Если рассматривать это обстоятельство как нечто абстрактное, то не было никаких явных поводов или причин, почему мистер Кенуигс взял на себя труд обернуть именно это кольцо, а не кольцо у двери какого-нибудь аристократа или джентльмена, проживавшего на расстоянии десяти миль отсюда, ибо для наибольшего удобства многочисленных жильцов входная дверь всегда была раскрыта настежь и дверным кольцом никогда не пользовались. Второй, третий и четвертый этажи имели особые звонки. Что до мансард, то туда никто никогда не приходил. Если кому-нибудь нужны были первые этажи, то они были тут же, и оставалось только войти в них, а в кухню вел отдельный ход вниз по лестнице из нижнего дворика *. Поэтому, если исходить из соображений необходимости и пользы, это обертывание перчаткой дверного кольца было совершенно непостижимо.

Но дверные кольца можно обертывать не только из соображений утилитарных, что и было ясно доказано в данном случае. Есть некоторые утонченные формальности и церемонии, которые надлежит соблюдать в цивилизованной жизни, иначе человечество вернется к первобытному варварскому состоянию. Ни одна элегантная леди никогда не разрешалась от бремени — да и ни одно элегантное разрешение от бремени не могло иметь место — без символического обертывания дверного кольца. Миссис Кенуигс была леди с некоторыми претензиями на элегантность; миссис Кенуигс разрешилась от бремени. И посему мистер Кенуигс обернул безмолвствующее дверное кольцо в своих владениях белой лайковой перчаткой.

— Право, не знаю,— сказал мистер Кенуигс, поправляя воротничок сорочки и медленно поднимаясь по лестнице,— не поместить ли объявление в газете, раз это мальчик.

Размышляя о целесообразности такого шага и о сенсации, которую он должен произвести в округе, мистер Кенуигс отправился в гостиную, где на подставке перед камином сушились чрезвычайно миниатюрные принадлежности туалета, а мистер Ломби, доктор, нянчил на руках младенца, то есть прошлогоднего младенца, не нового.

— Это чудесный малыш, мистер Кенуигс,— сказал мистер Ломби, доктор.

— Вы считаете его чудесным мальчиком, сэр? — отозвался мистер Кенуигс.

— Самый чудесный мальчик, какого мне случалось видеть. Никогда еще не видывал такого младенца.

Утешительный предмет для размышлений и дающий исчерпывающий ответ тем, кто твердит о дегенерации человеческого рода: каждый рождающийся в мир младенец лучше, чем предыдущий.

— Никогда не видывал такого младенца,— повторил мистер Ломби, доктор.

— Морлина была чудесным младенцем,— возразил мистер Кенуигс, словно нападали на его семейство.

— Все они были чудесными младенцами,— сказал мистер Ломби.

И мистер Ломби с задумчивым видом продолжал баюкать младенца. Если он размышлял о том, в какую статью счета вписать баюканье, то об этом должно было быть известно лучше всех ему самому.

На протяжении этого короткого разговора мисс Морлина, как старшая в семье и, натурально, представительница своей матери во время нездоровья последней, без устали тормошила и шлепала трех младших мисс Кенуигс; такая заботливость и нежность вызвали слезы на глазах мистера Кенуигса и побудили его заявить, что по уму и поведению это дитя — женщина.

— Она будет сокровищем для человека, за которого выйдет замуж, сэр,— сказал вполголоса мистер Кенуигс.— Я думаю, она сделает выгодную партию, мистер Ломби.

— Меня это отнюдь бы не удивило,— отозвался доктор.

— Вы никогда не видели, как она танцует, сэр? — осведомился мистер Кенуигс.

Доктор покачал головой.

— Ах! — сказал мистер Кенуигс так, словно жалел его от всего сердца.— В таком случае вы не знаете, на что она способна.

Все это время в соседнюю комнату быстро входили и выходили оттуда, дверь очень тихо открывалась и за-

крывалась (ибо необходимо было охранять покой миссис Кенуигс), и младенца показывали трем-четырем десяткам депутаций от избранных друзей женского пола, которые собрались в коридоре и у подъезда обсудить событие со всех сторон. Действительно, волнение охватило всю улицу, и можно было видеть, как леди группами стоят у двери (некоторые в таком же интересном положении, в каком миссис Кенуигс в последний раз появлялась в обществе), повествуя о своих испытаниях при подобных же обстоятельствах. Иные даже завоевали себе славу, еще за день в точности предсказав, когда это должно произойти, а другие говорили о том, что они сразу угадали, в чем тут дело, когда мистер Кенуигс, весь бледный, изо всех сил пустился бежать по улице. Одни утверждали одно, а другие другое, но все говорили вместе, и все соглашались по двум пунктам: во-первых, в высшей степени достойно и весьма похвально сделать то, что сделала миссис Кенуигс, и, во-вторых, никогда еще не бывало такого искусного и ученого доктора, как доктор Ломби.

В разгар этой сумятицы доктор Ломби, как было сообщено выше, сидел в комнате второго этажа окнами на улицу, нянча на руках смещенного с должности младенца и беседуя с мистером Кенуигсом. Доктор Ломби был толстый, грубоватый джентльмен без воротничка и с бородой, отросшей со вчерашнего утра, ибо он был популярен, а округа плодовита и обернуто было еще три дверных кольца, одно за другим, в течение последних сорока восьми часов.

— Итак, мистер Кенуигс,— сказал доктор Ломби,— получается шесть. Со временем у вас будет славное семейство, сэр.

— Мне кажется, шестерых почти достаточно, сэр,— отозвался мистер Кенуигс.

— Ну-ну! — сказал доктор.— Вздор! Должно быть вдвое больше!

Тут доктор захохотал, но еще больше хохотала замужняя приятельница миссис Кенуигс, которая только что вышла из комнаты больной доложить о положении дел и хлебнуть немного бренди с водой; она как будто счи-

тала, что никогда еще не преподносили обществу такой прекрасной шутки.

— Им не приходится полагаться только на удачу,— сказал мистер Кенуигс, посадив к себе на колени вторую дочь,— у них есть виды на наследство.

— О, вот как! — сказал мистер Ломби, доктор.

— И, кажется, очень неплохие виды? — осведомилась замужняя леди.

— Видите ли, сударыня,— сказал мистер Кенуигс,— в сущности не мне говорить о том, каковы могут быть эти виды. Не мне хвастаться семейством, с которым я имею честь состоять в родстве... В то же время миссис Кенуигс... Я бы сказал,— неожиданно объявил мистер Кенуигс, повысив при этом голос,— что моим детям, быть может, придется по сто фунтов на каждого. Быть может, больше, но уж столько-то несомненно.

— А это очень приличное маленькое состояние,— сказала замужняя леди.

— У миссис Кенуигс есть родственники,— продолжал мистер Кенуигс, беря понюшку табаку из табакерки доктора и затем чихая очень громко, так как не привык к нему,— родственники, которые могли бы десятерым оставить по сто фунтов и после этого все-таки не просить подаяния.

— Я знаю, кого вы имеете в виду,— заметила замужняя леди, кивая головой.

— Я никаких имен не называл и не хочу называть никаких имен,— с величественным видом сказал мистер Кенуигс.— Многие из моих друзей встречали в этой самой комнате родственника миссис Кенуигс, который мог бы оказать честь любому обществу, вот и все.

— Я его встречала,— сказала замужняя леди, бросив взгляд на доктора Ломби.

— Разумеется, весьма лестно для отца видеть, что такой человек целует его детей и интересуется ими,— продолжал мистер Кенуигс.— Натурально, мои чувства человека ублаготворяет знакомство с таким человеком. И, натурально, мои чувства супруга будут еще более ублаготворены, если об этом событии доведут до сведения такого человека.

Выразив подобным образом свои мысли, мистер Ке-

нуигс привел в порядок льняную косичку своей второй дочери и попросил ее быть хорошей девочкой и слушаться сестры Морлины.

— Эта девочка с каждым днем все больше походит на мать,— сказал мистер Ломби, с восторгом взирая на Морлину.

— Ну вот! — подхватила замужняя леди.— А что я всегда говорила, что я всегда говорила? Она вылитый ее портрет!

Обратив таким образом всеобщее внимание на упомянутую юную леди, замужняя леди воспользовалась случаем, чтобы хлебнуть снова бренди с водой — и хлебнуть основательно.

— Да, сходство есть,— подумав, сказал мистер Кенуигс.— Но что за женщина была миссис Кенуигс до своего замужества! Боже милостивый, что за женщина!

Мистер Ломби покачал головой с большой торжественностью, как бы давая понять, что, по его мнению, она была ослепительна.

— А говорят о феях! — воскликнул мистер Кенуигс.— Я никогда не видел на свете ничего более эфирного. Никогда! И какое обращение! Игривое и в то же время строгое и пристойное! А фигура! Это не всем известно,— понизив голос, добавил мистер Кенуигс,— но в то время фигура ее была такова, что с нее писали Британию на Холлоуэй-роуд *.

— Да вы только посмотрите, какова она сейчас! — сказала замужняя леди.— Разве походит она на мать шестерых детей?

— Просто смешно! — воскликнул доктор.

— Она гораздо больше похожа на свою собственную дочь,— заявила замужняя леди.

— Совершенно верно,— согласился мистер Ломби.— Значительно больше.

Мистер Кенуигс собирался сделать какое-то замечание, по всей вероятности подтверждающее это мнение, но тут другая замужняя леди, которая зашла подбодрить миссис Кенуигс и помочь прибрать все, что могло иметь отношение к закуске и выпивке, просунула голову и доложила, что она секунду назад спустилась вниз, услышав колокольчик, и что у двери ждет какой-то джентльмен,

который во что бы то ни стало хочет видеть мистера Кенуигса.

Туманный образ знатного родственника промелькнул в голове мистера Кенуигса, когда было сделано это сообщение, и под влиянием этого образа он немедленно приказал Морлине привести джентльмена.

— Смотрите-ка! — воскликнул мистер Кенуигс, остановившись против двери, чтобы как можно скорее увидеть поднимавшегося по лестнице посетителя.— Да ведь это мистер Джонсон! Как поживаете, сэр?

Николас пожал ему руку, перецеловал своих бывших учениц всех по очереди, вручил Морлине большой сверток с игрушками, поклонился доктору и замужней леди и осведомился о здоровье миссис Кенуигс тоном крайне заинтересованным, который проник в самое сердце и душу леди, пришедшей разогреть над огнем какую-то таинственную смесь.

— Я должен принести сотни извинений, что явился в такое время,— сказал Николас,— но я об этом не знал, пока не позвонил, а занят я теперь так, что боюсь — может пройти несколько дней, прежде чем мне удастся заглянуть еще раз.

— Лучшего времени не найти, сэр,— сказал мистер Кенуигс.— Надеюсь, положение миссис Кенуигс не является препятствием к нашей беседе, сэр.

— Вы очень любезны,— сказал Николас.

В этот момент еще одна замужняя леди провозгласила, что младенец начал сосать вовсю, после чего две замужние леди, уже упомянутые, шумно устремились в спальню созерцать его во время этого процесса.

— Дело в том,— начал Николас,— что перед отъездом из провинции, где я жил последнее время, я взялся передать вам одно поручение.

— Ну? — сказал мистер Кенуигс.

— И я уже несколько дней в Лондоне,— добавил Николас,— но не имел возможности его исполнить.

— Неважно, сэр,— сказал мистер Кенуигс.— Полагаю, оно не станет хуже оттого, что остынет. Поручение из провинции...— задумчиво повторил мистер Кенуигс.— Это любопытно. Я никого не знаю в провинции.

— Мисс Питоукер,— подсказал Николас.

— О, так это от нее? — сказал мистер Кенуигс.— О боже, ну, конечно! Миссис Кенуигс рада будет услышать о ней. Генриетта Питоукер, а? Как странно все складывается! Вдруг вы встречаете ее в провинции! Ну-ну!

Услышав имя старой приятельницы, четыре мисс Кенуигс собрались вокруг Николаса, широко раскрыв глаза и рты, чтобы лучше слышать. Мистер Кенуигс тоже как будто любопытствовал, но был совершенно безмятежен, никаких подозрений у него не мелькало.

— Это поручение касается семейных дел,— нерешительно сказал Николас.

— О, это не имеет значения,— сказал Кенуигс, взглянув на мистера Ломби, который, опрометчиво взяв на свое попечение маленького Лиливика, обнаружил, что никто не расположен освободить его от этой драгоценной обузы.— Здесь все друзья.

Николас раза два кашлянул и как будто затруднялся приступить к делу.

— Генриетта Питоукер в Портсмуте,— заметил мистер Кенуигс.

— Да,— сказал Николас.— И мистер Лиливик там.

Мистер Кенуигс побледнел, но оправился и сказал, что и это тоже странное совпадение.

— Поручение от него,— сказал Николас.

Мистер Кенуигс, казалось, ожил. Мистер Лиливик знал, что племянница находится в деликатном положении, и несомненно просил передать, чтобы ему сообщили все подробности. Это было очень любезно с его стороны и так на него похоже!

— Он просил меня передать его нежнейший привет,— сказал Николас.

— Уверяю вас, я чрезвычайно ему признателен. Вашему двоюродному дедушке Лиливику, дорогие мои,— вставил мистер Кенуигс, снисходительно давая объяснение детям.

— Его нежнейший привет,— повторил Николас.— И передал, что писать ему было некогда, но что он женился на мисс Питоукер.

Мистер Кенуигс, выпучив глаза, сорвался с места, схватил свою вторую дочь за льняную косичку и закрыл

лицо носовым платком. Морлина, вся оцепенев, упала в детское креслице, как падала на ее глазах в обморок ее мать, а две другие маленькие Кенуигс в испуге завизжали.

— Дети мои, мои обманутые, одураченные малютки! — завопил мистер Кенуигс, с такой силой дернув в неистовстве своем вторую дочь за льняную косичку, что та приподнялась на цыпочки и несколько секунд простояла в такой позе.— Злодей, осел, предатель!

— Черт бы побрал этого человека! — крикнула сиделка, сердито оглянувшись.— Чего ради он поднимает здесь такой шум?

— Молчать, женщина! — свирепо сказал мистер Кенуигс.

— Не хочу я молчать,— возразила сиделка.— Замолчите сами, несчастный! Или у вас нет никаких чувств к вашему младенцу?

— Никаких! — ответил мистер Кенуигс.

— Какой стыд! — заявила сиделка! — Уф! Изверг!

— Пусть он умрет! — вскричал мистер Кенуигс, обуянный гневом.— Пусть умрет! Никаких видов на наследство у него нет! Нам здесь младенцы не нужны,— безрассудно сказал мистер Кенуигс.— Унесите их, унесите их в приют для подкидышей!

С такими ужасными словами мистер Кенуигс сел на стул и бросил вызов сиделке, которая поспешила в смежную комнату и, вернувшись с вереницей матрон, заявила, что мистер Кенуигс говорит кощунственно о своей семье и что у него, должно быть, буйное помешательство.

Внешний вид мистера Кенуигса несомненно свидетельствовал не в его пользу, ибо от усилий разглагольствовать с таким жаром и в то же время таким тоном, чтобы его сетования не коснулись слуха миссис Кенуигс, лицо у него почернело. Помимо сего, волнение, вызванное событием, и чрезмерное потребление крепких возбуждающих напитков в ознаменование этого события привели к тому, что физиономия мистера Кенуигса чрезвычайно раздулась и опухла. Но когда Николас и доктор, которые сначала оставались безучастными, весьма сомневаясь в том, чтобы мистер Кенуигс мог говорить всерьез, вмешались и объяснили непосредственную причину его состояния,



негодование матрон сменилось жалостью, и они с большим чувством стали умолять его, чтобы он успокоился и лег спать.

— Внимание, внимание, какое я оказывал этому человеку! — сказал мистер Кенуигс, озираясь с жалостным видом.— Устрицы, которые он съел, и пинты эля, которые он выпил в этом доме!..

— Это очень мучительно и очень тяжело, мы понимаем,— сказала одна из замужних леди,— но подумайте о вашей жене, дорогой любимой жене.

— О да, и о том, что она испытала сегодня! — подхватило множество голосов.— Будьте мужчиной.

— Подарки, которые ему преподносились! — сказал мистер Кенуигс, возвращаясь к своей беде.— Трубки, табакерки... пара резиновых калош,— они стоили шесть шиллингов, шесть...

— О, конечно, нет сил об этом думать! — хором воскликнули матроны.— Но будьте спокойны, за все это ему воздастся.

Мистер Кенуигс мрачно посмотрел на леди, словно предпочитая, чтобы за все это воздалось ему, раз уж ничего другого не получишь, но не произнес ни слова и, опустив голову на руку, как бы погрузился в дремоту.

Затем матроны снова распространились о том, насколько было бы целесообразно отвести доброго джентльмена спать, заметив, что завтра он будет чувствовать себя лучше и что они знают, какую пытку претерпевают иные мужчины, когда с их женами приключается то, что приключилось сегодня с миссис Кенуигс, и что это делает ему честь и стыдиться тут нечего, решительно нечего: им приятно было это видеть, потому что это свидетельствует о доброте сердечной. А одна леди привела в пример своего собственного мужа, который в подобных случаях часто лишался рассудка, и однажды, когда родился ее маленький Джонни, прошла почти неделя, пока он опомнился, и все это время он только и делал, что кричал: «Это мальчик? Это мальчик?» — и голос его проникал в сердца всех слышавших.

Наконец Морлина (которая совсем забыла о том, что упала в обморок, когда обнаружила, что на нее не обращают внимания) доложила, что постель для ее удручен-

ного родителя готова, и мистер Кенуигс, едва не задушив в тесных объятиях своих четырех дочерей, принял руку доктора с одной стороны и поддержку Николаса с другой и был препровожден наверх в спальню, отведенную для этого случая.

Убедившись, что он крепко заснул, услышав, что он храпит весьма удовлетворительно, и присмотрев за распределением игрушек к полному удовольствию всех маленьких Кенуигс, Николас удалился. Матроны ушли одна за другой, за исключением шести или восьми самых близких подруг, которые решили остаться на всю ночь; огни в домах постепенно погасли; последний бюллетень гласил, что миссис Кенуигс чувствует себя хорошо, насколько это возможно, и семейству предоставили расположиться на отдых.

ГЛАВА XXXVII

Николас завоевывает еще большее расположение братьев Чирибл и мистера Тимоти Линкинуотера. Братья устраивают банкет по случаю великой годовщины. Вернувшись домой с банкета, Николас выслушивает таинственное и важное сообщение миссис Никльби

Площадь, где была расположена контора братьев Чирибл, хотя, быть может, и не вполне оправдывала весьма радужные ожидания, какие могли возникнуть у человека, слышавшего пламенные хвалы, воспеваемые ей Тимом Линкинуотером, была тем не менее довольно привлекательным уголком в сердце такого суетливого города, как Лондон,— уголком, который занимал почетное место в благодарной памяти многих степенных особ, проживавших по соседству, чьи воспоминания, однако, относились к значительно более раннему периоду и чья привязанность к площади была гораздо менее захватывающей, чем воспоминания и привязанность восторженного Тима.

И пусть те лондонцы, которые привыкли к аристократической важности Гровенор-сквера и Ганновер-сквера,

к вдовствующему бесплодию и холоду Фицрой-сквера или к усыпанным гравием дорожкам и садовым скамьям на Рассел-сквере и Юстон-сквере,— пусть эти лондонцы не думают, что привязанность Тима Линкинуотера или других менее солидных почитателей этого места зародилась и поддерживалась благодаря какой-нибудь освежающей ассоциации мыслей, имеющих отношение к листве, хотя бы тусклой, или к траве, хотя бы редкой и чахлой. На Сити-сквере нет никакой ограды, кроме загородки вокруг фонарного столба посередине, и никакой травы, кроме сорной, пробивающейся у его основания. Это тихое, мало посещаемое, уединенное место, благоприятствующее меланхолии, созерцанию и свиданиям, требующим ожидания. И ожидающий назначенного свидания лениво прохаживается здесь взад и вперед, пробуждая эхо монотонным шумом шагов по гладким истертым плитам и пересчитывая сначала окна, а потом даже кирпичи в стенах высоких безмолвных домов. В зимнюю пору снег задерживается здесь, хотя давно уже растаял на оживленных улицах и проезжих дорогах. Летнее солнце питает некоторое уважение к площади и, бережливо посылая сюда свои веселые лучи, сохраняет палящий жар и блеск для более шумных и нарядных окрестных мест.

На площади так тихо, что вы можете услышать тиканье ваших карманных часов, если остановитесь отдохнуть. Издалека доносится гудение — экипажей, не насекомых,— но никакие другие звуки не нарушают тишины площади. Рассыльный лениво прислонился к тумбе на углу, чувствуя приятное тепло, но не зной, хотя день очень жаркий. Его белый передник вяло развевается, голова постепенно опускается на грудь, глаза то и дело закрываются; даже он не способен противостоять усыпляющему действию этого места и в конце концов погружается в дремоту. Но вот он встрепенулся, отступил шага на два и смотрит перед собой напряженным, странным взглядом. Что это — надежда получить работу или он увидел мальчика, играющего в мраморные шарики? Увидел ли он привидение, или услышал шарманку? Нет, ему открылось зрелище более непривычное: в сквере бабочка, настоящая живая бабочка! Заблудилась, покинув цветы

и ароматы, и порхает над железными остриями пыльной решетки.

Но если за пределами конторы «Чирибл, братья» мало что могло привлечь внимание или рассеять мысли молодого клерка, то в конторе многое должно было заинтересовать его и позабавить. Вряд ли бы там хоть один предмет, одушевленный или неодушевленный, который бы в какой-то мере не участвовал в добросовестной пунктуальности мистера Тимоти Линкинуотера. Пунктуальный, как конторские часы, которые, по его утверждению, были лучшими в Лондоне, за исключением часов на какой-то старой неведомой церкви, скрывавшейся по соседству (ибо баснословную добропорядочность часов Конной гвардии * Тим считал милым вымыслом завистливых обитателей Вест-Энда), старый клерк исполнял мельчайшие повседневные обязанности и размещал мельчайшие предметы в маленькой комнатке с такой точностью и аккуратностью, какие остались бы непревзойденными, даже если бы комнатка и в самом деле была стеклянным ящиком, наполненным диковинками.

Бумага, перья, чернила, линейка, сургуч, облатки, коробка с сандараком *, коробка с нитками, коробка спичек, шляпа Тима, тщательно сложенные перчатки Тима, второй фрак Тима — он висел на стене и, казалось, облекал Тима,— всему были отведены привычные дюймы пространства. За исключением стенных часов, не существовало на свете такого аккуратного и непогрешимого инструмента, как маленький термометр, висевший за дверью. Не было во всем мире птицы с такими методическими и деловыми привычками, как слепой черный дрозд, который дни напролет мечтал и дремал в большой уютной клетке и потерял голос от старости задолго до того, как его купил Тим. В целой серии анекдотов не было такой богатой событиями истории, как та, какую мог рассказать Тим о приобретении этой птицы: о том, как, сочувствуя его голодному и несчастному существованию, он купил дрозда с гуманной целью пресечь его жалкую жизнь; о том, как он решил подождать три дня и посмотреть, не оживет ли птица; о том, как не прошло и половины этого срока, а дрозд ожил, и как он продолжал оживать и обретать аппетит и здоровый вид, пока постепенно не стал

таким, «каким вы его теперь видите, сэр!» — говаривал Тим, с гордостью посматривая на клетку. А затем Тим мелодично чирикал и кричал: «Дик!» — и Дик, который до сей поры не проявлял никаких признаков жизни, словно был кое-как сделанным деревянным изображением или чучелом черного дрозда, приближался в три маленьких прыжка к краю клетки и, просунув клюв между прутьями, повертывал слепую голову к своему старому хозяину. И в этот момент очень трудно было решить, кто из них счастливее, птица или Тим Линкинуотер.

Но этого мало. На всем лежал отпечаток доброты обоих братьев. Кладовщики и грузчики были такими здоровыми, веселыми ребятами, что приятно было смотреть на них. Рядом с объявлениями пароходных компаний и пароходными расписаниями, украшавшими стены конторы, висели планы богаделен, отчеты благотворительных обществ и проекты новых больниц. Над камином красовались мушкет и две сабли для устрашения злодеев, но мушкет был заржавленный и разбитый, а сабли сломанные и тупые. Во всяком другом месте демонстрация их в таком виде вызвала бы улыбку, но здесь казалось, будто даже орудия насилия и нападения поддались господствующему влиянию и превратились в эмблему милосердия и терпения.

Такие мысли захватили Николаса, когда он впервые вступил во владение пустующим табуретом и осмотрелся вокруг более свободно и непринужденно, чем имел возможность сделать это раньше. Быть может, эти мысли его подбадривали и придавали ему усердия, ибо в течение следующих двух недель все его свободные часы до поздней ночи и с раннего утра были целиком посвящены овладению тайнами бухгалтерии и другими видами торговых расчетов. Ими он занялся с таким упорством и настойчивостью, что хотя никаких предварительных сведений об этом у него не было, кроме смутного воспоминания о нескольких длинных арифметических задачах, записанных в школьную тетрадь и украшенных для родительского ока изображением жирного лебедя, которого нарисовал сам учитель,— однако к концу второй недели он оказался в состоянии доложить о своих успехах мистеру Линкинуотеру; а вслед за этим он потребовал, чтобы тот вы-

полнил обещание и разрешил ему помогать в более серьезных трудах.

Нужно было видеть, как Тим Линкинуотер, медленно достав объемистый гроссбух и журнал, повертев их в руках и любовно смахнув пыль с корешков и обреза, раскрывал их в разных местах и с гордостью и вместе с тем печально пробегал глазами красивые, без помарок записи.

— Сорок четыре года исполнится в мае,— сказал Тим.— Много было с тех пор новых гроссбухов. Сорок четыре года!

Тим захлопнул книгу.

— Скорей, скорей! — сказал Николас.— Я горю нетерпением начать.

Тим Линкинуотер покачал головой с кроткой укоризной: на мистера Никльби недостаточно сильное впечатление произвели важность и устрашающий характер его нового занятия. Что, если вкрадется ошибка? Придется соскабливать!

Молодые люди отважны. Удивительно, как они иногда торопятся. Не позаботившись даже о том, чтобы усесться на табурет, но спокойно стоя у конторки и улыбаясь,— ошибки тут никакой не было, мистер Линкинуотер часто упоминал впоследствии об этой улыбке,— Николас окунул перо в стоявшую перед ним чернильницу и погрузился в книгу «Чирибл, братья».

Тим Линкинуотер побледнел и, удерживая свой табурет в равновесии на двух ножках, ближайших к Николасу, смотрел из-за его плеча, задыхаясь от волнения. Брат Чарльз и брат Нэд вместе вошли в контору, но Тим Линкинуотер, не оглянувшись, махнул им рукой, предупреждая, что надлежит соблюдать глубокую тишину, и продолжал следить напряженным и беспокойным взглядом за кончиком неопытного пера.

Братья смотрели, улыбаясь, но Тим Линкинуотер не улыбался и не двигался в течение нескольких минут. Наконец он медленно и глубоко вздохнул и, сохраняя свою позу на накренившемся табурете, взглянул на брата Чарльза, украдкой указал концом пера на Николаса и кивнул головой с торжественным и решительным видом, явно говорившим: «Он справится».

Брат Чарльз тоже кивнул и, усмехнувшись, перегля-


Phiz

нулся с братом; но тут Николас приостановился, чтобы перейти к следующей странице, и Тим Линкинуотер, не в силах сдерживать долее свою радость, слез с табурета и восторженно схватил его за руку.

— Какой молодец! — сказал Тим, оглянувшись на своих хозяев и торжествующе кивая головой.— Прописные *B* и *D* у него точь-в-точь, как у меня, во время письма он ставит точки над всеми *i* и перечеркивает все *t*. Другого такого юноши, как этот, нет во всем Лондоне! — Говоря это, Тим хлопнул Николаса по спине.— Ни одного! Не возражайте мне! Сити не может выставить равного ему. Я бросаю вызов Сити!

Швырнув перчатку Сити, Тим Линкинуотер нанес конторке такой удар кулаком, что старый черный дрозд, вздрогнув, свалился с жердочки и даже хрипло каркнул от крайнего изумления.

— Хорошо сказано, Тим! Хорошо сказано, Тим Линкинуотер! — воскликнул брат Чарльз, едва ли менее обрадованный, чем сам Тим, тихонько хлопая при этом в ладоши.— Я знал, что наш молодой друг приложит большие старания, и был совершенно уверен, что он быстро преуспеет. Разве не говорил я этого, брат Нэд?

— Говорил, дорогой брат; конечно, дорогой брат, ты это говорил, и ты был совершенно прав,— ответил Нэд.— Совершенно прав. Тим Линкинуотер взволнован, но его волнение законно, вполне законно. Тим прекрасный парень. Тим Линкинуотер, сэр, вы прекрасный парень!

— Вот о чем приятно подумать! — сказал Тим, не слушая этого обращения к нему и переводя очки с гроссбуха на братьев.— Вот что приятно! Как вы полагаете, мало я думал о том, какова будет судьба этих книг, когда меня не станет? Как вы полагаете, мало я думал о том, что дела здесь могут пойти беспорядочно и неаккуратно, когда меня не будет? Но теперь,— продолжал Тим, вытягивая указательный палец в сторону Николаса,— теперь, еще после нескольких моих уроков, я буду удовлетворен. Когда я умру, дело будет идти так же хорошо, как при жизни моей,— точно так же,— и я буду иметь удовольствие знать, что никогда еще не бывало таких книг — никогда не бывало таких книг, да, и никогда не будет таких книг! — как книги «Чирибл, братья»!

Выразив таким образом свои чувства, мистер Линкинуотер усмехнулся в знак презрения к Лондону и Вестминстеру и, снова повернувшись к конторке, спокойно выписал из последнего столбца итог — семьдесят шесть — и продолжал свою работу.

— Тим Линкинуотер, сэр,— сказал брат Чарльз,— дайте мне вашу руку, сэр. Сегодня ваш день рождения. Как осмеливаетесь вы, Тим Линкинуотер, говорить о чем бы то ни было другом, пока не выслушали пожеланий еще много раз счастливо встретить этот день? Да благословит вас бог, Тим!

— Дорогой брат,— сказал брат Нэд, схватив свободную руку Тима,— Тим Линкинуотер кажется моложе на десять лет, чем был в прошлый день рождения.

— Брат Нэд, дорогой мой друг,— отозвался другой старик,— я думаю, что Тиму Линкинуотеру было сто пятьдесят лет, когда он родился, и постепенно он спустился до двадцати пяти, потому что всякий раз в день своего рождения он становится моложе, чем был год назад.

— Это верно, брат Чарльз, это верно! — ответил брат Нэд.— Никаких сомнений быть не может.

— Помните, Тим,— сказал брат Чарльз,— что сегодня мы обедаем не в два часа, а в половине шестого. Как вам прекрасно известно, Тим Линкинуотер, в эту годовщину мы всегда отступаем от правила. Мистер Никльби, дорогой сэр, вы будете нашим гостем. Тим Линкинуотер, дайте вашу табакерку на память брату Нэду и мне о верном и преданном человеке, а взамен возьмите вот эту как слабый знак нашего почтения и уважения и не раскрывайте ее, пока не ляжете спать, и никогда ни слова об этом не говорите, а не то я убью черного дрозда. Разбойник! Он еще шесть лет назад получил бы золотую клетку, если бы это сделало хоть чуточку счастливее его самого или его хозяина. Брат Нэд, дорогой мой, я готов. В половине шестого, не забудьте, мистер Никльби! Тим Линкинуотер, сэр, позаботьтесь в половине шестого о мистере Никльби. Идем, брат Нэд.

Болтая таким образом, в согласии с обычаем, чтобы лишить другую сторону возможности выразить благодарность и признательность, близнецы удалились вместе, рука

об руку, наградив Тима Линкинуотера драгоценной золотой табакеркой со вложенным в нее банкнотом, ценность которого в десять раз превышала стоимость самой табакерки.

В четверть шестого, минута в минуту, согласно установленному для этой годовщины правилу, прибыла сестра Тима Линкинуотера; и страшную суету подняли сестра Тима Линкинуотера и старая экономка, а причиной суеты послужила шляпка сестры Тима Линкинуотера, посланная с мальчиком из семейного пансиона, где жила сестра Тима Линкинуотера; эта шляпка еще не была доставлена, несмотря на то, что ее положили в картонку, а картонку обвязали платком, а платок привязали к руке мальчика, и несмотря на то, что место назначения было пространно указано на оборотной стороне старого письма, а мальчику под угрозой жесточайших кар, которые едва мог постигнуть ум человеческий, приказали доставить картонку как можно скорее и по дороге не мешкать.

Сестра Тима Линкинуотера волновалась, экономка выражала соболезнование, и обе высовывались из окна третьего этажа посмотреть, не видно ли мальчика,— что было бы весьма отрадно и в сущности равносильно его приходу, так как до угла было меньше пяти ярдов,— но, когда его совсем не ждали, мальчик-посыльный, неся с преувеличенной осторожностью картонку, появился как раз с противоположной стороны, пыхтя и отдуваясь и раскрасневшись от недавнего моциона, что было не удивительно, так как сначала он совершил прогулку, прицепившись сзади к наемной карете, ехавшей в Кемберуэл, а затем следовал за двумя Панчами и проводил людей на ходулях до двери их дома. Впрочем, шляпка оказалась в хорошем состоянии — это было утешительно, и не имело смысла его бранить — это тоже было утешительно. Итак, мальчик весело отправился восвояси, а сестра Тима Линкинуотера сошла вниз представиться обществу ровно через пять минут после того, как непогрешимые стенные часы Тима Линкинуотера пробили половину шестого.

Общество состояло из братьев Чирибл, Тима Линкинуотера, краснолицего седовласого приятеля Тима (ко-

торый был банковским клерком, вышедшим на пенсию) и Николаса, представленного с большою важностью и торжественностью сестре Тима Линкинуотера. Так как все были в сборе, брат Нэд позвонил, чтобы подавали обед, и, когда обед вскоре после этого был подан, повел сестру Тима Линкинуотера в соседнюю комнату, где были сделаны великолепные приготовления. Затем брат Нэд сел во главе стола, а брат Чарльз в другом конце, а сестра Тима Линкинуотера села по левую руку брата Нэда, а сам Тим Линкинуотер по правую его руку, а престарелый дворецкий, с апоплексической наружностью и очень короткими ногами, занял позицию за спинкой кресла брата Нэда, простер правую руку, готовясь красивым жестом снять крышку с блюда, и застыл, прямой и неподвижный.

— Брат Чарльз, за эти и все другие блага...— начал Нэд.

— ...возблагодарим господа, брат Нэд! — сказал Чарльз.

После чего апоплексический дворецкий быстро снял крышку с суповой миски и мгновенно развил необычайную энергию.

Много было разговоров, и не приходилось опасаться пауз, так как благодушие славных старых близнецов расшевелило всех, и сейчас же после первого бокала шампанского сестра Тима Линкинуотера начала пространное и обстоятельное повествование о младенческих годах Тима Линкинуотера, не забыв предварить, что она гораздо моложе Тима и знакома с этими фактами только благодаря тому, что о них помнили и рассказывали в семье. По окончании этой истории брат Нэд рассказал, как ровно тридцать пять лет назад Тим Линкинуотер был заподозрен в том, что получил любовное письмо, и как в контору поступили туманные сведения, будто его видели прогуливающимся в Чипсайде с необыкновенно красивой старой девой; это было встречено взрывом смеха, а Тим Линкинуотер, которого уличили в том, что он покраснел, и потребовали объяснений, отрицал справедливость упреков и заявил, что никакой беды в этом нет, даже если бы это была правда. Последние слова заставили престарелого банковского клерка и оглушительно захохотать и объявить,

что такого прекрасного ответа он никогда еще не слыхал и что, сколько бы ни говорил Тим Линкинуотер, не скоро удастся ему сказать нечто подобное.

Одна маленькая церемония, связанная с этим днем, и по существу своему и по характеру произвела очень сильное впечатление на Николаса. Когда сняли скатерть и графины в первый раз пошли по кругу, спустилось глубокое молчание и на веселых лицах братьев появилось выражение если и не меланхолическое, то серьезное и задумчивое, весьма необычное за праздничным столом. Пока Николас, пораженный этой внезапной переменой, недоумевал, что может она предвещать, оба брата вместе поднялись, и стоявший во главе стола наклонился вперед к другому и, говоря тихим голосом, словно обращаясь только к нему, сказал:

— Брат Чарльз, дорогой мой друг, еще одно событие связано с этим днем, которое никогда не должно быть предано забвению и никогда не может быть предано забвению тобою и мной. Этот день, который дал миру самого верного, превосходного и примерного человека, отнял у мира добрейшую и лучшую из матерей, лучшую из матерей для нас обоих. Хотел бы я, чтобы она могла видеть наше благополучие и разделять его и была счастлива, зная, что сейчас мы ее любим так же, как любили, когда были бедными мальчиками. Но этому не суждено свершиться. Мой дорогой брат, почтим память нашей матери.

«Боже мой! — подумал Николас.— А ведь есть десятки людей, равных им по положению, которые, зная все это и еще в двадцать тысяч раз больше, не пригласят их к обеду, потому что они едят с ножа и никогда не ходили в школу!»

Но сейчас не время было философствовать, потому что веселье снова вступило в свои права, и, когда графин портвейна был почти осушен, брат Нэд позвонил в колокольчик, после чего немедленно явился апоплексический дворецкий.

— Дэвид! — сказал брат Нэд.

— Сэр! — ответил дворецкий.

— Большую бутылку токайского, Дэвид! Выпьем за здоровье мистера Линкинуотера.

Показав чудо ловкости, которое привело в восторг всю компанию и ежегодно приводило ее в восторг уже много лет, апоплексический дворецкий мгновенно предъявил спрятанную за спиной бутылку с ввинченным штопором, сразу откупорил ее и поместил бутылку и пробку перед своим хозяином с важностью человека, знающего цену своему мастерству.

— Ха! — сказал брат Нэд, сначала осмотрев пробку, а затем наполнив свою рюмку, в то время как старый дворецкий взирал самодовольно и благосклонно, словно все это принадлежало лично ему, но гостям предлагалось угощаться в свое удовольствие.— На вид неплохо, Дэвид.

— Так оно и должно быть, сэр,— отозвался Дэвид.— Вам пришлось бы потрудиться, чтобы найти стакан такого вина, как наше токайское, и мистеру Линкинуотеру это хорошо известно. Это вино было разлито в бутылки, когда мистер Линкинуотер в первый раз обедал здесь, джентльмены.

— Нет, Дэвид, нет,— вмешался брат Чарльз.

— Прошу прощения, сэр, я сам сделал запись в книге вин,— сказал Дэвид тоном человека, вполне уверенного в приводимых им фактах.— Мистер Линкинуотер служил здесь только двадцать лет, сэр, когда было разлито токайское.

— Дэвид совершенно прав, совершенно прав, брат Чарльз,— заметил Нэд.— Все собрались, Дэвид?

— Они за дверью, сэр,— ответил дворецкий.

— Пусть войдут, Дэвид, пусть войдут.

Получив такое приказание, старый дворецкий поставил перед своим хозяином небольшой поднос с чистыми рюмками и, открыв дверь, впустил веселых грузчиков и кладовщиков, которых Николас видел внизу. Их было четверо. Они вошли, кланяясь, ухмыляясь и краснея; экономка, кухарка и горничная составляли арьергард.

— Семеро,— сказал брат Нэд, наполняя соответствующее количество рюмок,— и Дэвид восьмой. Так! Теперь все вы должны выпить за здоровье вашего лучшего друга мистера Тимоти Линкинуотера и пожелайте ему быть здоровым, жить долго и еще много раз счастливо праздновать этот день — праздновать ради самого мистера Линкинуотера и ради ваших старых хозяев, которые

считают его бесценным сокровищем. Тим Линкинуотер, сэр, за ваше здоровье! Черт бы вас побрал, Тим Линкинуотер, сэр, да благословит вас бог!

После этих весьма противоречивых восклицаний брат Нэд угостил Тима Линкинуотера тумаком по спине, от чего Тим на момент стал походить на апоплексического дворецкого, а затем брат Нэд мгновенно осушил свою рюмку.

Как только была оказана честь этому тосту за Тима Линкинуотера, один из самых дюжих и веселых подчиненных, растолкав своих товарищей, шагнул вперед, очень красный и разгоряченный, дернул себя за единственную прядь седых волос, спускавшуюся на лоб, как бы почтительно приветствуя компанию, и произнес следующую речь, энергически вытирая при этом ладони синим бумажным носовым платком:

— Раз в год нам дается это право, джентльмены, и, с вашего разрешения, мы им сейчас воспользуемся. Нет времени лучше, чем настоящее, и, как всем известно, две птицы в руке не сто́ят одной в кустах — или наоборот, но смысл от этого не меняется. (Пауза — дворецкий в этом не уверен.) Мы хотим сказать, что никогда не бывало (смотрит на дворецкого) таких (смотрит на кухарку) благородных, превосходных (смотрит на всех и не видит никого), щедрых, великодушных хозяев, как те, которые так прекрасно угостили нас сегодня. И вот поблагодарим их за всю доброту, которая постоянно разливается ими повсюду, и пожелаем им жить долго и помереть счастливо.

По окончании сего спича — а он мог быть гораздо более изящным и значительно менее отвечать цели — все служащие под командой апоплексического дворецкого трижды прокричали «ура», каковое, к величайшему негодованию этого джентльмена, оказалось не совсем стройным, ибо женщины упорно выкрикивали множество раз короткие пронзительные «ура». После этого служащие удалились; вскоре после них удалилась сестра Тима Линкинуотера, а спустя некоторое время все встали из-за стола, чтобы заняться чаем, кофе и игрой в карты.

В половине одиннадцатого — поздний час для площади — появился поднос с сандвичами и чаша бишопа *,

который, завершая действие токайского и других возбуждающих средств, произвел сильнейшее впечатление на Тима Линкинуотера; он отвел Николаса в сторону и конфиденциально дал ему понять, что все сказанное о необыкновенно красивой старой деве совершенно правильно и что она была действительно так хороша, как ее изобразили, даже еще лучше, но что она слишком торопилась изменить свое положение и в результате, пока Тим ухаживал за ней и подумывал о перемене своего положения, вышла замуж за кого-то другого.

— Полагаю, что все-таки это была моя вина,— сказал Тим.— В один из ближайших дней я вам покажу эстамп, который висит у меня наверху. Он мне стоил двадцать пять шиллингов. Я его купил вскоре после того, как мы охладели друг к другу. Вы никому не говорите, но это самое поразительное случайное сходство, какое только можно себе представить, вылитый ее портрет, сэр!

Был уже двенадцатый час, и, когда сестра Тима Линкинуотера заявила, что ей следовало быть дома по крайней мере час назад, послали за каретой, в которую ее усадил с большими церемониями брат Нэд, тогда как брат Чарльз давал подробнейшие указания кучеру и, вручив ему шиллинг сверх полагающейся платы, дабы он с величайшей заботливостью отнесся к леди, едва не задушил его рюмкой спиртного необычайной крепости, а затем едва не вышиб дух из его тела энергическими усилиями снова привести его в чувство.

Наконец, когда карета отъехала и сестра Тима Линкинуотера благополучно отправилась восвояси, Николас и друг Тима Линкинуотера попрощались и предоставили старому Тиму и достойным братьям располагаться на отдых.

Так как Николасу пришлось пройти некоторое расстояние пешком, было далеко за полночь, когда он вернулся домой, где мать и Смайк не ложились в ожидании его прихода. Давно уже настала пора, когда они обычно укладывались спать, и они поджидали его по крайней мере два часа, но для них время не тянулось медленно, так как миссис Никльби развлекала Смайка генеалогическим отчетом о своей родне с материнской стороны, включавшим краткие биографии основных ее членов, а Смайк

сидел и недоумевал, о чем это идет речь и заучено ли это из книги, или почерпнуто из головы миссис Никльби; так что они провели время очень приятно.

Николас не мог лечь спать, не распространившись о высоких достоинствах и щедрости братьев Чирибл и не поведав о блестящем успехе, которым увенчались в тот день его труды. Но не успел он сказать и десяти слов, как миссис Никльби после многочисленных лукавых подмигиваний и кивков заметила, что мистер Смайк изнемогает от усталости и она вынуждена настаивать, чтобы он не сидел ни минуты дольше.

— Право же, он на редкость покорное создание,— сказала миссис Никльби, когда Смайк пожелал им спокойной ночи и вышел из комнаты.— Я знаю, ты меня извинишь, Николас, дорогой мой, но я не люблю это делать при постороннем человеке, в особенности при молодом — это было бы не совсем прилично, хотя я, право, не понимаю, что тут плохого, разве что это, конечно, не очень мне к лицу, хотя иные утверждают, что чрезвычайно к лицу, и я, право, не знаю, почему бы это было не к лицу, если он изящно сшит и края собраны в мелкие складочки; конечно, от этого зависит очень многое.

С таким предисловием миссис Никльби вынула ночной чепец из очень большого молитвенника, где он лежал, аккуратно сложенный, между страницами, и принялась его завязывать, не переставая болтать и, по своему обыкновению, перескакивая с одной темы на другую.

— Пусть говорят, что хотят,— заметила миссис Никльби,— но ночной чепец — вещь очень удобная, и я уверена, ты бы в этом признался, Николас, дорогой мой, если бы у тебя был колпак с тесемками и ты носил бы его по-человечески, а не надевал на самую макушку, как приютский мальчик. Ты не думай, что нелепо и недостойно мужчины уделять внимание своему ночному колпаку; я часто слышала, как твой бедный дорогой папа и преподобный мистер... как его там звали... он, бывало, говорил проповедь в той старой церкви с забавным шпилем, с которого ночью слетел флюгер через неделю после твоего рождения... я часто слышала, как они говорили, что в колледже молодые люди очень заботятся о своем

ночном колпаке *, и оксфордские ночные колпаки даже прославились, такие они крепкие и добротные. И там молодому человеку и в голову не придет лечь спать без ночного колпака, а я думаю, всеми признано, что эти молодые люди знают, что хорошо, что плохо, и они отнюдь не неженки.

Николас засмеялся и, не распространяясь на тему этого длинного разглагольствования, вернулся к приятному разговору о маленькой вечеринке по случаю дня рождения. А так как миссис Никльби тотчас же очень заинтересовалась ею и задала множество вопросов касательно того, что подавали на обед, и кто там был, и что сказали «мистеры Чириблы», и что сказал Николас, и что сказали «мистеры Чириблы», когда он это сказал,— Николас со всеми подробностями описал празднество, а также события этого утра.

— Сейчас уже поздно,— сказал Николас,— но я такой эгоист, что мне бы хотелось, чтобы Кэт не спала и слышала это. Когда я шел сюда, я только о том и думал, чтобы ей обо всем рассказать.

— О, Кэт легла спать,— сказала миссис Никльби, положив ноги на решетку камина и ближе придвинув к нему кресло, словно приготовляясь к длинному разговору.— Да, вот уже часа два тому назад, и я очень рада, Николас, дорогой мой, что уговорила ее не дожидаться тебя, потому что мне очень хотелось воспользоваться случаем и сказать тебе несколько слов. Я, натурально, беспокоюсь, и, конечно, это чудесно и утешительно иметь взрослого сына, которому можно довериться и с которым можно посоветоваться. Право, не знаю, какой смысл иметь сыновей, если им нельзя довериться!

Николас подавил зевок, как только его мать заговорила, и посмотрел на нее с напряженным вниманием.

— Была одна леди по соседству с нами,— сказала миссис Никльби,— я ее вспомнила, заговорив о сыновьях,— была одна леди по соседству с нами, когда мы жили в Даулише, кажется ее фамилия была Роджерс... да, я уверена, что Роджерс... если только не Морфи, я в этом не уверена...

— Так вы о ней хотели поговорить со мной, мама? — спокойно спросил Николас.

— О ней?! — вскричала миссис Никльби.— Боже милостивый, Николас, дорогой мой, какой ты странный! Но так всегда бывало и с твоим бедным дорогим папой, точь-в-точь так же: всегда рассеянный, ни на минуту не мог сосредоточиться на чем-нибудь одном. Я его как сейчас вижу! — сказала миссис Никльби, вытирая глаза.— Он смотрел на меня, когда я говорила ему о делах, как будто у него все мысли в голове перепутались. Всякий, кто нагрянул бы к нам в такую минуту, подумал бы, что я его смущаю и сбиваю с толку, а не разъясняю ему дело. Честное слово, подумал бы!

— Мне очень жаль, мама, что я унаследовал это печальное свойство туго соображать,— ласково сказал Николас,— но я изо всех сил постараюсь понять вас, если только вы приступите прямо к делу.

— Бедный твой папа! — призадумавшись, сказала миссис Никльби.— Он так и не узнал никогда, чего я от него добивалась, а потом было уже слишком поздно.

Несомненно, так именно обстояло дело, ибо мистер Никльби до самой смерти не обрел этого знания. Не обрела его и миссис Никльби, что до известной степени многое объясняет.

— А впрочем,— продолжала миссис Никльби, осушив слезы,— это не имеет никакого отношения, ровно никакого отношения к джентльмену из соседнего дома.

— Я бы сказал, что и джентльмен из соседнего дома не имеет никакого отношения к нам,— заметил Николас.

— Не может быть никаких сомнений в том, что он джентльмен,— сказала миссис Никльби.— У него и манеры джентльмена и наружность джентльмена, хотя он ходит в коротких штанах и серых шерстяных чулках. Может быть, это эксцентричность, а может быть, он гордится своими ногами. Не вижу причины, почему бы ему не гордиться. Принц-регент * гордился своими ногами, и Дэниел Ламберт, тоже дородный человек *, гордился своими ногами. А также и мисс Бифин *, она... нет,— поправилась миссис Никльби,— кажется, у нее были только пальцы на ногах, но это одно и то же...

Николас посмотрел на нее, изумленный таким введением к новой теме. Этого-то как будто и ждала от него миссис Никльби.

— Как тебе не удивляться, Николас, дорогой мой! — сказала она.— Я сама была удивлена. Меня это как огнем обожгло, и вся кровь во мне застыла. Его сад примыкает к нашему, и, конечно, я несколько раз его видела, когда он сидел в маленькой беседке среди красных бобов или трудился над своими маленькими грядками. Я даже заметила, что он смотрит очень пристально, но особого внимания не обратила, потому что мы здесь люди новые, и, может быть, он любопытствовал узнать, кто мы такие. Но когда он начал бросать огурцы через стену нашего сада...

— Бросать огурцы через нашу стену?! — с изумлением повторил Николас.

— Да, Николас, дорогой мой,— очень серьезным тоном подтвердила миссис Никльби,— огурцы через нашу стену. А также тыквы.

— Возмутительная наглость! — воскликнул Николас, мгновенно вспылив.— Что он хочет этим сказать?

— Не думаю, чтобы у него были какие-нибудь дерзкие намерения,— отозвалась миссис Никльби.

— Как! — вскричал Николас.— Швырять огурцы и тыквы в голову людям, прогуливающимся в своем собственном саду,— это ли не дерзость? Право же, мама...

Николас запнулся, потому что неописуемое выражение безмятежного торжества и целомудренного смущения появилось на лице миссис Никльби между оборками ночного чепца и внезапно приковало его внимание.

— Должно быть, он очень слабохарактерный, нелепый и неосмотрительный человек,— сказала миссис Никльби,— конечно, достойный порицания — по крайней мере, я думаю, другие нашли бы его достойным порицания; разумеется, я никакого мнения по этому вопросу высказать не могу, в особенности после того, как я всегда защищала твоего бедного дорогого папу, когда другие его порицали за то, что он сделал мне предложение. И несомненно он придумал очень странный способ выражать свои чувства. Но тем не менее его ухаживанье,— разумеется, до сих пор и в определенных пределах,— его ухаживанье лестно. И, хотя я и думать никогда не

стала бы о том, чтобы снова выйти замуж, раз моя милая Кэт еще не пристроена...

— Да разве такая мысль могла хоть на секунду прийти вам в голову, мама? — спросил Николас.

— Ах, боже мой, Николас, дорогой мой! — капризным тоном отозвалась мать.— Разве не то же самое хотела я сказать, если бы ты мне только дал договорить? Конечно, я ни секунды об этом не помышляла, и я изумлена и поражена, что ты считаешь меня способной на подобную вещь. Я хочу спросить только об одном: какое средство будет наилучшим, чтобы отклонить эти авансы вежливо и деликатно, не слишком оскорбить его чувства и не довести его до отчаяния или до чего-нибудь еще в этом роде? Боже милостивый! — воскликнула миссис Никльби.— Что, если бы он что-нибудь над собой сделал? Разве могла бы я тогда жить счастливо, Николас?

Несмотря на свое раздражение и досаду, Николас с трудом удержался от улыбки, когда ответил:

— Неужели вы думаете, мама, что самый жестокий отказ может повлечь за собой такие последствия?

— Честное слово, не знаю, дорогой мой,— отозвалась миссис Никльби.— Право, не знаю. Как раз в газете от третьего дня была помещена заметка из какой-то французской газеты об одном сапожнике, который стал ревновать девушку из соседней деревни, потому что она не захотела запереться с ним на третьем этаже и вместе умереть от угара; тогда он пошел и, взяв острый нож, спрятался в лесу и выскочил оттуда, когда она проходила мимо с подругами, и убил сначала себя, потом всех подруг, а потом ее... нет, сначала всех подруг, а потом ее, а потом себя,— и об этом даже подумать страшно. Судя по газетам,— добавила миссис Никльби,— почему-то такие вещи всегда проделывают во Франции сапожники. Не знаю, почему это так — вероятно, есть что-то такое в коже.

— Но ведь этот человек не сапожник; что же он делал, мама, что говорил? — осведомился Николас, раздраженный до крайности, но старавшийся казаться таким же спокойным и уравновешенным, как сама миссис Никльби.— Как вам известно, нет языка овощей, который превращал бы огурец в формальное объяснение в любви.

— Дорогой мой,— ответила миссис Никльби, качая головой и глядя на золу в камине,— он делал и говорил всевозможные вещи.

— С вашей стороны никакой ошибки быть не могло? — спросил Николас.

— Ошибки! — воскликнула миссис Никльби.— Боже мой, Николас, дорогой мой, неужели ты думаешь, я не понимаю, когда человек говорит серьезно?

— Ну-ну! — пробормотал Николас.

— Каждый раз, когда я подхожу к окну,— сказала миссис Никльби,— он одной рукой посылает воздушный поцелуй, а другую прикладывает к сердцу,— конечно, очень глупо так делать, и, вероятно, ты скажешь, что это очень нехорошо, но он это делает чрезвычайно почтительно — да, чрезвычайно почтительно и очень нежно, в высшей степени нежно. Пока он заслуживает полного доверия, в этом не может быть никаких сомнений. А потом эти подарки, которые каждый день летят через стену, и, конечно, подарки очень хорошие, очень хорошие; один огурец мы съели вчера за обедом, а остальные думаем замариновать на зиму. А вчера вечером,— добавила миссис Никльби, приходя в еще большее смущение,— когда я гуляла в саду, он тихо окликнул меня из-за стены и предложил сочетаться браком и бежать. Голос у него чистый, как колокольчик или как хрусталь, да, очень похож на хрусталь, но, конечно, я к нему не прислушивалась. Теперь, Николас, дорогой мой, вопрос заключается в том, что мне делать?

— Кэт об этом знает? — спросил Николас.

— Я ей еще ни слова не говорила,— ответила мать.

— И, ради бога, не говорите,— сказал Николас, вставая,— потому что это ее очень огорчит. А относительно того, что вам делать, дорогая мама, делайте то, что вам подскажут ваш здравый смысл, доброе сердце и уважение к памяти моего отца. Есть тысячи способов показать, что вам неприятно это дурацкое и нелепое ухаживание. Если вы будете действовать решительно, как и надлежит действовать, и если это ухаживание будет продолжаться и докучать вам, я могу быстро положить ему конец. Но я предпочел бы не вмешиваться в такую смешную историю и не придавать ей значения, пока вы сами можете

постоять за себя. Большинство умеет это делать, в особенности женщины ваших лет и в вашем положении, когда с ними случается нечто подобное, не заслуживающее в сущности серьезного внимания. Я не хочу вас смущать, делая вид, будто принимаю это близко к сердцу или придаю этому серьезное значение. Безмозглый старый идиот!

С этими словами Николас поцеловал мать, пожелал ей спокойной ночи, и они разошлись по своим комнатам.

Нужно отдать справедливость миссис Никльби: привязанность к детям помешала бы ей раздумывать о втором браке, даже если бы она склонялась к нему, покончив с воспоминаниями о покойном муже. Но, хотя сердце миссис Никльби не ведало злых чувств и в нем было мало подлинного эгоизма, однако голова у нее была слабая и пустая; и столь лестны были ей, в ее возрасте, домогательства ее руки (и притом тщетные домогательства), что она не могла отвергнуть страсть неизвестного джентльмена с такой легкостью и решительностью, какие, по-видимому, почитал уместными Николас.

«Я решительно не понимаю,—рассуждала сама с собой миссис Никльби в своей спальне,— что тут дурацкого, нелепого и смешного? Разумеется, никаких надежд у него быть не может, но почему он «безмозглый старый идиот», признаюсь, я не понимаю. Ведь он не знает, что это безнадежно. Бедняга! По-моему, он достоин сожаления!»

После таких размышлений миссис Никльби посмотрела на себя в маленькое зеркало и, отступив от него на несколько шагов, постаралась припомнить, кто это, бывало, говорил, что, когда Николасу исполнится двадцать один год, его будут принимать скорее за ее брата, чем за сына. Не воскресив в памяти фамилии этого авторитетного лица, она погасила свечу и подняла штору, чтобы впустить дневной свет, так как к тому времéни начал загораться день.

— Недостаточно светло, чтобы различать предметы,— прошептала миссис Никльби, выглядывая в сад,— и зрение у меня не очень хорошее, я с детства близорука,— но, честное слово, мне кажется, еще одна большая тыква торчит на осколках бутылок наверху стены.

ГЛАВА XXXVIII

заключает кое-какие обстоятельства, вызванные визитом с выражением соболезнования, которые могут оказаться существенными в дальнейшем. Смайк неожиданно встречает очень старого друга, который приглашает его к себе и не принимает никаких возражений

Совершенно не подозревая о выходках влюбленного соседа и о том, какое впечатление производили они на чувствительное сердце ее матушки, Кэт Никльби начала к тому времени наслаждаться ощущением прочного покоя и счастья, которое она давно уже не знала, даже случайно и мимолетно. Она жила под одним кровом с любимым братом, с которым ее так внезапно и жестоко разлучили, успокоилась и избавилась от всяких преследований, какие могли вызвать краску на ее лице, и для нее как будто наступила новая пора жизни. Прежняя беззаботность вернулась к ней, походка снова стала упругой и легкой, угасший румянец вновь заиграл на щеках, и никогда еще Кэт Никльби не была так очаровательна.

К такому выводу привели мисс Ла-Криви ее наблюдения и размышления, когда коттедж, как энергически выразилась она, «был окончательно приведен в порядок, начиная с дымовой трубы и кончая железной скобой у двери», и деятельная маленькая женщина улучила, наконец, минутку подумать о его обитателях.

— И уверяю вас, этой минутки у меня не было с тех пор, как я в первый раз пришла сюда,— сказала мисс Ла-Криви,— потому что я ни о чем не думала, кроме молотков, гвоздей, отверток и буравов утром, днем и вечером.

— О себе у вас, конечно, ни одной мысли не мелькнуло,— улыбаясь, отозвалась Кэт.

— Честное слово, дорогая моя, когда есть столько гораздо более приятных вещей, о которых стоит подумать,— я была бы гусыней, если бы думала о себе,— сказала мисс Ла-Криви.— Кстати, кое о ком я подумала. Знаете ли, я замечаю большую перемену в одном из членов семьи, чрезвычайную перемену.

— В ком? — с беспокойством спросила Кэт.— Не в...

— Нѐ в вашем брате, дорогая моя,— перебила мисс Ла-Криви, угадав конец фразы,— потому что он все тот же любящий, добрый, умный человек с примесью... не скажу, чего!.. каким он был, когда я только что познакомилась с вами. Нет! Смайк,— он, бедняга, настаивает, чтобы его так называли, и слышать не хочет о «мистере» перед своей фамилией,— вот он очень изменился даже за такое короткое время.

— Как? — спросила Кэт.— Разве ухудшилось его здоровье?

— Н-нет, пожалуй, тут дело не в здоровье,— призадумавшись, сказала мисс Ла-Криви,— хотя он слабое, измученное создание и в лице у него есть что-то такое, от чего у меня сердце надорвалось бы, если бы я заметила это у вас. Нет, дело не в здоровье.

— В чем же?

— Хорошенько не знаю,— сказала миниатюристка.— Но я за ним следила, и часто у меня слезы навертывались на глазах. Их, конечно, не очень трудно вызвать, потому что я быстро могу расчувствоваться, но все-таки я думаю, что на этот раз для них были причины и основания. Я уверена, что он по каким-то веским мотивам стал сильнее ощущать скудость своего ума. Он глубже это чувствует. Ему мучительнее стало сознавать, что иной раз он заговаривается и не понимает самых простых вещей. Я следила за ним, когда вас не было поблизости, дорогая моя, и видела, как он задумчиво сидел в сторонке с таким печальным видом, что я едва могла смотреть на него, а потом вставал и уходил из комнаты такой грустный и в таком унынии, что я и рассказать вам не могу, как мне было больно. Не больше трех недель назад это был беззаботный работящий юноша, радовавшийся суете и веселившийся с утра до ночи. Теперь это другой человек — все то же услужливое, безобидное, преданное, любящее создание, но во всем остальном другой человек.

— Конечно, все это пройдет,— сказала Кэт.— Бедняга!

— Надеюсь, это пройдет,— отозвалась ее маленькая приятельница с необычной для нее серьезностью.— Надеюсь и хочу ради бедного мальчика, чтобы все это прошло. А впрочем,— продолжала мисс Ла-Криви, возвра-

щаясь к свойственной ей беззаботной болтливости,— я сказала то, что собиралась сказать, и сказала очень длинно и ничуть не удивлюсь, если совсем неверно. Сегодня вечером я его во всяком случае развеселю, потому что, если он будет моим кавалером до самого Стрэнда, я буду болтать, и болтать, и болтать, и не уймусь, пока чем-нибудь его не рассмешу. Стало быть, чем раньше он со мной пойдет, тем лучше для него, и, разумеется, чем раньше я пойду, тем лучше для меня, а не то моя служанка начнет кокетничать с кем-нибудь, кто может ограбить дом, хотя что можно оттуда вынести, кроме столов и стульев, я не знаю, разве что миниатюры,— и ловок будет тот вор, который продаст их выгодно, потому что я этого не могу сделать, и это сущая правда.

С такими словами мисс Ла-Криви скрыла свое лицо полями очень плоской шляпки, а себя самое закутала в очень большую шаль и, туго затянув ее на себе и заколов большой булавкой, заявила, что теперь пусть омнибус приезжает когда ему угодно, так как она совсем готова.

Но оставалось еще попрощаться с миссис Никльби, и задолго до того, как славная леди закончила воспоминания, имевшие отношение к данному случаю, омнибус прибыл. Это заставило всполошиться мисс Ла-Криви, в результате чего, когда она за парадной дверью потихоньку награждала служанку восемнадцатью пенсами, у нее из ридикюля высыпалось на десять пенсов полупенни, которые закатились во все углы коридора, и понадобилось немало времени, чтобы их собрать. За этой церемонией, разумеется, снова последовали поцелуи при расставании с Кэт и миссис Никльби и поиски маленькой корзиночки и пакета в оберточной бумаге, а во время этой процедуры «омнибус,— как выразилась мисс Ла-Криви,— так отчаянно ругался, что слушать было страшно». Наконец он притворился, будто уезжает, а тогда мисс Ла-Криви вырвалась на улицу и ворвалась в него, принося многословные извинения всем пассажирам и уверяя, что умышленно она ни за что не заставила бы их ждать. Пока она выбирала удобное местечко, кондуктор впихнул Смайка и крикнул, что все в порядке, хотя это было и не так, и громоздкий экипаж отъехал, гремя по крайней мере как полдюжины телег с пивными бочками.

Мы предоставим ему продолжать путешествие по воле вышеупомянутого кондуктора, который грациозно развалился на своей маленькой скамейке сзади, покуривая вонючую сигару, и предоставим ему останавливаться или подвигаться вперед галопом или ползком, в зависимости от того, что покажется уместным или целесообразным сему джентльмену,— а тем временем воспользуемся случаем и удостоверимся, каково состояние сэра Мальбери Хоука и в какой мере он к этому времени оправился от повреждений, полученных им, когда он был выброшен из кабриолета при обстоятельствах, изложенных выше.

Со сломанной ногой, с тяжелыми ушибами, с лицом, обезображенным еще не затянувшимися рубцами, бледный и изнуренный недавними страданиями и лихорадкой, сэр Мальбери Хоук лежал простертый на кровати, к которой ему суждено было остаться прикованным еще несколько недель. Мистер Пайк и мистер Плак занимались обильными возлияниями в смежной комнате, время от времени прерывая монотонный гул разговора приглушенным смехом, тогда как молодой лорд,— единственный член этой компании, еще подававший надежды на исправление и несомненно имевший доброе сердце,— сидел подле своего ментора с сигарой во рту и читал ему при свете лампы те сообщения из сегодняшней газеты, какие могли его заинтересовать или позабавить.

— Проклятые собаки! — сказал больной, нетерпеливо повернув голову в сторону соседней комнаты.— Неужели ничем нельзя заткнуть их чертовы глотки?

Мистеры Пайк и Плак услышали это восклицание и мгновенно притихли, подмигнув друг другу и наполнив до краев стаканы в виде вознаграждения за вынужденное молчание.

— Черт возьми! — сквозь зубы пробормотал больной, нетерпеливо ерзая на кровати.— Мало того что матрац жесткий, комната дурацкая и боль несносная,— нет, еще они должны меня мучить! Который час?

— Половина девятого,— ответил его друг.

— Придвиньте стол ближе, и возьмемся снова за карты,— сказал сэр Мальбери.— Опять в пикет. Начали...

Любопытно было наблюдать, с каким интересом больной, лишенный возможности двигаться, поворачивал го-

лову, следя во время игры за каждым ходом своего друга, с каким пылом и страстью он играл — и, однако, с какой осторожностью и хладнокровием! Его умение и ловкость раз в двадцать превышали способности его противника, которому не по плечу было бороться с ним, даже если судьба посылала хорошие карты, что случалось не часто. Сэр Мальбери выигрывал все партии, а когда его приятель бросил карты и отказался продолжать игру, он протянул исхудавшую руку и сгреб ставки с хвастливым ругательством и с тем же хриплым хохотом, хотя далеко не таким громким, какой звучал несколько месяцев назад в столовой Ральфа Никльби.

Когда он был занят этим, вошел его слуга и доложил, что мистер Ральф Никльби ждет внизу и желает узнать, как он себя сегодня чувствует.

— Лучше,— нетерпеливо отозвался сэр Мальбери.

— Мистер Никльби желает знать, сэр...

— Говорю вам — лучше! — повторил сэр Мальбери, хлопнув рукой по столу.

Слуга колебался секунду, а затем сказал, что мистер Никльби просит разрешения повидать сэра Мальбери Хоука, если это его не стеснит.

— Стеснит. Я не могу его принять. Я никого не принимаю,— сказал его хозяин с еще большим раздражением.— Вы это знаете, болван!

— Прошу прощенья, сэр,— ответил слуга,— но мистер Никльби так настаивал, сэр...

Дело в том, что Ральф Никльби подкупил слугу, который надеялся также и на будущие милости и потому придерживал дверь рукой и не торопился уходить.

— Он сказал, что пришел поговорить по делу? — осведомился сэр Мальбери после досадливого раздумья.

— Нет, сэр. Он сказал, что хочет вас видеть, сэр. Мистер Никльби очень настаивал, сэр.

— Скажите ему, чтобы поднялся сюда. Постойте! — крикнул сэр Мальбери, останавливая слугу и проводя рукой по своему обезображенному лицу.— Возьмите эту лампу и поставьте ее на подставку за моей спиной. Отодвиньте стол и переставьте туда кресло, подальше. Вот так!

Слуга исполнил эти приказания, по-видимому прекрасно понимая мотивы, которыми они были продиктованы, и вышел из комнаты. Лорд Фредерик Верисофт, сказав, что скоро вернется, перешел в смежную комнату и закрыл за собой двустворчатую дверь.

Послышались тихие шаги на лестнице, и Ральф Никльби со шляпой в руке бесшумно пробрался в комнату, наклонившись всем туловищем вперед, как бы с глубоким почтением, и пристально всматриваясь в лицо своего достойного клиента.

— Как видите, Никльби,— сказал сэр Мальбери, указав ему на кресло у кровати и с напускной беспечностью махнув рукой,— со мной произошел несчастный случай.

— Вижу,— отозвался Ральф, все так же пристально смотря на него.— Ужасно. Я бы вас не узнал, сэр Мальбери. Ах, боже мой! Ужасно...

Вид у Ральфа был чрезвычайно смиренный и почтительный, а голос приглушенный — именно такой, каким учит говорить посетителя деликатнейшее внимание к больному. Но выражение его лица, когда сэр Мальбери отворачивался, являло поразительный контраст. И, когда он стоял в обычной своей позе, спокойно глядя на простертую перед ним фигуру, те черты лица, которые не были затенены нависшими и сдвинутыми бровями, складывались в саркастическую улыбку.

— Садитесь,— сказал сэр Мальбери, повернувшись к нему, по-видимому, с величайшим усилием.— Я не картина, чтобы стоять и глазеть на меня.

Когда он повернулся, Ральф отступил шага на два и, притворяясь, будто ему нестерпимо хочется выразить свое изумление, но он решил не делать этого, сел с прекрасно разыгранным смущением.

— Я ежедневно справлялся внизу, сэр Мальбери,— сказал Ральф,— первое время даже по два раза в день, а сегодня вечером ввиду старого знакомства и деловых операций, которые мы проводили вместе к обоюдному удовлетворению, я не устоял перед желанием проникнуть в вашу спальню. Вы очень... вы очень страдаете? — спросил Ральф, наклоняясь и позволяя себе улыбнуться той же жестокой улыбкой, когда больной закрыл глаза.

— Больше, чем мне бы хотелось, и меньше, чем хотелось бы иным разорившимся клячам, которых мы с вами знаем и которые винят нас в своем разорении,— отозвался сэр Мальбери, беспокойно проводя рукой по одеялу.

Ральф пожал плечами, протестуя против крайнего раздражения, с каким были сказаны эти слова,— раздражения, вызванного оскорбительным, холодным тоном, который так раздосадовал больного, что тот едва мог его вынести.

— А что это за «деловые операции», которые привели вас сюда? — спросил сэр Мальбери.

— Пустяки,— ответил Ральф.— Есть несколько векселей милорда, которые нужно переписать, но это можно отложить до вашего выздоровления. Я... я... пришел,— продолжал Ральф, говоря медленно и с более резкими ударениями,— я пришел сказать вам о том, как я огорчен, что какой-то мой родственник — правда, я от него отрекся — подверг вас такому наказанию, как...

— Наказанию! — перебил сэр Мальбери.

— Я знаю, что оно было жестоко,— сказал Ральф, умышленно истолковав это восклицание превратно,— тем больше хотелось мне заверить вас, что я отрекаюсь от этого негодяя, что я не признаю его моим родственником, и пусть он получит по заслугам от вас или от кого угодно. Можете, если хотите, свернуть ему шею. Я вмешиваться не буду.

— Так, значит, эта басня, которую мне здесь передавали, ходит по городу? — спросил сэр Мальбери, стискивая кулаки и зубы.

— Всюду об этом кричат,— ответил Ральф.— Разошлось по всем клубам и игорным залам. Говорят, об этом сложили славную песенку,— добавил Ральф, жадно всматриваясь в своего собеседника.— Я-то ее не слыхал,— такие вещи меня не касаются,— но мне говорили, что она даже напечатана и, разумеется, о ней всем известно.

— Это ложь! — крикнул сэр Мальбери.— Говорю вам, все это ложь! Кобыла испугалась.

— *Говорят,* он ее испугал,— заметил Ральф тем же спокойным невозмутимым тоном.— Кое-кто говорит, что он *вас* испугал, но это ложь, я знаю. Я так прямо и ска-

зал,— о, десятки раз говорил! Я человек миролюбивый, но я не могу слышать, когда о вас говорят такие вещи. Нет, нет!

Когда сэр Мальбери вновь обрел способность внятно выговаривать слова, Ральф наклонился вперед, приставив руку к уху, и при этом лицо его было так спокойно, словно каждая его суровая черта была отлита из чугуна.

— Когда я встану с этой проклятой кровати,— сказал больной, в припадке бешенства ударив себя по сломанной ноге,— я отомщу так, как никогда еще не мстил ни один человек. Клянусь богом, отомщу! Случай помог ему положить мне метку на лицо недели на две, но я ему оставлю такую метку, что он донесет ее до могилы. Я искромсаю ему нос и уши, высеку его, искалечу на всю жизнь! Мало того: этот образец целомудрия, это чудо стыдливости — его нежную сестрицу — я ее протащу через...

Возможно, что в этот момент даже холодная кровь Ральфа обожгла ему щеки. Возможно, сэр Мальбери вспомнил, что хотя Ральф и был негодяем и ростовщиком, но когда-то, в раннем детстве, он обвивал руками шею отца Кэт. Он запнулся и, потрясая кулаком, скрепил недосказанную угрозу страшным проклятьем.

— Невыносимо думать,—сказал Ральф после короткого молчания, зорко всматриваясь в пострадавшего,— что светский человек, повеса, roué [1], опытнейший хитрец очутился в таком неприятном положении по милости какого-то мальчишки!

Сэр Мальбери метнул на него злобный взгляд, но глаза Ральфа были опущены, а лицо не выражало ничего, кроме раздумья.

— Неотесанный жалкий юнец,— продолжал Ральф,— против человека, который одной своей тяжестью мог раздавить его, не говоря уже об умении. Мне кажется, я не ошибаюсь,— сказал Ральф, поднимая глаза,— когда-то вы покровительствовали боксерам?

Больной сделал нетерпеливый жест, который Ральф пожелал истолковать как выражение согласия.

---

[1] Беспринципный, хитрый человек *(франц.)*.

— А! — воскликнул он.— Я так и думал. Это было еще до нашего знакомства, но я был уверен, что не ошибаюсь. Должно быть, он легкий и вертлявый. Но это ничтожные преимущества по сравнению с вашими. Удача, удача! Этим презренным париям везет.

— Она ему понадобится, когда я поправлюсь,— сказал сэр Мальбери Хоук.— Пусть удирает куда хочет.

— О! — быстро подхватил Ральф.— Он об этом и не помышляет. Он здесь, дорогой сэр, здесь, в Лондоне, разгуливает по улицам в полдень, веселится, посматривает, не видно ли вас,— продолжал Ральф с потемневшим лицом; и в первый раз ненависть одержала над ним верх, когда он представил себе ликующего Николаса.— Будь мы гражданами страны, где такие вещи можно было бы делать, ничем не рискуя, я бы хорошо заплатил за то, чтобы ему вонзили нож в сердце и швырнули собакам на растерзание!

Когда Ральф, к некоторому изумлению своего старого клиента, излил эти здравые родственные чувства и взялся за шляпу, собираясь уйти, в комнату заглянул лорд Фредерик Верисофт.

— Черт возьми, Хоук, о чем это вы тут толкуете с Никльби? — спросил молодой человек.— Никогда еще я не слыхал такого шума. Кар-кар-кар! Гав-гав-гав! В чем дело?

— Сэр Мальбери рассердился, милорд,— сказал Ральф, бросив взгляд в сторону кровати.

— Уж не из-за денег ли? С делами что-нибудь не ладится, Никльби?

— Нет, милорд, нет,— отозвался Ральф.— В этом пункте мы всегда согласны. Сэру Мальбери случилось припомнить причину...

Не было необходимости и не было у Ральфа возможности продолжать, ибо сэр Мальбери подхватил эту тему и разразился угрозами и проклятьями, направленными против Николаса, почти с такой же злобой, как и раньше.

Ральф, отличавшийся незаурядной наблюдательностью, с удивлением заметил, что во время этой тирады в поведении лорда Фредерика Верисофта, который вначале

крутил усы с самым фатовским и равнодушным видом, произошла полная перемена. Еще больше удивился он, когда сэр Мальбери умолк, а молодой лорд сердито и почти без всякой аффектации потребовал, чтобы этот разговор никогда не возобновляли в его присутствии.

— Запомните это, Хоук! — прибавил он с несвойственной ему энергией.— Я никогда не приму участия в подлом нападении на молодого человека и не допущу его, если это будет в моих силах...

— В подлом? — перебил его друг.

— Да-а,— сказал тот, повернувшись к нему лицом.— Если бы вы сказали ему, кто вы, если бы дали ему вашу визитную карточку, а затем узнали, что его общественное положение или репутация препятствует вам драться с ним, и тогда это было бы достаточно плохо, клянусь честью, достаточно плохо. А теперь получилось еще хуже, и поступили скверно вы. И я поступил скверно, потому что не вмешался, и в этом я раскаиваюсь. То, что с вами затем произошло, было несчастным случаем, а не результатом злого умысла, и вина скорее ваша, чем его. И с моего ведома он кары за это не понесет, да, не понесет!

Выразительно повторив эти последние слова, молодой лорд повернулся на каблуках, но, прежде чем удалиться в смежную комнату, снова повернулся и добавил с еще большим жаром:

— Теперь я верю, клянусь честью, верю, что эта молодая леди, его сестра, не только красива, но и добродетельна и скромна, а ее брат... я скажу только, что он поступил так, как должен был поступить ее брат: мужественно и смело. От всего сердца и от всей души желал бы я, чтобы любой из нас выпутался из подобной истории с таким достоинством, как он!

С этими словами лорд Фредерик Верисофт вышел из комнаты, оставив Ральфа Никльби и сэра Мальбери пребывающими в самом неприятном изумлении.

— И это ваш ученик? — вкрадчиво спросил Ральф.— Или он только что вышел из рук какого-нибудь деревенского священника?

— У глупых молокососов бывают иной раз такие причуды,— отозвался сэр Мальбери Хоук, кусая губы и указывая на дверь.— Предоставьте его мне.

Ральф обменялся фамильярным взглядом со своим старым знакомым,— интимность их отношений внезапно восстановилась благодаря этой неожиданности, внушавшей опасения,— и отправился домой, в раздумье и не спеша.

Пока происходила эта сцена и задолго до ее окончания, омнибус извергнул мисс Ла-Криви и ее провожатого, и они прибыли к двери ее дома. Добродушная маленькая миниатюристка не могла допустить, чтобы Смайк отправился в обратный путь, не подкрепившись предварительно хотя бы глоточком чего-нибудь усладительного и печеньем, и так как Смайк не имел никаких возражений против глоточка чего-нибудь усладительного или печенья, а напротив, считал их весьма приятной подготовкой к путешествию в Боу, то случилось так, что он замешкался гораздо дольше, чем первоначально предполагал, и прошло не меньше получаса после наступления темноты, когда он тронулся в обратный путь.

Казалось невероятным, чтобы он заблудился, раз дорога была прямая и он почти каждый день проходил здесь с Николасом и домой возвращался один. И вот с полным взаимным доверием мисс Ла-Криви и он пожали друг другу руку, и, получив поручение передать нежные приветы миссис и мисс Никльби, Смайк удалился.

У подножия Ладгет-Хилла он свернул немного в сторону, любопытствуя взглянуть на Ньюгет. В течение нескольких минут он очень внимательно и со страхом смотрел с противоположной стороны улицы на мрачные стены, после чего возвратился назад и быстро зашагал по городу, время от времени останавливаясь, чтобы поглазеть на витрину какого-нибудь особенно притягательного магазина, затем пускаясь бегом, затем снова останавливаясь, как поступал бы на его месте любой деревенский подросток.

Он долго глазел на витрину ювелира, жалея, что не может принести домой в подарок какие-нибудь красивые безделушки, и мечтая о том, какую радость они бы

доставили, если бы он мог это сделать, но вот часы пробили три четверти девятого. Встрепенувшись, он очень быстрым шагом пустился дальше и переходил через боковую улицу, как вдруг почувствовал, что его остановили таким рывком, что он принужден был ухватиться за фонарный столб, чтобы не упасть. В ту же секунду какой-то мальчик крепко обхватил его ногу, и пронзительный крик: «Вот он, отец! Ура!» — зазвенел в его ушах.

Смайк слишком хорошо знал этот голос. Он с отчаянием посмотрел вниз на того, чей голос услышал, и, задрожав с головы до ног, оглянулся. Мистер Сквирс зацепил его ручкой зонта за шиворот и, собрав все силы, повис на другом конце. Торжествующий крик исходил от юного Сквирса, который, невзирая на все пинки и сопротивление, цеплялся за него с упорством бульдога.

Одного взгляда было достаточно, и от этого одного взгляда запуганное создание стало совершенно беспомощным и лишилось способности издать хотя бы звук.

— Вот это удача! — вскричал мистер Сквирс, постепенно перебирая руками зонт и отцепив его не раньше, чем крепко ухватил жертву за воротник.— Восхитительная удача! Уэкфорд, мой мальчик, позови одну из этих карет.

— Карету, отец? — воскликнул маленький Уэкфорд.

— Да, сэр, карету,— ответил Сквирс, упиваясь созерцанием Смайка.— Плевать на расходы! Повезем его в карете.

— Что он такое сделал? — спросил рабочий с лотком кирпичей; на него и на его товарища налетел, пятясь, мистер Сквирс, когда в первый раз дернул зонт.

— Все! — ответил мистер Сквирс в каком-то экстазе, пристально смотря на своего бывшего ученика.— Все!.. Сбежал, сэр... участвовал в кровожадном нападении на своего учителя... Нет такой гадости, которой бы он не сделал. О, бог мой, какая восхитительная удача!

Рабочий перевел взгляд со Сквирса на Смайка, но бедняга окончательно утратил последние умственные способности, какие у него были. Подъехала карета, юный Уэкфорд влез в нее, Сквирс впихнул свою добычу, последовал за нею и поднял окна. Кучер взобрался на козлы и мед-



ленно отъехал, оставив размышлять на досуге о том, что случилось, единственных свидетелей этой сцены — двух каменщиков, старую торговку яблоками и мальчика, возвращавшегося из вечерней школы.

Мистер Сквирс занял место против несчастного Смайка и, плотно опершись руками о колени, смотрел на него минут пять, после чего, как будто очнувшись от экстаза, громко захохотал и угостил своего бывшего ученика несколькими пощечинами, ударяя по очереди то по правой щеке, то по левой.

— Это не сон! — воскликнул Сквирс.— Это плоть и кровь! Я узнаю на ощупь!

И, благодаря этим экспериментам совершенно уверившись в своей удаче, мистер Сквирс закатил ему несколько затрещин, чтобы развлечение не показалось однообразным, и при каждой новой затрещине хохотал все громче и громче.

— Твоя мать с ума сойдет от радости, мой мальчик, когда услышит об этом,— сказал Сквирс сыну.

— Да неужели сойдет, отец? — отозвался юный Уэкфорд.

— Подумать только! — продолжал Сквирс.— Как это мы с тобой вовремя завернули за угол и наткнулись на него, и я его поймал ручкой зонта, как будто зацепил железным крюком! Ха-ха!

— А я разве не ухватил его за ногу, отец? — сказал маленький Уэкфорд.

— Ухватил! Ты молодец, мой мальчик! — сказал мистер Сквирс, погладив сына по голове.— В награду получишь самую лучшую двухбортную куртку и жилет, из тех, что привезет с собой первый же новый мальчик. Запомни это! Никогда не сворачивай с этой тропы и делай то, что делает твой отец, и когда ты умрешь, то попадешь прямехонько на небо, и никаких вопросов тебе задавать не будут.

Воспользовавшись удобным случаем для поучения, мистер Сквирс снова погладил сына по голове, а затем погладил Смайка, но посильнее и шутливым тоном осведомился, как он себя сейчас чувствует.

— Мне нужно домой,— ответил Смайк, дико озираясь.

— Разумеется, нужно. В этом ты прав,— отозвался мистер Сквирс.— И очень скоро ты будешь дома. Не пройдет и недели, как ты очутишься, мой юный друг, в мирной деревушке Дотбойс в Йоркшире, а в следующий раз, когда ты оттуда удерешь, я тебе дам разрешение не возвращаться. Где платье, в котором ты убежал, неблагодарный ты разбойник?

Смайк бросил взгляд на новый костюм, о котором позаботился Николас, и стал ломать руки.

— А знаешь ли ты, что я могу тебя повесить перед Олд-Бейли за то, что ты удрал с этим имуществом? — сказал Сквирс.— Знаешь ли ты, что тут дело пахнет виселицей и — не совсем-то я уверен — может быть, и анатомией *,— потому что ты ушел из дому и унес с собой добра больше чем на пять фунтов? А? Ты это знаешь? Как по-твоему, сколько стоила одежда, которая на тебе была? Знаешь ли ты, что на тебе был веллингтоновский сапог из той пары, которая стоила двадцать восемь шиллингов, и башмак, а пара башмаков стоила семь шиллингов шесть пенсов? Но, попав ко мне, ты попал как раз в ту лавочку, где торгуют милосердием, и благодари свою звезду, что именно я буду отпускать тебе этот товар!

Те, кто не был посвящен в тайны мистера Сквирса, могли бы предположить, что он не только не имеет под рукой большого запаса упомянутого товара для всех желающих, но и вовсе не располагает им; и мнение особ скептических не изменилось бы, когда он вслед за этим замечанием начал тыкать Смайка в грудь наконечником зонта и ловко осыпать градом ударов его голову и плечи, пользуясь спицами того же орудия.

— Никогда еще не случалось мне колотить мальчика в наемной карете,— сказал мистер Сквирс, дав себе передышку.— Есть некоторые неудобства, но новизна доставляет удовольствие!

Бедный Смайк! Он по мере сил отражал удары, а потом забился в угол кареты, опустив голову на руки и упершись локтями в колени. Он был оглушен, ошеломлен, и рядом уже не было друга, чтобы поговорить с ним и посоветоваться; Смайк не мог даже представить себе, что поможет ему спастись от всемогущего Сквирса, как не представлял себе этого на протяжении томительных

лет жизни в Йоркшире, предшествовавших приезду Николаса.

Путешествие казалось бесконечным, они проезжали одну улицу за другой, оставляли их позади и продолжали рысцой двигаться дальше. Наконец мистер Сквирс начал через каждые полминуты высовываться из окна и орать, давая всевозможные указания кучеру; когда они не без затруднений проехали несколько жалких улиц, недавно проложенных, о чем свидетельствовал вид домов и плохие мостовые, мистер Сквирс вдруг изо всех сил дернул за шнурок и крикнул:

— Стойте!

— Чего вы отрываете человеку руку? — сказал кучер, сердито посмотрев вниз.

— Вон этот дом,— ответил Сквирс.— Второй из тех четырех маленьких домиков, двухэтажный, с зелеными ставнями. На двери медная табличка с фамилией Снаули.

— Не могли вы, что ли, сказать это, не отрывая человеку руку от туловища? — осведомился кучер.

— Нет! — заорал мистер Сквирс.— Попробуйте сказать еще слово — и я на вас в суд подам за то, что у вас стекло разбито. Стойте!

Повинуясь приказу, кучер остановил карету у двери мистера Снаули. Припомним, что мистер Снаули был тот самый елейный ханжа, который доверил двух своих насынков отеческим заботам мистера Сквирса, о чем было рассказано в четвертой главе этой повести. Дом мистера Снаули находился на самой окраине нового поселка, примыкавшего к Сомерс-Тауну; мистер Сквирс снял у него на короткое время помещение, так как задержался в Лондоне на более долгий срок, чем обычно, а «Сарацин», зная по опыту аппетит юного Уэкфорда, соглашался принять его только на равных условиях с любым взрослым постояльцем.

— Вот и мы! — сказал Сквирс, быстро вталкивая Смайка в маленькую гостиную, где мистер Снаули и его жена сидели за ужином, угощаясь омаром.— Вот он, бродяга, преступник, бунтовщик, чудовище неблагодарности!

— Как! Тот самый мальчишка, который сбежал! —

вскричал Снаули, опустив на стол руки с торчавшими вверх ножом и вилкой и широко раскрыв глаза.

— Он самый! — сказал Сквирс, поднеся кулак к носу Смайка, опустив его и со злобным видом повторив этот жест несколько раз.— Если бы здесь не присутствовала леди, я бы ему закатил такую... Не беда, за мной не пропадет.

И мистер Сквирс поведал о том, как и каким путем, когда и где он поймал беглеца.

— Ясно, что на то была воля провидения,— сказал мистер Снаули, со смиренным видом опустив глаза и подняв к потолку вилку с насаженным на нее куском омара.

— Несомненно, провидение против него,— отозвался мистер Сквирс, почесывая нос.— Конечно! Этого следовало ожидать. Всякий мог бы догадаться.

— Жестокосердие и злодейство никогда не преуспевают, сэр,— сказал мистер Снаули.

— Об этом никогда никто не слышал,— подхватил Сквирс, доставая из бумажника тоненькую пачку банкнотов, дабы удостовериться, все ли они целы.

— Миссис Снаули,— сказал мистер Сквирс, успокоившись относительно сего предмета,— я был благодетелем этого мальчишки, я его кормил, обучал и одевал. Я был классическим, коммерческим, математическим, философическим и тригонометрическим другом этого мальчика. Мой сын — мой единственный сын Уэкфорд — был ему братом, миссис Сквирс была ему матерью, бабушкой, теткой. Да, и могу сказать — также и дядей, всем сразу. Ни к кому она не была так привязана, кроме ваших двух прелестных и очаровательных сынков, как к этому мальчишке. А какова награда? Что сталось с моим млеком человеческой доброты? Оно свертывается и скисает, когда я смотрю на этого мальчишку.

— Это и не удивительно, сэр,— сказала миссис Снаули.— О, это не удивительно!

— Где он был все это время? — осведомился Снаули.— Или он жил с этим...

— А, сэр! — перебил Сквирс, снова поворачиваясь к Смайку.— Вы жили с этим чертом Никльби, сэр?

Но ни угрозы, ни кулаки не могли вырвать у Смайка

ни единого слова в ответ на этот вопрос, потому что он решил скорее погибнуть в ужасной тюрьме, куда ему предстояло вернуться, чем произнести хоть один слог, который мог впутать в это дело его первого и истинного друга. Он уже припомнил строгий приказ хранить тайну относительно своей прошлой жизни, данный ему Николасом, когда они покидали Йоркшир, а смутное и запутанное представление, что его благодетель, уведя его с собой, совершил какое-то ужасное преступление, за которое, если оно будет открыто, его могут подвергнуть тяжелой каре, отчасти содействовало тому, что он пришел в ужас.

Таковы были мысли,— если столь туманные представления, бродившие в слабом мозгу, можно назвать этим словом,— таковы были мысли, которые возникли у Смайка и сделали его нечувствительным к запугиванию и к уговорам. Убедившись, что все усилия бесполезны, мистер Сквирс отвел его в каморку наверху, где ему предстояло провести ночь. Забрав из предосторожности его обувь, куртку и жилет, а также заперев дверь снаружи из опасения, как бы он не собрался с духом и не сделал попытки бежать, достойный джентльмен оставил его наедине с его размышлениями.

О чем он размышлял и как сжималось сердце бедняги, когда он думал — а разве переставал он хоть на секунду об этом думать! — о бывшем своем доме, и дорогих друзьях, и о знакомых, с которыми он был связан,— рассказать нельзя. Для того чтобы остановить умственное развитие и обречь рассудок на такой глубокий сон, надо было применять суровые и жестокие меры еще с детства. Должны были пройти годы мук и страданий, не озаренные ни единым лучом надежды; струны сердца, отзывавшиеся на нежность и ласку, должны были где-то заржаветь и порваться, чтобы уже больше не отвечать на ласковые слова любви. Да, мрачен должен быть короткий день и тусклы длинные-длинные сумерки, которые предшествуют ночи, окутавшей его рассудок.

Были голоса, которые заставили бы его встрепенуться даже теперь. Но их приветные звуки не могли проникнуть сюда. И он лег на кровать — вялое, несчастное, больное существо, каким впервые увидел его Николас в йоркширской школе.

ГЛАВА XXXIX,

в которой еще один старый друг встречает Смайка весьма кстати и не без последствий

Ночь, исполненная такой горечи для одной бедной души, уступила место ясному и безоблачному летнему утру, когда почтовая карета с севера проезжала с веселым грохотом по еще молчаливым улицам Излингтона и, бойко возвестив о своем приближении бодрыми звуками кондукторского рожка, подкатила, гремя, к остановке около почтовой конторы.

Единственным наружным пассажиром был дюжий, честный на вид деревенский житель, который, впившись глазами в купол собора св. Павла, казалось, пребывал в таком восхищении и изумлении, что вовсе не замечал суеты, когда выгружали мешки и свертки, пока не опустилось с шумом одно из окон кареты, после чего он оглянулся и увидел миловидное женское личико, только что оттуда выглянувшее.

— Посмотри-ка, моя девочка! — заорал деревенский житель, указывая на предмет своего восхищения.— Это церковь Павла. Ну и громадина!

— Ах, боже мой, Джон! Я не думала, что она может быть даже наполовину такой большой. Вот так чудовище!

— Чудовище! Это, мне кажется, вы правильно сказали, миссис Брауди,— добродушно отозвался деревенский житель, медленно спускаясь вниз в своем широченном пальто.— А как ты думаешь, вот это что такое — вон там, через дорогу? Хотя бы целый год думала, все равно не угадаешь. Это всего-навсего почтовая контора! Хо-хо! Им надо брать двойную плату за письма! Почтовая контора! Ну, что ты скажешь? Ей-богу, если это почтовая контора, то хотелось бы мне посмотреть, где живет лондонский лорд-мэр!

С этими словами Джон Брауди — ибо это был он — открыл дверцу кареты, заглянул в нее и, похлопав миссис Брауди, бывшую мисс Прайс, по щеке, разразился неудержимым хохотом.

— Здорово! — сказал Джон.— Пусть черт поберет мои пуговицы, если она не заснула снова!

— Она всю ночь спала и весь вчерашний день, только изредка просыпалась минутки на две,— ответила избранница Джона Брауди,— и я очень жалела, когда она просыпалась, потому что она такая злюка.

Объектом этих замечаний была спящая фигура, так старательно закутанная в шаль и плащ, что было бы немыслимо определить ее пол, если бы не коричневая касторовая шляпка с зеленой вуалью, которая украшала ее голову и на протяжении двухсот пятидесяти миль сплющивалась в том самом углу, откуда доносился сейчас храп леди, и имела вид достаточно нелепый, чтобы растянуть и менее расположенные к смеху мышцы, чем мышцы красного лица Джона Брауди.

— Эй! — крикнул Джон, дергая за кончик обвисшей вуали.— Ну-ка, просыпайтесь, живо!

После нескольких попыток снова забиться в угол и досадливых восклицаний спросонок фигура с трудом приняла сидячее положение, и тогда под смятой в комок касторовой шляпкой показалось нежное личико мисс Фанни Сквирс, обведенное полукругом синих папильоток.

— О Тильда, как ты меня толкала всю ночь! — воскликнула мисс Сквирс.

— Вот это мне нравится! — со смехом отозвалась ее подруга.— Да ведь ты одна заняла чуть ли не всю карету!

— Не спорь, Тильда,— внушительно сказала мисс Сквирс,— ты толкалась, и не имеет смысла утверждать, будто ты не толкалась. Быть может, ты этого не замечала во сне, Тильда, но я всю ночь не сомкнула глаз и потому думаю, что мне можно верить.

Дав такой ответ, мисс Сквирс привела в порядок шляпку и вуаль, которым ничто, кроме сверхъестественного вмешательства и нарушения законов природы, не могло вернуть прежний фасон или форму; явно обольщаясь мыслью, что шляпка на редкость мила, она смахнула с колен крошки сандвичей и печенья и, опираясь на предложенную Джоном Брауди руку, вышла из кареты.

— Эй,— сказал Джон, подозвав наемную карету и поспешно погрузив в нее обеих леди и багаж,— поезжайте в «Голову Сары»!

— *Куда?* — вскричал кучер.

— Ах, бог мой, мистер Брауди,— вмешалась мисс Сквирс.— Что за ерунда! В «Голову Сарацина».

— Верно,— сказал Джон,— я знал, что это что-то вроде «Головы Сариного сына». Ты знаешь, где это?

— О да! Это я знаю,— проворчал кучер, захлопнув дверцу.

— Тильда, дорогая,— запротестовала мисс Сквирс,— нас примут бог знает за кого.

— Пусть принимают за кого хотят,— сказал Джон Брауди.— Мы приехали в Лондон для того, чтобы веселиться, не так ли?

— Надеюсь, мистер Брауди,— ответила мисс Сквирс с удивительно мрачным видом.

— Ну, а все остальное неважно,— сказал Джон.— Я всего несколько дней как женился, потому что бедный старик отец помер и пришлось это дело отложить. У нас свадебное путешествие — новобрачная, подружка и новобрачный, и когда же человеку повеселиться, если не теперь?

И вот, чтобы начать веселиться сейчас же и не терять времени, мистер Брауди влепил сочный поцелуй своей жене и ухитрился сорвать поцелуй у мисс Сквирс после девического сопротивления, царапанья и борьбы со стороны этой молодой леди, продолжавшихся до тех пор, пока они не прибыли в «Голову Сарацина».

Здесь компания немедленно отправилась на отдых — освежающий сон был необходим после такого длинного путешествия, и здесь они встретились снова около полудня за плотным завтраком, поданным по приказанию мистера Джона Брауди в отдельной маленькой комнатке наверху, откуда можно было беспрепятственно любоваться конюшнями.

Увидеть теперь мисс Сквирс, избавившуюся от коричневой касторовой шляпки, зеленой вуали и синих папильоток и облеченную, во всей своей девственной прелести, в белое платье и жакет, надевшую белый муслиновый чепчик с пышно распустившейся искусственной алой розой, увидеть ее роскошную копну волос, уложенных локончиками, такими тугими, что немыслимым казалось, чтобы они могли как-нибудь случайно растрепаться,

и шляпку, отороченную маленькими алыми розочками, которые можно было принять за многообещающие отпрыски большой розы,— увидеть все это, а также широкий алый пояс — под стать розе-родоначальнице и маленьким розочкам,— который охватывал стройную талию и благодаря счастливой изобретательности скрывал недостаточную длину жакета сзади,— узреть все это и затем уделить должное внимание коралловым браслетам (бусинок было маловато и очень заметен черный шнурок), обвившим ее запястья, и коралловому ожерелью, покоившемуся на шее, поддерживая поверх платья одинокое сердце из темно-красного халцедона — символ ее еще никому не отданной любви,— созерцать все эти немые, но выразительные соблазны, взывающие к самым чистым чувствам нашей природы, значило растопить лед старости и подбросить новое, неиссякаемое топливо в огонь юности.

Официант не остался неуязвимым. Хоть он и был официантом, но человеческие чувства и страсти не были ему чужды, и он очень пристально смотрел на мисс Сквирс, подавая горячие булочки.

— Вы не знаете, мой папа здесь? — с достоинством спросила мисс Сквирс.

— Что прикажете, мисс?

— Мой папа,— повторила мисс Сквирс,— он здесь?

— Где — здесь, мисс?

— Здесь, в доме! — ответила мисс Сквирс.— Мой папа — мистер Уэкфорд Сквирс, он здесь остановился. Он дома?

— Я не знаю, есть ли здесь такой джентльмен, мисс,— ответил официант.— Может быть, он в кофейне.

«Может быть!» Вот это недурно! Мисс Сквирс всю дорогу до самого Лондона мечтала доказать своим друзьям, что она чувствует себя здесь как дома, мечтала о том, с каким почтительным вниманием будут встречены ее имя и упоминание о родне, а ей говорят, что ее отец, *может быть, здесь!*

— Как будто он первый встречный! — с великим негодованием заметила мисс Сквирс.

— Вы бы пошли узнать,— сказал Джон Брауди.— И тащите еще один пирог с голубями, слышите? Черт бы

побрал этого парня,— пробормотал Джон, глядя на пустое блюдо, когда официант удалился.— И это он называет пирогом — три маленьких голубя, фарша почти не видно, и корка такая легкая, что вы не знаете, когда она у вас во рту и когда ее уже нет. Интересно, сколько пирогов полагается на завтрак?

После короткого перерыва, который Джон Брауди употребил на ветчину и холодную говядину, официант вернулся с другим пирогом и с сообщением, что мистер Сквирс здесь не остановился, но что он заходит сюда ежедневно и, когда он придет, его проводят наверх.

С этими словами он вышел, отсутствовал не больше двух минут, а затем вернулся с мистером Сквирсом и его многообещающим сынком.

— Ну кто бы мог подумать! — сказал Сквирс, после того как приветствовал компанию и узнал домашние новости от своей дочери.

— В самом деле, кто, папа? — с раздражением сказала эта молодая леди.— Но, как видите, Тильда наконец-то вышла замуж.

— А я устроил увеселительную поездку, осматриваю Лондон, учитель,— объявил Джон, энергически атакуя пирог.

— Так поступают все молодые люди, когда женятся,— отозвался Сквирс,— а деньги от этого улетучиваются! Насколько было бы лучше отложить их хотя бы на обучение ребятишек! А они на вас посыплются, не успеете вы оглянуться,— нравоучительным тоном продолжал мистер Сквирс.— Мои на меня посыпались.

— Не хотите ли кусочек? — предложил Джон.

— Я-то не хочу,— ответил Сквирс,— но если вы дадите кусок пожирнее маленькому Уэкфорду, я вам буду признателен. Суньте ему прямо в руку, а не то официант возьмет лишнюю плату, а они и без того наживаются. Если услышите, что идет официант, сэр, спрячьте кусок в карман и выгляньте из окна, слышите?

— Понимаю, отец,— ответил послушный Уэкфорд.

— Ну,— сказал Сквирс, обращаясь к дочери,— теперь твоя очередь выйти замуж.

— О, мне не к спеху,— очень резко сказала мисс Сквирс.

— Неужели, Фанни? — не без лукавства воскликнула ее старая подруга.

— Да, Тильда,— ответила мисс Сквирс, энергически качая головой.— Я могу подождать.

— По-видимому, и молодые люди тоже могут подождать,— заметила миссис Брауди.

— Уж я-то их не завлекаю, Тильда,— заявила мисс Сквирс.

— Верно! — подхватила ее подруга.— Вот это сущая правда.

Саркастический тон этого замечания мог вызвать довольно резкую реплику мисс Сквирс, которая, будучи от природы злобного нрава — каковой стал еще злее после путешествия и недавней тряски,— была вдобавок раздражена старыми воспоминаниями и крушением надежд, связанных с мистером Брауди. А резкая реплика могла привести к многочисленным другим резким репликам, которые могли привести бог весть к чему, если бы в этот момент сам мистер Сквирс случайно не переменил тему разговора.

— Как вы думаете,— сказал этот джентльмен,— как вы полагаете, кого мы с Уэкфордом сегодня изловили?

— Папа! Неужели мистера...

Мисс Сквирс была не в силах закончить фразу, но миссис Брауди сделала это за нее и добавила:

— Никльби?

— Нет,— сказал Сквирс,— но почти что его.

— Как? Вы имеете в виду Смайка? — воскликнула мисс Сквирс, захлопав в ладоши.

— Вот именно! — ответил ее отец.— Ох, и здорово я его поймал.

— Как! — вскричал Джон Брауди, отодвигая тарелку.— Поймали этого бедного... проклятого негодяя? Где он?

— Да у меня на квартире, в задней комнате наверху,— ответил Сквирс.— Он сидит взаперти.

— У тебя на квартире? Ты его держишь у себя на квартире? Хо-хо! Школьный учитель против всей Англии! Дай руку, приятель! Будь я проклят, за это я должен пожать тебе руку! Держишь его у себя на квартире?

— Да,— ответил Сквирс, покачнувшись на стуле от

поздравительного удара в грудь, которым угостил его дюжий йоркширец,— благодарю вас. Больше этого не делайте. Я знаю — намерение у вас было доброе, но это немножко больно. Да, он там. Что, не так уж плохо?

— Плохо! — повторил Джон Брауди.— Да этим можно сразить человека!

— Я так и думал, что это вас слегка удивит,— сказал Сквирс, потирая руки.— Это было аккуратно обделано и очень быстро.

— Как было дело? — осведомился Джон, подсаживаясь к нему.— Расскажите нам все, приятель. Ну-ка поживее!

Хотя мистер Сквирс и не мог угнаться за нетерпением Джона Брауди, однако он поведал о счастливой случайности, благодаря которой Смайк попался ему в руки, так живо, как только мог, и, когда его не перебивали восхищенные восклицания слушателей, не прерывал рассказа, пока не довел его до конца.

— Из боязни, как бы он от меня случайно не удрал,— с хитрой миной заметил Сквирс, закончив рассказ,— я заказал на завтра, на утро, три наружных места — для Уэкфорда, для него и для себя — и договорился с агентом, поручив ему счета и новых мальчиков, понимаете? Стало быть, очень удачно вышло, что вы приехали сегодня, иначе вы бы нас не застали; и если вы не зайдете вечерком выпить со мной чаю, мы вас не увидим до отъезда.

— Ни слова больше,— подхватил йоркширец, пожимая ему руку.— Мы придем, хотя бы вы жили за двадцать миль отсюда.

— Да неужели придете? — отозвался мистер Сквирс, который не ждал, что его приглашение будет принято с такой готовностью, иначе он очень бы призадумался, прежде чем приглашать.

Единственным ответом Джона Брауди было новое рукопожатие и заверение, что осмотр Лондона они начнут только завтра, чтобы непременно быть у мистера Снаули к шести часам. Обменявшись с йоркширцем еще несколькими словами, мистер Сквирс удалился со своим сынком.

В течение целого дня мистер Брауди был в очень странном возбужденном состоянии: то и дело разражался

смехом, а затем хватал свою шляпу и выбегал во двор, чтобы нахохотаться вволю. Он никак не мог усидеть на месте, все время входил и выходил, прищелкивал пальцами, выделывал какие-то па из неуклюжих деревенских танцев — короче говоря, вел себя так удивительно, что у мисс Сквирс мелькнула мысль, не помешался ли он, и, попросив свою дорогую Тильду не расстраиваться, она сообщила ей напрямик свои подозрения. Однако миссис Брауди, не обнаруживая особых признаков тревоги, заметила, что один раз она уже видела его таким и хотя он после этого почти наверно заболеет, по ничего серьезного с ним не случится, а потому лучше оставить его в покое.

Последствия показали, что она была совершенно права: когда все они сидели в тот вечер в гостиной мистера Снаули, как только начало смеркаться, Джону Брауди стало вдруг так плохо и он почувствовал такое головокружение, что все присутствующие пришли в панический ужас. Его славная супруга оказалась единственной особой, сохранившей присутствие духа; она заявила, что, если бы ему разрешили полежать часок на кровати мистера Сквирса и оставили в полном одиночестве, его болезнь несомненно прошла бы так же быстро, как и приключилась с ним. Никто не отказался последовать этому разумному совету, прежде чем посылать за врачом. И вот Джона с великим трудом отвели, поддерживая, наверх (он был чудовищно тяжел, и, спотыкаясь, спускался на две ступени каждый раз, когда его втаскивали на три) и, уложив на кровать, оставили на попечение его жены, которая после недолгого отсутствия вернулась в гостиную с приятной вестью, что он крепко заснул.

А в этот самый момент Джон Брауди сидел на кровати, раскрасневшись, как никогда, запихивая в рот угол подушки, чтобы не захохотать во все горло. Как только удалось ему подавить это желание, он снял башмаки, прокрался к смежной комнате, где был заключен пленник, повернул ключ, торчавший в замочной скважине, и, вбежав, зажал Смайку рот своей большущей рукой, прежде чем тот успел вскрикнуть.

— Черт подери, ты меня не узнаешь, парень? — шепнул йоркширец ошеломленному мальчику.— Я — Брауди! Я тебя встретил, когда избили школьного учителя.

— Да, да! — воскликнул Смайк.— О, помогите мне!

— Помочь тебе? — переспросил Джон, снова зажав ему рот, как только он это сказал.— Ты бы не нуждался в помощи, если бы не был самым глупым мальчишкой, какой только есть на свете. Чего ради ты пришел сюда?

— Он меня привел, о, это он меня привел! — вскричал Смайк.

— Привел! — повторил Джон.— Так почему же ты не ударил его по голове, не лег на землю и не начал брыкаться, почему не позвал полицию? Я бы расправился с дюжиной таких, как он, когда был в твоих летах. Но ты жалкий, забитый парень,— грустно сказал Джон,— и пусть бог меня простит, что я похвалялся перед одним из его слабых созданий!

Смайк раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но Джон Брауди остановил его.

— Стой смирно и ни словечка не говори, пока я тебе не разрешу,— сказал йоркширец.

После такого предостережения Джон Брауди многозначительно покачал головой и, достав из кармана отвертку, очень искусно и неторопливо вывинтил дверной замок и положил его вместе с инструментом на пол.

— Видишь? — сказал Джон.— Это твоих рук дело. А теперь удирай!

Смайк тупо посмотрел на него, как будто не понимая.

— Я тебе говорю — удирай! — быстро повторил Джон.— Ты знаешь, где живешь? Знаешь? Ладно. Это твой сюртучишко или учительский?

— Мой,— ответил Смайк, когда йоркширец увлек его в соседнюю комнату и указал ему на башмаки и сюртук, лежавшие на стуле.

— Одевайся! — сказал Джон, засовывая его руку не в тот рукав и обматывая ему шею полой сюртука.— Теперь ступай за мной, а когда будешь на улице, поверни направо, и они не увидят, как ты пройдешь мимо.

— Но... но... он услышит, когда я буду закрывать дверь,— ответил Смайк, дрожа с головы до пят.

— Так ты ее совсем не закрывай,— заявил Джон Брауди.— Черт подери, надеюсь, ты не боишься, что школьный учитель схватит простуду?

— Не-ет,— сказал Смайк, у которого зуб на зуб не попадал.— Но он уже один раз привел меня обратно и опять приведет. Да, конечно, приведет...

— Приведет? — нетерпеливо перебил Джон.— Нет, не приведет. Слушай! Я хочу это сделать по-добрососедски, и пусть они думают, что ты сам убежал, но если он выйдет из гостиной, когда ты будешь удирать, пусть он лучше пожалеет свои кости, потому что я их не пожалею. Если он сразу обнаружит твой побег, я его направлю по ложному следу, предупреждаю тебя. Но если ты не будешь робеть, ты доберешься до дому раньше, чем они узнают, что ты сбежал. Идем!

Смайк, который понял только, что все это говорилось с целью подбодрить его, двинулся за Джоном нетвердыми шагами, а тот зашептал ему на ухо:

— Ты скажешь молодому мистеру, что я сочетался браком с Тилли Прайс, и мне можно писать в «Голову Сарацина», и что я к нему не ревную. Черт возьми, я чуть не лопаюсь от смеха, когда вспоминаю о том вечере! Ей-богу, я будто сейчас вижу, как он уплетал хлеб с маслом!

В данный момент это было рискованное воспоминание для Джона, так как он был на волосок от того, чтобы громко не захохотать. Однако, удержавшись с большим трудом как раз вовремя, он шмыгнул вниз по лестнице, увлекая за собой Смайка; затем, поместившись у самой двери в гостиную, чтобы встретить лицом к лицу первого, кто оттуда выйдет, он дал знак Смайку удирать.

Зайдя так далеко, Смайк не нуждался в новом понуканье. Открыв потихоньку дверь и бросив на своего избавителя взгляд и благодарный и испуганный, он повернулся и как вихрь помчался в указанном направлении.

Йоркширец оставался на своем посту в течение нескольких минут, но убедившись, что разговор в гостиной не смолкает, бесшумно прокрался назад и с добрый час стоял, прислушиваясь, у перил лестницы. Так как спокойствие ничем не нарушалось, он снова забрался в постель мистера Сквирса и, натянув на голову одеяло, принялся хохотать так, что чуть не задохся.

Если бы кто-нибудь мог видеть, как вздрагивает одеяло, а широкое красное лицо и большая голова йоркширца то и дело высовываются из-под простыни, напо-

миная некое веселое чудище, которое выбирается на поверхность подышать воздухом и опять ныряет, корчась от приступов смеха,— если бы кто-нибудь мог это видеть, тот позабавился бы не меньше, чем забавлялся сам Джон Брауди.

ГЛАВА XL,

в которой Николас влюбляется. Он прибегает к посреднику, чьи старания увенчиваются неожиданным успехом, если не придавать значения одной детали

Вырвавшись еще раз из когтей своего старого преследователя, Смайк не нуждался в новых поощрениях, чтобы приложить всю свою энергию и усилия, на какие только был способен. Не останавливаясь ни на секунду для размышлений о том, в какую сторону он бежит и ведет ли эта дорога к дому или прочь от него, он мчался с изумительной быстротой и упорством; он летел, словно на крыльях, какие дает только страх, понукаемый воображаемыми криками, хорошо знакомым голосом Сквирса, бежавшего — так чудилось расстроенному воображению бедняги — за ним по пятам с толпой преследователей, которые то отставали, то быстро его нагоняли, по мере того как им овладевали по очереди страх и надежда. И, когда через некоторое время он начал убеждаться, что эти звуки порождены его возбужденным мозгом, он еще долго не замедлял шага, который вряд ли могли замедлить даже усталость и истощение. Когда мрак и тишина проселочной дороги вернули его к действительности, а звездное небо над ним напомнило о быстром ходе времени, тогда только, покрытый пылью и задыхающийся, он остановился, чтобы прислушаться и осмотреться вокруг.

Все было тихо и безмолвно. Зарево вдали, бросая на небо теплый отблеск, указывало место, где раскинулся гигантский город. Пустынные поля, разделенные живыми изгородями и канавами, через которые он пробирался и перелезал во время своего бегства, окаймляли дорогу и с той стороны, откуда он пришел, и с противоположной. Было уже поздно. Вряд ли могли они выследить его по

тем тропам, какими он шел, и если мог он надеяться на возвращение домой, то, конечно, оно должно было совершиться теперь и под покровом темноты.

Мало-помалу это начал понимать даже Смайк. Сначала он следовал какой-то туманной ребяческой фантазии: отойти на десять — двенадцать миль, а затем направиться домой, описав широкий круг, чтобы не пересекать Лондона,— до такой степени боялся он идти по улицам, где снова мог встретить своего грозного врага; но, уступая убеждению, внушенному новыми мыслями, он повернул назад и, со страхом и трепетом выйдя на дорогу, зашагал по направлению к Лондону почти с такою же быстротой, с какой покинул свое временное пристанище у мистера Сквирса.

К тому времени, когда он вновь вошел в город с западной его окраины, бо́льшая часть магазинов была закрыта. Из людских толп, соблазнившихся выйти после жаркого дня, лишь немногие прохожие оставались на улицах, да и те брели домой. И у них он время от времени справлялся о дороге и, повторяя свои вопросы, добрался, наконец, до жилища Ньюмена Ногса.

Весь вечер Ньюмен рыскал по переулкам и закоулкам, отыскивая того самого человека, который стучал сейчас в его дверь, тогда как Николас вел поиски в другой части города. Ньюмен сидел с меланхолическим видом за своим скудным ужином, когда робкий и неуверенный стук Смайка долетел до его слуха. В тревоге и ожидании жадно прислушиваясь к каждому звуку, Ньюмен сбежал вниз и, вскрикнув в радостном изумлении, потащил желанного гостя в коридор и вверх по лестнице и не проронил ни слова, пока благополучно не водворил его у себя в мансарде и не закрыл за собой дверь, после чего наполнил доверху большую кружку джином с водой и, поднеся ее ко рту Смайка, словно чашу с лекарством к губам строптивого ребенка, приказал ему выпить все до последней капли.

У Ньюмена был чрезвычайно смущенный вид, когда он увидел, что Смайк только пригубил драгоценную смесь. Он уже собирался поднести кружку к своему рту со вздохом сострадания к слабости бедного друга, но Смайк, начав рассказывать о выпавших на его долю приключениях,

заставил его остановиться на полдороге, и он застыл, слушая, с кружкой в руке.

Странно было наблюдать перемену, происходившую с Ньюменом, по мере того как повествовал Смайк. Сначала он стоял, вытирая губы тыльной стороной руки, словно совершая какой-то обряд, прежде чем приступить к выпивке, затем при упоминании о Сквирсе он зажал кружку под мышкой и очень широко раскрыл глаза в крайнем изумлении. Когда Смайк перешел к избиению в наемной карете, он быстро поставил кружку на стол и, прихрамывая, зашагал по комнате в состоянии величайшего возбуждения, то и дело останавливаясь, словно для того, чтобы слушать еще внимательнее. Когда речь зашла о Джоне Брауди, он медленно и постепенно опустился на стул и, растирая руками колени,— все быстрее и быстрее по мере того как рассказ приближался к кульминационной точке,— разразился, наконец, смехом, прозвучавшим как одно громкое, раскатистое «ха-ха». Когда вырвался этот смех, физиономия его мгновенно вытянулась снова, и он осведомился с величайшим беспокойством, можно ли предположить, что у Джона Брауди и Сквирса дело дошло до драки,

— Нет, не думаю,— ответил Смайк.— Думаю, что он хватился меня, когда я уже был далеко.

Ньюмен почесал голову с видом весьма разочарованным и, снова подняв кружку, занялся ее содержимым, посматривая поверх ее краев на Смайка с мрачной и зловещей улыбкой.

— Вы останетесь здесь,— сказал Ньюмен.— Вы устали... выбились из сил. Я сообщу им, что вы вернулись. Они чуть с ума не сошли из-за вас. Мистер Николас...

— Да благословит его бог! — воскликнул Смайк.

— Аминь! — сказал Ньюмен.— У него не было ни минуты отдыха и покоя, а также и у старой леди и у мисс Никльби.

— Не может быть! Неужели она обо мне думала? — воскликнул Смайк.— Неужели думала? Думала, да? О, не говорите мне, что она думала, если это не так!

— Она думала! — крикнул Ньюмен.— Она так же великодушна, как и прекрасна.

— Да, да,— подхватил Смайк.— Правильно!

— Такая нежная и кроткая,— сказал Ньюмен.

— Да, да! — с еще большим жаром вскричал Смайк.

— И в то же время такая преданная и мужественная,— сказал Ньюмен.

Он продолжал говорить, охваченный энтузиазмом, как вдруг, взглянув на своего собеседника, заметил, что тот закрыл лицо руками и слезы просачиваются между его пальцев.

За секунду до этого глаза подростка сверкали необычным огнем, лицо его разгорелось от волнения, и он казался совсем иным существом.

— Ну-ну! — пробормотал Ньюмен, как бы с некоторым недоумением.— Я сам не раз бывал растроган, думая о том, что на долю такой девушки выпали такие испытания; этот бедный мальчик... да, да... он тоже это чувствует... это его трогает... заставляет вспомнить о его прошлых несчастиях. Ха! Так ли это? Да, это... Гм!

Отнюдь не ясно было, судя по тону этих отрывистых замечаний, считает ли Ньюмен Ногс, что они удовлетворительно разъясняют эмоции, вызвавшие их. Некоторое время он сидел в задумчивой позе, изредка бросая на Смайка тревожный и недоверчивый взгляд, ясно показывавший, что Смайк имеет близкое отношение к его мыслям.

Наконец он повторил свое предложение, чтобы Смайк остался у него на ночь, тогда как он (Ногс) немедленно отправится в коттедж успокоить семью. Но так как Смайк и слышать об этом не хотел, ссылаясь на нетерпеливое желание снова увидеть своих друзей, то в конце концов они пустились в путь вместе; ночь была уже на исходе, у Смайка так сильно болели ноги, что он едва мог плестись, а потому до восхода солнца оставалось не больше часа, когда они достигли цели своего путешествия.

При звуке их голосов у двери дома Николас, который провел бессонную ночь, придумывая способы отыскать своего пропавшего питомца, вскочил с постели и радостно впустил их. Столько было громких разговоров, поздравлений, негодующих восклицаний, что остальные члены семьи быстро проснулись, и Смайк был тепло и сердечно

принят не только Кэт, но и миссис Никльби, которая заверила его в своей благосклонности. Она была столь любезна, что рассказала для увеселенья его и собравшегося кружка изумительнейшую историю, извлеченную из книги, названия которой она не знала, о чудесном побеге из тюрьмы — какая тюрьма и какой побег, она позабыла,— совершенном одним офицером, чье имя она не могла припомнить, коего заключили в тюрьму за какое-то преступление, о котором она сохранила неясное воспоминание.

Сначала Николас склонен был приписывать своему дяде долю участия в этой дерзкой (и едва не увенчавшейся успехом) попытке похитить Смайка, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что эта честь принадлежит исключительно мистеру Сквирсу. Решив, по возможности, удостовериться через Джона Брауди, как в действительности обстояло дело, он приступил к повседневным своим занятиям и, отправившись в путь, обдумывал всевозможные способы наказать йоркширского школьного учителя. Все эти проекты были основаны на строжайшем принципе возмездия и отличались только одним недостатком — они были совершенно неосуществимы.

— Чудесное утро, мистер Линкинуотер,— сказал Николас, входя в контору.

— Да! — согласился Тим.— А еще толкуют о деревне! Как вам нравится такая погода в Лондоне?

— За городом день светлее,— сказал Николас.

— Светлее!— повторил Тим Линкинуотер.— Вы бы посмотрели из окна моей спальни!

— А вы бы посмотрели из моего окна,— с улыбкой ответил Николас.

— Вздор, вздор! — сказал Тим Линкинуотер.— И не говорите! Деревня! (Боу был для Тима сельской местностью.) Глупости! Что вы можете достать в деревне, кроме свежих яиц и цветов? Каждое утро перед завтраком я могу покупать свежие яйца на Леднхоллском рынке. А что касается цветов, то стоит сбегать наверх понюхать мою резеду или посмотреть со двора на махровую желтофиоль в окне мансарды в номере шестом.

— В номере шестом есть махровая желтофиоль? — спросил Николас.

— Да, есть,— ответил Тим.— И посажена в треснувший кувшин без носика. Этой весной там были гиацинты, цвели в... Но вы будете смеяться над этим.

— Над чем?

— Над тем, что они цвели в старых банках из-под ваксы.

— Право же, не буду,— возразил Николас.

Секунду Тим смотрел на него серьезно, как будто тон этого ответа поощрял его к дальнейшим сообщениям. Заложив за ухо перо, которое чинил, и закрыв перочинный нож, он сказал:

— Мистер Никльби, это цветы одного больного, прикованного к постели горбатого мальчика, и, по-видимому, они — единственная радость в его печальной жизни. Сколько лет прошло,— призадумавшись, сказал Тим,— с тех пор как я в первый раз его заметил — совсем малютку, тащившегося на крохотных костылях? Ну-ну! Не так уж много, но хотя они показались бы пустяком, если бы я думал о других вещах, это очень долгий срок, когда я думаю о нем. Грустно видеть, как маленький ребенок-калека сидит в стороне от других детей, резвых и веселых, и следит за играми, в которых ему не дано принять участие. Я очень часто болел за него душой.

— Доброй должна быть душа,— сказал Николас,— которая отвлекается от повседневных дел и замечает такие вещи. Вы говорили о том...

— ...о том, что цветы принадлежат этому бедному мальчику,— сказал Тим,— вот и все. Когда погода хорошая и он может сползти с кровати, он придвигает стул к самому окну и целый день сидит и смотрит на цветы и ухаживает за ними. Сначала мы кивали друг другу, а потом стали разговаривать. Прежде, когда я окликал его по утрам и спрашивал, как он себя чувствует, он улыбался и говорил: «Лучше!» Но теперь он только качает головой и еще ниже наклоняется к своим цветам. Скучно, должно быть, смотреть в течение стольких месяцев на темные крыши и плывущие облака, но он очень терпелив.

— Разве никого нет в доме, кто бы развлекал его или ухаживал за ним? — спросил Николас.

— Кажется, там живет его отец,— ответил Тим,— и еще какие-то люди, но как будто никто хорошенько не

заботится о бедном калеке. Я часто спрашивал его, не могу ли я что-нибудь для него сделать. Он неизменно отвечал: «Ничего». За последнее время голос у него ослабел, но я *вижу*, что он дает все тот же ответ. Теперь он уже не может встать с кровати, поэтому ее придвигают к окну, и там он и лежит целый день — смотрит то на небо, то на свои цветы, которые все еще ухитряется подрезать и поливать своими худыми руками. По вечерам, когда он видит мою свечу, он отодвигает занавеску и не задергивает ее, пока я не лягу в постель. Он как будто не так одинок, зная, что я тут, и я часто просиживаю у окна часом дольше, чтобы он мог видеть, что я не сплю. А ночью я иногда встаю посмотреть на тусклый печальный свет в его комнате и спрашиваю себя, спит он или бодрствует. Скоро настанет ночь,— продолжал Тим,— когда он заснет и больше никогда уже не проснется на земле. Ни разу в жизни мы не пожали друг другу руку, но мне будет не хватать его, как старого друга. Как вы думаете, есть ли такие полевые цветы, которые могли бы заинтересовать меня так, как эти? Или вы полагаете, что, если бы увяли сотни видов наилучших цветов с труднейшими латинскими названиями, я бы испытал такую боль, какую почувствую, когда эти кружки и банки будут выброшены как хлам? Деревня! — презрительно воскликнул Тим.— Разве вы не знаете, что нигде не может быть у меня такого двора под окном спальни, нигде, кроме Лондона?

Задав такой вопрос, Тим повернулся спиной и, притворившись, будто погружен в свои счета, воспользовался случаем поспешно вытереть глаза, когда, по его предположениям, Николас смотрел в другую сторону.

Оказались ли в то утро счета Тима более запутанными, чем обычно, или же привычное его спокойствие было слегка нарушено этими воспоминаниями, но случилось так, что, когда Николас, исполнив какое-то поручение, вернулся и спросил, один ли у себя в кабинете мистер Чарльз Чирибл, Тим быстро и без малейших колебаний ответил утвердительно, хотя всего десять минут назад кто-то вошел в кабинет, а Тим с особой внушительностью запрещал вторгаться к обоим братьям, если они были заняты с каким-нибудь посетителем.

— В таком случае я сейчас же отнесу ему это письмо,— сказал Николас.

И с этими словами он подошел к двери и постучал.

Никакого ответа.

Снова стук, и опять никакого ответа.

«Его там нет,— подумал Николас.— Положу письмо ему на стол».

Николас, открыв дверь, вошел и очень быстро повернулся снова к двери, когда увидел, к великому своему изумлению и смущению, молодую леди на коленях перед мистером Чириблом и мистера Чирибла, умоляющего ее встать и заклинающего третью особу, которая, по-видимому, была служанкой леди, присоединиться к нему и уговорить ее подняться.

Николас пробормотал неловкое извинение и бросился к двери, когда молодая леди слегка повернула голову, и он узнал черты той прелестной девушки, которую видел очень давно, во время своего первого визита в контору по найму. Переведя взгляд с нее на ее спутницу, он признал в ней ту самую неуклюжую служанку, которая сопровождала ее в тот раз. Восторг, вызванный красотой молодой леди, смятение и изумление при этой неожиданной встрече привели к тому, что он остановился как вкопанный, в таком смущении и недоумении, что на секунду потерял способность говорить или двигаться.

— Сударыня, дорогая моя... моя дорогая юная леди,— в сильном волнении восклицал брат Чарльз,— пожалуйста, не надо... ни слова больше, прошу и умоляю вас! Заклинаю вас... пожалуйста... встаньте. Мы... мы... не одни.

С этими словами он поднял молодую леди, которая, пошатнувшись, опустилась на стул и лишилась чувств.

— С ней обморок, сэр! — сказал Николас, рванувшись вперед.

— Бедняжка, бедняжка! — воскликнул брат Чарльз.— Где мой брат Нэд? Дорогой мой брат, прошу тебя, пойди сюда!

— Брат Чарльз, дорогой мой,— отозвался его брат, вбегая в комнату,— что́ это?.. Ах!.. что...

— Тише, тише! Ради бога, ни слова, брат Нэд! — воскликнул тот.— Позвони экономке, дорогой брат... позови Тима Линкинуотера! Сюда, Тим Линкинуотер, сэр...



Мистер Никльби, дорогой мой, сэр, уйдите отсюда, прошу и умоляю вас.

— Мне кажется, ей лучше,— сказал Николас, который с таким рвением следил за больной, что не расслышал этой просьбы.

— Бедная птичка! — воскликнул брат Чарльз, нежно взяв ее за руку и прислонив ее голову к своему плечу.— Брат Нэд, дорогой мой, ты удивлен, я знаю, увидев это в рабочие часы, но...

Тут он снова вспомнил о Николасе и, пожимая ему руку, убедительно попросил его выйти из комнаты и, не медля ни секунды, прислать Тима Линкинуотера.

Николас тотчас же удалился и по дороге в контору встретил и старую экономку и Тима Линкинуотера, со всех ног спешивших по коридору на место происшествия. Не слушая Николаса, Тим Линкинуотер ворвался в комнату, и вскоре Николас услышал, что дверь захлопнули и заперли на ключ.

У него было немало времени поразмыслить о своем открытии, так как Тим Линкинуотер отсутствовал почти час, в течение коего Николас думал только о молодой леди, и о ее поразительной красоте, и о том, что могло привести ее сюда и почему из этого делали такую тайну. Чем больше он обо всем этом думал, тем в большее приходил недоумение и тем сильнее хотелось ему знать, кто она. «Я узнал бы ее из десяти тысяч»,— думал Николас. В таком состоянии он шагал взад и вперед по комнате и, вызывая в памяти ее лицо и фигуру (о которых у него осталось очень живое воспоминание), отметал все другие мысли и думал только об одном.

Наконец вернулся Тим Линкинуотер — раздражающе хладнокровный, с бумагами в руке и с пером во рту, словно ничего не случилось.

— Она совсем оправилась? — порывисто спросил Николас.

— Кто? — отозвался Тим Линкинуотер.

— Кто? — повторил Николас.— Молодая леди!

— Сколько у вас получится, мистер Никльби,— сказал Тим, вынимая перо изо рта,— сколько у вас получится четыреста двадцать семь умножить на три тысячи двести тридцать восемь?

— Сначала какой у вас ответ получится на мой вопрос? Я вас спросил...

— О молодой леди,— сказал Тим Линкинуотер, надевая очки.— Совершенно верно. О! Она совсем здорова.

— Совсем здорова? — переспросил Николас.

— Да, *совсем* здорова,— важно ответил мистер Линкинуотер.

— Она в состоянии будет вернуться сегодня домой? — осведомился Николас.

— Она ушла,— сказал Тим.

— Ушла?

— Да.

— Надеюсь, ей недалеко идти? — сказал Николас, испытующе глядя на него.

— Да,— отозвался невозмутимый Тим.— Надеюсь, недалеко.

Николас рискнул сделать еще два-три замечания, но было ясно, что у Тима Линкинуотера имеются основания уклоняться от этого разговора и что он решил не сообщать больше никаких сведений о прекрасной незнакомке, которая пробудила такой горячий интерес в сердце его молодого друга. Не устрашенный этим отпором, Николас возобновил атаку на следующий день, набравшись храбрости благодаря тому, что мистер Линкинуотер был в очень разговорчивом и общительном расположении духа; но стоило ему затронуть эту тему, как Тим погрузился в самое раздражающее молчание, отвечал односложно, а затем и вовсе перестал давать ответы, предоставляя истолковывать как угодно торжественные кивки и пожиманье плечами, чем только разжигал в Николасе жажду что-нибудь узнать, и без того непомерно великую.

Потерпев неудачу, он поневоле удовольствовался тем, что стал поджидать следующего визита молодой леди, но и тут его подстерегало разочарование. День проходил за днем, а она не появлялась. Он жадно просматривал адреса на всех записках и письмах, но не было среди них ни одного, который, по его мнению, мог быть написан ее рукой. Раза два или три ему поручали дела, которые отрывали его от конторы и прежде выполнялись Тимом Линкинуотером. Николас невольно заподозрил, что по той или иной причине его отсылали умышленно и что моло-

дая леди приходила в его отсутствие. Однако ничто не оправдывало таких подозрений, а от Тима нельзя было добиться хитростью признания, которое бы их укрепило.

Таинственность и разочарование не безусловно необходимы для расцвета любви, но очень часто они бывают ее могущественными пособниками. «С глаз долой — из сердца вон» — эта пословица применима к дружбе, хотя разлука не всегда опустошает даже сердца друзей, и истину и честность, подобно драгоценным камням, пожалуй, легче имитировать на расстоянии, когда подделка часто может сойти за настоящую драгоценность. Любви, однако, весьма существенно помогает пылкое и живое воображение, которое отличается хорошей памятью и может долгое время питаться очень легкой и скудной пищей. Вот почему она часто достигает самого пышного расцвета в разлуке и при обстоятельствах чрезвычайно затруднительных; вот почему Николас, день за днем и час за часом не думая ни о чем, кроме незнакомой молодой леди, начал, наконец, убеждаться, что он безумно влюблен в нее и что не бывало еще на свете такого злосчастного и гонимого влюбленного, как он.

Но хотя он любил и томился по всем правилам установившейся традиции и даже подумывал сделать своей поверенной Кэт, если бы его не останавливало такое пустячное соображение, что за всю жизнь он ни разу не говорил с предметом своей любви и видел ее только два раза, когда она мелькнула и исчезла, как молния (так выражался Николас в бесконечных разговорах с самим собой), словно образ юности и красоты, слишком ослепительный, чтобы помедлить здесь,— его пыл и преданность, несмотря на это, оставались невознагражденными. Молодая леди больше не появлялась. Таким образом, очень много любви было растрачено зря (по нынешним временам ею можно было бы прилично снабдить с полдюжины молодых джентльменов), и никто ничего от этого не выиграл — даже сам Николас, который, напротив, с каждым днем все больше тосковал и становился все более сентиментальным и томным.

Таково было положение дел, когда банкротство одного из корреспондентов фирмы «Чирибл, братья» в Германии вызвало необходимость для Тима Линкинуотера и Нико-

ласа просмотреть очень длинные и запутанные счета, охватывавшие значительный промежуток времени. Желая как можно скорее проверить их, Тим Линкинуотер предложил оставаться в конторе в течение ближайшей недели до десяти часов вечера; на это Николас согласился с великой охотой, так как ничто, не исключая его романтической любви, не могло охладить пыл, с каким он служил своим добрым патронам. В первый же вечер, ровно в девять часов, пришла не сама молодая леди, а ее служанка, которая, проведя некоторое время с глазу на глаз с братом Чарльзом, ушла и вернулась на следующий вечер в том же часу, и на следующий, и еще на следующий.

Эти повторные визиты разожгли любопытство Николаса до величайшего напряжения. Терзаемый муками Тантала и нестерпимым возбуждением, лишенный возможности проникнуть в тайну, не пренебрегая своими обязанностями, он открыл секрет Ньюмену Ногсу, умоляя его провести следующий вечер на страже, проследить девушку до дому, собрать все сведения касательно фамилии, положения и истории ее хозяйки, какие только удастся ему получить, не вызывая подозрений, и сообщить ему о результатах без промедления.

Гордясь свыше меры этим поручением, Ньюмен Ногс расположился на следующий вечер на своем посту в сквере за час до положенного времени и, поместившись позади насоса и надвинув на глаза шляпу, принялся караулить с чрезвычайно таинственным видом, превосходно рассчитанным на то, чтобы вызвать подозрения у всех прохожих. И в самом деле, служанки, пришедшие за водой, и несколько мальчуганов, остановившихся здесь, чтобы напиться из ковша, испугались до полусмерти при виде Ньюмена Ногса, который выглянул украдкой из-за насоса, причем показалось только его лицо, выражением своим напоминавшее физиономию задумавшегося людоеда.

Минута в минуту вестница явилась и после свидания, затянувшегося дольше, чем обычно, ушла. Ньюмен Ногс сговорился с Николасом о двух встречах: первая была назначена на завтра в зависимости от его успеха, вторая — которая должна была состояться при любых обстоятельствах — через день вечером. В первый вечер он не явился на место свидания (в некую таверну на

полдороге между Сити и Гольдн-сквером), но на второй вечер пришел раньше Николаса и встретил его с распростертыми объятиями.

— Все в порядке,— прошептал Ньюмен.— Садитесь. Садитесь, мой славный молодой человек, и сейчас я расскажу вам все.

Николас не нуждался во вторичном приглашении и нетерпеливо осведомился, какие у него новости.

— Новостей очень много,— сказал Ньюмен, крайне возбужденный.— Все в порядке. Не волнуйтесь. Не знаю, с чего начать. Неважно. Не падайте духом. Все в порядке.

— Ну? — нетерпеливо сказал Николас.— Да?

— Да,— ответил Ньюмен.— Так.

— Что так? — воскликнул Николас.— Как фамилия, как фамилия, дорогой мой?

— Фамилия Бобстер,— ответил Ньюмен.

— Бобстер! — с негодованием повторил Николас.

— Да, такая фамилия,— сказал Ньюмен.— Я ее запомнил по ассоциации с «лобстер» [1].

— Бобстер! — повторил Николас еще более выразительно, чем раньше.— Должно быть, это фамилия служанки.

— Нет, не служанки,— возразил Ньюмен, решительно покачав головой.— Мисс Сесилия Бобстер.

— Сесилия? — переспросил Николас, повторяя на все лады имя и фамилию, чтобы убедиться, как они звучат.— Ну что ж, Сесилия — красивое имя.

— Очень. И она сама — красивое создание,— сказал Ньюмен.

— Кто? — спросил Николас.

— Мисс Бобстер.

— Где вы ее видели? — осведомился Николас.

— Неважно, мой дорогой мальчик,— ответил Ньюмен, похлопывая его по плечу.— Я видел ее. Вы увидите ее. Я все устроил.

— Дорогой мой Ньюмен, вы не шутите? — вскричал Николас, схватив его за руку.

— Не шучу,— ответил Ньюмен.— Говорю серьезно. От начала до конца. Вы ее увидите завтра вечером. Она

---

[1] Лобстер — омар *(англ.)*.

согласна выслушать то, что вы хотите ей сказать. Я ее уговорил. Она — воплощение любезности, кротости и красоты.

— Я это знаю, знаю, что она должна быть такой, Ньюмен! — сказал Николас, пожимая ему руку.

— Вы правы,— ответил Ньюмен.

— Где она живет? — воскликнул Николас.— Что вы о ней узнали? Есть у нее отец, мать, братья, сестры? Что она сказала? Как вам удалось ее увидеть? Она не очень была удивлена? Вы ей сказали, как страстно желал я поговорить с ней? Вы ей сказали, где я ее видел? Вы ей сказали, как, когда, и где, и как давно, и как часто я думал об этом милом лице, которое являлось мне в минуты самой горькой печали, точно видение иного, лучшего мира,— вы ей сказали, Ньюмен, сказали?

Бедный Ньюмен буквально захлебнулся, когда на него обрушился этот поток вопросов, и судорожно корчился на стуле при каждом новом восклицании, и таращил при этом глаза с видом весьма нелепым и недоумевающим.

— Нет,— ответил Ньюмен,— этого я ей не сказал.

— Чего вы ей не сказали? — осведомился Николас.

— О видении из лучшего мира,— ответил Ньюмен.— И я не сказал ей, кто вы и где вы ее видели. Я сказал, что вы любите ее до безумия.

— Это правда, Ньюмен! — продолжал Николас со свойственной ему горячностью.— Небу известно, что это правда!

— Еще я сказал, что вы давно восхищались ею втайне,— сообщил Ньюмен.

— Да, да! А она что? — спросил Николас.

— Покраснела,— ответил Ньюмен.

— Ну, конечно. Разумеется, она покраснела,— одобрительно заметил Николас.

Далее Ньюмен сообщил, что молодая леди единственная дочь, что мать ее умерла, что она живет с отцом и что она согласилась на тайное свидание со своим поклонником благодаря вмешательству служанки, которая имеет на нее большое влияние. Затем он рассказал о том, сколько понадобилось усилий и красноречия, чтобы склонить молодую леди к этой уступке; как было дано понять, что она только предоставляет Николасу возмож-

ность объясниться в любви и отнюдь не берет на себя обязательства принять благосклонно его ухаживание. Тайна ее визитов к «Чирибл, братья» осталась неразъясненной, ибо Ньюмен не упоминал о них ни в предварительном разговоре со служанкой, ни при последовавшем за ним свидании с госпожой, заявив только, что ему было поручено проследить девушку до дому и защищать дело его молодого друга, и не сказав, долго ли он за ней следил и начиная с какого места. Ньюмен, судя по словам, вырвавшимся у наперсницы, склонен был заподозрить, что молодая леди вела очень печальную и несчастливую жизнь под суровым надзором родителя, отличавшегося вспыльчивым и жестоким нравом,— обстоятельство, которым, по его мнению, объяснялось до известной степени ее обращение к покровительству братьев, а также и тот факт, что она позволила себя уговорить и согласилась на свидание. Последнее он считал весьма логичным выводом из своих посылок, ибо вполне естественно было предположить, что молодая леди, чье настоящее положение было столь незавидно, чрезвычайно стремилась изменить его.

Выяснилось путем дальнейших расспросов,— так как только благодаря долгим и тяжким усилиям удалось вытянуть все это из Ньюмена Ногса,— что Ньюмен, объясняя, почему у него такой обтрепанный костюм, настаивал на том, что это переодевание вызвано необходимыми мерами предосторожности, связанными с этой интригой. На вопрос, каким образом он превысил свои полномочия и добился свидания, Ньюмен заявил, что раз леди, видимо, склонялась к этому, долг и галантность побудили его воспользоваться таким превосходным способом, давшим Николасу возможность продолжать ухаживание. После всевозможных вопросов и ответов, повторенных раз двадцать, они расстались, сговорившись встретиться на следующий вечер в половине одиннадцатого, чтобы отправиться на свидание, которое было назначено на одиннадцать часов.

«Дело складывается очень странно,— размышлял Николас, возвращаясь домой.— Мне это и в голову не приходило, я не мечтал о такой возможности. Знать что-нибудь о жизни той, которой я так интересуюсь, видеть

ее на улице, проходить мимо дома, где она живет, встречать ее иногда на прогулке, мечтать, что настанет день, когда я буду в состоянии сказать ей о моей любви,— это был предел моих надежд. Тогда как теперь... Но я был бы дураком, если бы досадовал на свою удачу».

Однако Николас не был удовлетворен, и это недовольство не было беспричинным. Он сердился на молодую леди за то, что она так легко уступила, «потому что,— рассуждал Николас,— она ведь не знала, что это я, это мог быть кто угодно», а сие, разумеется, было неприятно. Через секунду он уже сердился на себя за такие мысли, говорил, что ничто, кроме доброты, не может обитать в подобном храме и что поведение братьев в достаточной мере свидетельствует о том, с каким уважением они к ней относятся. «Дело в том, что вся она — тайна»,— сказал Николас. Это доставило ему не больше удовлетворения, чем прежние его мысли, и он погрузился в новую пучину догадок, где метался и барахтался, охваченный душевной тревогой, пока не пробило десять и не приблизился час свидания.

Николас очень тщательно занялся своим туалетом, и даже Ньюмен Ногс приоделся: на костюме его красовались — что было редким явлением — по две пуговицы подряд и дополнительные булавки были вколоты через сравнительно правильные промежутки. И шляпу он надел на новый лад — засунув в тулью носовой платок, измятый конец которого торчал сзади, как хвостик; впрочем, Ньюмен вряд ли мог предъявить права изобретателя на это последнее украшение, так как не имел о нем понятия, находясь в нервическом и возбужденном состоянии, которое делало его совершенно бесчувственным ко всему, кроме великой цели их экспедиции.

Они шли по улицам в глубоком молчании и, пройдя быстрым шагом порядочное расстояние, свернули в хмурую и очень редко посещаемую улицу около Эджуэр-роуд.

— Номер двенадцатый,— сказал Ньюмен.

— Вот как! — отозвался Николас, озираясь.

— Хорошая улица? — осведомился Ньюмен.

— Да,— сказал Николас.— Немного скучная.

Ньюмен не дал никакого ответа на это замечание, но,

внезапно остановившись, поместил Николаса спиной к перилам нижнего дворика и внушил ему, что он должен ждать здесь, не шевеля ни рукой, ни ногой, пока не будет твердо установлено, что путь свободен. После этого Ногс с большим проворством заковылял прочь, каждую секунду оглядываясь через плечо, дабы удостовериться, что Николас исполняет его указания. Миновав примерно пять-шесть домов, он поднялся по ступенькам подъезда и вошел в дом.

Вскоре он появился снова и, заковыляв назад, остановился на полпути и поманил Николаса, предлагая следовать за ним.

— Ну, как? — спросил Николас, подходя к нему на цыпочках.

— Все в порядке,— с восторгом ответил Ньюмен.— Все готово. Дома никого нет. Лучше и быть не может. Ха-ха!

С таким успокоительным заверением он прокрался мимо парадной двери, на которой Николас мельком увидел медную табличку с начертанной очень крупными буквами фамилией «Бобстер», и, остановившись у дверцы, которая вела в нижний дворик и подвал, знаком предложил своему молодому другу спуститься по ступенькам.

— Черт возьми! — воскликнул Николас, попятившись.— Неужели мы должны пробираться в кухню, словно пришли красть вилки?

— Тише! — ответил Ньюмен.— Старик Бобстер — лютый турок. Он их всех убьет... надает пощечин молодой леди... Он это часто делает...

— Как! — вскричал Николас вне себя от гнева.— Неужели вы серьезно говорите, неужели кто-то осмеливается давать пощечины такой...

В ту минуту он не успел допеть хвалу своей владычице, ибо Ньюмен подтолкнул его так «осторожно», что он чуть не слетел с лестницы. Правильно оценив этот намек, Николас спустился без дальнейших рассуждений, но с физиономией, выражавшей что угодно, только не надежду и восторг страстно влюбленного. Ньюмен последовал за ним — он последовал бы головой вперед, если бы не своевременная поддержка Николаса — и, взяв его

за руку, повел по каменным плитам совершенно темного коридора в заднюю кухню или погреб, погруженный в самый черный и непроглядный мрак, где они и остановились.

— Ну? — недовольным шепотом спросил Николас.— Конечно, это еще не все, а?

— Нет, нет,— ответил Ньюмен,— сейчас они будут здесь. Все в порядке.

— Рад это слышать,— сказал Николас.— Признаюсь, я бы этого не подумал.

Больше они не обменялись ни одним словом, и Николас стоял, прислушиваясь к громкому сопению Ньюмена Ногса, и представлял себе, что нос у него должен светиться, как раскаленный уголь, в окутывавшей их темноте. Вдруг ухо его уловило осторожные шаги, и сейчас же вслед за этим женский голос осведомился, здесь ли джентльмен.

— Да,— отозвался Николас, поворачиваясь к тому углу, откуда доносился голос.— Кто там?

— Это только я, сэр,— ответил голос.— Теперь пожалуйте, сударыня.

Слабый свет проник в подвал, и вскоре появилась служанка со свечой и вслед за ней ее молодая госпожа, которая казалась подавленной стыдом и смущением.

При виде молодой леди Николас вздрогнул и изменился в лице; сердце его неистово забилось, и он стоял как пригвожденный к месту. В эту минуту и почти одновременно с появлением леди и свечи послышался громкий и яростный стук в дверь, заставивший Ньюмена Ногса спрыгнуть с бочки, на которую он уселся верхом, и воскликнуть отрывисто, причем его физиономия стала землисто-серой.

— Бобстер, клянусь богом!

Молодая леди взвизгнула, служанка начала ломать руки, Николас в остолбенении переводил взгляд с одной на другую, а Ньюмен метался, засовывая руки во все свои карманы по очереди и в полной растерянности выворачивая их наизнанку. Все это продолжалось не больше мгновения, но в течение этого одного мгновения смятение было невообразимое.

— Ради бога, уходите! Мы поступили нехорошо, мы

это заслужили! — воскликнула молодая леди.— Уходите, иначе я погибла навеки!

— Выслушайте одно только слово! — вскричал Николас.— Только одно. Я не буду вас удерживать. Выслушайте одно только слово в объяснение этого недоразумения.

Но Николас мог с таким же успехом бросать слова на ветер, потому что молодая леди с безумным видом бросилась вверх по лестнице. Он хотел последовать за ней, но Ньюмен, схватив его за шиворот, потащил к коридору, которым они вошли.

— Отпустите меня, Ньюмен, черт возьми! — крикнул Николас.— Я должен поговорить с ней... Должен! Без этого я не уйду отсюда.

— Репутация... доброе имя... насилие... подумайте,— бормотал Ньюмен, обхватывая его обеими руками и увлекая прочь.— Пусть они откроют двери. Мы уйдем так же, как и пришли, как только захлопнется дверь. Идите! Сюда! Здесь!

Побежденный доводами Ньюмена, слезами и просьбами служанки и оглушительным стуком наверху, который не стихал, Николас дал увлечь себя, и как раз в тот момент, когда мистер Бобстер вошел с улицы, он и Ногс вышли из подвала.

Быстро пробежали они несколько улиц, не останавливаясь и не разговаривая. Наконец они приостановились и повернулись друг к другу с растерянными и печальными лицами.

— Не беда! — сказал Ньюмен, ловя воздух ртом.— Не падайте духом. Все в порядке. Посчастливится в следующий раз. Невозможно было предотвратить. Я свое дело сделал.

— Превосходно! — согласился Николас, взяв его за руку.— Превосходно сделали, как преданный и ревностный друг. Но только,— помните, я не огорчен, Ньюмен, и признательность моя ничуть не меньше,— только это не та леди.

— Как? — вскричал Ньюмен Ногс.— Служанка меня обманула?

— Ньюмен, Ньюмен! — сказал Николас, положив руку ему на плечо.— И служанка не та.

У Ньюмена отвисла челюсть, и он впился в Николаса здоровым глазом, застывшим и неподвижным.

— Не огорчайтесь,— сказал Николас.— Это не имеет никакого значения. Вы видите, меня это не волнует. Вы пошли не за той служанкой, вот и все!

Действительно, это было все. Либо Ньюмен Ногс, склонив голову набок, так долго выглядывал из-за насоса, что зрение его от этого пострадало, либо, улучив свободную минутку, он проглотил несколько капель напитка более крепкого, чем поставляемый насосом,— как бы там ни было, но он ошибся. И Николас отправился домой размышлять об этом и мечтать о прелести неизвестной молодой леди, такой же недоступной сейчас, как и раньше.

ГЛАВА XLI,

содержащая несколько романических эпизодов, имеющих отношение к миссис Никльби и к соседу—джентльмену в коротких штанах

Начиная с последнего памятного разговора с сыном миссис Никльби стала особенно принаряжаться, постепенно добавляя к тому скромному наряду, приличествующему матроне, какой был повседневным ее костюмом, всевозможные украшения, которые, быть может, сами по себе и были несущественны, но в совокупности своей и в связи со сделанным ею открытием приобретали немалое значение. Даже ее черное платье имело какой-то траурно-жизнерадостный вид благодаря той веселой манере, с какой она его носила. А так как оно утратило прежнюю свежесть, то искусная рука разместила там и сям девические украшения, очень мало или ровно ничего не стоившие, почему они и спаслись при всеобщем крушении; им было разрешено мирно почивать в разных уголках старого комода и шкатулок, куда редко проникал дневной свет, а теперь траурные одежды благодаря им приобрели совсем иной вид. Прежде эти одежды выражали почтение к умершему и скорбь о нем, а теперь свидетельствовали о самых убийственных и смертоносных замыслах, направленных против живых.

Может быть, к ним приводило миссис Никльби высокое сознание долга и побуждения бесспорно превосходные. Может быть, она начала к тому времени постигать греховность длительного пребывания в бесплодной печали и необходимость служить примером изящества и благопристойности для своей расцветающей дочери. Если оставить в стороне соображения, продиктованные долгом и чувством ответственности, перемена могла быть вызвана чистейшим и бескорыстнейшим чувством милосердия. Джентльмен из соседнего дома был унижен Николасом, грубо заклеймен как безмозглый идиот, и за эти нападки на его здравый смысл несла в какой-то мере ответственность миссис Никльби. Может быть, она почувствовала, что добрая христианка должна была опровергнуть мнение, будто обиженный джентльмен выжил из ума или от рождения был идиотом. А какие лучшие средства могла она применить для достижения столь добродетельной и похвальной цели, как не доказать всем, что его страсть была в высшей степени здравой и являлась как раз тем самым результатом, какой могли предугадать благоразумные и мыслящие люди и который вытекал из того, что она по неосторожности выставляла напоказ свою зрелую красоту, так сказа́ть, перед самыми глазами пылкого и слишком чувствительного человека.

— Ах! — сказала миссис Никльби, серьезно покачивая головой.— Если бы Николас знал, как страдал его бедный папа, когда я делала вид, что ненавижу его, прежде чем мы обручились, он бы проявил больше понимания! Разве забуду я когда-нибудь то утро, когда он предложил понести мой зонтик, и я посмотрела на него с презрением? Или тот вечер, когда я бросила на него хмурый взгляд? Счастье, что он не уехал в дальние страны. Я чуть было не довела его до этого.

Не лучше ли было бы покойному, если бы он уехал в дальние страны в дни своей холостой жизни — на этом вопросе его вдова не остановилась, так как в эту минуту раздумья в комнату вошла Кэт с рабочей шкатулкой, а значительно менее серьезная помеха или даже отсутствие всякой помехи могли в любое время направить мысли миссис Никльби по новому руслу.

— Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби,— не

знаю почему это, но такой чудный теплый летний день, как сегодня, когда птицы поют со всех сторон, всегда напоминает о жареном поросенке с шалфейным и луковым соусом и подливкой.

— Странная ассоциация идей, не правда ли, мама?

— Честное слово, не знаю, дорогая моя,— отозвалась миссис Никльби.— Жареный поросенок... Позволька... Через пять недель после того, как тебя крестили, у нас был жареный... нет, это не мог быть поросенок, потому что, я припоминаю, разрезать пришлось две штуки, а твоему бедному папе и мне не пришло бы в голову заказать на обед двух поросят... должно быть, это были куропатки. Жареный поросенок... Теперь я припоминаю — вряд ли у нас вообще мог быть когда-нибудь поросенок, потому что твой папа видеть их не мог в лавках и, бывало, говóрил, что они ему напоминают крохотных младенцев, только у поросят цвет лица гораздо лучше, а младенцы приводили его в ужас, потому что он никак не мог себе позволить прибавление семейства, и питал к ним вполне естественное отвращение. Как странно, почему мне это пришло в голову? Помню, мы однажды обедали у миссис Бивен на той широкой улице за углом, рядом с каретным мастером, где пьяница провалился в отдушину погреба в пустом доме почти за неделю до конца квартала, и его нашли только тогда, когда въехал новый жилец... И там мы ели жареного поросенка. Я думаю, вот это-то и напоминает мне о нем, тем более что там в комнате была маленькая птичка, которая все время пела за обедом... Впрочем, птичка не маленькая, потому что это был попугай, и он, собственно, не пел, а разговаривал и ужасно ругался, но я думаю, что должно быть так. Да, я уверена, что так. А как ты думаешь, дорогая моя?

— Я бы сказала, что никаких сомнений быть не может, мама,— с веселой улыбкой отозвалась Кэт.

— Но ты действительно так думаешь, Кэт? — осведомилась миссис Никльби с большой серьезностью, как будто речь шла о чрезвычайно важном и животрепещущем предмете.— Если не думаешь, то ты так сразу и скажи, потому что следует избегать ошибок в вопросах такого рода, очень любопытных, которые стóит разрешить, если уж начнешь о них думать.

Кэт, смеясь, ответила, что она в этом совершенно убеждена, а так как ее матушка все еще как будто колебалась, не является ли абсолютной необходимостью продолжить этот разговор, Кэт предложила пойти с рукоделием в беседку и насладиться чудесным днем. Миссис Никльби охотно согласилась, и они без дальнейших рассуждений отправились в беседку.

— Право же, я должна сказать, что не бывало еще на свете такого доброго создания, как Смайк,— заметила миссис Никльби, усаживаясь на свое место.— Честное слово, труды, какие он прилагает, чтобы содержать в порядке эту маленькую беседку и разводить прелестные цветы вокруг, превосходят все, что я могла бы... но мне бы хотелось, чтобы он не сгребал весь песок к твоей стороне, Кэт, дорогая моя, а мне оставлял одну землю.

— Милая мама,— быстро отозвалась Кэт,— пересядьте сюда... пожалуйста... доставьте мне удовольствие, мама.

— Нет, нет, дорогая моя. Я останусь на своем месте,— сказала миссис Никльби.— Ах, что это?

Кэт вопросительно посмотрела на нее.

— Да ведь он достал где-то два-три черенка тех цветов, о которых я на днях сказала, что очень люблю их, и спросила, любишь ли ты,— нет, это ты сказала на днях, что очень их любишь и спросила меня, люблю ли я,— это одно и то же. Честное слово, я нахожу, что это очень любезно и внимательно с его стороны. Я не вижу,— добавила миссис Никльби, зорко осматриваясь вокруг,— этих цветов с моей стороны, но, должно быть, они лучше растут около песка. Можешь быть уверена, что это так, Кэт, и вот почему они посажены около тебя, а песком он посыпал там, потому что это солнечная сторона. Честное слово, это очень умно! Мне самой никогда не пришло бы это в голову!

— Мама! — сказала Кэт, так низко наклоняясь над рукоделием, что лица ее почти не было видно.— До вашего замужества...

— Ах, боже мой, Кэт! — перебила миссис Никльби.— Объясни мне, ради господа бога, почему ты перескакиваешь к тому, что было до моего замужества, когда я го-

ворю о его заботливости и внимании ко мне? Ты как будто ничуть не интересуешься садом.

— О мама, вы знаете, что интересуюсь! — сказала Кэт, снова подняв голову.

— В таком случае почему же ты никогда его не похвалишь за то, что он содержит сад в таком порядке? — сказала миссис Никльби.— Какая ты странная, Кэт?

— Я хвалю, мама,— кротко отозвалась Кэт.— Бедняга!

— Редко приходится слышать это от тебя, дорогая моя,— возразила миссис Никльби,— вот все, что я могу сказать.

Славная леди достаточно времени уделила этому предмету, а посему тотчас попала в маленькую ловушку, расставленную ее дочерью,— если это была ловушка,— и осведомилась, о чем та начала говорить.

— О чем, мама? — спросила Кэт, которая, по-видимому, совершенно забыла свой вопрос, уводящий в сторону.

— Ах, Кэт, дорогая моя,— сказала ее мать.— Ты спишь или поглупела! О том, что было до моего замужества.

— Ах, да! — подхватила Кэт.— Помню. Я хотела спросить, мама, много ли у вас было поклонников до замужества.

— Поклонников, дорогая моя! — воскликнула миссис Никльби с удивительно самодовольной улыбкой.— В общем, Кэт, у меня их было не меньше дюжины.

— Мама! — запротестовала Кэт.

— Да, не меньше, дорогая моя,— сказала миссис Никльби,— не считая твоего бедного папы и того молодого джентльмена, который, бывало, ходил в тот же танцевальный класс и непременно хотел посылать нам домой золотые часы и браслеты в бумаге с золотым обрезом (их всегда отсылали обратно) и который потом имел несчастье отправиться к берегам Ботани-Бей * на кадетском судне, то есть я хочу сказать — на каторжном, и скрылся в зарослях кустарника, и убивал овец (не знаю, как они туда попали), и его собирались повесить, только он сам случайно удавился, и правительство его помиловало. Затем был еще молодой Лакин,— сказала миссис Никльби,

начав с большого пальца левой руки и отсчитывая имена по пальцам,— Могли, Типсларк, Кеббери, Смифсер...

Добравшись до мизинца, миссис Никльби хотела перенести счет на другую руку, как вдруг громкое «гм!», прозвучавшее как будто у самого основания садовой стены, заставило и ее и дочь сильно вздрогнуть.

— Мама, что это? — тихо спросила Кэт.

— Честное слово, дорогая моя,— отозвалась миссис Никльби, испугавшись не на шутку,— если это не джентльмен из соседнего дома, я не знаю, что́ бы это могло быть...

— Э-хм! — раздался тот же голос, и это было не обычное откашливание, но нечто вроде рева, который разбудил эхо в округе и звучал так долго, что несомненно заставил почернеть невидимого ревуна.

— Теперь я понимаю,— сказала миссис Никльби, положив руку на руку Кэт.— Не пугайся, милочка, это относится не к тебе, у него и в помыслах нет кого-нибудь пугать... Будем справедливы ко всем, Кэт, я считаю, что это необходимо.

С этими словами миссис Никльби закивала головой, несколько раз погладила руку дочери и приняла такой вид, как будто могла бы сказать нечто весьма важное, если бы захотела, но ей, слава богу, ведомо самоотречение и она ничего не скажет.

— О чем вы говорите, мама? — с нескрываемым изумлением спросила Кэт.

— Не волнуйся, дорогая моя,— ответила миссис Никльби, посматривая на садовую стену,— ты видишь, я не волнуюсь, а уж если кому-нибудь простительно было бы волноваться, то, разумеется, принимая во внимание все обстоятельства, это было бы простительно мне, но я не волнуюсь, Кэт... ничуть...

— Этим звуком как будто хотели привлечь наше внимание, мама,— сказала Кэт.

— Да, хотели привлечь наше внимание, дорогая моя,— ответила миссис Никльби, выпрямившись и еще ласковее поглаживая руку дочери,— во всяком случае, привлечь внимание одной из нас. Гм! У тебя решительно нет оснований беспокоиться, дорогая моя.

Кэт была в полном недоумении и, видимо, собиралась обратиться за новыми объяснениями, когда послышались с той же стороны крик и шарканье, словно какой-то пожилой джентльмен весьма энергически кашлял и елозил ногами по рыхлому песку. А когда эти звуки утихли, большой огурец со скоростью ракеты взлетел к небу, откуда опустился, вращаясь, и упал к ногам миссис Никльби.

За этим поразительным феноменом последовал второй, точь-в-точь такой же, затем взмыла в воздух прекрасная тыква грандиозных размеров и плюхнулась вниз; затем взлетели одновременно несколько огурцов; наконец небо потемнело от града луковиц, редисок и других мелких овощей, которые падали, раскатываясь, подпрыгивая и рассыпаясь во все стороны.

Когда Кэт в тревоге встала и схватила за руку мать, чтобы бежать с ней в дом, она почувствовала, что мать не только этого не хочет, но даже удерживает ее; проследив за взглядом миссис Никльби, она была устрашена появлением старой черной бархатной шапки, которая медленно, словно ее владелец взбирался по приставной лестнице, поднялась над стеной, отделявшей их сад от сада при соседнем коттедже (стоявшем, как и их коттедж, особняком), а за нею последовала очень большая голова и очень старое лицо с поразительными серыми глазами — глаза были дикие, широко раскрытые и вращались в орбитах, томно подмигивая, что отвратительно было наблюдать.

— Мама! — закричала Кэт, придя на сей раз в ужас.— Почему вы стоите, почему медлите? Мама, прошу вас, бежим в дом!

— Кэт, дорогая моя,— возразила мать, все еще упираясь,— можно ли так глупить? Мне стыдно за тебя. Как ты думаешь, можешь ты прожить жизнь, если будешь такой трусихой? Что вам угодно, сэр? — сказала миссис Никльби, с притворным неудовольствием обращаясь к непрошенному гостю.— Как вы смеете заглядывать в этот сад?

— Королева души моей,— ответил незнакомец, складывая руки,— отпейте из этого кубка!



— Глупости, сэр! — сказала миссис Никльби.— Кэт, милочка, пожалуйста, успокойся.

— Вы не хотите отпить из кубка? — настаивал незнакомец, умоляюще склонив голову к плечу и прижав правую руку к груди.— Отпейте из этого кубка!

— Никогда я не соглашусь сделать что-нибудь в этом роде, сэр,— сказала миссис Никльби.— Пожалуйста, уйдите.

— Почему? — вопросил старый джентльмен, поднимаясь еще на одну перекладину и облокачиваясь на стену с такой непринужденностью, словно выглядывал из окна.— Почему красота всегда упряма, даже если восхищение так благородно и почтительно, как мое? — Тут он улыбнулся, послал воздушный поцелуй и отвесил несколько низких поклонов.— Или виной тому пчелы, которые, когда проходит пора медосбора и их якобы убивают серой, на самом деле улетают в страну варваров и убаюкивают пленных мавров своими снотворными песнями? Или...— прибавил он, понизив голос почти до шепота,— или это находится в связи с тем, что не так давно видели, как статуя с Чаринг-Кросса прогуливалась на Бирже в полночь рука об руку с насосом из Олдгет в костюме для верховой езды?

— Мама,— прошептала Кэт,— вы слышите?

— Тише, дорогая моя,— так же шепотом ответила миссис Никльби,— он очень учтив, и я думаю, что это цитата из поэтов. Пожалуйста, не приставай ко мне, ты мне исщиплешь руку до синяков... Уйдите, сэр!

— Совсем уйти? — сказал джентльмен, бросая томный взгляд.— О! Уйти совсем?

— Да,— подтвердила миссис Никльби,— разумеется. Вам здесь нечего делать. Это частное владение, сэр. Вам бы следовало это знать.

— Я знаю,— сказал старый джентльмен, приложив палец к носу с фамильярностью, в высшей степени предосудительной,— я знаю, что это священное и волшебное место, где божественнейшие чары (тут он снова послал воздушный поцелуй и поклонился) источают сладость на соседские сады и вызывают преждевременное произрастание плодов и овощей. Этот факт мне известен. Но разрешите ли вы мне, прелестнейшее создание, задать вам один

вопрос в отсутствие планеты Венеры, которая пошла по делу в штаб Конной гвардии, а в противном случае, ревнуя к превосходству ваших чар, помешала бы нам?

— Кэт,— промолвила миссис Никльби, повернувшись к дочери,— право же, мне очень неловко. Я просто не знаю, что сказать этому джентльмену. Нужно, знаешь ли, быть вежливой.

— Милая мама,— отозвалась Кэт,— не говорите ему ни слова. Лучше убежим поскорее и запремся в доме, пока не вернется Николас.

Миссис Никльби приняла величественный, чтобы не сказать высокомерный, вид, услыхав это смиренное предложение, и, повернувшись к старому джентльмену, который с напряженным вниманием следил за ними, пока они перешептывались, сказала:

— Если вы будете держать себя, сэр, как подобает джентльмену, каким я склонна вас считать, судя по вашим речам... и... наружности (копия твоего дедушки, Кэт, дорогая моя, в лучшие его дни), и зададите ваш вопрос, изъясняясь простыми словами, я отвечу на него.

Если превосходный папаша миссис Никльби имел в лучшие свои дни сходство с соседом, выглядывавшим сейчас из-за стены, то, должно быть, во цвете лет он был дряхлым джентльменом весьма странного вида, чтобы не сказать больше. Быть может, эта мысль мелькнула у Кэт, ибо она рискнула посмотреть с некоторым вниманием на вылитый его портрет, который снял свою черную бархатную шапку и, обнаружив совершенно лысую голову, отвесил длинную серию поклонов, сопровождая каждый новым воздушным поцелуем. Явно истощив все силы в этих утомительных упражнениях, он снова накрыл голову шапкой, очень старательно натянув ее на кончики ушей, и, приняв прежнюю позу, сказал:

— Вопрос заключается в том...

Тут он оборвал фразу, чтобы осмотреться по сторонам и окончательно удостовериться, что никто не подслушивает. Убедившись, что никого нет, он несколько раз постучал себя по носу, сопровождая этот жест лукавым взглядом, словно хваля себя за осторожность, и, вытянув шею, сказал громким шепотом:

— Вы принцесса?

— Вы смеетесь надо мной, сэр? — отозвалась миссис Никльби, делая вид, будто отступает к дому.

— Нет, но вы принцесса? — повторил старый джентльмен.

— Вы знаете, что нет, сэр,— ответила миссис Никльби.

— В таком случае, не в родстве ли вы с архиепископом Кентерберийским? — с величайшим беспокойством осведомился старый джентльмен.— Или с папой римским? Или со спикером палаты общин? Простите меня, если я ошибаюсь, но мне говорили, что вы племянница Уполномоченных по замощению улиц и невестка лорд-мэра и Суда Общих Тяжб, чем и объясняется ваше родство со всеми тремя.

— Тот, кто распустил такие слухи, сэр,— с жаром возразила миссис Никльби,— позволил себе величайшую вольность, которой ни секунды не потерпел бы мой сын Николас, если бы он о ней знал. Вот выдумки! — приосанившись, сказала миссис Никльби.— Племянница Уполномоченных по замощению улиц!

— Прошу вас, мама, уйдем! — прошептала Кэт.

— «Прошу вас, мама!» Глупости, Кэт! — сердито отозвалась миссис Никльби.— Вот всегда так! Даже если бы про меня сказали, что я племянница писклявого снегиря, тебе было бы безразлично. Нет, я не вижу сочувствия,— захныкала миссис Никльби,— да и не жду его.

— Слезы! — вскричал старый джентльмен, столь энергически подпрыгнув, что опустился на две-три перекладины и оцарапал подбородок о стену.— Ловите прозрачные шарики! Собирайте их в бутылку! Закупорьте их плотно! Припечатайте сверху сургучом! Положите печать Купидона! Наклейте этикетку «Высшее качество»! Спрячьте в четырнадцатый ящик с железным засовом сверху, чтобы отвести громовой удар!

Отдавая такие приказы, как будто дюжина слуг ревностно занималась их исполнением, он вывернул наизнанку свою бархатную шапку, с великим достоинством надел ее так, чтобы она закрыла правый его глаз и три четверти носа, и, подбоченившись, свирепо взирал на воробья, пока эта птица не улетела.

Затем он с весьма удовлетворенным видом спрятал в карман шапку и с почтительной миной обратился к миссис Никльби.

— Прекрасная госпожа,— таковы были его слова,— если я допустил какую-нибудь ошибку касательно вашей семьи или родни, я смиренно прошу простить меня. Если я предположил, что вы связаны с иностранными властями или национальными департаментами, то лишь потому, что — простите мне эти слова — такими манерами, осанкой и достоинством обладаете только вы (может быть, единственное исключение — та трагическая муза, которая импровизирует на шарманке перед Ост-Индской компанией). Я, сударыня, как видите, не юноша, и, хотя такие создания, как вы, никогда не могут состариться, я смею надеяться, что мы созданы друг для друга.

— Ах, право же, Кэт, моя милая! — сказала миссис Никльби слабым голосом и глядя в сторону.

— У меня есть поместья, сударыня! — сказал старый джентльмен, небрежно помахивая правой рукой, как будто он очень легкомысленно относится к таким вещам. И быстро продолжал: — У меня есть драгоценные камни, маяки, заповедные пруды, собственные китобойни в Северном море и много устричных отмелей, приносящих большие барыши, в Тихом океане. Если вы будете столь любезны, пойдете на Королевскую биржу и снимете треуголку с головы самого толстого швейцара, вы найдете в подкладке тульи мою визитную карточку, завернутую в синюю бумагу. Можно увидеть также и мою трость, если обратиться к капеллану палаты общин, которому строжайше запрещено показывать ее за плату. Я окружен врагами, сударыня,— он посмотрел в сторону своего дома и заговорил очень тихо,— которые при каждом удобном случае нападают на меня и хотят завладеть моим имуществом. Если вы осчастливите меня вашей рукой и сердцем, вы можете обратиться к лорду-канцлеру или в случае необходимости вызвать военные силы — достаточно будет послать мою зубочистку главнокомандующему — и таким образом очистить от них дом перед совершением обряда. А затем — любовь, блаженство и восторг! Восторг, любовь и блаженство! Будьте моей, будьте моей!

Повторив эти последние слова с величайшим восхищением и энтузиазмом, старый джентльмен снова надел свою черную бархатную шапку и сказал, устремив взгляд в небо, нечто не совсем вразумительное, имеющее отношение к воздушному шару, которого он ждет и который слегка запоздал.

— Будьте моей, будьте моей! — снова завопил старый джентльмен.

— Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби,— у меня почти нет сил говорить, но для счастья всех заинтересованных сторон необходимо, чтобы с этим делом было покончено раз навсегда.

— Право же, мама, нет никакой необходимости, чтобы вы хоть слово проронили! — убеждала Кэт.

— Будь добра, дорогая моя, разреши мне судить об этом самой,— сказала миссис Никльби.

— Будьте моей, будьте моей! — возопил старый джентльмен.

— Вряд ли можно ожидать, сэр,— произнесла миссис Никльби, скромно потупившись,— чтобы я сказала незнакомому человеку, польщена ли я и благодарна ли за такое предложение, или нет. Несомненно, оно сделано при весьма странных обстоятельствах; однако в то же время постольку-поскольку и до известных пределов (обычный оборот речи миссис Никльби) оно должно быть лестно и приятно.

— Будьте моей, будьте моей! — закричал старый джентльмен.— Гог и Магог, Гог и Магог! * Будьте моей, будьте моей!

— Достаточно будет мне сказать, сэр,— продолжала миссис Никльби с полной серьезностью,— и, я уверена, вы поймете необходимость принять этот ответ и удалиться,— что я решила остаться вдовой и посвятить себя моим детям. Быть может, вам не пришло бы в голову, что я мать двух детей,— действительно, многие в этом сомневались и говорили, что ни за что на свете не могли бы этому поверить,— но это правда, и оба они взрослые. Мы будем очень рады принимать вас как соседа,— очень рады, в восторге, уверяю вас,— но в любой другой роли это совершенно невозможно, совершенно! Что же касается того, что я еще достаточно молода, чтобы снова

выйти замуж, то, может быть, это так, а может быть, и не так, но я ни на секунду не могу об этом подумать, ни под каким видом. Я сказала, что не выйду,— и не выйду! Очень мучительно отклонять предложения, и я бы предпочла, чтобы их совсем не делали. Тем не менее я давно уже решила дать такой ответ, и так я буду отвечать всегда.

Эти замечания были обращены отчасти к старому джентльмену, отчасти к Кэт, а отчасти к себе самой. К концу их поклонник стал проявлять к ним весьма непочтительное невнимание, и едва миссис Никльби умолкла, как, к великому ужасу и этой леди и ее дочери, он сорвал с себя сюртук и, вспрыгнув на стену, принял позу, выставившую напоказ в наивыгоднейшем свете короткие штаны и серые шерстяные чулки, а в заключение застыл на одной ноге и с особенным рвением испустил свой излюбленный рев.

Пока он еще тянул последнюю ноту, украшая ее длинной фиоритурой, показалась грязная рука, которая украдкой и быстро скользнула по верху стены, как бы преследуя муху, и затем очень ловко ухватила одну из лодыжек старого джентльмена. Когда это было сделано, появилась вторая рука и ухватила другую лодыжку.

Попав в такое затруднительное положение, старый джентльмен раза два неловко приподнял ноги, словно они были очень неуклюжей и несовершенной частью какого-то механизма, а затем, бросив взгляд на свой участок за стеной, громко расхохотался.

— Это вы? — осведомился старый джентльмен.

— Да, это я,— ответил грубый голос.

— Как поживает император Татарии? — спросил старый джентльмен.

— О, так же, как всегда,— последовал ответ.— Не лучше и не хуже.

— А молодой принц китайский,— с большим интересом продолжал старый джентльмен,— примирился ли он со своим тестем, великим продавцом картошки?

— Нет,— ответил ворчливый голос,— и мало того: он говорит, что никогда не примирится.

— В таком случае,— заметил старый джентльмен,— пожалуй, лучше мне слезть.

— Да,— сказал человек по ту сторону стены,— я думаю, так будет лучше.

Когда одна рука осторожно разжалась, старый джентльмен принял сидячее положение и оглянулся, чтобы улыбнуться и поклониться миссис Никльби, после чего исчез довольно стремительно, как будто снизу его потянули за ноги.

Успокоенная его исчезновением, Кэт повернулась, чтобы заговорить со своей матушкой, как снова показались грязные руки и сейчас же вслед за ними грубоватая физиономия толстого человека, поднявшегося по приставной лестнице, которую только что занимал их странный сосед.

— Прошу прощения, леди,— сказало это новое лицо, ухмыльнувшись и притронувшись к шляпе,— не объяснился ли он в любви одной из вас?

— Да,— ответила Кэт.

— А! — сказал тот, вынув из шляпы носовой платок и вытирая лицо.— Он, знаете ли, всегда это делает. Никак его не удержишь, чтобы он не объяснялся в любви.

— Бедняга не в своем уме, разумеется? — спросила Кэт.

— Ну, конечно,— ответил тот, заглянув в свою шляпу, бросил в нее носовой платок и снова надел ее.— Это сразу видно.

— Давно это с ним? — спросила Кэт.

— Давненько.

— И нет никакой надежды? — участливо спросила Кэт.

— Ни малейшей, да так ему и надо! — ответил сторож.— Без ума он куда приятней. Он был самым жестоким, злым, черствым старым кремнем, какого только можно встретить.

— Неужели? — сказала Кэт.

— Ей-богу! — ответил сторож, столь энергически покачав головой, что ему пришлось сдвинуть брови, чтобы не слетела шляпа.— Никогда еще я не видывал такого негодяя, и мой помощник говорит то же самое. Разбил сердце своей бедной жены, дочерей выставил за дверь, сыновей выгнал на улицу, счастье, что он в конце концов

рехнулся от злости, от жадности, от эгоизма, от обжорства и пьянства, иначе он бы многих свел с ума. Есть ли надежда у *него*, старого распутника? Не очень-то много на свете надежды, и готов прозакладывать крону, что та, какая есть, приберегается для более достойных, чем он.

После такого исповедания веры сторож снова покачал головой, как бы желая сказать, что пока свет стоит, иначе и быть не может. Хмуро притронувшись к шляпе,— не потому, что был в дурном расположении духа, но потому, что эта тема его расстроила,— он спустился и убрал лестницу.

Во время этого разговора миссис Никльби не спускала со сторожа сурового и пристального взгляда. Теперь она глубоко вздохнула и, поджав губы, покачала головой медленно и недоверчиво.

— Бедняга! — сказала Кэт.

— В самом деле, бедняга! — подхватила миссис Никльби.— Позор, что допускают подобные вещи. Позор!

— Что же можно поделать, мама? — грустно сказала Кэт.— Немощи человеческой природы...

— Природы! — повторила миссис Никльби.— Как? Неужели ты считаешь, что этот бедный джентльмен не в своем уме?

— Кто же может, увидев его, быть другого мнения, мама?

— Так вот что я тебе скажу, Кэт,— возразила миссис Никльби.— Он отнюдь не сумасшедший, и меня удивляет, как ты позволила себя одурачить. Тут какой-то заговор, составленный с целью завладеть его имуществом,— разве он сам этого не сказал? Может быть, он немножко чудаковат и неуравновешен — многие из нас таковы,— но сумасшедший?.. И притом выражаться так почтительно, таким поэтическим языком и делать предложение столь обдуманно, деликатно и умно — ведь не выбегает же он на улицу и не бросается на колени перед первой встречной девчонкой, как поступил бы сумасшедший! Нет, нет, Кэт, в его безумии слишком много благоразумия, можешь в этом не сомневаться, дорогая моя.

ГЛАВА XLII,

подтверждающая приятную истину, что лучшим друзьям приходится иногда расставаться

Мостовая Сноу-Хилла весь день поджаривалась и припекалась на солнце, и головы близнецов-сарацинов, охранявшие вход в гостиницу, для которой они служат и названием и вывеской, смотрели — или это только казалось усталым и с трудом волочившим ноги прохожим — более злобно, чем обычно, опаленные и обожженные зноем, когда в одной из самых маленьких столовых гостиницы, куда осязаемым облаком врывались через открытое окно испарения потных лошадей, был накрыт в примерном порядке стол для чаепития, защищенный с флангов вареным мясом, жарким, языком, пирогом с голубями, холодной птицей, большой кружкой эля и другими мелочами такого же рода, которые в наших вырождающихся городах и городишках рассматриваются скорее как принадлежность плотного завтрака, обеда для пассажиров почтовых карет или весьма основательной утренней закуски.

Мистер Джон Брауди, засунув руки в карманы, беспокойно бродил вокруг этих деликатесов, время от времени останавливаясь, чтобы отогнать мух от сахарницы носовым платком жены, или опустить чайную ложку в молочник и препроводить ее в рот, или отрезать краешек корки и кусочек мяса и проглотить их в два глотка, словно две пилюли. После каждого из таких заигрываний со съестными припасами он вынимал часы и заявлял с серьезностью, поистине патетической, что больше двух минут ему не выдержать.

— Тилли! — сказал Джон своей леди, которая полудремала, развалившись на диване.

— Что, Джон?

— «Что, Джон!» — нетерпеливо передразнил супруг.— Ты разве не голодна, девочка?

— Не очень,— сказала миссис Брауди.

— «Не очень!» — повторил Джон, возведя глаза к потолку.— Вы только послушайте — не очень! А обедали

мы в три часа, а на завтрак было какое-то пирожное, которое только раздражает, а не успокаивает человека. «Не очень!»

— К вам джентльмен, сэр,— сказал официант, заглянув в комнату.

— Ко мне что? — воскликнул Джон так, словно решил, что речь идет о письме или пакете.

— Джентльмен, сэр.

— Черт побери! — вскричал Джон.— Чего ради ты мне это сообщаешь. Веди его сюда.

— Вы дома, сэр?

— Дома! — воскликнул Джон.— Хотел бы я быть дома! Я бы уже часа два как напился чаю. Да ведь я сказал тому, другому парню, чтобы он смотрел в оба у входной двери и предупредил его, как только он придет, что мы изнемогли от голода. Веди его сюда. Ага! Твою руку, мистер Никльби. Это счастливейший день в моей жизни, сэр. Как поживаете? Здоро́во! Как я рад!

Забыв даже о голоде при этой дружеской встрече, Джон Брауди снова и снова пожимал руку Николасу, после каждого пожатия похлопывая его весьма энергически по ладони, чтобы сделать приветствие более теплым.

— Вот и она,— сказал Джон, заметив взгляд, брошенный Николасом в сторону его жены.— Вот и она, теперь мы из-за нее не поссоримся, а? Ей-богу, когда я подумаю о том... Но ты должен чего-нибудь поесть. Приступай к делу, приятель, приступай, и за блага, которые мы получаем...

Несомненно, молитва перед едой была должным образом закончена, но больше ничего не было слышно, потому что Джон уже заработал ножом и вилкой так, что его речь на время оборвалась.

— Я воспользуюсь обычной привилегией, мистер Брауди,— сказал Николас, придвигая стул для новобрачной.

— Пользуйся чем хочешь,— сказал Джон,— а когда воспользуешься, требуй еще.

Не потрудившись дать объяснение, Николас поцеловал зарумянившуюся миссис Брауди и повел ее к столу.

— Послушай,— сказал Джон, на секунду ошарашенный,— устраиваешься, как дома, так, что ли?

— Можете в этом не сомневаться,— отозвался Николас,— но с одним условием.

— А что это за условие? — спросил Джон.

— Вы пригласите меня крестным отцом, как только явится в нем необходимость.

— Вы слышите?! — воскликнул Джон, положив нож и вилку.— Крестным отцом! Ха-ха-ха! Тилли, ты слышишь — крестным отцом! Ни слова больше — лучше все равно не скажешь. Крестный отец! Ха-ха-ха!

Никогда еще не потешали людей почтенные старые шутки так, как распотешила эта шутка Джона Брауди. Он клохтал, ревел, задыхался от смеха, когда большие куски мяса застревали в горле, снова ревел, при этом он не переставал есть, лицо у него покраснело, лоб почернел, он закашлялся, закричал, оправился, снова засмеялся сдавленным смехом, опять ему стало хуже, его колотили по спине, он топал ногами, испугал жену и в конце концов, совершенно ослабев, пришел в себя; слезы катились у него из глаз, но он все еще слабым голосом восклицал: «Крестный отец, крестный отец, Тилли!» — и тон его свидетельствовал о том, что слова Николаса доставили ему величайшее наслаждение, которого не уменьшат никакие страдания.

— Помните вечер нашего первого чаепития? — спросил Николас.

— Да разве я его когда-нибудь забуду, приятель? — отозвался Джон Брауди.

— Отчаянный он был тогда парень, не правда ли, миссис Брауди? — сказал Николас.— Просто чудовище!

— Вот это вы бы могли сказать, если бы только послушали его, когда мы возвращались домой,— ответила новобрачная.— Никогда еще мне не бывало так страшно.

— Полно, полно,— с широкой улыбкой сказал Джон.— Ты должна лучше знать меня, Тилли.

— Я и знала,— отозвалась миссис Брауди.— Я почти что решила никогда больше с тобой не разговаривать.

— Почти! — повторил Джон, улыбаясь еще шире.— Она почти решила! А всю дорогу она ко мне ласкалась и ластилась, ласкалась и ластилась. «Чего ради ты позволила этому парню ухаживать за тобой?» — говорю я. «Я не позволяла, Джон»,— говорит она и жмет мне руку.

«Ты не позволяла?» — говорю я. «Нет»,— говорит она и опять жмется ко мне.

— Боже мой, Джон! — перебила его хорошенькая жена, очень сильно покраснев.— Как можешь ты говорить такие глупости? Да мне бы это и во сне не приснилось!

— Не знаю, снилось это тебе или нет, хотя заметь — я думаю, что могло бы присниться,— возразил Джон,— но ты это делала. «Ты изменчивая, непостоянная вертушка, моя девочка»,— говорю я. «Нет, Джон, не изменчивая»,— говорит она. «Нет, говорю, изменчивая, чертовски изменчивая! Не отпирайся после того, что было с тем парнем в доме школьного учителя»,— говорю я. «Ах, он?» — как взвизгнет она. «Да, он!» — говорю я. «Ах, Джон,— говорит она, а сама подходит ближе и прижимается еще крепче,— да неужели это, по-твоему, возможно, чтобы я, когда со мной водит компанию такой мужчина, как ты, стала обращать внимание на этого жалкого хвастунишку?» Ха-ха-ха! Она так и сказала — хвастунишка. «Ладно! — говорю я.— А теперь назначай день, и делу конец». Ха-ха-ха!

Николас от души посмеялся над этим рассказом, который выставлял его самого в невыгодном свете; да к тому же, он не хотел, чтобы краснела миссис Брауди, чьи протесты потонули во взрывах смеха ее супруга. Благодушие Николаса вскоре помогло ей успокоиться, и, отрицая обвинение, она так весело смеялась над ним, что Николас имел удовольствие убедиться в правдивости рассказа.

— Всего только второй раз,— сказал Николас,— мы сидим с вами вместе за столом, а вижу-то я вас в третий раз, но, право, мне кажется, что я среди друзей.

— Верно! — заметил йоркширец.— И я то же самое скажу.

— И я,— добавила его молодая жена.

— Заметьте, у меня есть все основания для такого чувства,— сказал Николас,— потому что, если бы не ваша сердечная доброта, мой славный друг, на которую у меня не было ни права, ни повода рассчитывать, я не знаю, что сталось бы со мной и в каком тяжелом положении мог бы я очутиться.

— Поговорим о чем-нибудь другом,— проворчал Джон,— а об этом не стóит.

— В таком случае песня будет новая, но на старый мотив,— улыбаясь, сказал Николас.— Я писал вам в письме, как я благодарен и как восхищаюсь вашим сочувствием к бедному мальчику, которого вы вызволили, хотя сами рисковали очутиться в неприятном и затруднительном положении, но мне никогда не удастся рассказать, как признательны вам он, я и те, кого вы не знаете, за то, что вы над ним сжалились.

— Ого! — сказал Джон Брауди, придвигая стул.— А мне никогда не удастся рассказать, как были бы признательны иные люди, нам с вами известные, если бы *они* знали, что я над ним сжалился.

— Ах! — воскликнула миссис Брауди.— В каком я была состоянии в тот вечер!

— Им не пришло в голову, что вы могли принимать участие в его побеге? — спросил Николас Джона Брауди.

— Нисколько,— ответил йоркширец, растянув рот до ушей.— Я нежился в постели школьного учителя еще долго после того, как стемнело, и никто даже не подходил к двери. «Ну,— думаю я,— теперь он далеко ушел и если еще не добрался до дому, значит никогда ему там не бывать; стало быть, можете теперь приходить, когда угодно, мы готовы». Это, понимаете ли, школьный учитель мог прийти.

— Понимаю,— сказал Николас.

— Тут он и пришел,— продолжал Джон.— Я услышал, что дверь захлопнулась внизу и он поднимается в темноте. «Не торопитесь,— думаю я,— идите потихоньку, сэр, не к спеху». Он подходит к двери, поворачивает ключ — ключ поворачивается, а замка-то нет! — и кричит: «Эй, ты, там!» — «Да,— думаю я,— можете еще покричать, никого не разбудите, сэр».— «Эй! — кричит он и вдруг останавливается.— Ты бы лучше меня не раздражал,— говорит школьный учитель, помолчав.— Я тебе все кости переломаю, Смайк»,— говорит он, опять помолчав. Потом вдруг кричит, чтобы принесли свечу, а когда принесли свечу — боже ты мой, какой поднялся переполох! «Что случилось?» — спрашиваю я. «Он удрал! — кричит он, взбесившись от злости.— Вы ничего

не слышали?» — «Слышал,— говорю я,— слышал, что не так давно хлопнула парадная дверь. Слышал, как кто-то побежал вон туда!» И указываю в противоположную сторону. Каково? «На помощь!» — кричит он. «Я вам помогу»,— говорю я. И пустились мы с ним — не в ту сторону! Хо-хо-хо!

— И далеко вы ходили? — спросил Николас.

— Далеко! — ответил Джон.— Через четверть часа он у меня с ног валился. Стоило посмотреть, как старый школьный учитель, без шапки, бежит по колено в грязи и в воде, перелезает через изгороди, скатывается в канавы и орет, как сумасшедший, своим единственным глазом высматривая мальчишку. По́лы сюртука развеваются, и весь он забрызган грязью — и лицо и всё! Я думал, что упаду и помру со смеху!

При одном этом воспоминании Джон захохотал так весело, что заразил обоих слушателей, и все трое разразились смехом и всё хохотали и хохотали, пока не выбились из сил.

— Нехороший он человек,— сказал Джон, вытирая глаза,— очень нехороший человек школьный учитель.

— Я его видеть не могу, Джон,— сказала его жена.

— Полно,— возразил Джон,— нечего сказать, хорошо это с твоей стороны! Если бы не ты, мы бы ничего о нем и не знали. Ты первая с ним познакомилась.

— Я не могла не знаться с Фанни Сквирс, Джон,— сказала его жена,— ведь тебе известно, что она моя старинная подруга.

— Да я это самое и говорю, девочка,— ответил Джон.— Лучше жить по-соседски и поддерживать старое знакомство. И еще я говорю — не ссорься, если можно этого избежать. Вы тоже так думаете, мистер Никльби?

— Разумеется,— отозвался Николас.— И вы были верны этому правилу, когда я встретил вас верхом на лошади после того памятного вечера.

— Правильно,— подтвердил Джон.— Что сказал, за то держусь.

— Так и следует поступать мужчине,— сказал Николас,— хотя в Лондоне и говорят: «Йоркшир нас околпачит»... Вы написали в вашей записке, что мисс Сквирс остановилась с вами.

— Да,— сказал Джон,— она подружка Тилли — и пресмешная подружка. Думаю я, не скоро ей быть новобрачной!

— Стыдись, Джон! — сказала миссис Брауди, которая, впрочем, живо отозвалась на шутку, потому что сама была новобрачной.

— Счастлив будет ее жених,— сказал Джон, у которого глаза засверкали при этой мысли.— Что́ уж говорить, ему повезет!

— Видите ли, мистер Никльби,— сказала его жена,— она здесь, вот потому-то Джон и написал вам и назначил сегодняшний вечер: мы решили, что вам неприятно будет встретиться с ней после всего происшедшего...

— Бесспорно,— перебил Николас.— Вы были совершенно правы.

— В особенности,— с очень лукавым видом продолжала миссис Брауди,— после всего, что нам известно о прошлых любовных делах.

— О да, известно! — покачивая головой, сказал Николас.— Подозреваю, что вы тогда вели себя не очень-то по-дружески.

— Верно! — сказал Джон Брауди, продевая большущий указательный палец в один из изящных локончиков жены и явно гордясь ею.— Она всегда была игрива и проказлива, как...

— Как кто? — подхватила жена.

— Как женщина! — ответил Джон.— Ей-богу, никто не сравнится с ней по этой части.

— Мы хотели поговорить о мисс Сквирс,— сказал Николас с целью прекратить супружеские шуточки, начавшиеся между мистером и миссис Брауди, каковые делали положение третьего лица до известной степени затруднительным, так как оно чувствовало себя лишним.

— Джон, перестань,— сказала миссис Брауди.— Сегодняшний вечер Джон назначил потому, что она решила пойти пить чай к своему отцу. А чтобы все было в порядке и вы провели вечер наедине с нами, Джон сговорился зайти туда и отвести ее домой.

— Это было очень умно придумано,— отозвался Николас,— хотя я сожалею, что пришлось столько хлопотать из-за меня.

— Ну, какие там хлопоты! — возразила миссис Брауди.— Ведь мы так хотели вас повидать — и Джон и я. Для нас это такое удовольствие! Знаете ли, мистер Никльби,— продолжала миссис Брауди с самой лукавой улыбкой,— я серьезно думаю, что Фанни Сквирс была очень неравнодушна к вам.

— Я ей чрезвычайно признателен,— сказал Николас,— но, честное слово, я никогда не стремился произвести впечатление на ее девичье сердце.

— Ах, что это вы говорите! — захихикала миссис Брауди.— А известно ли вам — теперь уж я говорю серьезно и без всяких шуток,— что сама Фанни дала мне понять, будто вы сделали ей предложение и будто вы собираетесь обручиться с ней торжественно и по всем правилам?

— Вот как, сударыня, вот как! — раздался пронзительный женский голос.— Вам дали понять, что я... я... собираюсь обручиться с убийцей и вором, который пролил кровь моего папы? И вы думаете... вы думаете, сударыня, что я была очень неравнодушна к этой грязи под моими ногами, до которой не согласилась бы дотронуться кухонными щипцами из боязни запачкаться и рассыпаться от одного прикосновения? Вы это думаете, сударыня? Думаете? О, низкая и подлая Тильда!

С такими укоризненными словами мисс Сквирс широко распахнула дверь, и перед глазами пораженных Брауди и Николаса предстала не только ее собственная симметрическая фигура, облаченная в целомудренное белое платье, описанное выше (немножко загрязнившееся), но и фигуры ее брата и отца — пары Уэкфордов.

— Так вот каков конец? — продолжала мисс Сквирс, которая, будучи в волнении, говорила с сильным придыханием.— Так вот к чему привела вся моя снисходительность, мои дружеские чувства к этой двуличной особе — к этой гадюке, к этой... этой... сирене! — Мисс Сквирс долго подыскивала последнее слово и, наконец, произнесла его с торжеством, как будто оно решало все дело.— Так вот чем это кончилось! А я-то мирилась с ее лживостью, низостью, лукавством, приманивавшим грубых людей, с такими уловками, что мне приходилось краснеть за мой... за мой...

— Пол! — подсказал мистер Сквирс, взирая на присутствующих злобным глазом — именно одним злобным глазом.

— Да,— сказала мисс Сквирс,— но я благодарю мою счастливую звезду, что моя мать принадлежит к этому полу...

— Слушайте, слушайте! — воскликнул Сквирс.— Хотел бы я, чтобы она была здесь и сцепилась с этой компанией!

— Теперь кончено! — сказала мисс Сквирс, мотнув головой и презрительно уставившись в пол.— Больше смотреть не стану на эту дрянную особу и унижаться, покровительствуя ей.

— Ах, полно! — сказала миссис Брауди, не обращая внимания на попытки супруга удержать ее и пробиваясь вперед.— Зачем говорить такой вздор?

— Разве я вам не покровительствовала, сударыня? — вопросила мисс Сквирс.

— Нисколько! — ответила миссис Брауди.

— Я не жду, чтобы вы покраснели от стыда,— высокомерно сказала мисс Сквирс,— так как вашей физиономии чуждо все, кроме неприкрытой дерзости и наглости.

— Послушайте! — вмешался Джон Брауди, задетый этими повторными нападками на жену.— Полегче, полегче!

— Вас, мистер Брауди,— сказала мисс Сквирс, не дав ему договорить,— я жалею! К вам, сэр, я ничего не питаю, кроме чувства неподдельной жалости.

— О! — сказал Джон.

— Да,— сказала мисс Сквирс, искоса посмотрев на своего родителя,— хотя я и «пресмешная подружка» и не так-то скоро буду новобрачной и хотя моему мужу «повезет»,— я не питаю к вам, сэр, никаких чувств, кроме чувства жалости.

Тут мисс Сквирс снова посмотрела искоса на отца, который посмотрел искоса на нее, как бы желая заявить: «Вот тут-то ты его поддела!»

— Я-то знаю, через что вам предстоит пройти,— сказала мисс Сквирс, энергически тряхнув кудряшками,— я-то знаю, какая вас ждет жизнь, и, будь вы моим злей-

шим и смертельным врагом, ничего худшего я не могла бы вам пожелать.

— А если так, то, может быть, вы пожелаете сами выйти за него замуж? — с величайшей кротостью осведомилась миссис Брауди.

— О сударыня, как вы остроумны! — с низким реверансом отвечала мисс Сквирс.— Почти так же остроумны, как и хитры, сударыня! Как хитро было с вашей стороны, сударыня, выбрать время, когда я пошла пить чай к моему папе! Вы были уверены, что я не вернусь, пока за мной не придут. Какая жалость! Вы не подумали, что и другие могут быть так же хитры, как вы, и расстроят ваши планы.

— Вы меня не выведете из терпения, дитя мое, вашей заносчивостью,— сказала бывшая мисс Прайс, принимая вид матроны.

— Пожалуйста, не разыгрывайте со мной «миссис», сударыня! — резко возразила мисс Сквирс.— Я этого не потерплю! Так вот каков конец...

— Черт побери! — нетерпеливо перебил Джон Брауди.— Выскажи все, что хочешь сказать, Фанни, и пусть это впрямь будет конец и никого не спрашивай, конец это или нет.

— Благодарю за совет, которого у вас не просили, мистер Брауди,— с преувеличенной вежливостью отозвалась мисс Сквирс,— и будьте добры, потрудитесь не называть меня по имени. Даже мое жалостливое сердце никогда не заставит меня забыть о том, чего я должна требовать по отношению к себе, мистер Брауди. Тильда! — сказала мисс Сквирс с такой неожиданной запальчивостью, что Джон вздрогнул.— Я навеки отступаюсь от вас, миссис! Я вас покидаю. Я от вас отрекаюсь! Я бы не назвала ребенка именем Тильда,— торжественно провозгласила мисс Сквирс,— хотя бы это могло спасти его от могилы.

— Что касается ребенка,— заметил Джон,— то будет время подумать о том, как его назвать, когда он появится.

— Джон! — вмешалась его жена.— Не дразни ее.

— О да, не дразни! — воскликнула мисс Сквирс, вскинув голову.— Не дразни! Хи-хи! Конечно! Не дразни ее! Пощади ее чувства!

— Если уж так суждено, что, подслушивая, никогда ничего хорошего о себе не услышишь,— сказала миссис Брауди,— то я тут ни при чем, и тут ничего не поделаешь. Но вот что я скажу, Фанни: прямо не счесть, сколько раз я говорила о вас за вашей спиной так хорошо, что даже вы ни в чем не могли бы меня упрекнуть.

— О, разумеется, сударыня! — вскричала мисс Сквирс, снова делая реверанс.— Приношу вам глубочайшую благодарность за вашу доброту и прошу и умоляю вас быть и впредь милостивой ко мне!

— И не думаю, чтобы сейчас я сказала что-нибудь очень дурное,— продолжала миссис Брауди.— Во всяком случае, я говорила только правду, а если я и сказала что-нибудь дурное, то мне очень жаль, и я прошу у вас прощения. Вы часто говорили обо мне дурно, но я никогда не помнила зла и надеюсь, что и вы не затаите злобы.

Вместо прямого ответа мисс Сквирс окинула взглядом свою бывшую подругу с ног до головы и с невыразимым презрением задрала нос. При этом у нее вырвались таки невнятные замечания, как «вертушка», «кокетка», «презренное создание», и эти замечания, а также закусывание губ, спазмы при глотанье и быстрое, прерывистое дыхание указывали на то, что чувства, не поддающиеся выражению, переполняли грудь мисс Сквирс.

Пока шел этот разговор, юный Уэкфорд, видя, что на него не обращают внимания, и находясь во власти своих преобладающих наклонностей, бочком пробрался к столу и совершил маленький набег на закуски: он запускал пальцы в тарелки и затем обсасывал их с бесконечным удовольствием, хватал куски хлеба, подцепляя ими масло, прятал в карман сахар, все время притворяясь погруженным в раздумье. Убедившись, что никто не пытается препятствовать этим маленьким вольностям, он постепенно перешел к более серьезным и, покончив с солидной порцией холодных яств, набросился на пирог.

Все это не осталось не замеченным мистером Сквирсом, который, пока внимание присутствующих было сосредоточено на других предметах, поздравлял себя с тем,

что его сын и наследник толстеет за счет врага. Но когда наступило временное затишье, в течение коего действия юного Уэкфорда не могли пройти незамеченными, он притворился, будто сам только что их обнаружил, и закатил молодому джентльмену пощечину, от которой зазвенели чайные чашки.

— Поедать объедки, оставленные врагами его отца!— воскликнул мистер Сквирс.— Они способны на то, чтобы отравить тебя, скверный мальчишка!

— Ничего, ничего,— сказал Джон, явно радуясь перспективе иметь дело с мужчиной.— Пусть ест. Хотел бы я, чтобы вся школа была здесь. Я бы им набил чем-нибудь их несчастные желудки, хотя бы мне пришлось истратить последний пенни.

Сквирс хмуро посмотрел на него с таким злобным выражением, какое только мог придать своему лицу,— а оно легко принимало такое выражение,— и украдкой погрозил кулаком.

— Полно, учитель! — сказал Джон.— Без глупостей! Если я хоть разок погрожу тебе кулаком, так ты от одного ветерка с ног свалишься!

— Это вы...— начал Сквирс,— вы помогли сбежать мальчишке? Вы?

— Я! — громко объявил Джон.— Да, я! Ну, так что же? Это я. А дальше что?

— Ты слышишь, дитя мое, он признается, что это сделал,— воскликнул Сквирс, обращаясь к дочери.— Слышишь, он признается, что это сделал!

— Да, сделал! — вскричал Джон.— И я тебе больше скажу, слушай: если ты поймаешь еще какого-нибудь сбежавшего мальчика, я опять это сделаю. И, если ты поймаешь двадцать сбежавших мальчиков, я двадцать раз это сделаю и еще двадцать. И я тебе еще больше скажу теперь, когда ты довел меня до бешенства: ты — старый негодяй! И счастье твое, что старый, не то я бы тебя в порошок истолок, когда ты рассказывал честному человеку о том, как ты колотил этого бедного мальчишку в карете!

— Честному человеку! — насмешливо подхватил Сквирс.

— Да, честному человеку,— повторил Джон,— кото-

рый замаран лишь тем, что сиживал за одним столом с таким, как ты.

— Оскорбление! — заликовал Сквирс.— И при двух свидетелях: Уэкфорд знает, что́ такое присяга; мы вас за это притянем, сэр! Негодяй, да? — Мистер Сквирс достал записную книжку и сделал пометку.— Прекрасно. Думаю, что это мне принесет добрых двадцать фунтов на следующей судебной сессии, сэр, а на честь наплевать.

— Судебная сессия! — воскликнул Джон.— Ты бы мне лучше не говорил о судебной сессии! Об йоркширских школах уже заходила речь на судебных сессиях, и должен тебе сказать, что такой щекотливый вопрос лучше не поднимать.

Побелев от злости, мистер Сквирс с угрожающим видом покачал головой и, взяв под руку дочь и потащив за руку юного Уэкфорда, отступил к двери.

— А что касается вас,— сказал Сквирс, поворачиваясь и обращаясь к Николасу, который умышленно воздерживался от участия в дискуссии, потому что один раз уже основательно посчитался с учителем,— то скоро вам придется иметь дело со мной. Вы похищаете детей, не так ли? Берегитесь, как бы не появились откуда-нибудь их отцы,— запомните это,— берегитесь, как бы не явились их отцы и не отослали их обратно ко мне, чтобы я с ними расправлялся по своему желанию, невзирая на вас!

— Этого я не боюсь,— отозвался Николас, пренебрежительно пожав плечами и отвернувшись.

— Не боитесь? — повторил Сквирс, бросая злобный взгляд.— Ну, идем!

— Я с моим папашей покидаю это общество навеки! — воскликнула мисс Сквирс, оглянувшись презрительно и надменно.— Я оскверняю себя, дыша одним воздухом с подобными созданиями. Бедный мистер Брауди! Хи-хи-хи! Мне жаль его, да, жаль. Его так обманули! Хи-хи-хи!.. Хитрая и коварная Тильда!

После этой новой и внезапной вспышки самого мрачного и величественного гнева мисс Сквирс важно удалилась, сохраняя до последней минуты свое достоинство, но слышно было, как, очутившись в коридоре, она начала рыдать и визжать.

Джон Брауди остался стоять у стола, переводя взгляд с жены на Николаса и обратно и широко раскрыв рот, пока рука его случайно не опустилась на кружку эля. Он поднял ее, уткнулся в нее лицом, а затем перевел дыхание, протянул кружку Николасу и позвонил.

— Эй, слуга! — весело сказал Джон.— Живо! Уберите все это, и пусть нам что-нибудь зажарят на ужин, чтобы было очень вкусно и побольше, к десяти часам. Принесите бренди и воды и пару ночных туфель — самую большую, какая есть в доме. И поживей! Черт побери! — воскликнул Джон, потирая руки.— Сегодня мне незачем уходить из дому, чтобы за кем-то заходить, и, ей-богу, мы здорово проведем этот вечер!

ГЛАВА XLIII

исполняет обязанности джентльмена-распорядителя, знакомящего друг с другом различных людей

Буря давно сменилась самым глубоким затишьем, и час был довольно поздний; уже отужинали, и процесс пищеварения протекал так благоприятно, как только могут почитать желательным при полном спокойствии, веселой беседе и умеренном употреблении бренди и воды мудрейшие люди, хорошо знакомые с анатомией и функциями человеческого организма, но вдруг трое друзей, или, вернее, как можно было бы сказать и в гражданском и в религиозном смысле и с надлежащим уважением к священным супружеским узам, двое друзей (считая мистера и миссис Брауди только за одного), были потревожены громкими и сердитыми угрожающими криками внизу у лестницы. Крики вскоре зазвучали столь отчетливо и вдобавок сопровождались словечками, столь выразительными, кровожадными и свирепыми, что вряд ли что-нибудь могло с ними сравниться, даже если бы в доме действительно присутствовала *голова сарацина*, опирающаяся на плечи и возвышающаяся над туловищем настоящего, живого, взбешенного и самого неукротимого сарацина.

Вместо того чтобы быстро стихнуть после первой вспышки и перейти в бормотанье и ворчливые попреки (как обычно бывает в тавернах, на собраниях и в других местах), крик усиливался с каждой секундой; хотя он вырывался, по-видимому, только из одной пары легких, однако эти легкие отличались такой мощностью, а словечки, вроде «негодяй», «мерзавец», «бессовестный щенок», и другие выражения, не менее лестные для заинтересованной стороны, произносились столь смачно и с такой энергией, что при обычных обстоятельствах десять голосов, заоравших одновременно, звучали бы гораздо тише и вызвали бы значительно меньшее смятение.

— Что бы это могло быть? — воскликнул Николас, бросаясь к двери.

Джон Брауди устремился в том же направлении, но миссис Брауди побледнела и, откинувшись на спинку стула, слабым голосом попросила его принять во внимание, что, если он ринется навстречу какой бы то ни было опасности, она намерена впасть немедленно в истерику и что последствия могут быть гораздо серьезнее, чем он предполагает. Джон был слегка ошеломлен таким сообщением, хотя в то же время на лице его мелькнула улыбка; но не видеть перепалки было свыше его сил, и он пошел на компромисс, просунув руку жены под свою и вместе с ней побежав вниз по лестнице вслед за Николасом.

Ареной беспорядка был коридор перед дверью в кофейню, и здесь собрались завсегдатаи кофейни и официанты, а также два-три кучера и конюхи со двора. Они окружили молодого человека, который, судя по виду, был года на два старше Николаса; кроме брошенных им вызывающих возгласов, только что описанных, казалось, он зашел в своем негодовании значительно дальше, так как на ногах у него были только чулки, а пара туфель валялась в противоположном углу, по соседству с головой простертого на полу человека, которого, по-видимому, пинком отшвырнули в это местечко, после чего запустили в него туфлями.

Завсегдатаи кофейни и лакеи, кучера и конюхи, не говоря о буфетчице, выглядывавшей из открытого окошечка, были в тот момент, насколько можно судить по

их перемигиванию, кивкам и бормотанью, явно не на стороне молодого джентльмена в чулках. Заметив это, а также и то, что молодой джентльмен был почти одних лет с ним и отнюдь не производил впечатления забияки, Николас, побуждаемый чувствами, какие иной раз влияют на молодых людей, решил заступиться за более слабого, а посему немедленно очутился в центре группы и, быть может, более внушительным тоном, чем того требовали обстоятельства, спросил, из-за чего поднялся весь этот шум.

— Эге! — воскликнул один из пришедших со двора.— Это еще кто так вырядился?

— Дорогу старшему сыну русского императора, джентльмены! — крикнул другой.

Не обращая внимания на эти шуточки, которые были чрезвычайно хорошо приняты, как обычно бывают приняты шуточки, направленные против наиболее прилично одетого человека в толпе, Николас небрежно осмотрелся вокруг и, обращаясь к молодому джентльмену, который к тому времени подобрал свои туфли и сунул в них ноги, учтивым тоном повторил свой вопрос.

— Ах, пустяки! — ответил тот.

Тут зрители подняли ропот, и те, что были похрабрее, закричали: «О, вот как!», «Да неужели! Пустяки?», «Он это называет пустяками? Счастье для него, если это окажется пустяком». Когда эти и многие другие замечания, выражавшие ироническое неодобрение, истощились, двое-трое из пришедших со двора начали теснить Николаса и молодого джентльмена, виновника шума, толкали их как бы случайно и наступали им на ноги. Но так как это была игра и число игроков не было строго ограничено тремя или четырьмя, то в ней мог принять участие и Джон Брауди. Ворвавшись в кучу людей, к великому ужасу своей жены, и бросаясь во все стороны, то направо, то налево, то вперед, то назад, и въехав случайно локтем в шляпу самого высокого конюха, проявлявшего особенную энергию, он быстро добился того, что дело приняло совсем иной оборот, и не один дюжий парень отошел, прихрамывая, на почтительное расстояние, со слезами на глазах проклиная тяжелую поступь и могучие ноги дородного йоркширца.

— Посмотрю-ка я, как он еще раз это сделает! — сказал тот, кого отшвырнули пинком в угол, приподнимаясь, видимо скорее из боязни, как бы Джон Брауди нечаянно не наступил на него, чем из желания встретиться в честном бою с противником.— Посмотрю-ка я, как он еще раз это сделает! Вот и все.

— Повторите-ка свои слова, и ваша голова отлетит вон к тем рюмкам, за вашей спиной,— сказал молодой человек.

Тут официант, который потирал руки, от души наслаждаясь этой сценой, пока речь шла только о разбитых головах, начал с жаром умолять зрителей, чтобы позвали полицию, уверяя, что в противном случае несомненно будет совершено убийство и что он несет ответственность за всю стеклянную и фарфоровую посуду в гостинице.

— Пусть никто не трудится идти,— сказал джентльмен.— Я останусь в этом доме на всю ночь, и здесь меня найдут утром, если придется отвечать за какое-нибудь преступление.

— За что́ вы его ударили? — спросил один из свидетелей.

— Да, за что́ вы его ударили? — подхватили остальные.

Не пользующийся популярностью джентльмен хладнокровно осмотрелся вокруг и, обратившись к Николасу, сказал:

— Вы только что спросили, в чем тут дело. Дело очень простое. Вон тот человек, который выпивал с приятелем в кофейне, где я расположился на полчаса перед тем как лечь спать (потому что я только что вернулся из путешествия и предпочел переночевать здесь, чем возвращаться в такой поздний час домой, где меня ждут только завтра), вздумал упомянуть в крайне непочтительных и дерзко фамильярных выражениях об одной молодой леди, которую я узнал по его описанию и некоторым другим данным и с которой имею честь быть знакомым. Так как говорил он достаточно громко, чтобы его могли услышать другие посетители, находившиеся там, я очень вежливо сказал ему, что он ошибается в своих заключениях, и предложил ему замолчать. Сначала он так и поступил, но, поскольку ему угодно было, когда он

уходил из комнаты, возобновить этот разговор в еще более оскорбительном тоне, чем раньше, я не мог удержаться, чтобы не последовать за ним и не ускорить его отбытие пинком, который и привел его в то положение, в каком вы его только что видели. Полагаю, я лучше всех могу судить о моих делах,— добавил молодой человек, явно не остывший еще после вспышки,— а если кто-нибудь считает нужным ввязаться в эту ссору, то могу его уверить, что у меня нет ни малейших возражений.

Из всех возможных линий поведения при обстоятельствах, изложенных выше, разумеется, не было ни одной, которая показалась бы Николасу в его тогдашнем расположении духа более похвальной. В тот момент мало было предметов спора, которые могли бы затронуть его сильнее, ибо незнакомка занимала первое место в его мыслях, и ему, натурально, пришло в голову, что он сам поступил бы точно так же, если бы какой-нибудь дерзкий болтун осмелился в его присутствии заговорить о ней неуважительно. Из этих соображений он с жаром принял сторону молодого джентльмена, заявив, что тот поступил совершенно правильно и что он его за это уважает. Немедленно и с не меньшей страстностью заявил то же самое и Джон Брауди (хотя он не совсем уяснил себе сущность дела).

— Пусть он поостережется! — сказала потерпевшая поражение сторона, которую после недавнего падения на пыльный пол чистил щеткой официант.— Он поплатится за то, что сбил меня с ног! Это говорю ему я! Недурное положение, когда человек не может восхищаться хорошенькой девушкой, не боясь, что его исколотят!

Это соображение, по-видимому, показалось весьма веским молодой леди за стойкой, которая (поправив при этом свой чепчик и посмотрев в зеркало) заявила, что действительно это было бы недурное положение и что если бы людей наказывали за поступки, столь невинные и естественные, как этот, то больше было бы побитых, чем тех, кто бьет, и она удивляется, что хотел этим доказать джентльмен, да, удивляется!

— Милая моя,— тихим голосом сказал молодой джентльмен, подходя к окошечку.

— Ах, оставьте, сэр! — резко сказала молодая леди, отворачиваясь, но улыбаясь и закусывая губу (в то время как миссис Брауди, которая все еще стояла на лестнице, посмотрела на нее с презрением и крикнула своему супругу, чтобы он ушел).

— Выслушайте меня,— продолжал молодой человек.— Если бы восхищение хорошеньким личиком было преступно, я оказался бы самым неисправимым человеком в мире, потому что не могу перед этим устоять. Хорошенькое личико производит на меня необычайное впечатление, сдерживает и обуздывает меня, когда я бываю в самом упрямом и злобном расположении духа. Вы видите, какое впечатление уже произвело на меня ваше лицо.

— О, все это очень мило,— отозвалась молодая леди, тряхнув головой,— но...

— Да, я знаю, что оно очень хорошенькое,— сказал молодой человек, с восхищенным видом всматриваясь в лицо буфетчицы,— вы слышали, я только что это сказал. Но о красоте нужно говорить почтительно — почтительно, и в пристойных выражениях, и с надлежащим пониманием ее достоинства и превосходства, тогда как этот парень имеет такое же представление о...

На этом месте молодая леди прервала разговор, высунув голову из окошка и пронзительным голосом осведомившись у лакея, намеревается ли молодой человек, которого приколотили, загораживать коридор всю ночь или же вход свободен и для других. Лакей, поняв намек и передав его конюхам, тоже не замедлил переменить тон, и в результате злополучную жертву вытолкали во мгновение ока.

— Я уверен, что видел раньше этого парня,— сказал Николас.

— Неужели? — отозвался его новый знакомый.

— Я в этом не сомневаюсь,— подтвердил Николас, призадумавшись.— Где я мог... постойте... ну, конечно... он служит в конторе по найму, в западной части города. Я знал, что видел где-то это лицо.

Действительно, это был Том, безобразный клерк.

— Странно! — сказал Николас, размышляя о том, каким удивительным образом эта контора по найму время

от времени как будто выскакивает из-под земли и напоминает ему о себе, когда он меньше всего этого ждет.

— Я вам очень признателен за ту доброту, с какой вы выступили в защиту моего дела, когда оно больше всего нуждалось в защитнике,— сказал молодой джентльмен, смеясь и доставая из кармана визитную карточку.— Быть может, вы будете так любезны и скажете мне, где я могу вас поблагодарить?

Николас взял карточку и, взглянув на нее в то время, как отвечал на благодарность, выразил величайшее изумление.

— Мистер Фрэнк Чирибл! — воскликнул Николас.— Неужели племянник «Чирибл, братья», которого ждут завтра?

— Обычно я не называю себя племянником фирмы,— добродушно ответил мистер Фрэнк,— но с гордостью скажу, что я действительно племянник тех двух превосходных братьев, которые ее возглавляют. А вы, конечно, мистер Никльби, о котором я столько слышал? Это в высшей степени неожиданная встреча и столь же приятная, уверяю вас.

Николас ответил на эти любезные слова не менее любезно, и они горячо пожали друг другу руку. Затем он представил Джона Брауди, который пребывал в величайшем восторге с тех пор, как удалось столь искусно перетянуть на сторону справедливости молодую леди за стойкой. Затем была представлена миссис Джон Брауди, и, наконец, они отправились все вместе наверх и провели полчаса очень весело и ко всеобщему удовольствию; миссис Брауди начала разговор заявлением, что из всех нарумяненных особ, каких ей случалось видеть, молодая женщина внизу самая тщеславная и самая некрасивая.

Этот мистер Фрэнк Чирибл,— судя по тому, что недавно произошло, юноша вспыльчивый (а это отнюдь не редкость и не чудо),— был тем не менее веселым, добродушным, приятным человеком, в наружности и характере которого было что-то сильно напоминавшее Николасу мягкосердечных братьев-близнецов. Держал он себя так же непринужденно, и в обращении его была та же сердечность, которая особенно располагает к себе людей, чьей натуре не чуждо великодушие. Прибавим к этому, что он

был красив и умен, отличался живостью, был чрезвычайно жизнерадостен и в пять минут приноровился ко всем чудачествам Джона Брауди с такой легкостью, как будто знал его с детства; поэтому не придется особенно удивляться, что к тому времени, когда они расстались поздно вечером, он произвел самое благоприятное впечатление не только на достойного йоркширца и его жену, но и на Николаса, который, спеша домой и размышляя обо всем происшедшем, пришел к заключению, что положено начало весьма приятному и желательному знакомству.

«Но какая странная история с этим клерком из конторы по найму! — думал Николас.— Может ли быть, чтобы этот племянник знал что-нибудь о той красивой девушке? Когда Тим Линкинуотер объявил мне на днях, что он приезжает и вступит компаньоном в дело, Тим добавил, что Фрэнк Чирибл четыре года руководил делами фирмы в Германии, а последние полгода занимался учреждением агентства на севере Англии. Получается четыре с половиной года — четыре с половиной года. Ей не может быть больше семнадцати лет — скажем, восемнадцать самое большее. Значит, она была совсем ребенком, когда он уехал. Полагаю, что он ничего о ней не знает и никогда ее не видел, и, стало быть, *он* не может дать мне никаких сведений. Во всяком случае,— подумал Николас, коснувшись основного пункта, занимавшего его мысли,— нет никакой опасности, что чувства ее уже устремлены в эту сторону; это совершенно ясно».

Является ли эгоизм неотъемлемой частью, входящей в состав чувства, именуемого любовью, или же любовь заслуживает все те прекрасные слова, какие говорили о ней поэты, отдаваясь своему бесспорному призванию? Случается, что джентльмен уступает леди достойному сопернику и так же поступает леди с джентльменом, проявляя при этом чрезвычайное великодушие; но точно ли установлено, что в большинстве случаев эти леди и джентльмены не превращали необходимость в добродетель и не отказывались благородно от того, что было им недоступно? Так солдат может поклясться, что никогда не примет ордена Подвязки *, а бедный приходский священник, весьма благочестивый и ученый, но не имеющий свя-

зей и обремененный большой семьей, может отказаться от епископства.

И вот Николас Никльби, который с презрением отринул бы всякие соображения о том, каковы его шансы заслужить новые милости или улучшить свое положение в фирме «Чирибл, братья», теперь, когда вернулся их племянник, с головой погрузился в размышления, может ли этот самый племянник стать его соперником, добивающимся расположения прекрасной незнакомки; сей вопрос он обсуждал с такой серьезностью, словно за этим одним исключением все остальное было решено, возвращался к нему снова и снова и чувствовал негодование и обиду при мысли, что кто-то другой может ухаживать за той, с кем он за всю свою жизнь не обменялся ни единым словом. Правда, он скорее преувеличивал, чем недооценивал достоинства молодого Чирибла, но все-таки считал чуть ли не оскорблением, ему лично нанесенным, что у того вообще могут быть какие бы то ни было достоинства в глазах именно этой молодой леди, хотя в любых других глазах ему разрешалось иметь их сколько угодно. Во всем этом сказывался несомненный эгоизм, и тем не менее Николас по натуре своей был человек в высшей степени открытый и великодушный и в низких и неблагородных мыслях повинен был, пожалуй, меньше, чем кто бы то ни было, однако нет оснований предполагать, что он, влюбившись, думал и чувствовал иначе, чем другие люди, находящиеся в этом возвышенном состоянии духа.

Впрочем, он не стал анализировать ход своих мыслей и свои чувства, но продолжал думать все об одном и том же по дороге домой и грезил об этом всю ночь. Когда он убедил себя в том, что Фрэнк Чирибл не может знать таинственную молодую леди, ему пришло в голову, что сам он, пожалуй, никогда ее больше не увидит. Из этой гипотезы он хитроумно извлек немало мучительных мыслей, которые отвечали его цели даже лучше, чем призрак мистера Фрэнка Чирибла, и осаждали и терзали его во сне и наяву.

Несмотря на все, что сказано прозой и стихами, нам ничего не известно о том, чтобы утро хотя бы на час замедлило или ускорило свой приход, руководствуясь досадливым чувством к какому-нибудь безобидному влюб-

ленному. Судя по книгам, рассказывающим о прошлом, солнце, исполняя свой общественный долг, неизменно всходило по календарю и не допускало, чтобы на него влияли какие-либо соображения частного порядка. Итак, утро настало, как обычно, а с ним начались рабочие часы, а с ними явился мистер Фрэнк Чирибл, а с ним — длинная вереница улыбок и приветствий, расточаемых достойными братьями, и более степенный и подобающий клерку, но вряд ли менее сердечный прием со стороны мистера Тимоти Линкинуотера.

— Что мистер Фрэнк и мистер Никльби встретились вчера вечером,— сказал Тим Линкинуотер, медленно слезая с табурета, обводя взглядом комнату и прислоняясь спиной к конторке, а это он имел обыкновение делать, когда собирался сказать нечто особенно важное,— что эти два молодых человека встретились вчера вечером, я считаю совпадением, поразительным совпадением. Я не допускаю мысли,— добавил Тим, снимая очки и улыбаясь с какой-то трогательной гордостью,— чтобы для таких совпадений нашлось в мире место лучше, чем Лондон.

— Насчет этого я ничего не знаю,— сказал мистер Фрэнк,— но...

— Насчет этого вы ничего не знаете, мистер Фрэнк,— с упрямым видом перебил Тим.— Но мы это сейчас узна́ем. Если есть для этого лучшее место, то где оно? В Европе? Нет, не там. В Азии? Конечно, нет. В Африке? Ничуть не бывало. В Америке? *Вы* прекрасно знаете, что нет. В таком случае,— сказал Тим, решительно скрестив руки,— где оно?

— Я не собирался оспаривать этот пункт, Тим,— со смехом отозвался молодой Чирибл,— не такой уж я еретик. Я хотел только сказать, что я рад такому совпадению.

— О, если вы этого не оспариваете, тогда другое дело,— сказал Тим, совершенно удовлетворенный.— Но вот что я вам скажу: я бы хотел, чтобы вы оспаривали. Я бы этого хотел. Я бы хотел, чтобы вы или кто другой это сделали. Я бы так сокрушил этого человека,— продолжал Тим, выразительно постукивая указательным пальцем левой руки по очкам,— я бы так сокрушил его доводами...

Невозможно было выразить словами степень духовной немощности, до которой был бы доведен столь дерзкий смертный в остроумном поединке с Тимом Линкинуотером; поэтому Тим только за недостатком слов не закончил своей речи и снова взобрался на табурет.

— Мы можем почитать себя счастливыми, брат Нэд,— сказал брат Чарльз, одобрительно похлопав Тима Линкинуотера по спине,— что при нас находятся два таких молодых человека, как наш племянник Фрэнк и мистер Никльби. Это должно быть источником великого удовлетворения и радости для нас.

— Разумеется, Чарльз, разумеется,— ответил тот.

— О Тиме,— добавил брат Нэд,— я ничего не скажу, потому что Тим — ребенок... младенец... никто... о нем мы никогда не думаем и в расчет его не принимаем. Тим, разбойник, что вы на это скажете, сэр?

— Я ревную к ним обоим,— сказал Тим,— и думаю подыскивать другое место; так что и вы, со своей стороны, джентльмены, будьте любезны, примите меры.

Тиму это показалось такой превосходной, ни с чем не сравнимой и изумительной шуткой, что он положил перо на чернильницу и, скорее свалившись с табурета, чем спустившись с него с обычной своей осторожностью, принялся хохотать, пока не ослабел, все время потряхивая при этом головой, так что пудра разлеталась по конторе. Да и братья не отставали и также от души смеялись при мысли о добровольной разлуке со старым Тимом. Николас и мистер Фрэнк неудержимо хохотали, быть может, чтобы скрыть какое-то иное чувство, пробужденное этим инцидентом (так было после первого взрыва смеха и с тремя стариками); и вот, пожалуй, почему этот смех доставил не меньше удовольствия и радости, чем самая острая шутка по адресу какой-либо особы доставляла учтивейшему собранию.

— Мистер Никльби,— сказал брат Чарльз, отзывая его в сторонку и ласково беря за руку,— мне... мне очень бы хотелось, дорогой мой сэр, посмотреть, хорошо ли и удобно вы устроились в коттедже. Мы не можем допустить, чтобы те, кто усердно нам служит, испытывали какие-нибудь лишения или неудобства, которые в нашей власти устранить. Я хочу также повидать вашу мать и

сестру, познакомиться с ними, мистер Никльби, и воспользоваться случаем успокоить их заверением, что за те мелкие услуги, какие мы были в состоянии им оказать, вы уплатили с лихвой вашим старанием и рвением... Ни слова, дорогой мой сэр, прошу вас! Завтра воскресенье. Я беру на себя смелость заглянуть в час вечернего чая в надежде застать вас дома; если вас, знаете ли, не будет дома или мой визит затруднит леди, ну что ж, я могу зайти в другой раз. Любой день мне подходит. На этом мы и порешим. Брат Нэд, дорогой мой, пойдем-ка, я хочу сказать тебе два слова.

Близнецы вышли из конторы рука об руку, а Николас, считая, что братья в день приезда своего племянника хотят этими ласковыми словами и многими другими, обращенными к нему в то утро, снова деликатно заверить в своем расположении, как заверяли раньше, был преисполнен благодарности к ним, восхищаясь таким исключительным вниманием.

Сообщение, что на следующий день у них будет гость — и какой гость! — пробудило в груди миссис Никльби смешанное чувство восторга и сожаления: если она, с одной стороны, приветствовала это посещение как залог близкого возвращения в хорошее общество и к почти забытым удовольствиям утренних визитов и вечерних чаепитий, то, с другой стороны, не могла не задумываться с горечью об отсутствии серебряного чайника с шишечкой из слоновой кости на крышке и молочника ему под пару, которые были гордостью ее сердца в минувшие дни и хранились из года в год, завернутые в замшу, на хорошо ей известной верхней полке, которую ее опечаленное воображение рисовало сейчас в ярких красках.

— Интересно, кому достался этот ящик для пряностей,— сказала миссис Никльби, покачивая головой.— Бывало, он стоял в левом углу, по соседству с маринованным луком. Ты помнишь этот ящик для пряностей, Кэт?

— Прекрасно помню, мама.

— Не думаю, чтобы ты помнила, Кэт, раз ты о нем говоришь таким холодным и бесчувственным тоном,— с суровым видом возразила миссис Никльби.— Меня

огорчает больше, чем сами потери, то, что люди, меня окружающие, относятся к ним с таким возмутительным равнодушием.

— Дорогая мама,— сказала Кэт, обвив рукой шею матери,— зачем вы говорите то, что, я знаю, вы не хотите сказать и чего всерьез не думаете, и зачем сердиться на меня за то, что я довольна и счастлива? У меня остались вы и Николас, мы снова вместе, и могу ли я жалеть о каких-то вещах, в которых мы никогда не чувствуем нужды? Ведь я узнала, какое горе и отчаяние может принести смерть; я испытала чувство одиночества и заброшенности в толпе и мучительную разлуку, когда в бедности и печали мы больше всего нуждались в утешении и взаимной поддержке... Можете ли вы удивляться теперь, что для меня этот дом — место чудесного покоя и отдыха и, когда вы около меня, мне больше нечего желать и не о чем сожалеть. Было время — и не так давно оно миновало,— когда, сознаюсь, уют нашего старого дома очень часто мне вспоминался — быть может, чаще, чем вы думаете. Но я притворялась, будто мне никакого дела до него нет, в надежде, что тогда и вы будете меньше сожалеть о нем. Право же, мне не было безразлично. Иначе я, быть может, чувствовала бы себя счастливой. Дорогая мама,— в сильном волнении продолжала Кэт,— я не знаю никакой разницы между этим домом и тем, где все мы были так счастливы столько лет; разница только в том, что самое кроткое и нежное сердце, когда-либо страдавшее на земле, мирно отошло на небо.

— Кэт, дорогая моя Кэт! — обнимая ее, воскликнула миссис Никльби.

— Я так часто думала,— всхлипывая, продолжала Кэт,— обо всех его ласковых словах, о том, как он в последний раз заглянул в маленькую комнатку и сказал: «Да благословит тебя бог, моя милая!» Лицо у него было бледное, мама,— сердце его было разбито... я это знаю... я этого не подозревала... тогда...

Хлынувшие слезы принесли ей облегчение, и Кэт положила голову на грудь матери и плакала, как дитя.

Восхитительное и прекрасное свойство нашей природы: когда мирное счастье или нежные чувства растро-

гали и смягчили сердце, память об умерших овладевает им неудержимо и властно. Кажется, будто лучшие наши мысли и побуждения наделены волшебной силой, которая дает возможность душе войти в какие-то смутные и таинственные сношения с душами тех, кого мы горячо любили при жизни. Увы! Как часто и как долго витают над нами эти кроткие ангелы в ожидании магического слова, которое мы так редко произносим и так быстро забываем!

Бедная миссис Никльби, привыкшая тотчас же высказывать все свои мысли, никогда не задумывалась о том, что ее дочь может тайком предаваться таким размышлениям,— не задумывалась еще и потому, что никакие суровые испытания или ворчливые упреки никогда не могли вырвать у нее подобного признания. Но теперь, когда радость, доставленная им сообщением Николаса, и их новая мирная жизнь воскресили эти воспоминания с такой силой, что Кэт не могла с ними совладать, миссис Никльби начала сомневаться, не бывала ли она иной раз неразумна, и ощутила нечто похожее на угрызения совести, обнимая дочь и отдаваясь чувствам, естественно вызванным таким разговором.

Много было суеты в тот вечер и великое множество приготовлений к приему гостя, и очень большой букет был доставлен от жившего по соседству садовника и разделен на множество очень маленьких букетов, которыми миссис Никльби хотела разукрасить свою гостиную в таком стиле, какой не преминул бы привлечь внимание всякого, если бы Кэт не вызвалась избавить ее от труда и не расставила их так мило и изящно, как только можно себе представить. Никогда еще коттедж не казался таким красивым, как на следующий день, который выдался яркий и солнечный. Но если Смайк гордился садом, а миссис Никльби — мебелью, а Кэт — решительно всем, их гордость была ничто по сравнению с той гордостью, с какой смотрел Николас на Кэт. Несомненно, в богатейшем доме Англии ее прекрасное лицо и грациозная фигура были бы самым восхитительным и бесценным украшением.

Вечером, часов в шесть, миссис Никльби была приведена в великое смятение давно ожидаемым стуком в

дверь, и это смятение отнюдь не улеглось, когда послышались шаги двух людей в коридоре, что, как предрекла задыхающаяся миссис Никльби, должно было возвещать прибытие «двух мистеров Чирибл». Так несомненно оно и было, хотя и не тех двух, кого ждала миссис Никльби, ибо это пришли мистер Чарльз Чирибл и его племянник мистер Фрэнк, который принес за свое вторжение тысячу извинений, принятых миссис Никльби (чайных ложек у нее было на всех с избытком) весьма милостиво. Появление нежданного гостя не вызвало ни малейшего замешательства (разве что у Кэт, да и та только раза два покраснела вначале); старый джентльмен был так любезен и сердечен, а молодой джентльмен так искусно подражал ему в этом отношении, что не было никаких признаков натянутости и церемонности, обычных при первом визите, и Кэт не раз ловила себя на мысли о том, почему эти признаки не дают о себе знать.

За чаем много болтали, и не было недостатка в темах для веселых споров; когда случайно заговорили о недавнем пребывании молодого мистера Чирибла в Германии, старый мистер Чирибл уведомил компанию, что упомянутый молодой мистер Чирибл заподозрен в том, что страстно влюбился в дочь некоего немецкого бургомистра. Это обвинение молодой мистер Чирибл с величайшим негодованием отверг, после чего миссис Никльби лукаво заметила, что сама пылкость возражений заставляет ее сомневаться, все ли тут ладно. Тогда молодой мистер Чирибл стал горячо умолять старого мистера Чирибла сознаться, что все это шутка; в конце концов старый мистер Чирибл так и сделал, раз молодой мистер Чирибл отнесся к этому с такой серьезностью и даже,— как тысячу раз говорила впоследствии миссис Никльби, вспоминая эту сцену,— даже «весь покраснел», каковое обстоятельство она правильно сочла знаменательным и достойным внимания, потому что молодые люди отнюдь не отличаются скромностью и сдержанностью, в особенности когда дело касается леди, и если им и не чужда краска, то скорее они подбавят яркой краски в рассказ, чем покраснеют сами.

После чая гуляли в саду, и так как вечер был чудесный, вышли побродить по тропинкам и прогуливались,

пока совсем не стемнело. Время быстро летело для всей компании. Кэт шла впереди, опираясь на руку брата и беседуя с ним и с мистером Фрэнком Чириблом, а миссис Никльби и старый джентльмен следовали на небольшом расстоянии, и доброта славного негоцианта, его участливое отношение к благополучию Николаса и его восхищение Кэт так воздействовали на чувства достойной леди, что обычный ее поток слов был ограничен очень узкими, тесными рамками. Смайк (который если бывал когда-нибудь в своей жизни объектом внимания, то именно в тот день) сопровождал их, присоединяясь то к одной, то к другой группе, когда брат Чарльз, положив ему руку на плечо, просил его пройтись с ним или Николас, с улыбкой оглянувшись, манил его, предлагая подойти и поболтать со старым другом, который понимал его лучше всех и мог вызвать улыбку на его измученном лице, даже если никто другой не мог этого сделать.

Гордость — один из семи смертных грехов, но это не может относиться к чувству матери, гордящейся своими детьми, потому что такая гордость состоит из двух основных добродетелей: веры и надежды. И эта гордость переполнила в тот вечер сердце миссис Никльби, и, когда они вернулись домой, на лице ее блестели следы самых благодарных слез, какие случалось ей когда-либо проливать.

Тихое веселье царило за ужином, который вполне гармонировал с таким расположением духа, и, наконец, оба джентльмена распрощались. Одно обстоятельство при прощании вызвало много улыбок и шуток, а заключалось оно в том, что мистер Фрэнк Чирибл дважды протянул руку Кэт, совершенно забыв о том, что уже сказал ей «до свидания». Это было принято старым мистером Чириблом как разительное доказательство, что он думает о своей немецкой возлюбленной, и шутка вызвала неудержимый смех. Как легко рассмешить тех, у кого весело на сердце!

Короче говоря, это был день ясного и безмятежного счастья. У всех у нас был когда-нибудь такой счастливый день (и будем надеяться, что у многих из нас этот день занимает место в веренице ему подобных), к кото-

рому мы возвращаемся мысленно с особенной радостью; так и об этом дне они часто вспоминали впоследствии, и он был отмечен в их календаре.

Но не являлся ли исключением один человек, и как раз тот, кто должен был чувствовать себя самым счастливым?

Кто был он — тот, кто в безмолвии своей комнаты упал на колени, чтобы молиться, как учил его первый его друг, и, сложив руки и в отчаянии воздев их, рухнул ничком в горькой тоске?

ГЛАВА XLIV

Мистер Ральф Никльби порывает со старым знакомым. Из содержания этой главы выясняется также, что шутка даже между мужем и женой может иной раз зайти слишком далеко

Есть люди, которые, преследуя в жизни одну лишь цель — разбогатеть во что бы то ни стало — и прекрасно сознавая низость и подлость средств, которыми они ежедневно для этого пользуются, тем не менее притворяются, даже наедине с собой, высоконравственными и честными и качают головой и вздыхают над развращенностью света. Кое-кто из самых отъявленных негодяев, когда-либо ходивших по земле, или, вернее, ползавших по самым грязным и узким тропам (ибо ходьба требует вертикального положения и человеческой осанки),— кое-кто из них важно отмечает в дневнике события каждого дня и аккуратно ведет бухгалтерскую книгу по расчетам с небесами, причем баланс всегда бывает в его пользу. Быть может, это — бесцельная (единственная бесцельная) ложь и хитрость в жизни подобных людей, или же они и в самом деле надеются обмануть даже небо и накопить сокровища в мире грядущем тем же способом, каким накапливали его в мире земном; не будем допытываться, ка́к это происходит, но это так. И несомненно такая бухгалтерия (подобно иным автобиографиям, просвещающим общество) не преминет сослужить службу хотя бы в том

отношении, что избавит ангела, ведущего запись деяний, от излишней траты времени и сил.

Не таков был Ральф Никльби. Суровый, непреклонный, упрямый и непроницаемый, Ральф был равнодушен ко всему в жизни и за пределами ее, кроме удовлетворения двух страстей: скупости, первой и преобладающей черты его натуры, и ненависти — второй. Желая почитать себя типичным представителем всего человечества, он почти не трудился скрывать от мира свое подлинное лицо и в глубине души радовался каждому своему дурному замыслу и лелеял его с момента зарождения. Единственным священным правилом, какому Ральф следовал буквально, было «познай самого себя». Он знал себя хорошо и, предпочитая думать, что все люди сделаны по одному образцу, ненавидел их; ибо, хотя ни один человек не питает ненависти к самому себе — для этого самый бесчувственный среди нас наделен слишком большим себялюбием,— большинство людей судит о мире по себе, и очень часто можно обнаружить, что те, кто обычно издевается над человеческой природой и делает вид, будто презирает ее, являются наихудшими и наименее приятными ее образцами.

Итак, сейчас это повествование имеет дело с самим Ральфом, который стоял, хмуро созерцая Ньюмена Ногса, тогда как сей почтенный человек снял свои перчатки без пальцев и, старательно уложив их на ладони левой руки и придавив правой, чтобы разгладить морщинки, принялся их свертывать с рассеянным видом, как будто ровно ничего другого не замечал, будучи глубоко заинтересован этой процедурой.

— Уехал из города! — медленно сказал Ральф.— Вы ошиблись. Пойдите туда еще раз.

— Не ошибся,— возразил Ньюмен.— Даже не уезжает. Уже уехал.

— В девчонку или в младенца он превратился, что ли? — с досадливым жестом пробормотал Ральф.

— Не знаю,— сказал Ньюмен,— но он уехал.

Казалось, повторение слова «уехал» доставляло Ньюмену Ногсу невыразимое удовольствие, в такой же мере, в какой оно раздражало Ральфа Никльби. Он произносил это слово раздельно и выразительно, растягивая его,

насколько возможно, а когда дольше уже нельзя было тянуть, не привлекая внимания, он твердил его беззвучно самому себе, словно даже в этом находил удовлетворение.

— А куда уехал? — спросил Ральф.

— Во Францию,— ответил Ньюмен.— Опасность второго, более серьезного рожистого воспаления головы. Поэтому доктора предписали уехать. И он уехал.

— А лорд Фредерик?..— начал Ральф.

— Тоже уехал,— ответил Ньюмен.

— И он увозит с собой полученные им побои! — воскликнул Ральф, отвернувшись.— Прячет в карман ушибы и удирает, не сказав ни слова в отместку, не ища никакого возмещения!

— Он слишком болен,— сказал Ньюмен.

— Слишком болен! — повторил Ральф.— Да я бы потребовал возмещения, даже если бы умирал! В таком случае я бы еще решительнее добивался его, и без отсрочек... я хочу сказать: будь я на его месте. Но он слишком болен! Бедный сэр Мальбери! Слишком болен!

Произнеся эти слова с величайшим презрением и крайне раздраженным тоном, Ральф дал знак Ньюмену немедленно уйти и, бросившись в кресло, начал нетерпеливо постукивать ногой по полу.

— На этом мальчишке какое-то заклятье,— сказал Ральф, скрежеща зубами.— Обстоятельства сговорились помогать ему. Толкуют о милостях фортуны! Даже деньги бессильны перед таким дьявольским счастьем!

Он нетерпеливо засунул руки в карманы, но тем не менее в его размышлениях было что-то утешительное, потому что лицо его слегка прояснилось, и хотя на лбу залегла глубокая морщина, она говорила скорее о каких-то расчетах, чем о разочаровании.

— Этот Хоук в конце концов вернется,— пробормотал Ральф,— и, если только я этого человека знаю (а пора бы мне его знать), его гнев отнюдь не утратит за это время своей остроты. Вынужденное одиночество... однообразная жизнь больного... никаких развлечений... никаких выпивок... никакой игры... отсутствие всего, что он любит и чем живет... Вряд ли он забудет свои обязательства перед виновником всего этого! Мало кто мог бы забыть, а в особенности он... Нет, нет!

Он улыбнулся, покачал головой и, подперев рукой подбородок, задумался и снова улыбнулся. Немного погодя он встал и позвонил.

— Этот мистер Сквирс... заходил он сюда? — спросил Ральф.

— Заходил вчера вечером. Он здесь остался, когда я пошел домой,— ответил Ньюмен.

— Знаю, болван. Разве мне это неизвестно? — раздражительно сказал Ральф.— Был он здесь с тех пор? Приходил сегодня утром?

— Нет! — рявкнул Ньюмен, сильно повысив голос.

— Если он придет, когда меня не будет,— он почти наверно придет сегодня вечером часам к девяти,— пусть подождет. И если с ним придет еще один человек, а он придет... вероятно,— поправился Ральф,— пусть он тоже подождет.

— Пусть оба подождут? — спросил Ньюмен.

— Да,— ответил Ральф, бросив на него сердитый взгляд.— Помогите мне надеть спенсер и не повторяйте за мной, как попугай.

— Хотел бы я быть попугаем,— хмуро сказал Ньюмен.

— И я бы этого хотел,— отозвался Ральф, натягивая спенсер.— Я бы уже давно свернул вам шею.

Ньюмен не дал никакого ответа на эти любезные слова, но секунду смотрел через плечо Ральфа (в это время он поправлял ему воротник спенсера сзади) с таким видом, будто был весьма расположен ущипнуть его за нос. Встретив взгляд Ральфа, он быстро призвал к порядку свои блуждающие пальцы и потер свой собственный красный нос с энергией, поистине поразительной.

Не уделяя больше внимания эксцентрическому помощнику и ограничившись грозным взглядом и предостережением быть внимательным и не допускать ошибок, Ральф взял шляпу и перчатки и вышел.

По-видимому, у него были весьма необычные и разнообразные связи, ибо делал он весьма странные визиты: иные — в знатные богатые дома, а иные — в бедные домишки, но все они преследовали одну цель: деньги. Лицо Ральфа служило талисманом для привратников и слуг его благоденствующих клиентов и обеспечивало ему сво-

бодный доступ, хотя он приходил пешком, тогда как другие, подкатывавшие к дверям в экипажах, встречали отказ. Здесь он был воплощением вкрадчивости и раболепной учтивости: поступь была такой легкой, что ее почти заглушали толстые ковры, голос таким мягким, что его слышал лишь тот, к кому он обращался. Но в домах победнее Ральф был другим человеком: сапоги его скрипели в коридоре, когда он решительно входил; голос был грубым и громким, когда он требовал денег по просроченным счетам; угрозы резки и гневны. С третьей категорией клиентов он снова становился другим человеком. Это были ходатаи по делам с более чем сомнительной репутацией, которые помогали ему при новых сделках или извлекали свеженькую прибыль из старых. С ними Ральф был фамильярен и шутлив, острил на злободневные темы и с особым удовольствием говорил о банкротствах и денежных затруднениях, благоприятствовавших его делам. Короче, трудно было узнать того же самого человека под разными личинами, если бы не объемистый кожаный бумажник, набитый счетами и векселями, который он вытаскивал из кармана в каждом доме, и не однообразное повторение все той же жалобы (менялся только тон и стиль выражений), что все считают его богатым и, возможно, так бы и было, если бы ему платили долги, но что денег назад не получишь, раз они выпущены из рук,— ни основного капитала, ни процентов,— и жить трудно, трудно даже перебиваться со дня на день.

Настал вечер, прежде чем длительное это хождение (прерванное только для скудного обеда в ресторане) закончилось в Пимлико, и Ральф отправился домой через Сент-Джеймс-парк.

Какие-то хитроумные планы теснились в его голове, о чем могли бы свидетельствовать крепко сжатые губы и наморщенный лоб, даже если бы Ральф не оставался равнодушным к окружающим его предметам и зорко смотрел по сторонам. Так глубоко было раздумье Ральфа, что он, человек с нормальным зрением, не заметил какого-то субъекта, который то крался за его спиной, волоча ноги и бесшумно ступая, то опережал его на несколько шагов, то скользил рядом с ним и все время смотрел на него таким зорким взглядом и с такой настойчивостью

и вниманием, что казалось, это лицо возникло в ярком сновидении или назойливо глядит на него с какой-нибудь превосходной картины.

В течение некоторого времени небо хмурилось и темнело, и начинающийся ливень заставил Ральфа искать убежища под деревом. Сложив руки, он стоял, прислонившись к стволу, все еще погруженный в мысли, и вдруг, случайно подняв глаза, встретился взглядом с человеком, который, обойдя дерево, испытующе засматривал ему в лицо. Как видно, в эту минуту выражение лица ростовщика напомнило незнакомцу о прошлом, потому что он решился и, подойдя вплотную к Ральфу, назвал себя.

В первый момент Ральф, удивившись, отступил шага на два и окинул его взглядом с ног до головы. Сухощавый, смуглый, истощенный человек, примерно одних лет с ним, сутулый, с очень мрачным лицом, которого отнюдь не красили запавшие от голода и сильно загоревшие щеки и густые черные брови, казавшиеся еще чернее по контрасту с совершенно белыми волосами, одетый в грубый поношенный костюм странного и уродливого покроя, придававший ему вид приниженный и опустившийся,— вот все, что увидел Ральф в первую секунду. Но он взглянул еще раз, и лицо и фигура постепенно пробудили какое-то воспоминание, словно изменялись у него на глазах, уступая место чертам знакомым, пока, наконец, не превратились, как будто благодаря странному оптическому обману, в лицо и фигуру того, кого он знал в течение многих лет, потом забыл и потерял из виду почти столько же лет назад.

Человек понял, что его узнали, и, зна́ком предложив Ральфу снова вернуться под дерево и не стоять под дождем, которого тот вначале от изумления даже не заметил, заговорил хрипло и тихо.

— Я думаю, мистер Никльби, вряд ли вы меня узнали бы по голосу? — спросил он.

— Да,— сказал Ральф, устремив на него хмурый взгляд.— Хотя есть что-то в нем, что я сейчас припоминаю.

— Должно быть, мало осталось во мне такого, что вы могли бы припомнить по прошествии восьми лет...— заметил тот.

— Вполне достаточно,— небрежно ответил Ральф и отвернулся.— Более чем достаточно.

— Если бы я не совсем признал *вас,* мистер Никльби,— сказал тот,— этот прием и *ваши* манеры быстро рассеяли бы мои колебания.

— Вы ждали чего-то другого? — резко спросил Ральф.

— Нет! — сказал человек.

— Вы были правы,— заявил Ральф,— и раз вас это не удивляет, то к чему выражать удивление?

— Мистер Никльби! — решительно сказал человек после короткой паузы, в течение которой он как будто боролся с желанием ответить каким-нибудь упреком.— Согласны вы выслушать несколько слов, которые я хочу вам сказать?

— Я вынужден ждать здесь, пока дождь не утихнет,— сказал Ральф, посмотрев на небо.— Если вы намерены говорить, сэр, я не буду затыкать уши, хотя ваша речь может произвести на меня такое же впечатление, как если бы я их заткнул.

— Когда-то я пользовался вашим доверием...— начал его собеседник.

Ральф посмотрел на него и невольно улыбнулся.

— Да,— сказал тот,— вашим доверием, поскольку вам вообще угодно было дарить его кому бы то ни было.

— А! — подхватил Ральф, скрестив руки.— Это другое дело, совсем другое дело.

— Во имя гуманности не будем играть словами, мистер Никльби.

— Во имя чего? — переспросил Ральф.

— Во имя гуманности,— нахмурившись, повторил тот.— Я голоден и очень нуждаюсь. Если перемена, которую вы должны видеть во мне после такого долгого отсутствия,— должны, раз я, с кем она происходила медленно и постепенно, вижу ее и хорошо знаю,— если эта перемена не вызывает у вас жалости, то знайте, что хлеб — о! не хлеб насущный из молитвы господней, под которым, когда просят о нем в таких городах, как этот, подразумевается добрая половина всех предметов роскоши для богача и ровно столько грубой пищи, сколько нужно для поддержания жизни бедняка,— нет, но корка

черствого хлеба недоступна мне сегодня! Пусть хоть это произведет на вас какое-то впечатление, если ничто другое не производит.

— Если это обычная форма, какою вы пользуетесь, когда просите милостыню, сэр,— сказал Ральф,— вы хорошо разучили свою роль! Но если вы прислушаетесь к совету того, кто знает кое-что о жизни и ее обычаях, я бы рекомендовал говорить тише, немного тише, иначе вам грозит опасность и в самом деле умереть с голоду.

С этими словами Ральф крепко сжал правой рукой запястье левой и, слегка наклонив голову набок и опустив подбородок на грудь, повернул к тому, с кем говорил, угрюмое, нахмуренное лицо — поистине лицо человека, которого ничто не может растрогать или смягчить!

— Вчера был мой первый день в Лондоне,— сказал старик, взглянув на свое загрязнившееся в дороге платье и стоптанные башмаки.

— Я думаю, лучше было бы для вас, если бы он был также и последним,— отозвался Ральф.

— Эти два дня я искал вас там, где, казалось мне, больше всего вероятности было вас найти,— более смиренным тоном продолжал тот,— и, наконец, я увидел вас здесь, когда уже почти потерял надежду встретиться с вами, мистер Никльби.

Казалось, он ждал ответа, но, так как Ральф никакого ответа не дал, он снова заговорил:

— Я самый несчастный и жалкий отверженный. Мне под шестьдесят, а у меня ничего нет — и я беспомощен, как шестилетний ребенок.

— Мне тоже шестьдесят лет,— сказал Ральф, а у меня есть все — и я не беспомощен. Работайте. Не произносите пышных театральных тирад о хлебе, но зарабатывайте его.

— Как? — вскричал тот.— Где? Укажите мне средство. Вы мне предоставите его?

— Однажды я это сделал,— спокойно ответил Ральф.— Вряд ли имеет смысл спрашивать, сделаю ли я это еще раз.

— Двадцать лет, если не больше,— продолжал тот приглушенным голосом,— прошло с тех пор, как мы с

вами разошлись. Вы это помните? Я потребовал свою долю барыша от сделки, которую для вас устроил, и так как я настаивал, вы добились моего ареста за старую непогашенную ссуду в десять фунтов и сколько-то шиллингов, включая пятьдесят процентов с суммы займа.

— Припоминаю что-то в этом роде,— небрежно ответил Ральф.— И что же?

— Мы из-за этого не разошлись,— продолжал тот,— я подчинился, будучи за решеткой и под замком, а так как вы не были тогда богачом, каким стали теперь, вы рады были принять обратно клерка, который не слишком щепетилен и кое-что знает о вашем ремесле.

— Вы просили и молили, и я согласился,— возразил Ральф.— Это было милостью с моей стороны. Быть может, вы были мне нужны... Не помню. Полагаю, что так, иначе вы просили бы тщетно. Вы были полезны: не слишком честны, не слишком разборчивы, не слишком чисты на руку или чистосердечны, но полезны.

— Полезен! Еще бы! — воскликнул тот.— Слушайте: вы унижали меня и угнетали, но я верно вам служил вплоть до того времени, хоть вы и обращались со мной, как с собакой. Так ли это?

Ральф ничего не ответил.

— Так ли это? — повторил тот.

— Вам платили жалованье,— сказал Ральф,— а вы исполняли свои обязанности. Мы были в расчете и могли объявить, что мы квиты.

— Тогда, но не после,— возразил тот.

— Разумеется, не после, и даже и не тогда, потому что, как вы сами только что сказали, вы были должны мне деньги и остаетесь моим должником,— ответил Ральф.

— Это еще не все! — с жаром продолжал тот.— Это еще не все! Заметьте! Я не забыл той старой раны, можете мне поверить! Отчасти памятуя о ней, а отчасти в надежде заработать когда-нибудь на этой затее, я воспользовался моим положением у вас и обрел тайную власть над вами, и вы отдали бы половину своего состояния, чтобы узнать секрет, но узнать его вы могли только от меня. Я ушел от вас, если помните, много времени

спустя и за какое-то мелкое мошенничество, которое подлежало суду, но было пустяком по сравнению с тем, что ежедневно проделываете в пределах закона вы, ростовщики, был приговорен к семи годам каторги. Я вернулся таким, каким вы меня видите. А теперь, мистер Никльби,— продолжал он с сознанием своей власти, странно соединявшимся со смирением,— какую помощь и поддержку окажете вы мне, говоря яснее: сколько дадите отступного? Мои претензии не очень велики, но я должен жить, а чтобы жить, я должен есть и пить. На вашей стороне деньги, на моей — голод и жажда. Покупка может обойтись вам дешево.

— Это все? — спросил Ральф, смотря на своего собеседника все тем же неподвижным взглядом и шевеля одними губами.

— От вас зависит, мистер Никльби, все это или не все,— последовал ответ.

— Так слушайте же, мистер... не знаю, какой фамилией вас называть,— начал Ральф.

— Прежней моей, если вам угодно.

— Так слушайте, мистер Брукер,— сказал Ральф самым резким тоном,— и не рассчитывайте добиться от меня других речей. Слушайте, сэр! Я вас знаю с давних пор как законченного негодяя, но мужества у вас никогда не было, а тяжелая работа, быть может с кандалами на ногах, и еда похуже, чем в те времена, когда я вас «унижал» и «угнетал», притупили ваш ум, иначе вы не стали бы занимать меня такими сказками. У вас власть надо мной! Храните свою тайну или разгласите ее, как вам угодно...

— Этого я сделать не могу,— перебил Брукер.— Это мне ни к чему бы не послужило.

— Да? — сказал Ральф.— Послужит так же, как и ваше теперешнее появление, ручаюсь вам. Буду говорить с вами напрямик: я человек осторожный и дела свои знаю досконально. Я знаю свет, и свет меня знает. Что бы вы ни подсмотрели, ни подслушали и ни увидели, когда служили мне, свет это знает и даже преувеличивает. Вы не можете сообщить ничего такого, что бы его удивило, разве что в похвалу мне или к чести моей, а тогда он отвергнет вас, как лжеца. И, однако, я не

нахожу, чтобы дела мои шли туго или клиенты были слишком разборчивы. Как раз напротив. То один, то другой ежедневно поносит меня или мне угрожает,— сказал Ральф,— но все идет по-старому, и я не становлюсь беднее.

— Я не поношу и не угрожаю,— возразил тот.— Я могу вам сказать, чтó вы потеряли вследствие моего поступка, чтó я могу вам вернуть и чтó, если умру, не вернув, умрет со мною и никогда не может быть обретено.

— Я довольно аккуратно считаю мои деньги и обычно охраняю их сам,— сказал Ральф.— Я зорко слежу почти за всеми людьми, и особенно зорко я следил за вами. Вы можете пользоваться всем, что от меня утаили.

— Те, кто носит ваше имя, дóроги они вам? — настойчиво спросил человек.— Если дороги...

— Нет! — перебил Ральф, раздраженный таким упорством и воспоминанием о Николасе, которое оживил этот последний вопрос.— Не дороги. Если бы вы пришли как простой нищий, может быть я бросил бы вам шесть пенсов в память того ловкого мошенника, каким вы были, но раз вы пытаетесь испробовать всем известные уловки на том, кого могли бы лучше знать, я не расстанусь и с полупенни — и не расстался бы даже, чтобы спасти вас от гибели! И помните, висельник! — продолжал Ральф, грозя ему пальцем.— Если мы еще раз встретимся и вы станете попрошайничать, вы снова очутитесь в стенах тюрьмы и будете укреплять эту вашу власть надо мной в промежутках между каторжными работами, для которых используют бродяг. Вот мой ответ на вашу болтовню. Получайте его!

Посмотрев презрительно и хмуро на предмет своего гнева, который выдержал его взгляд, но не произнес ни слова, Ральф отошел обычным своим шагом, нимало не любопытствуя узнать, что делает недавний его собеседник, и даже ни разу не оглянувшись. Последний остался стоять на том же месте, не спуская глаз с удаляющейся фигуры, пока она не скрылась из виду, а затем, скрестив на груди руки, словно ему стало зябко от сырости и голода, побрел, волоча ноги, по аллее и стал просить милостыню у прохожих.

Ральф, взволнованный только что происшедшим лишь в той мере, в какой он это обнаружил, спокойно продолжал путь и, выйдя из парка и оставив по правую руку Гольдн-сквер, прошел по нескольким улицам в западном конце города, пока не свернул на ту, где находилась резиденция мадам Манталини. Фамилия этой леди уже не красовалась на ослепительно сверкавшей дощечке у двери; ее место заняла фамилия мисс Нэг, но в угасающем свете летнего вечера шляпки и платья были попрежнему смутно видны в окнах первого этажа, и, не считая очевидной перемены владельца, заведение сохраняло прежнюю свою физиономию.

— Гм! — пробормотал Ральф с видом знатока, проводя рукой по губам и осматривая дом сверху донизу.— Эти люди на вид преуспевают. Долго они не протянут, но раз я заблаговременно узнал об их делах, опасность мне не грозит, а прибыль недурна. Я должен не упускать их из виду, вот и все.

Самодовольно качнув головой, Ральф собрался уйти, как вдруг тонкий его слух уловил какой-то шум и гул голосов, а также беготню вверх и вниз по лестницам в том самом доме, который являлся предметом его наблюдений; и пока он колебался, постучать ли в дверь, или еще послушать у замочной скважины, служанка мадам Манталини (которую он часто видел) внезапно распахнула дверь и стремительно выбежала, а голубые ленты ее чепчика развевались в воздухе.

— Эй, вы! Стойте! — крикнул Ральф.— Что случилось? Я пришел. Вы не слышали, как я стучал?

— О мистер Никльби, сэр! — воскликнула девушка.— Ради господа бога, поднимитесь наверх! Хозяин взял да и опять это сделал.

— Что сделал? — резко спросил Ральф.— О чем вы говорите?

— Я знала, что так и будет, если его до этого доведут! — вскричала девушка.— Я давно это говорила.

— Идите сюда, глупая девчонка,— сказал Ральф, схватив ее за руку,— и не разносите семейных дел по соседям, не подрывайте репутации заведения. Идите сюда! Слышите?

Без дальнейших увещаний он повел, или, вернее, втолкнул, испуганную девушку в дом и захлопнул дверь, затем, приказав ей идти впереди, последовал за ней наверх.

Руководствуясь гулом множества голосов, говоривших одновременно, и обогнав в нетерпении своем девушку, едва они поднялись на несколько ступеней, Ральф быстро достиг маленькой гостиной, где был несколько поражен весьма странною сценой, которую неожиданно увидел.

Здесь находились все молодые леди-работницы, иные в шляпках, иные без шляпок, в разнообразных позах, выражающих смятение и ужас; одни собрались вокруг мадам Манталини, которая заливалась слезами на одном стуле, другие вокруг мисс Нэг, которая заливалась слезами на другом, а иные вокруг мистера Манталини, который был, пожалуй, самой поразительной фигурой во всей группе, ибо ноги мистера Манталини были вытянуты во всю длину на полу, а голову его и плечи поддерживал рослый лакей, который как будто не знал, что́ с ними делать; глаза мистера Манталини были закрыты, лицо очень бледно, волосы плохо завиты, бакенбарды и усы обвисли, зубы стиснуты, и в правой руке он держал маленькую бутылочку, а в левой чайную ложечку, руки, ноги и плечи у него одеревенели и были неподвижны. И, однако, мадам Манталини не рыдала над его телом, но энергически ругалась, сидя на стуле; и всему этому сопутствовали громкие крики, которые буквально оглушали и, казалось, довели злосчастного лакея до грани сумасшествия.

— Что тут случилось? — спросил Ральф, проталкиваясь вперед.

При этом вопросе гул усилился в двадцать раз, и бурный поток пронзительных и противоречивых замечаний: «Он отравился» — «Нет, не отравился», «Пошлите за доктором» — «Не посылайте», «Он умирает» — «Не умирает, только притворяется!» — соединился с другими возгласами и полился с ошеломляющей быстротой, пока не было замечено, что мадам Манталини обращается к Ральфу, после чего женская жажда узнать, что она скажет, одержала верх, и, словно по взаимному соглашению, мгновенно спустилось мертвое молчание, не нарушаемое даже шепотом.



— Мистер Никльби,— сказала мадам Манталини,— я не знаю, какой случай привел вас сюда...

Тут услышали, как булькающий голос произнес, будто в бреду: «Дьявольская красота!» — но никто не обратил на это внимания, кроме лакея, который, испугавшись столь зловещих звуков, исходивших словно из-под самых его пальцев, уронил с довольно громким стуком голову своего хозяина на пол, а затем, не пытаясь ее поднять, посмотрел на окружающих с таким видом, будто совершил нечто замечательное.

— Но я хочу,— продолжала мадам Манталини, вытирая глаза и говоря с величайшим негодованием,— хочу сказать раз и навсегда при вас и при всех здесь присутствующих, что больше я не буду потворствовать расточительности и порокам этого человека. Долго я была глупа, и он меня дурачил! В будущем пусть он сам себя содержит, если может, и пусть тратит сколько ему угодно денег и на кого угодно. Но деньги эти будут не мои, а потому вы лучше подумайте, прежде чем оказывать ему доверие.

Затем мадам Манталини, не обращая внимания на весьма патетические жалобы своего супруга, что аптекарь приготовил недостаточно крепкий раствор синильной кислоты и что ему придется выпить еще одну-две бутылочки, чтобы закончить начатое дело,— принялась перечислять галантные похождения этого приятного джентльмена, обманы, расточительность и измены (в особенности эти последние). В заключение она запротестовала против предположения, будто еще питает к нему хоть какую-нибудь склонность, и сослалась в доказательство этой перемены в своих чувствах на то, что за последние две недели он по крайней мере раз шесть пытался отравиться и ни разу она ни словом, ни делом не старалась спасти его жизнь.

— И я настаиваю на том, чтобы мы развелись и мне предоставили свободу,— всхлипывая, сказала мадам Манталини.— Если он посмеет отказать мне в разводе, я получу его по суду... Я могу его получить!.. И надеюсь, это послужит предостережением всем девушкам — свидетелям этой позорной сцены.

Мисс Нэг, будучи бесспорно старейшей девушкой из

всех присутствовавших, сказала очень торжественно, что ей это послужит предостережением; то же сказали все молодые леди, за исключением двух или трех, которые как будто сомневались, могут ли такие бакенбарды провиниться.

— Зачем вы говорите все это перед столькими слушателями? — тихо сказал Ральф.— Вы знаете, что не думаете этого всерьез.

— Нет, всерьез! — громко возразила мадам Манталини, попятившись к мисс Нэг.

— Но подумайте,— увещевал Ральф, который был кровно заинтересован в этом деле.— Следовало бы здраво поразмыслить. У замужней женщины нет никакой собственности.

— Это вам не дьявольски одинокая особа, душа моя! — сказал мистер Манталини, приподнимаясь на локте.

— Я это прекрасно знаю,— заявила мадам Манталини, тряхнув головой,— и у *меня* собственности нет. Заведение, инвентарь, дом и все, что в нем находится,— все принадлежит мисс Нэг.

— Совершенно верно, мадам Манталини! — отозвалась мисс Нэг, с которой бывшая ее хозяйка тайком заключила дружеское соглашение по этому пункту.— Сущая правда, мадам Манталини... гм!.. сущая правда! И никогда еще я не радовалась больше, чем теперь, что у меня хватило силы духа устоять перед брачными предложениями, как бы ни были они выгодны, когда я думаю о сегодняшнем моем положении, сравнивая его с вашим весьма печальным и весьма незаслуженным, мадам Манталини.

— Черт возьми! — вскричал мистер Манталини, поворачивая голову к жене.— Неужели она не ударит и не ущипнет завистливую старую вдовицу, которая осмеливается осуждать ее сокровище?

Но дни льстивых речей мистера Манталини миновали.

— Мисс Нэг, сэр, закадычная моя подруга,— сказала его жена.

И, хотя мистер Манталини закатывал глаза так, что им, казалось, грозила опасность никогда уже не вер-

нуться на прежнее место, мадам Манталини не обнаружила ни малейшего желания смягчиться.

Следует отдать справедливость превосходной мисс Нэг: она-то и была повинна в этом изменившемся положении дел. Убедившись на повседневном опыте, что нет никакой надежды на процветание фирмы и даже на дальнейшее ее существование, пока в расходах участвует мистер Манталини, и будучи теперь весьма заинтересована в ее благополучии, мисс Нэг принялась усердно расследовать некоторые незначительные обстоятельства, связанные с частной жизнью этого джентльмена; она так хорошо осветила их и так искусно преподнесла мадам Манталини, что раскрыла этой последней глаза лучше, чем могли бы это сделать на протяжении многих лет самые глубокие и философические рассуждения. Достижению этой цели весьма способствовала случайно обнаруженная мисс Нэг нежная записка, в которой мадам Манталини называли «старой» и «вульгарной».

Однако, несмотря на свою стойкость, мадам Манталини очень горестно плакала, и, так как она оперлась на мисс Нэг и махнула рукой в сторону двери, сия молодая леди и все прочие молодые леди с соболезнующими лицами повели ее из комнаты.

— Никльби! — воскликнул весь в слезах мистер Манталини.— Вы были призваны в свидетели этой дьявольской жестокости со стороны самой дьявольской очаровательницы и поработительницы, когда-либо жившей на свете. О, проклятье! Я прощаю эту женщину.

— Прощаете?!—сердито повторила мадам Манталини.

— Я прощаю ее, Никльби,— сказал мистер Манталини.— Вы будете осуждать меня, свет будет осуждать меня, женщины будут осуждать меня. Все будут смеяться, и издеваться, и улыбаться, и ухмыляться дьявольски. Все будут говорить: «Ей было даровано счастье. Она его не познала. Он был слишком слаб. Он был слишком добр. Он был дьявольски хороший парень, но он любил слишком сильно. Он не может вынести ее гнева и брани! Дьявольский случай! Не бывало еще положения столь дьявольского!..» Но я ее прощаю.

После такой трогательной речи мистер Манталини снова упал навзничь и лежал, по всей видимости, без

чувств и без движения, пока все женщины не вышли из комнаты, а тогда он осторожно принял сидячее положение и обратил к Ральфу весьма озадаченное лицо, все еще держа в одной руке бутылочку, а в другой—чайную ложку.

— Можете отложить теперь в сторону эти дурачества и снова промышлять своим умом,— сказал Ральф, хладнокровно берясь за шляпу.

— Черт возьми, Никльби, вы это всерьез?

— Я редко шучу,— холодно сказал Ральф.— Прощайте.

— Нет, право же, Никльби...— сказал Манталини.

— Быть может, я ошибаюсь,— отозвался Ральф.— Надеюсь, что так. Вам лучше знать. Прощайте.

Притворяясь, будто не слышит просьб подождать и дать совет, Ральф оставил павшего духом мистера Манталини наедине с его размышлениями и спокойно покинул дом.

— Ого! — сказал он.— Так скоро ветер подул в другую сторону? Наполовину мошенник и наполовину дурак, и все это обнаружилось. Думаю, ваши денечки миновали, сэр.

С этими словами он сделал какие-то пометки в записной книжке, где явно значилось имя мистера Манталини, взглянул на часы и, убедившись, что было между девятью и десятью, поспешил домой.

— Они здесь? — был первый вопрос, какой он задал Ньюмену.

Ньюмен кивнул.

— Уже полчаса.

— Вдвоем? Один толстый, елейный?

— Да,— сказал Ньюмен.— Сейчас в вашей комнате.

— Хорошо,— сказал Ральф.— Наймите мне карету.

— Карету! Как, вы... хотите... э?..— заикаясь, выговорил Ньюмен.

Ральф сердито повторил распоряжение, и Ногс, изумление которого было вполне извинительно ввиду такого необычайного и исключительного обстоятельства (он никогда в жизни не видел Ральфа в карете), отправился исполнять приказание и вскоре вернулся с экипажем.

В него уселись мистер Сквирс, Ральф и третий человек, которого Ньюмен Ногс видел впервые. Ньюмен стоял

на пороге, провожая их и не трудясь любопытствовать, куда и по какому делу они едут, пока случайно не услышал, как Ральф назвал улицу, куда кучер должен был их отвезти.

С быстротой молнии и в величайшем недоумении Ньюмен бросился в свою комнатушку за шляпой и, прихрамывая, побежал за каретой, словно намереваясь вскочить на запятки, но эта затея ему не удалась: карета слишком опередила его и вскоре была уже безнадежно далеко, оставив его, задыхающегося, посреди пустынной улицы.

— А впрочем, не знаю,— сказал Ньюмен, останавливаясь, чтобы отдышаться,— какой был бы от меня толк, если бы я тоже поехал. Он бы меня увидел. Поехали туда! Что может из этого выйти? Если бы я знал вчера, я мог бы предупредить... Поехали туда! Тут какой-то злой умысел. Несомненно.

Его размышления были прерваны седым человеком с весьма примечательной, хотя отнюдь не располагающей внешностью, который, тихо подойдя к нему, попросил милостыни.

Ньюмен, все еще в глубокой задумчивости, пошел прочь, но тот последовал за ним и рассказал ему такую жалкую историю, что Ньюмен (у него, казалось, безнадежно было просить, так как он имел слишком мало, чтобы давать) заглянул в свою шляпу в поисках нескольких полупенни, которые обычно завязывал в уголок носового платка, если они у него были.

Пока он усердно развязывал узел зубами, человек сказал что-то, остановившее его внимание, затем добавил еще что-то, а затем незнакомец и Ньюмен зашагали бок о бок: незнакомец с жаром говорил, а Ньюмен слушал.

ГЛАВА XLV,

повествующая об удивительном событии

— Раз мы завтра вечером уезжаем из Лондона и раз я не знаю, бывал ли я когда-нибудь так счастлив, мистер Никльби, то, ей-богу, я выпью еще стаканчик за следующую нашу радостную встречу!

Так говорил Джон Брауди, с величайшим удовольствием потирая руки и поворачивая во все стороны свое красное сияющее лицо, вполне подтверждавшее это заявление.

Когда Джон находился в этом завидном состоянии духа, был тот самый вечер, о котором шла речь в последней главе; местом действия являлся уже упоминавшийся нами коттедж, а собравшаяся компания состояла из Николаса, миссис Никльби, миссис Брауди, Кэт Никльби и Смайка.

Очень веселое было общество! После некоторых колебаний миссис Никльби, зная, чем обязан ее сын честному йоркширцу, дала согласие на то, чтобы мистер и миссис Брауди были приглашены к чаю. По случаю этой затеи возникли сначала всевозможные трудности и препятствия, вызванные тем, что она не имела возможности сначала «нанести визит» миссис Брауди, ибо, хотя миссис Никльби частенько замечала с большим самодовольством (как это свойственно особенно щепетильным людям), что у нее нет ни тени гордыни и чопорности, она была ярой сторонницей этикета и церемоний. А так как было очевидно, что пока визит не нанесен, она не может (выражаясь изысканно и согласно законам света) даже подозревать о факте существования миссис Брауди, она находила свое положение крайне деликатным и затруднительным.

— Первый визит *должна* сделать я, дорогой мой,— сказала миссис Никльби,— это необходимо. Дело в том, дорогой мой, что я должна оказать как бы некоторое снисхождение и дать понять этой молодой особе, что готова обратить на нее внимание. Очень респектабельный на вид молодой человек,— добавила миссис Никльби после короткого раздумья,— служит кондуктором одного из омнибусов, которые здесь проезжают, и носит клеенчатую шляпу — мы с твоей сестрой часто его замечали,— ты знаешь, Кэт, у него бородавка на носу, он похож на слугу джентльмена.

— Разве у всех слуг джентльменов бородавки на носу, мама? — осведомился Николас.

— Николас, дорогой мой, какие глупости ты говоришь! — возразила его мать.— Конечно, я хочу сказать,

что он похож на слугу джентльмена своей клеенчатой шляпой, а не бородавкой на носу, хотя и это не так уж странно, как тебе может показаться, потому что когда-то у нас был лакей, у которого была не только бородавка, но еще и жировая шишка, и вдобавок очень большая, и он потребовал, чтобы ему по этому случаю прибавили жалованья, так как он находил, что она обходится ему очень дорого. Позвольте-ка, о чем это я? Ах, да, помню! Самое лучшее, что я могу придумать, это отправить визитную карточку и мой привет с этим молодым человеком (я уверена, за кружку портера он согласится) к «Сарацину с двумя шеями». Если официант примет его за слугу джентльмена, тем лучше. Затем все, что остается сделать миссис Брауди, это послать с ним же свою визитную карточку, и дело с концом.

— Дорогая мама,— сказал Николас,— я не думаю, чтобы у таких бесхитростных людей, как они, были визитные карточки, и вряд ли они у них когда-нибудь будут.

— О, в таком случае, Николас, дорогой мой,— отозвалась миссис Никльби,— это другое дело. Если ты так ставишь вопрос, тогда, конечно, мне больше нечего сказать, и я не сомневаюсь, что они очень хорошие люди, и отнюдь не возражаю, чтобы они пришли к чаю, и постараюсь быть очень вежливой с ними, если они придут.

Когда дело было таким образом благополучно улажено и миссис Никльби взяла на себя роль покровительственную и кротко снисходительную, подобающую ее общественному положению и супружескому опыту, мистер и миссис Брауди получили приглашение и явились. И так как они были очень почтительны к миссис Никльби и, казалось, надлежащим образом оценили ее величие и были чрезвычайно всем довольны, славная леди не раз сообщала шепотом Кэт, что, по ее мнению, они самые добропорядочные люди, каких ей случалось видеть, и держат себя безупречно.

Вот так-то и случилось, что Джон Брауди заявил в гостиной после ужина, а именно вечером без двадцати минут одиннадцать, что никогда еще он не бывал так счастлив.

Да и миссис Брауди почти не отставала в этом отношении от мужа: эта молодая матрона, чья деревенская красота составляла очень милый контраст с более тонким очарованием Кэт, нисколько от этого контраста не страдая, так как обе они только оттеняли и дополняли одна другую, не уставала восхищаться изящными и обаятельными манерами молодой леди и очаровательной приветливостью пожилой. Кэт обнаружила умение наводить разговор на предметы, близкие сердцу деревенской девушки, сначала оробевшей в чуждом ей обществе. И если миссис Никльби иной раз бывала не столь удачлива в выборе темы разговора или, по выражению миссис Брауди, «говорила ужасно возвышенно», тем не менее любезность ее была безгранична, а чрезвычайный интерес к молодой чете выразился в очень длинных лекциях о домашнем хозяйстве, которыми она услужливо развлекала миссис Брауди. Они были иллюстрированы различными ссылками на экономное ведение домашнего хозяйства в коттедже (эти обязанности несла одна Кэт), в котором славная леди, пожалуй, участвовала теоретически и практически не больше, чем любая из статуй двенадцати апостолов, украшающих снаружи собор св. Павла.

— Мистер Брауди,— сказала Кэт, обращаясь к его жене,— самый добродушный, сердечный и веселый человек, какого мне случалось видеть. Будь я угнетена несчетными заботами, я бы почувствовала себя снова счастливой, только взглянув на него.

— Честное слово, Кэт, он и в самом деле кажется превосходнейшим человеком,— сказала миссис Никльби,— превосходнейшим! И, право же, мне в любое время доставит удовольствие — да, удовольствие — видеть вас у себя, миссис Брауди, вот так, запросто, без церемоний. Мы ничего не выставляем напоказ,— сказала миссис Никльби тоном, казалось дающим понять, что они многое могли бы выставить напоказ, если бы были к тому расположены.— Никакой суеты, никаких приготовлений — я бы этого не допустила. Я сказала: «Кэт, дорогая моя, ты только приведешь в смущение миссис Брауди, и это было бы нелепо и необдуманно с нашей стороны!»

— Уверяю вас, я вам очень признательна, сударыня,— с благодарностью ответила миссис Брауди.—

Джон, уже скоро одиннадцать. Боюсь, что мы засиделись до позднего часа.

— До позднего часа! — повторила миссис Никльби с отрывистым смешком, который закончился коротким покашливанием в виде восклицательного знака.— Для нас это совсем ранний час. Мы привыкли ложиться так поздно! Двенадцать, час, два, три часа для нас пустяки. Балы, обеды, карты! Нигде еще не бывало таких повес, как люди в тех краях, где мы жили. Право же, теперь я часто изумляюсь, как мы могли все это вынести, и какое это несчастье, когда имеешь такой большой круг знакомых и все тебя приглашают! Я бы не посоветовала молодоженам увлекаться этим. Но, разумеется,— и это вполне понятно,— я думаю, это только к лучшему, что мало кого из молодоженов могут подстерегать подобные соблазны. Была там одна семья, жившая примерно на расстоянии мили от нас — не по прямой дороге, но если круто повернуть влево у заставы, где плимутская почтовая карета переехала осла. Это были удивительные люди, они устраивали самые экстравагантные празднества с искусственными цветами, шампанским и разноцветными фонарями — короче говоря, со всевозможными деликатесами по части еды и питья, какие только может пожелать самый привередливый эпикуреец. Не думаю, чтобы нашлись еще такие люди, как эти Пелтирогез. Ты помнишь Пелтирогез, Кэт?

Кэт понимала, что для удобства и спокойствия гостей давно пора прервать этот поток воспоминаний, и потому ответила, что она необычайно живо и отчетливо помнит Пелтирогез, а затем добавила, что в начале вечера мистер Брауди обещал спеть йоркширскую песню и ей не терпится, чтобы он свое обещание исполнил, ибо это развлечет ее матушку и доставит всем удовольствие, которого не выразишь словами.

Когда миссис Никльби подтвердила замечание своей дочери с величайшей любезностью,— ибо и в этом было нечто покровительственное и как бы намек, что она обладает разборчивым вкусом и является чем-то вроде критика в такого рода вещах,— Джон Брауди принялся восстанавливать в памяти слова какой-то северной песенки и обратился за помощью к своей жене. Когда с этим

было покончено, он проделал несколько неуклюжих движений на своем стуле и, выбрав одну муху на потолке среди других спавших там мух, устремил на нее взгляд и заревел громовым голосом чувствительный романс (предполагалось, что его поет нежный пастушок, готовый зачахнуть от любви и отчаяния).

К концу первого куплета, словно кто-то на улице ждал этого момента, чтобы дать о себе знать, послышался громкий и настойчивый стук в парадную дверь — такой громкий и такой настойчивый, что леди дружно вздрогнули, а Джон Брауди умолк.

— Должно быть, это по ошибке,— беззаботно сказал Николас.— Мы не знаем никого, кто бы мог прийти в этот час.

Однако миссис Никльби высказала опасение, не сгорела ли контора, или, быть может, «мистеры Чириблы» послали за Николасом, чтобы пригласить его в компаньоны (что несомненно казалось весьма правдоподобным в этот поздний час), или мистер Линкинуотер сбежал с кассой, или мисс Ла-Криви заболела, или, быть может...

Но вдруг восклицание Кэт резко оборвало ее догадки, и в комнату вошел Ральф Никльби.

— Постойте! — сказал Ральф, когда Николас встал, а Кэт, подойдя к нему, оперлась на его руку.— Прежде чем этот юнец скажет слово, выслушайте меня.

Николас закусил губу и грозно тряхнул головой, но, казалось, в тот момент не в силах был выговорить ни слова. Кэт теснее прижалась к нему, Смайк спрятался за их спинами, а Джон Брауди, который слышал о Ральфе и как будто узнал его без особого труда, занял позицию между стариком и своим молодым другом, как бы с целью помешать тому и другому сделать еще хоть шаг вперед.

— Слушайте меня, говорю я! — сказал Ральф.— Меня, а не его!

— Ну, так говори то, что хочешь сказать, сэр! — сказал Джон.— И смотри не распали гневом кровь, которую лучше бы ты постарался охладить.

— Вас я узнал бы по языку,— сказал Ральф,— а *его* (он указал на Смайка) — по виду.

— Не говорите с ним! — воскликнул Николас, вновь обретя голос.— Я этого не допущу. Я не желаю его слушать. Я этого человека не знаю. Я не могу дышать воздухом, который он отравляет. Его присутствие — оскорбление для моей сестры. Видеть его — позор! Я этого не потерплю!

— Стой! — крикнул Джон, положив свою тяжелую руку ему на плечо.

— Тогда пусть он немедленно уйдет! — вырываясь, воскликнул Николас.— Я не подниму на него руки, но он должен уйти. Я не потерплю его здесь. Джон, Джон Брауди, мой это дом? Ребенок я, что ли? Если он будет стоять здесь,— вскричал Николас в бешенстве,— и смотреть с таким спокойствием на тех, кто знает его черное и подлое сердце, он доведет меня до сумасшествия!

На все эти восклицания Джон Брауди не отвечал ни слова, но по-прежнему удерживал Николаса и, когда тот замолчал, стал говорить.

— Тут придется поговорить и послушать больше, чем ты думаешь,— сказал Джон Брауди.— Говорю тебе, я это уже почуял. Что это за тень там за дверью? Ну-ка, школьный учитель, покажись, приятель, нечего стыдиться. Ну-ка, старый джентльмен, подавайте сюда школьного учителя!

Услыхав такое приглашение, мистер Сквирс, который топтался в коридоре в ожидании минуты, когда ему целесообразно будет эффектно появиться, поневоле съежился и вошел без всякой помпы, причем Джон Брауди захохотал так заразительно и с таким удовольствием, что даже Кэт, несмотря на все огорчение, тревогу и изумление, вызванные этой сценой, и несмотря на слезы, выступившие у нее на глазах, почувствовала желание присоединиться к нему.

— Кончили веселиться, сэр? — спросил, наконец, Ральф.

— В настоящее время почти что кончил, сэр,— ответил Джон.

— Я могу подождать,— сказал Ральф.— Располагайте временем, прошу вас.

Ральф выждал, пока не наступило полное молчание, а затем, повернувшись к миссис Никльби, но не спуская

настороженного взгляда с Кэт, словно больше интересуясь тем, какое впечатление это произведет на нее, сказал:

— Теперь, сударыня, выслушайте меня. Я не допускаю мысли, чтобы вы имели хоть какое-нибудь отношение к великолепной тираде, с какой обратился ко мне ваш мальчишка, ибо не верю, что, находясь в зависимости от него, вы сохранили хоть крупицу своей воли или что ваш совет, ваше мнение, ваши нужды, ваши желания, все то, что в силу вашего благоразумия (иначе какая была бы польза от вашего огромного жизненного опыта?) должно на него воздействовать,— не верю, что все это оказывает хоть малейшее влияние или воздействие или хоть на секунду принимается им во внимание.

Миссис Никльби покачала головой и вздохнула, словно все это было в самом деле справедливо.

— По этой причине,— продолжал Ральф,— я обращаюсь к вам, сударыня. Отчасти по этой причине, а отчасти потому, что не хочу быть опозоренным поведением злобного юнца, от которого я принужден был отречься и который затем с мальчишеским величием сделал вид, будто — ха-ха! — отрекается от меня, я пришел сюда сегодня. Есть и другой мотив моего прихода — мотив, продиктованный человеколюбием. Я пришел сюда,— сказал Ральф, озираясь с ядовитой и торжествующей улыбкой и злорадно растягивая слова (как будто он ни за что не лишил бы себя удовольствия произнести их),— с целью вернуть отцу его ребенка. Да, сэр,— продолжал он, нетерпеливо наклоняясь вперед и обращаясь к Николасу, когда заметил, что тот изменился в лице,— вернуть отцу его ребенка, его сына, сэр, похищенного, обманутого ребенка, которого вы не отпускаете ни на шаг с гнусной целью отнять у него те жалкие деньги, какие он может когда-нибудь получить.

— Что касается этого, то вам известно, что вы лжете,— гордо сказал Николас.

— Что касается этого, то мне известно, что я говорю правду. Здесь со мной его отец,— возразил Ральф.

— Здесь! — с усмешкой подхватил Сквирс, выступая вперед.— Вы это слышите? Здесь! Не предостерегал ли я вас, что его отец может вернуться и отправить его назад ко мне? Да, ведь его отец — мой друг, мальчик немед-

лению должен вернуться ко мне, немедленно! Ну-ка, что вы на это скажете, а? Ну-ка, что вы на это скажете? Не жалеете, что столько труда потратили даром, не жалеете, а?

— Вы носите на своей шкуре следы, оставленные мною,— сказал Николас, спокойно отворачиваясь,— и, в благодарность за них, можете говорить сколько вам угодно. Долго вам придется говорить, мистер Сквирс, прежде чем вы их сотрете.

Упомянутый достойный джентльмен бросил быстрый взгляд на стол, словно эта реплика вызвала у него желание швырнуть в голову Николаса бутылку или кружку; но этому замыслу (если таковой у него был) помешал Ральф, который, тронув его за локоть, попросил сообщить отцу, что он может явиться и потребовать сына.

Так как это было делом милосердия, мистер Сквирс охотно повиновался и, выйдя с этой целью из комнаты, почти немедленно вернулся, поддерживая елейного на вид человека с масленым лицом, который, вырвавшись от него и показав присутствующим физиономию и облик мистера Снаули, направился прямо к Смайку, заключил беднягу в неуклюжие объятия, зажав его голову под мышкой, и поднял в вытянутой руке свою широкополую шляпу в знак благочестивой благодарности, восклицая при этом:

— Я и не помышлял о такой радостной встрече, когда видел его в последний раз! О, я и не помышлял о ней!

— Успокойтесь, сэр,— с грубоватым сочувствием сказал Ральф,— теперь вы его обрели.

— Да, обрел! О, обрел ли я его? Обрел ли я его? — вскричал мистер Снаули, едва смея этому поверить.— Да, он здесь, во плоти!

— Плоти очень мало,— сказал Джон Брауди.

Мистер Снаули был слишком занят своими родительскими чувствами, чтобы обратить внимание на это замечание, и с целью окончательно удостовериться, что его дитя возвращено ему, снова засунул его голову себе под мышку и там ее и оставил.

— Что побудило меня почувствовать такой живой интерес к нему, когда этот достойный наставник юношества привел его в мой дом? Что побудило меня загореться

желанием жестоко покарать его за то, что он убежал от лучших своих друзей, своих пастырей и наставников? — вопросил Снаули.

— Это был родительский инстинкт, сэр,— заметил Сквирс.

— Да, это был он, сэр! — подхватил Снаули.— Возвышенное чувство, чувство древних римлян и греков, зверей полевых и птиц небесных, за исключением кроликов и котов, которые иной раз пожирают своих отпрысков. Сердце мое устремилось к нему. Я бы мог... не знаю, чего бы не мог я с ним сделать, обуянный гневом отца!

— Это только показывает, что значит природа, сэр,— сказал мистер Сквирс.— Чудная штука — природа.

— Она священна, сэр,— заметил Снаули.

— Я вам верю,— заявил мистер Сквирс с добродетельным вздохом.— Хотел бы я знать, как бы могли мы без нее обходиться. Природу,— торжественно сказал мистер Сквирс,— легче постигнуть, чем описать. О, какое блаженство пребывать в состоянии, близком к природе!

Во время этой философической тирады присутствующие остолбенели от изумления, а Николас переводил зоркий взгляд со Снаули на Сквирса и со Сквирса на Ральфа, раздираемый чувством отвращения, сомнения и удивления. В этот момент Смайк, ускользнув от своего отца, бросился к Николасу и в самых трогательных выражениях умолял не отдавать его и позволить ему жить и умереть около него.

— Если вы отец этого мальчика,— начал Николас,— посмотрите, в каком он жалком состоянии, и подтвердите, что вы действительно намерены отослать его обратно в это отвратительное логово, откуда я его увел.

— Опять оскорбление! — закричал Сквирс.— Опомнитесь! Вы не стоите пороха и пули, но так или иначе я сведу с вами счеты.

— Стойте! — вмешался Ральф, когда Снаули хотел заговорить.— Давайте покончим с этим делом, не будем перебрасываться словами с безмозглым повесой. Это ваш сын, что вы можете доказать. А вы, мистер Сквирс, знаете, что это тот самый мальчик, который жил с вами столько лет под фамилией Смайк. Знаете вы это?



— Знаю ли я?! — подхватил Сквирс.— Еще бы мне не знать!

— Прекрасно,— сказал Ральф.— Нескольких слов будет достаточно. У вас был сын от первой жены, мистер Снаули?

— Был,— ответил тот,— и вот он стоит.

— Сейчас мы это докажем,— сказал Ральф.— Вы разошлись с вашей женой, и она взяла мальчика к себе, когда ему был год. Вы получили от нее сообщение после того, как года два прожили врозь, что мальчик умер? И вы ему поверили?

— Конечно, поверил,— ответил Снаули.— О, радость...

— Будьте рассудительны, прошу вас, сэр! — сказал Ральф.— Это деловой вопрос, и восторги неуместны. Жена умерла примерно через полтора года, не позднее, в каком-то глухом местечке, где она служила экономкой. Так ли было дело?

— Дело было именно так,— ответил Снаули.

— И на смертном одре написала вам письмо или признание, касавшееся этого самого мальчика, которое дошло до вас несколько дней назад, да и то окольным путем, так как на нем не было никакого адреса, только ваша фамилия?

— Вот именно,— сказал Снаули.— Правильно до мельчайших подробностей, сэр!

— И это признание,— продолжал Ральф,— заключалось в том, что смерть его была ее измышлением с целью причинить вам боль,— короче говоря, являлась звеном в системе досаждать друг другу, которую вы оба, по-видимому, применяли,— что мальчик жив, но слабоумен и неразвит, что она поместила его через доверенное лицо в дешевую школу в Йоркшире, что несколько лет она платила за его обучение, а затем, терпя нужду и собираясь уехать из Англии, постепенно забросила его и просит простить ей это?

Снаули кивнул головой и потер глаза,— кивнул слегка, глаза же потер энергически.

— Это была школа мистера Сквирса,— снова заговорил Ральф.— Мальчика доставили туда под фамилией Смайк, все подробности были сообщены полностью, даты

в точности совпадают с записями в книгах мистера Сквирса. В настоящее время мистер Сквирс живет у вас; два других ваших мальчика находятся у него в школе. Вы сообщили ему о сделанном вами открытии, он привел вас ко мне, как к человеку, порекомендовавшему ему того, кто похитил вашего ребенка, а я привел вас сюда. Так ли это?

— Вы говорите, как хорошая книга, сэр, в которой нет ничего, кроме правды,— заявил Снаули.

— Вот ваш бумажник,— сказал Ральф, доставая его из кармана,— здесь свидетельства о вашем браке и о рождении мальчика, два письма вашей жены и все прочие документы, которые могут подтвердить эти факты прямо или косвенно. Здесь они?

— Все до единого, сэр.

— И вы не возражаете против того, чтобы с ними здесь ознакомились, и пусть эти люди убедятся, что вы имеете возможность немедленно обосновать ваши требования перед коронным судом и судом разума и можете взять на себя надзор над вашим родным сыном безотлагательно. Так ли я вас понимаю?

— Я сам не мог бы понять себя лучше, сэр.

— Ну так вот! — сказал Ральф, швырнув бумажник на стол.— Пусть они просмотрят их, если угодно, а так как это подлинные документы, то я бы вам советовал стоять поблизости, пока их будут изучать, иначе вы рискуете лишиться нескольких бумаг.

С этими словами Ральф сел, не дожидаясь приглашения, и, сжав губы, на секунду слегка раздвинувшиеся в улыбке, скрестил руки и в первый раз посмотрел на своего племянника.

Николас в ответ на это последнее оскорбление, метнул негодующий взгляд, но, овладев собой по мере сил, занялся пристальным изучением документов, в чем оказал ему помощь Джон Брауди. В них не было ничего, что могло бы быть оспорено. Свидетельства были по всем правилам заверены и представляли собою выписки из приходских книг; первое письмо действительно имело такой вид, словно было написано давно и хранилось уже много лет, почерк второго в точности ему соответствовал (если принять в рассуждение, что его писала особа,

находившаяся в крайне тяжелом положении), и было еще несколько заметок и записей, которые не менее трудно было подвергнуть сомнению.

— Дорогой Николас,— прошептала Кэт, с беспокойством смотревшая через его плечо,— может ли быть, что это так? Он сказал правду?

— Боюсь, что да,— ответил Николас.— А вы что скажете, Джон?

Джон почесал голову, покачал ею, но ровно ничего не сказал.

— Заметьте, сударыня,— сказал Ральф, обращаясь к миссис Никльби,— что поскольку этот мальчик несовершеннолетний и слаб умом, мы могли прийти сюда сегодня, опираясь на власть закона и в сопровождении отряда полиции. Бесспорно, я так бы и поступил, сударыня, если бы не принял во внимание чувств ваших и вашей дочери.

— Вы уже принимали во внимание ее чувства,— сказал Николас, привлекая к себе сестру.

— Благодарю вас,— отозвался Ральф.— Ваша похвала, сэр, стоит многого.

— Как мы теперь поступим? — спросил Сквирс.— Эти извозчичьи лошади схватят насморк, если мы не тронемся в путь: вот одна из них уже чихает так, что распахнулась парадная дверь. Каков порядок дня? Едет ли с нами юный Снаули?

— Нет, нет, нет! — воскликнул Смайк, пятясь и цепляясь за Николаса.— Нет! Пожалуйста, не надо. Я не хочу уходить с ним от вас. Нет, нет!

— Это жестоко,— сказал Снаули, обращаясь за поддержкой к своим друзьям.— Для того ли родители производят на свет детей?

— А разве родители производят на свет детей вот для *этого?* — напрямик сказал Джон Брауди, указывая на Сквирса.

— Не ваше дело! — ответствовал этот джентльмен, насмешливо постукивая себя по носу.

— Не мое дело?! — повторил Джон.— Вот как! И по твоим словам, школьный учитель, никому не должно быть дела до этого. Вот потому, что никому нет дела, такие люди, как ты, и держатся на поверхности. Ну, куда ты

лезешь? Черт побери, не вздумай наступать мне на ноги, приятель!

Переходя от слов к делу, Джон Брауди ткнул локтем в грудь мистера Сквирса, который двинулся к Смайку,— ткнул с такой ловкостью, что владелец школы зашатался, попятился, налетел на Ральфа Никльби и, потеряв равновесие, свалил этого джентльмена со стула и сам тяжело рухнул на него.

Это случайное обстоятельство послужило сигналом для весьма решительных действий. В разгар шума, вызванного просьбами и мольбами Смайка, воплями и восклицаниями женщин и бурными пререканиями мужчин, сделаны были попытки насильно увести блудного сына. Сквирс уже потащил его к порогу, но Николас (который до сей поры явно колебался, как поступить) схватил Сквирса за шиворот и, встряхнув так, что зубы, еще оставшиеся у того во рту, зашатались, вежливо проводил его до двери и, вышвырнув в коридор, захлопнул за ним дверь.

— А теперь,— сказал Николас двум другим,— будьте добры последовать за вашим другом.

— Мне нужен мой сын,— сказал Снаули.

— Ваш сын выбирает сам,— ответил Николас.— Он предпочитает остаться здесь, и он здесь останется.

— Вы его не отдадите? — спросил Снаули.

— Я его не отдам против его воли, чтобы он стал жертвою той жестокости, на какую вы его обрекаете, словно он собака или крыса,— ответил Николас.

— Стукните этого Никльби подсвечником! — крикнул в замочную скважину мистер Сквирс.— И пусть кто-нибудь принесет мне мою шляпу, пока ему не вздумалось украсть ее.

— Право же, мне очень жаль,— сказала миссис Никльби, которая вместе с миссис Брауди стояла в углу, плача и кусая пальцы, тогда как Кэт (очень бледная, но совершенно спокойная) старалась держаться поближе к брату,— право же, мне очень жаль, что все это случилось. Я не знаю, как следовало бы поступить, и это сущая правда. Николас должен лучше знать, и я надеюсь, что он знает. Конечно, трудно содержать чужих детей, хотя молодой мистер Снаули, право же, такой старательный

и услужливый! Но если бы это уладилось по-хорошему, если бы, например, старый мистер Снаули согласился платить некоторую сумму за стол и квартиру и порешили бы на том, чтобы два раза в неделю подавали рыбу и два раза пудинг, или яблоки, запеченные в тесте, или что-нибудь в этом роде, я думаю, все были бы вполне удовлетворены.

На это предложение, сопровождавшееся обильными слезами и вздохами и не совсем соответствовавшее сути дела, никто не обратил ни малейшего внимания. Поэтому бедная миссис Никльби принялась объяснять миссис Брауди преимущества такого плана и печальные последствия, неизбежно вытекавшие из невнимания к ней в тех случаях, когда она давала советы.

— Вы, сэр,— сказал Снаули, обращаясь к устрашенному Смайку,— чудовищный, неблагодарный, бессердечный мальчишка! Вы не хотите, чтобы я вас полюбил, когда я этого хочу. Пойдете вы домой или нет?

— Нет, нет, нет! — отпрянув, закричал Смайк.

— Он никогда никого не любил! — заорал в замочную скважину Сквирс.— Он никогда не любил меня, он никогда не любил Уэкфорда, а уж тот — прямо настоящий херувим. Как же вы после этого хотите, чтобы он полюбил своего отца? Он никогда не полюбит своего отца, никогда! Он не знает, что такое иметь отца. Он этого не понимает. Ему не дано понять.

С добрую минуту мистер Снаули пристально смотрел на своего сына, а затем, прикрыв глаза рукой и снова подняв вверх шляпу, как будто стал оплакивать черную его неблагодарность. Затем, проведя рукавом по глазам, он подхватил шляпу мистера Сквирса и, забрав ее под одну руку, а свою собственную под другую, медленно и грустно вышел из комнаты.

— Вижу, что ваш романический вымысел потерпел крах, сэр,— сказал Ральф, задержавшись на секунду.— Исчез неизвестный, исчез преследуемый отпрыск человека высокого звания, остался жалкий слабоумный сын бедного мелкого торговца. Посмотрим, устоит ли ваша симпатия перед этим простым фактом.

— Посмотрим! — сказал Николас, указывая на дверь.

— И поверьте, сэр,— добавил Ральф,— я отнюдь не

ожидал, что вы откажетесь от него сегодня вечером. Гордость, упрямство, репутация прекраснодушного человека — все было против этого. Но они будут раздавлены, сэр, растоптаны! И это случится скоро. Долгое и томительное беспокойство, расходы по судебному процессу в его самой удручающей форме, ежечасная пытка, мучительные дни и бессонные ночи — вот чем испытаю я вас и сломлю ваш надменный дух, каким бы сильным вы его сейчас ни почитали. А когда вы превратите этот дом в ад и сделаете жертвою бедствий вон того несчастного (а вы иначе не поступите, я вас знаю) и тех, кто считает вас сейчас юным героем,— вот тогда мы с вами сведем старые счеты и увидим, за кем последнее слово и кто в конце концов лучше выпутался даже в глазах людей!

Ральф Никльби удалился. Но мистер Сквирс, который слышал часть заключительной речи и успел к тому времени раздуть свою бессильную злобу до неслыханных пределов, не удержался, чтобы не вернуться к двери гостиной и не проделать с дюжину антраша, сопровождая их отвратительными гримасами, выражавшими торжествующую его уверенность в падении и поражении Николаса.

Закончив военную пляску, во время которой весьма на виду были его короткие штаны и большие сапоги, мистер Сквирс последовал за своими друзьями, а семья осталась размышлять о происшедших событиях.

ГЛАВА XLVI

отчасти проливает свет на любовь Николаса, но к добру или к худу — пусть решает читатель

После тревожных размышлений о тягостном и затруднительном положении, в каком он очутился, Николас решил, что должен не теряя времени обо всем откровенно рассказать добрым братьям. Воспользовавшись первой же возможностью, когда он остался к концу следующего дня наедине с мистером Чарльзом Чириблом, он

кратко изложил историю Смайка и скромно, но уверенно выразил надежду, что добрый старый джентльмен, приняв во внимание описанные Николасом обстоятельства, оправдает занятую им необычную позицию между отцом и сыном, а также и поддержку, оказанную Смайку в его неповиновении,— несомненно оправдает, хотя ужас и страх Смайка перед отцом могут показаться отталкивающими и противоестественными и в таком виде будут изображены, а люди, пришедшие на помощь Смайку, рискуют вызвать у всех отвращение.

— Ужас, испытываемый Смайком перед этим человеком, кажется столь глубоким,— сказал Николас,— что я едва могу поверить, что он действительно его сын. Природа не вложила ему в сердце ни малейшего чувства привязанности к отцу, а она, конечно, никогда не заблуждается.

— Дорогой мой сэр,— отозвался брат Чарльз,— здесь вы допускаете ошибку, весьма обычную, вменяя в вину природе дела, за которые она ни в какой мере не ответственна. Люди толкуют о природе как о чем-то отвлеченном и при этом упускают из виду то, что в самом деле свойственно природе. Этого бедного мальчика, никогда не знавшего родительской ласки, не изведавшего за всю свою жизнь ничего, кроме страданий и горя, представляют человеку, которого называют его отцом и который первым делом заявляет о своем намерении положить конец его короткому счастью, обречь его на прежнюю участь и разлучить с единственным другом, какой когда-либо у него был,— с вами. Если бы природа в данном случае вложила в грудь этого мальчика хоть одно затаенное побуждение, влекущее его к отцу и отрывающее от вас, она была бы лгуньей и идиоткой!

Николас пришел в восторг, видя, что старый джентльмен говорит с таким жаром, и, ожидая, что он еще что-нибудь добавит, ничего не ответил.

— Ту же ошибку я встречаю в той или иной форме на каждом шагу,— сказал брат Чарльз.— Родители, которые никогда не проявляли своей любви, жалуются на отсутствие естественной привязанности у детей; дети, никогда не исполнявшие своего долга, жалуются на отсутствие естественной привязанности у родителей; законода-

тели почитают жалкими и тех и других, хотя в жизни у них не было достаточно солнечного света для развития взаимной привязанности, читают высокопарные нравоучения и родителям и детям и кричат о том, что даже узы, налагаемые самой природой, находятся в пренебрежении. Природные наклонности и инстинкты, дорогой сэр, являются прекраснейшими дарами всемогущего, но их нужно развивать и лелеять, как и другие прекрасные его дары, чтобы они не зачахли и чтобы новые чувства не заняли их места, подобно тому как сорная трава и вереск заглушают лучшие плоды земли, оставленные без присмотра. Я бы хотел, чтобы мы над этим задумались и, почаще вспоминая вовремя о налагаемых на нас природой обязательствах, поменьше говорили о них не вовремя.

Затем брат Чарльз, который на протяжении этой речи сильно разгорячился, приумолк, чтобы немного остыть, после чего продолжал:

— Вероятно, вы удивляетесь, дорогой мой сэр, что я почти без всякого изумления выслушал ваш рассказ. Это объясняется просто: ваш дядя был здесь сегодня утром.

Николас покраснел и отступил шага на два.

— Да,— сказал старый джентльмен, энергически ударив по столу,— здесь, в этой комнате. Он не хотел слушать доводы рассудка, чувства и справедливости. Но брат Нэд не щадил его. Брат Нэд, сэр, мог бы растопить булыжник.

— Он пришел...— начал Николас.

— Чтобы пожаловаться на вас,— ответил брат Чарльз,— отравить наш слух клеветой и ложью, но цели своей он не достиг и ушел, унося с собой несколько здравых истин. Брат Нэд, дорогой мой мистер Никльби, брат Нэд, сэр,— настоящий лев! И Тим Линкинуотер, Тим — настоящий лев. Сначала мы позвали Тима, чтобы Тим сразился с ним, и вы бы не успели вымолвить «Джек Робинсон» *, сэр, как Тим уже напал на него.

— Чем отблагодарить мне вас за все, что вы ежедневно для меня делаете? — сказал Николас.

— Храните молчание и этим отблагодарите, дорогой мой сэр,— ответил брат Чарльз.— С вами поступят спра-

ведливо. Во всяком случае, вам не причинят зла. И зла не причинят никому из ваших близких. Они волоска не тронут на вашей голове, и на голове этого мальчика, и вашей матери, и вашей сестры. Я это сказал, брат Нэд это сказал, Тим Линкинуотер это сказал. Мы все это сказали, и мы все об этом позаботимся. Я видел отца — если это отец, а я думаю, что отец,— он варвар и лицемер, мистер Никльби. Я ему сказал: «Вы варвар, сэр». Да! Сказал: «Вы варвар, сэр». И я этому рад, я *очень* рад, что сказал ему «вы варвар», да, очень рад!

Брат Чарльз пришел в такое пылкое негодование, что Николас нашел уместным вставить слово, но в тот момент, когда он попытался это сделать, мистер Чирибл ласково положил руку ему на плечо и жестом предложил сесть.

— В данную минуту этот вопрос исчерпан,— сказал старый джентльмен, вытирая лицо.— Не затрагивайте его больше. Я хочу поговорить на другую тему, тему конфиденциальную, мистер Никльби. Мы должны успокоиться, мы должны успокоиться.

Пройдясь раза два-три по комнате, он снова уселся и, придвинув свой стул ближе к стулу Николаса, сказал:

— Я собираюсь дать вам конфиденциальное и деликатное поручение, дорогой мой сэр.

— Вы можете найти для этого много людей, более способных, сэр,— сказал Николас,— но смею сказать, более надежного и ревностного вам не найти.

— В этом я совершенно уверен,— отозвался брат Чарльз,— совершенно уверен. Вы не будете сомневаться в том, что я так думаю, если я вам скажу, что поручение это касается одной молодой леди.

— Молодой леди, сэр! — воскликнул Николас, дрожа от нетерпения услышать больше.

— Очень красивой молодой леди,— серьезно сказал мистер Чирибл.

— Пожалуйста, продолжайте, сэр,— попросил Николас.

— Я думаю о том, как это сделать,— сказал брат Чарльз грустно, как показалось его молодому другу, и выражение его лица было страдальческое.— Однажды утром, дорогой мой сэр, вы случайно увидели в этой

комнате молодую леди в обмороке. Вы помните? Быть может, вы забыли...

— О нет! — быстро ответил Николас.— Я... я... очень хорошо помню.

— Это та самая леди, о которой я говорю,— сказал брат Чарльз.

Подобно пресловутому попугаю, Николас думал очень много, но не мог произнести ни слова.

— Она дочь одной леди,— сказал мистер Чирибл,— которую я... когда она сама была красивой девушкой, а я на много-много лет моложе, чем теперь... которую я... кажется странным мне произносить сейчас это слово... я горячо любил. Пожалуй, вы улыбнетесь, слыша эти признания из уст седовласого человека. Вы меня не обидите, потому что, когда я был так же молод, как вы, я бы сам улыбнулся.

— Право же, у меня нет этого желания,— сказал Николас.

— Мой дорогой брат Нэд,— продолжал мистер Чирибл,— должен был жениться на ее сестре, но она умерла. И этой леди нет теперь в живых уже много лет. Она вышла замуж за своего избранника, и я был бы рад, если бы мог добавить, что последующая ее жизнь была такой счастливой, какую я, богу известно, всегда просил для нее в молитвах.

Наступило короткое молчание, которое Николас не пытался прервать.

— Если бы он мог переносить испытания так легко, как я надеялся в сокровенных глубинах моего сердца (надеялся ради нее), их жизнь была бы мирной и счастливой,— спокойно произнес старый джентльмен.— Достаточно будет сказать, что случилось не так... Она не была счастлива... они столкнулись с тяжелыми разочарованиями и затруднениями, и за год до смерти она обратилась ко мне за помощью в память старой дружбы, глубоко изменившаяся, павшая духом от страданий и дурного обращения, с разбитым сердцем. Он охотно воспользовался деньгами, которые я, чтобы доставить ей хоть час покоя, готов был сыпать без счета; и мало того, он часто посылал ее снова за деньгами... и, однако, проматывая их, даже эти ее обращения ко мне за помощью,

не оставшиеся без ответа, сделал предметом жестоких насмешек и острот, утверждая, будто ему известно, что она горько раскаивается в сделанном выборе, что она вышла за него из корыстных и тщеславных побуждений (он был веселым молодым человеком, имевшим знатных друзей, когда она избрала его своим мужем). Короче, он изливал на нее, пользуясь всеми недобросовестными и дурными средствами, всю горечь разорения и всю свою досаду, которые были вызваны только его распутством... В то время эта молодая девушка была маленькой девочкой. С тех пор я ни разу ее не видел до того утра, когда и вы ее увидели, но мой племянник Фрэнк...

Николас вздрогнул и, невнятно пробормотав извинение, попросил своего патрона продолжать.

— ...мой племянник Фрэнк, говорю я,— снова повел речь мистер Чирибл,— через два дня по приезде в Англию встретил ее случайно и чуть ли не тотчас же потерял снова из виду. Ее отец прятался где-то, чтобы ускользнуть от кредиторов, доведенный болезнью и бедностью до края могилы, а она... если бы мы не верили в премудрость провидения, мы могли бы сказать, что это дитя было достойно лучшего отца... она стойко переносила лишения, унижения и испытания, самые ужасные для сердца такого юного и нежного создания, чтобы добывать для отца средства к жизни. В это тяжелое время, сэр,— продолжал брат Чарльз,— ей прислуживала одна преданная женщина, которая в прошлом служила в семье судомойкой, а теперь стала их единственной служанкой, но благодаря своему честному и верному сердцу она достойна — да! — достойна быть женой самого Тима Линкинуотера, сэр!

Произнеся эту похвалу бедной служанке с такой энергией и с таким удовлетворением, какие не поддаются описанию, брат Чарльз откинулся на спинку стула и с бо́льшим спокойствием изложил последнюю часть своего повествования.

Сущность ее заключалась в следующем: девушка гордо отвергла все предложения постоянной помощи и поддержки со стороны друзей своей покойной матери, ибо они ставили условием ее разлуку с этим жалким человеком, ее отцом, у которого никаких друзей не осталось;

отказываясь из врожденной деликатности воззвать о помощи к тому честному и благородному сердцу, которое отец ее ненавидел и именно потому, что оно было исполнено великой доброты, жестоко оскорбил клеветой, молодая девушка боролась одна и без всякой поддержки, чтобы прокормить отца трудами своих рук. В крайней бедности и в горе она трудилась без устали, не тяготясь мрачным раздражением больного человека, которого не подкрепляли никакие утешительные воспоминания о прошлом или надежды на будущее, никогда не сокрушаясь о том благополучии, которое она отвергла, и не оплакивая печальной доли, какую она добровольно избрала. Все маленькие познания, приобретенные ею в дни более счастливые, были использованы ею и направлены к достижению одной цели. В течение двух долгих лет, трудясь днем, а часто и ночью, с иглой, карандашом или пером в руке, она терпела в качестве приходящей гувернантки все капризы и все те оскорбления, какие женщины (и женщины, имеющие дочерей) слишком часто любят наносить особам их же пола, словно завидуя уму более развитому, к услугам которого они вынуждены прибегать; она терпела оскорбления, в девяносто девяти случаях из ста обрушивающиеся на тех, кто неизмеримо и несравнимо лучше этих женщин, и превышающие все, что позволяет себе самый бессердечный шулер с ипподрома по отношению к своему груму. В течение двух долгих лет, исполняя все свои обязанности и не тяготясь ни одной, она тем не менее не достигла единственной цели своей жизни и, побежденная нарастающими трудностями и разочарованиями, принуждена была разыскать старого друга своей матери и, с надрывающимся сердцем, довериться, наконец, ему.

— Будь я беден,— сверкая глазами, сказал брат Чарльз,— будь я беден, мистер Никльби, дорогой мой сэр,— но, слава богу, я не беден,— я отказывал бы себе (разумеется, это сделал бы всякий при таких обстоятельствах) в самом необходимом, чтобы помочь ей. Однако даже теперь эта задача трудна. Если бы ее отец умер, то все было бы очень просто, ибо тогда она жила бы с нами, словно наше дитя или сестра, и благодаря ее присутствию наш дом стал бы самым счастливым. Но он

еще жив. Никто не может ему помочь: это было испытано тысячу раз; не без причины он всеми покинут, я это знаю.

— Нельзя ли убедить ее...— тут Николас запнулся.

— Уйти от него? — спросил брат Чарльз.— Кто решился бы уговаривать дочь покинуть отца? С такими мольбами, при условии, что время от времени она будет с ним видеться, к ней обращались не раз (я, правда, не обращался), но всегда безуспешно.

— Добр ли он к ней? — спросил Николас.— Заслуживает ли он ее привязанности?

— Подлинная доброта, доброта, выражающаяся во внимании к другому и в самоотречении, чужда его натуре,— ответил мистер Чирибл.— Думаю, он к ней относится с той добротой, на какую способен. Мать была нежным, любящим, доверчивым созданием, и, хотя он терзал ее со дня свадьбы и вплоть до ее смерти так жестоко и бессмысленно, как только может терзать человек, она не переставала любить его. На смертном одре она поручила его заботам дочери. Ее дочь этого не забыла и никогда не забудет.

— Вы не имеете на него никакого влияния? — спросил Николас.

— Я, дорогой мой сэр?! Меньше, чем кто бы то ни было. Его ревность и ненависть ко мне велики; знай он, что его дочь открыла мне свое сердце, он отравил бы ей жизнь упреками, а вместе с этим — таковы его непоследовательность и себялюбие,— если бы он знал, что каждый ее пенни получен от меня, он не отказался бы ни от одной своей прихоти, какую можно удовлетворить при самом безрассудном расточении ее скудных средств.

— Бессердечный негодяй! — с возмущением воскликнул Николас.

— Не будем прибегать к грубым словам,— мягко сказал брат Чарльз,— лучше приноровимся к тем условиям, в каких находится эта молодая леди. То пособие, какое я заставил ее принять, я принужден, по горячей ее просьбе, выдавать самыми небольшими суммами, иначе, узнав, как легко достались деньги, он растратил бы их с еще бо́льшим легкомыслием, чем привык это делать.

Даже за ними она приходила сюда потихоньку и по вечерам, а я не могу терпеть, чтобы так продолжалось и впредь, мистер Никльби, право же, не могу.

И тогда обнаружилось мало-помалу, как добрые старые близнецы обдумывали всевозможные планы и проекты помочь этой молодой леди наивозможно деликатней и осторожней, чтоб ее отец не заподозрил, из какого источника поступают средства; и как они пришли, наконец, к заключению, что лучше всего будет сделать вид, будто у нее покупают по высокой цене маленькие ее рисунки и вышивки, и позаботиться о том, чтобы на них был постоянный спрос. Для осуществления такого намерения необходимо было, чтобы кто-нибудь играл роль торговца этими предметами, и после глубоких размышлений они избрали исполнителем этой роли Николаса.

— Он меня знает,— сказал брат Чарльз,— и моего брата Нэда он знает. Ни один из нас не подойдет. Фрэнк превосходный мальчик, превосходный, но мы опасаемся, что он может оказаться немножко легкомысленным и опрометчивым для такого деликатного дела и что, пожалуй, он... что, короче говоря, он, быть может, слишком впечатлителен (она красивая девушка, сэр, вылитый портрет своей бедной матери). Влюбившись в нее, прежде чем хорошенько разберется в своих чувствах, он принесет страдания и печаль невинному сердцу, тогда как мы бы хотели быть смиренным орудием, постепенно возвращающим ему счастье. Фрэнк чрезвычайно заинтересовался ее судьбой, когда в первый раз случайно ее встретил. А расспросив его, мы вывели заключение, что из-за нее он затеял ту ссору, которая привела к вашему с ним знакомству.

Николас пробормотал, что он и раньше допускал такую возможность, а в объяснение своей догадки рассказал, когда и где впервые увидел молодую леди.

— В таком случае,— продолжал брат Чарльз,— вы понимаете, что он для этой цели не подходит. О Тиме Линкинуотере не может быть и речи, потому что Тим, сэр, такой ужасный человек, что ему никак не удастся обуздать себя и он вступит в пререкания с отцом, пяти минут не пробыв в доме. Вы не знаете, каков Тим, сэр, когда его взволнует что-нибудь, чрезвычайно задеваю-

щее его чувства; тогда он страшен, сэр, да, Тим Линкинуотер просто страшен! А к вам мы можем отнестись с полным доверием. В вас мы нашли — во всяком случае, я нашел, но это одно и то же, потому что между мной и моим братом Нэдом никакой разницы нет, разве что он добрейшее создание в мире и нет и никогда не будет на свете человека, равного ему,— в вас мы нашли добродетели и наклонности семьянина и ту деликатность чувства, которая делает вас подходящим для этого поручения. Вы тот, кто нам нужен, сэр.

— Молодая леди, сэр,— начал Николас, который пришел в такое смущение, что ему немалого труда стоило сказать хоть что-нибудь,— она... она принимает участие в этой невинной хитрости?

— Да,— ответил мистер Чирибл.— Во всяком случае, она знает, что вы явитесь от нас; однако ей неизвестно, как мы будем распоряжаться теми вещицами, какие вы будете время от времени покупать, и быть может, если вы очень искусно поведете дело (вот именно — *очень* искусно), быть может, удастся заставить ее поверить, что мы... извлекаем из них прибыль. Ну как? Ну как?

Это невинное и простодушнейшее предположение делало брата Чарльза таким счастливым, а надежда, что молодой леди удастся внушить мысль, будто она ему ничем не обязана, доставляла ему такую радость и такое утешение, что Николас отнюдь не захотел бы выразить свои сомнения касательно этого вопроса.

Но все это время с языка его готово было сорваться признание в том, что те самые возражения, какие изложил мистер Чирибл против привлечения к этой миссии своего племянника, относились, во всяком случае в равной мере и с такими же основаниями, к нему самому, и сотню раз он собирался признаться в подлинных своих чувствах и просить, чтобы его избавили от такого поручения. Но столько же раз по пятам за этим побуждением следовало другое, заставлявшее его молчать и хранить тайну в своем сердце. «Зачем буду я сеять затруднения на пути к осуществлению этого благого и великодушного замысла? — думал Николас.— Что за беда, если я люблю и почитаю это доброе и великодушное создание? Разве

не показался бы я самым дерзким и пустым фатом, если бы серьезно заявил, что ей грозит какая-то опасность влюбиться в меня? А помимо этого, разве я себе ничуть не доверяю? Разве этот превосходный человек не имеет права на мою самую безупречную и преданную службу и неужели какие бы то ни было личные соображения помешают мне оказать ему эту услугу?»

Задавая себе такие вопросы, Николас мысленно отвечал на них весьма энергическим «нет», убеждал себя в том, что он — самый совестливый и славный мученик, и благородно решил исполнить то, что показалось бы ему невыполнимым, если бы он с большим вниманием исследовал свои чувства. Такова ловкость рук, когда мы плутуем сами с собой и даже наши слабости превращаем в великолепные добродетели!

Мистер Чирибл, разумеется, отнюдь не подозревавший, что такого рода мысли приходили на ум его молодому другу, принялся давать ему необходимые указания для первого его визита, который был назначен на следующее утро. Когда все предварительные переговоры были закончены и было предписано строго хранить тайну, Николас отправился вечером домой, погруженный в глубокое раздумье.

Место, куда направил его мистер Чирибл, было застроено неприглядными и грязными домами, расположенными в пределах «тюремных границ» тюрьмы Королевской Скамьи * и в нескольких сотнях шагов от обелиска на Сент-Джордж-Филдс. «Границы» являются своего рода привилегированным районом, примыкающим к тюрьме и включающим примерно двенадцать улиц; должникам, имеющим возможность добыть деньги для уплаты тюремному начальству больших взносов, на которые их кредиторы не могут посягнуть, разрешается проживать там благодаря мудрой предусмотрительности тех самых просвещенных законов, какие оставляют должника, не имеющего возможности добыть никаких денег, умирать с голоду в тюрьме, без пищи, одежды, жилища и тепла, а ведь все это предоставляется злодеям, совершившим самые ужасные преступления, позорящие человечество. Много есть приятных фикций, сопровождающих проведение закона в жизнь, но самой приятной и в сущности самой юмори-

стической является та, что полагает всех людей равными перед беспристрастным его оком, а благие плоды всех законов равно достижимыми для всех людей, независимо от содержимого их карманов.

К этим домам, указанным ему мистером Чарльзом Чириблом, направил стопы Николас, не утруждая себя размышлениями о таких предметах, и к этим домам подошел он, наконец, с трепещущим сердцем, миновав сначала очень грязный и пыльный пригород, основными и отличительными чертами которого являлись маленькие театрики, моллюски разных видов, имбирное пиво, рессорные повозки и лавки зеленщиков и старьевщиков. Перед домами были маленькие палисадники, которые, находясь в полном пренебрежении, служили хранилищами, где собиралась пыль, пока не налетал из-за угла ветер и не гнал ее вдоль по дороге. Открыв расшатанную калитку перед одним из этих домов,— болтаясь на сломанных петлях, она впускала и вместе с тем отталкивала посетителя,— Николас дрожащей рукой постучал в парадную дверь.

Снаружи это был очень жалкий дом с тусклыми окнами в гостиной и с очень неприглядными шторами и очень грязными муслиновыми занавесками в нижней половине окон, висевшими на очень слабо натянутых шнурках. И внутреннее убранство дома, когда распахнулась дверь, по-видимому, не противоречило наружному его виду, ибо на лестнице лежал выцветший ковер, а в коридоре выцветшая вощанка. В довершение этих удобств некий джентльмен, пользующийся привилегиями тюрьмы Королевской Скамьи, ожесточенно курил (хотя полдень еще не настал) в гостиной, выходившей окнами на улицу, а у двери задней гостиной хозяйка дома старательно смазывала скипидаром разобранную на части кровать с пологом, по-видимому готовясь к приему нового постояльца, которому посчастливится ее занять.

У Николаса было достаточно времени сделать эти наблюдения, пока мальчик, исполнявший поручения жильцов, сбежал с грохотом по кухонной лестнице и пронзительно, словно из какого-то отдаленного погреба, позвал служанку мисс Брэй. Вскоре появившись и предложив

Николасу следовать за ней, служанка вызвала у него более серьезные симптомы нервности и смятения, чем те, какие были бы оправданы его естественным вопросом, можно ли видеть молодую леди.

Однако он пошел наверх, и его ввели в комнату окнами на улицу, и здесь у окна за столиком с разложенными на нем принадлежностями для рисования, работала красивая девушка, которая владела его мыслями и которая в силу нового и глубокого интереса, вызванного у Николаса ее историей, показалась ему сейчас в тысячу раз красивее, чем он когда-либо предполагал.

Но как растрогали сердце Николаса грация и изящество, с какими она украсила убого меблированную комнату! Цветы, растения, птицы, арфа, старое фортепьяно, чьи струны звучали гораздо нежнее в былые времена,— каких усилий стоило ей сохранить эти два последних звена порванной цепи, еще связывавшей ее с родным домом! Какое терпенье и какая нежная любовь были вложены в каждое маленькое украшение, сделанное ею в часы досуга и полное того очарования, какое связано с каждой изящной вещицей, созданной женскими руками! Николасу казалось, что небо улыбается этой комнатке, что прекрасное самопожертвование такой юной и слабой девушки проливает лучи на все неодушевленные предметы вокруг и делает их такими же прекрасными, как она; ему казалось, что нимб, каким окружают старые художники головы ангелов безгрешного мира, светится над существом, родственным им по духу, и это сияние видимо ему.

Однако Николас находился в «тюремных границах» тюрьмы Королевской Скамьи! Другое дело, если бы он был в Италии, а временем действия был час заката солнца, а местом действия — великолепная терраса! Но единое широкое небо раскинулось над всем миром, и, синее оно или пасмурное, за ним есть иное небо, одинаковое для всех. Вот почему Николасу, пожалуй, незачем было упрекать себя за такие мысли.

Не следует предполагать, что он с первого же взгляда заметил все окружающее: сначала он и не подозревал о присутствии больного, сидевшего в кресле и обложенного

подушками, который, беспокойно и нетерпеливо зашевелившись, привлек, наконец, его внимание.

Вряд ли ему было больше пятидесяти лет, но он был так изможден, что казался значительно старше. Его лицо сохранило остатки былой красоты, но в нем легче было заметить следы сильных и бурных страстей, чем отпечаток тех чувств, которые придают значительно бо́льшую привлекательность лицу, далеко не столь красивому. Вид у него был изнуренный, тело истаяло буквально до костей, но в больших запавших глазах еще осталось что-то от былого огня, и этот огонь как будто разгорелся с новой силой, когда он нетерпеливо ударил раза два или три по полу своей толстой тростью, на которую опирался, сидя в кресле, и окликнул дочь по имени.

— Маделайн, кто это? У кого может быть здесь какое-то дело? Кто сказал чужому человеку, что нас можно видеть? Что это значит?

— Мне кажется...— начала молодая леди, с некоторым смущением наклонив голову в ответ на поклон Николаса.

— Тебе всегда кажется! — с раздражением перебил отец.— Что это значит?

К тому времени Николас обрел присутствие духа настолько, что мог объясниться сам, и потому сказал (как было условлено заранее), что он пришел заказать два ручных экрана и бархатное покрывало для оттоманки; и то и другое должно отличаться самым изящным рисунком, причем срок исполнения и цена не имеют ни малейшего значения. Он должен также заплатить за два рисунка и, подойдя к маленькому столику, положил на него банкнот в запечатанном конверте.

— Маделайн, посмотри, верен ли счет,— сказал ее отец.— Распечатай конверт, дорогая моя.

— Я уверена, что все в порядке, папа.

— Дай! — сказал мистер Брэй, протягивая руку и нетерпеливо, с раздражением сжимая и разжимая пальцы.— Дай, я посмотрю. О чем это ты толкуешь, Маделайн? Ты уверена! Как можешь ты быть уверена в таких вещах? Пять фунтов — ну что, правильно?

— Совершенно правильно,— сказала Маделайн, наклоняясь к нему.



Она с таким усердием оправляла подушки, что Николас не видел ее лица, но, когда она нагнулась, ему показалось, что упала слезинка.

— Позвони, позвони! — сказал больной все с тем же нервным возбуждением, указывая на колокольчик, и рука его так дрожала, что банкнот зашелестел в воздухе.— Скажи ей, чтобы она его разменяла, принесла мне газету, купила мне винограду, еще бутылку того вина, какое у меня было на прошлой неделе, и... и... сейчас я забыл половину того, что мне нужно, но она может сходить еще раз. Сначала пусть принесет все это, сначала все это, Маделайн, милая моя, скорее, скорее. Боже мой, какая ты неповоротливая!

«Он не подумал ни о чем, что может быть нужно *ей!*» — мелькнуло у Николаса.

Быть может, некоторые его размышления отразились на его лице, потому что больной, очень резко повернувшись к нему, пожелал узнать, не ждет ли он расписки.

— Это не имеет никакого значения,— сказал Николас.

— Никакого значения! Что вы хотите этим сказать, сэр? — последовала гневная реплика.— Никакого значения! Вы думаете, что принесли ваши жалкие деньги из милости, как подарок? Разве это не коммерческая сделка и не плата за приобретенные ценности? Черт побери, сэр! Если вы не умеете ценить время и вкус, потраченные на товары, которыми вы торгуете, значит, по-вашему, вы зря выбрасываете деньги? Известно ли вам, сэр, что вы имеете дело с джентльменом, который в былое время мог купить пятьдесят таких субъектов, как вы, со всем вашим имуществом в придачу? Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу только сказать, что так как я желал бы поддерживать деловые отношения с этой леди, то не стоит затруднять ее такими формальностями,— ответил Николас.

— А я, если вам угодно, скажу, что у нас будет как можно больше формальностей,— возразил ее отец.— Моя дочь не просит одолжений ни у вас, ни у кого бы то ни было. Будьте добры строго придерживаться деловой стороны и не преступать границ. Каждый мелкий торговец

будет ее жалеть? Честное слово, очень недурно! Маделайн, дорогая моя, дай ему расписку и впредь не забывай об этом.

Пока она делала вид, будто пишет расписку, Николас раздумывал об этом странном, но довольно часто встречающемся характере, который ему представилась возможность наблюдать, а калека, испытывавший, казалось, по временам сильную физическую боль, поник в своем кресле и слабо застонал, жалуясь, что служанка ходит целый час и что все сговорились досаждать ему.

— Когда мне зайти в следующий раз? — спросил Николас, беря клочок бумаги.

Вопрос был обращен к дочери, но ответил немедленно ее отец:

— Когда вам предложат зайти, сэр, но не раньше. Не надоедайте и не понукайте. Маделайн, дорогая моя, когда может зайти этот человек?

— О, не скоро, не раньше чем через три-четыре недели. Право же, раньше нет никакой необходимости, я могу обойтись,— с живостью отозвалась молодая леди.

— Но как же мы можем обойтись? — возразил ее отец, заговорив шепотом.— Три-четыре недели, Маделайн! Три-четыре недели!

— В таком случае, пожалуйста, раньше,— сказала молодая леди, повернувшись к Николасу.

— Три-четыре недели,— бормотал отец.— Маделайн, как же это... ничего не делать три-четыре недели?

— Это долгий срок, сударыня,— сказал Николас.

— Вы так думаете? — сердито отозвался отец.— Если бы я, сэр, пожелал унижаться и просить помощи у тех, кого я презираю, три-четыре месяца не было бы долгим сроком. Поймите, сэр,— в том случае, если бы я пожелал от кого-нибудь зависеть! Но раз я этого не желаю, вы можете зайти через неделю.

Николас низко поклонился молодой леди и вышел, размышляя о понятиях мистера Брэя касательно независимости и от всей души надеясь, что такой независимый дух не часто обитает в тленной человеческой оболочке.

Спускаясь по лестнице, он услышал за собой легкие шаги. Оглянувшись, он увидел, что молодая леди стоит на площадке и, робко глядя ему вслед, как будто

колеблется, окликнуть ей его или нет. Наилучшим разрешением вопроса было вернуться немедленно, что Николас и сделал.

— Не знаю, правильно ли я поступаю, обращаясь к вам с просьбой, сэр,— быстро сказала Маделайн,— но, пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте дорогим друзьям моей бедной матери о том, что здесь сегодня произошло. Он очень страдал, и сегодня ему хуже. Я вас об этом прошу, сэр, как о милости, как об услуге мне!

— Вам достаточно намекнуть о своем желании,— пылко ответил Николас,— и я готов поставить на карту свою жизнь, чтобы удовлетворить его.

— Вы говорите опрометчиво, сэр.

— Так правдиво и искренне, как только может говорить человек! — возразил Николас, у которого дрожали губы, когда он произносил эти слова. — Я не мастер скрывать свои чувства, да если бы и мог это сделать, я бы не мог скрыть от вас мое сердце. Сударыня! Я знаю вашу историю и чувствую то, что должны чувствовать люди и ангелы, слыша и видя подобные вещи, а потому я умоляю вас верить в мою готовность умереть, служа вам!

Молодая леди отвернулась, и было видно, что она плачет.

— Простите меня,— почтительно и страстно воскликнул Николас,— если я сказал слишком много или злоупотребил тайной, которую мне доверили! Но я не мог уйти от вас так, словно мой интерес и участие угасли, раз сегодняшнее поручение исполнено. Я — ваш покорный слуга с этой минуты, смиренно вам преданный слуга, чья преданность зиждется на чести и верности тому, кто послал меня сюда, слуга, сохраняющий чистоту сердца и почтительнейшее уважение к вам. Если бы я хотел сказать больше или меньше того, что сказал, я был бы недостоин его внимания и оскорбил бы ложью природу, которая побуждает меня произнести эти правдивые слова.

Она махнула рукой, умоляя его уйти, но не ответила ни слова. Николас больше ничего не мог сказать и молча удалился. Так закончилось первое его свидание с Маделайн Брэй.

ГЛАВА XLVII

Мистер Ральф Никльби ведет конфиденциальный разговор с одним старым другом. Вдвоем они составляют проект, который сулит выгоду обоим

— Вот уже три четверти пробило,— пробормотал Ньюмен Ногс, прислушиваясь к бою часов на соседней церкви,— а я обедаю в два часа. Он это делает нарочно. Он этого добивается. Это как раз на него похоже.

Такой монолог Ньюмен вел, восседая на конторском табурете в своей маленькой берлоге, служившей конторой; и монолог имел отношение к Ральфу Никльби, как это обычно бывало с ворчливыми монологами Ногса.

— Думаю, что у него никогда нет аппетита,— сказал Ньюмен,— разве что на фунты, шиллинги и пенсы, а на них он жаден, как волк. Хотелось бы мне, чтобы его заставили проглотить по одному образцу всех английских монет. Пенни был бы неприятным кусочком, ну а крона — ха-ха!

Когда образ Ральфа Никльби, глотающего по принуждению пятишиллинговую монету, до известной степени восстановил его доброе расположение духа, Ньюмен медленно извлек из конторки одну из тех удобоносимых бутылок, которые в обиходе называются «карманными пистолетами», и, потрясая ею у самого уха, чтобы вызвать журчащий звук, очень прохладительный и приятный на слух, позволил чертам своего лица смягчиться и глотнул журчащей жидкости, отчего черты его еще больше смягчились. Заткнув бутылку пробкой, он с величайшим наслаждением причмокнул раза два или три губами, но так как аромат напитка к тому времени испарился, снова вернулся к своей обиде.

— Без пяти минут три, никак не меньше! — проворчал Ньюмен.— А завтракал я в восемь часов, да и что это был за завтрак. А обедать мне полагается в два часа! А у меня дома, может быть, пережаривается в это время славный ростбиф — откуда *он* знает, что у меня его нет? «Не уходите, пока я не вернусь», «Не уходите, пока я не

вернусь» — день за днем. А зачем вы всегда уходите в мой обеденный час, а? Разве вы не знаете, как это раздражает?

Эти слова, хотя и произнесенные очень громко, были обращены в пустоту. Но перечень обид как будто довел Ньюмена Ногса до отчаянья: он приплюснул на голове старую шляпу и, натягивая вечные свои перчатки, заявил с большой горячностью, что будь что будет, а он сию же минуту идет обедать.

Немедленно приведя это решение в исполнение, он уже добрался до коридора, но щелканье ключа во входной двери заставило его стремительно ретироваться к себе в контору.

— Вот и он, и с ним еще кто-то,— буркнул Ньюмен.— Теперь я услышу: «Подождите, пока уйдет этот джентльмен». Но я не хочу ждать. И всё!

С такими словами Ньюмен забрался в высокий пустой стенной шкаф с двумя створками и захлопнул их за собой, намереваясь улизнуть, как только Ральф пройдет к себе в кабинет.

— Ногс! — крикнул Ральф.— Где этот Ногс?

Но Ньюмен не отозвался.

— Разбойник пошел обедать, хотя я и запретил ему,— пробормотал Ральф, заглядывая в контору и вынимая часы.— Гм! Зайдите-ка лучше сюда, Грайд. Клерк ушел, а мой кабинет на солнечной стороне. Здесь прохладно и теневая сторона, если вы не возражаете против скромной обстановки.

— Нисколько, мистер Никльби, о, нисколько. Для меня все комнаты одинаковы. А здесь очень мило, да, очень мило!

Тот, кто дал этот ответ, был старичком лет семидесяти или семидесяти пяти, очень тощим, сильно сгорбленным и слегка кривобоким. На нем был серый фрак с очень узким воротником, старомодный жилет из черного рубчатого шелка и такие узкие брюки, что его высохшие журавлиные ноги представали во всем их безобразии. Единственными украшениями, дополнявшими его костюм, являлись стальная цепочка от часов, с прикрепленными к ней большими золотыми печатками, и черная лента, которою были подвязаны сзади его седые волосы по старинной

моде, какую вряд ли случается где-нибудь наблюдать в настоящее время. Нос и подбородок у него были острые и выдавались вперед, рот запал из-за отсутствия зубов, лицо было морщинистое и желтое, и только на щеках виднелись прожилки цвета сухого зимнего яблока, а там, где когда-то росла борода, еще оставалось несколько серых пучков; они словно указывали — равно как и клочковатые брови — на скудость почвы, на которой произрастали. Весь вид его и фигура говорили о вкрадчивом, кошачьем подобострастье, в подмигивающих глазах на морщинистом лице можно было увидеть только хитрость, распутство, лукавство и скаредность.

Таков был старый Артур Грайд, на чьем лице не было ни одной морщинки и на чьем платье ни одной складки, которые бы не выражали самой алчной скупости и явно не указывали на его принадлежность к тому же разряду людей, что и Ральф Никльби. Таков был Артур Грайд, сидевший на низком стуле, глядя снизу вверх в лицо Ральфу Никльби, который, расположившись на высоком конторском табурете и опершись руками о колени, смотрел сверху вниз в его лицо — в лицо достойного соперника, по какому бы делу Грайд ни пришел.

— Как же вы себя чувствуете? — осведомился Грайд, притворяясь живо заинтересованным состоянием здоровья Ральфа.— Я вас не видел столько... о, столько...

— Много времени,— сказал Ральф со странной улыбкой, дававшей понять, что, как ему хорошо известно, приятель его явился не просто засвидетельствовать свое почтение.— Вы сейчас увидели меня случайно, потому что я только что подошел к двери, когда вы завернули за угол.

— Мне всегда везет,— заметил Грайд.

— Да, говорят,— сухо отозвался Ральф.

Ростовщик — тот, который был постарше,— задвигал подбородком и улыбнулся, но больше ничего не сказал, и некоторое время они сидели молча. Каждый подстерегал момент, чтобы заманить другого в ловушку.

— Ну-с, Грайд, откуда сегодня ветер дует? — спросил, наконец, Ральф.

— Эге! Вы смелый человек, мистер Никльби! — воскликнул тот, явно почувствовав большое облегчение,

когда Ральф вступил на путь деловых разговоров.— Ах, боже мой, боже мой, какой вы смелый человек!

— Ваши вкрадчивые и елейные манеры заставляют меня казаться смелым по сравнению с вами,— возразил Ральф.— Не знаю, может быть, ваши манеры более отвечают цели, но у меня для них не хватает терпения.

— Вы прирожденный гений, мистер Никльби,— сказал старый Артур.— Проницательный, ах, какой проницательный!

— Достаточно проницательный,— отозвался Ральф,— чтобы понимать, что мне понадобится вся моя проницательность, когда такие люди, как вы, начинают с комплиментов. Как вам известно, я находился поблизости, когда вы пресмыкались и льстили другим, и хорошо помню, к чему *это* всегда приводило.

— Ха-ха-ха! — откликнулся Артур, потирая руки.— Конечно, конечно, вы помните. Кому и помнить, как не вам! Да, приятно подумать, что вы помните старые времена. Ах, боже мой!

— Ну, так вот,— сдержанно сказал Ральф,— я еще раз спрашиваю, откуда ветер дует? Какое у вас дело?

— Вы только послушайте! — воскликнул тот.— Он не может отвлечься от дела, даже когда мы болтаем о былых временах. О боже, боже, что за человек!

— *Что именно* из былых времен хотите вы воскресить? — осведомился Ральф.— Знаю, что хотите, иначе вы бы о них не говорили.

— Он подозревает даже меня! — вскричал старый Артур, воздев руки.— Даже меня! О боже, даже меня! Что за человек! Ха-ха-ха! Что за человек! Мистер Никльби против всего мира. Нет никого равного ему. Гигант среди пигмеев, гигант, гигант!

Ральф со спокойной улыбкой смотрел на старого мошенника, продолжавшего хихикать, а Ньюмен Ногс в стенном шкафу почувствовал, что у него замирает сердце, по мере того как надежда на обед становится все слабее и слабее.

— Но я должен ему потакать! — воскликнул старый Артур.— Он должен поступать по-своему — своевольный человек, как говорят шотландцы. Ну что ж, умный народ шотландцы... Он желает говорить о делах и не хочет

терять время даром. Он совершенно прав. Время — деньги, время — деньги.

— Я бы сказал, что эту поговорку сложил один из нас,— заметил Ральф.— Время — деньги! И вдобавок большие деньги для тех, кто начисляет проценты благодаря ему. Действительно, время — деньги. Да, и время сто́ит денег, это не дешевый предмет для иных людей, которых мы могли бы назвать, если я не забыл своего ремесла.

В ответ на эту остроту старый Артур снова воздел руки, снова захихикал и снова воскликнул: «Что за человек!» — после чего придвинул низенький стул ближе к высокому табурету Ральфа и, глядя вверх, на его неподвижное лицо, сказал:

— Что бы вы мне сказали, если бы я вам сообщил, что я... что я... собираюсь жениться?

— Я бы вам сказал,— ответил Ральф, холодно глядя на него сверху вниз,— что для каких-то ваших целей вы солгали, что это не в первый раз и не в последний, что я не удивлен и что меня не проведешь.

— В таком случае я вам серьезно заявляю, что это так,— сказал старый Артур.

— А я вам серьезно заявляю,— отозвался Ральф,— то, что сказал секунду назад. Постойте! Дайте мне посмотреть на вас. У вас что-то чертовски приторное в лице. В чем тут дело?

— *Вас* я бы не стал обманывать,— захныкал Артур Грайд,— я бы и не мог обмануть, я был бы сумасшедшим, если бы попытался. Чтобы я, я обманул мистера Никльби! Пигмей обманывает гиганта! Я еще раз спрашиваю,— хи-хи-хи! — что бы вы мне сказали, если бы я вам сообщил, что собираюсь жениться?

— На какой-нибудь старой карге? — осведомился Ральф.

— О нет! — воскликнул Артур, перебивая его и в восторге потирая руки.— Неверно, опять неверно! Мистер Никльби на сей раз промахнулся, и как промахнулся! На молодой и прекрасной девушке, свеженькой, миловидной, очаровательной, ей нет еще и двадцати лет. Темные глаза, длинные ресницы, пухлые алые губки — достаточно посмотреть на них, чтобы захотелось поцеловать, пре-

красные кудри — пальцы так и просятся поиграть ими,— талия такая, что человек невольно обнимает рукой воздух, воображая, будто обвивает эту талию, маленькие ножки, которые ступают так легко, будто почти не касаются земли... Жениться на всем этом, сэр... О-о!

— Это что-то более серьезное, чем пустая болтовня,— сказал Ральф, выслушав, кривя губы, восторженную речь старика.— Как зовут девушку?

— О, какая проницательность, какая проницательность! — воскликнул старый Артур.— Вы только посмотрите, как это проницательно! Он знает, что я нуждаюсь в его помощи, он знает, что может оказать мне ее, он знает, что все это обернется ему на пользу, он уже видит все. Ее зовут... нас никто не услышит?

— Да кто же, черт возьми, может здесь быть? — с раздражением отозвался Ральф.

— Не знаю, может быть, кто-нибудь поднимается или спускается по лестнице,— сказал Артур Грайд, выглянув за дверь, а затем старательно притворив ее.— Или ваш клерк мог вернуться и теперь подслушивает у двери. Клерки и слуги имеют обыкновение подслушивать, а мне было бы очень неприятно, если бы мистер Ногс...

— К черту мистера Ногса! — резко перебил Ральф.— Договаривайте!

— Разумеется, к черту мистера Ногса,— подхватил старый Артур.— Против этого я отнюдь не возражаю. Ее зовут...

— Ну! — торопил Ральф, чрезвычайно раздосадованный новой паузой старого Артура.— Как?

— Маделайн Брэй.

Если и были основания предполагать — а у Артура Грайда, по-видимому, они были,— что упоминание этого имени произведет впечатление на Ральфа, и какое бы впечатление оно действительно на него ни произвело, он ничем себя не выдал и спокойно повторил имя несколько раз, словно припоминая, когда и где слышал его раньше.

— Брэй,— повторил Ральф.— Брэй... был молодой Брэй из... Нет, у того никогда не было дочери.

— Вы не помните Брэя? — спросил Артур Грайд.

— Нет,— сказал Ральф, бросив на него равнодушный взгляд.

— Не помните Уолтера Брэя? Бойкого субъекта, который так плохо обращался со своей красавицей женой?

— Если вы пытаетесь напомнить о каком-нибудь бойком субъекте и приводите такую отличительную черту,— пожимая плечами, сказал Ральф,— я могу его смешать с девятью из десяти бойких субъектов, каких мне случалось встречать.

— Полно, полно! Этот Брэй живет сейчас в «тюремных границах» Королевской Скамьи,— сказал старый Артур.— Вы не могли забыть Брэя. Мы оба имели с ним дело. Да ведь он ваш должник!

— Ах, *этот!* — отозвался Ральф.— Да, да. Теперь вы говорите ясно. О! Так речь идет о *его* дочери?

Это было сказано самым естественным тоном, но не настолько естественным, чтобы родственный ему по духу старый Артур Грайд не мог бы уловить намерения Ральфа принудить его к более подробному изложению дела и более подробным объяснениям, чем хотелось бы дать Артуру или чем удалось бы самому Ральфу получить каким-либо иным способом. Однако старый Артур был поглощен своими собственными планами и дал себя провести, отнюдь не заподозрив, что его добрый друг не без умысла говорит небрежно.

— Я знал, что вы вспомните, сто́ит вам минутку подумать,— сказал он.

— Вы правы,— ответил Ральф.— Но старый Артур Грайд и брак — самое противоестественное сочетание слов. Старый Артур Грайд и темные глаза, ресницы и губки, на которые достаточно посмотреть, чтобы захотелось их поцеловать, и кудри, которыми он хочет играть, и талия, которую он хочет обнимать, и ножки, которые не касаются земли,— старый Артур Грайд и подобные вещи — это нечто совсем чудовищное! А старый Артур Грайд, намеревающийся жениться на дочери разорившегося бойкого субъекта, проживающего в «тюремных границах» Королевской Скамьи,— это самое чудовищное и невероятное! Короче, друг мой Артур Грайд, если вам нужна моя помощь в этом деле (а она, конечно, вам нужна, иначе вас бы здесь не было), говорите ясно и не уклоняйтесь в сторону. И прежде всего не толкуйте мне о том, что это обернется к моей выгоде: мне известно,

что это обернется также и к вашей выгоде, и очень немалой, иначе вы бы не засунули пальцы в этот пирог.

В тоне, каким Ральф произнес эти слова, и во взглядах, какими он их сопровождал, было достаточно едкого сарказма, чтобы распалить даже холодную кровь дряхлого ростовщика и зажечь румянец даже на его увядших щеках. Но он ничем не проявил своего гнева, довольствуясь, как и раньше, восклицаниями: «Что за человек!» — и раскачиваясь из стороны в сторону, как бы в неудержимом восторге от развязности и остроумия своего собеседника. Заметив, однако, по выражению лица Ральфа, что лучше всего будет перейти как можно скорее к делу, он приготовился к более серьезной беседе и приступил к самой сути переговоров.

Во-первых, он остановился на том факте, что Маделайн Брэй жертвовала собой, чтобы поддерживать и содержать своего отца, у которого больше никаких друзей не осталось, и была рабой всех его желаний.

Ральф ответил, что об этом он и раньше слышал и что если бы она немножко больше знала свет, то не была бы такой дурой.

Во-вторых, он распространился о характере ее отца, доказывая, что даже если признать несомненным, будто тот отвечает на ее любовь всею любовью, на какую только способен, себя он любит гораздо больше. На это Ральф ответил, что не к чему еще что-нибудь добавлять, ибо это весьма естественно и довольно правдоподобно.

И, в-третьих, старый Артур заявил, что эта девушка — нежное и прелестное создание и он в самом деле страстно желает сделать ее своей женой. На это Ральф не соблаговолил дать никакого ответа, кроме грубой усмешки и взгляда, брошенного на сморщенное старое существо, каковые были, однако, достаточно выразительны.

— А теперь,— сказал Грайд,— перейдем к маленькому плану, который я обдумал, чтобы достигнуть цели, потому что я еще не обращался даже к ее отцу, это вам следует знать. Но вы уже догадались? Ах, боже мой, боже мой, какой острый у вас ум!

— А стало быть, не шутите со мной! — с раздражением сказал Ральф.— Вы ведь знаете пословицу?

— Ответ у него всегда на кончике языка! — вскричал старый Артур, с восторгом воздев руки и закатив глаза.— Он всегда наготове! О боже, какое счастье иметь такой живой ум и столько денег в придачу!

Затем, внезапно изменив тон, он продолжал:

— За последние полгода я несколько раз заходил к Брэю. Прошло ровно полгода с тех пор, как я впервые увидел этот лакомый кусочек, и... ах, боже мой, какой лакомый кусочек!.. Но это к делу не относится. Я — тот кредитор, который держит его под арестом, а сумма долга — тысяча семьсот фунтов.

— Вы говорите так, будто вы единственный кредитор, держащий его под арестом,— сказал Ральф, вытаскивая бумажник.— Я являюсь вторым кредитором, на девятьсот семьдесят пять фунтов четыре шиллинга и три пенса.

— Вторым, и больше никого нет! — с жаром подхватил старый Артур.— Больше нет никого! Больше никто не пошел на расходы по содержанию должника *, веря, что мы его держим достаточно крепко, можете на меня положиться. Мы оба попали в одни силки; ах, боже мой, какая это была ловушка! Она меня едва не разорила! И мы давали ему деньги под векселя, на которых, кроме его фамилии, стояла еще только одна, и все были уверены, что она благонадежна не меньше, чем деньги, но она оказалась сами знаете какой. Как раз, когда мы собрались взяться за того, он оказался несостоятельным. Ах, меня эта потеря чуть было не разорила.

— Продолжайте развивать ваш план,— сказал Ральф.— Сейчас не имеет никакого смысла жаловаться на наше ремесло: здесь нет никого, кто бы нас слышал.

— Никогда не мешает об этом поговорить,— захихикав, отозвался старый Артур,— даже если никто нас не слышит. Упражнения, знаете ли, способствуют совершенству. Так вот, если я предложу себя Брэю в качестве зятя на том простом условии, что, как только я женюсь, он без всякого шума получит свободу и средства, чтобы жить по ту сторону Канала * как джентльмен (долго он не проживет: я справлялся у его доктора, и тот уверяет, что у него болезнь сердца и о многих годах не может быть и речи), и если все преимущества его положения будут ему надлежащим образом изложены и разъяснены, как вы

думаете, сможет ли он со мной бороться? А если он не сможет бороться со *мной,* думаете ли вы, что его дочь будет в состоянии бороться с *ним*? Разве не получу я возможность назвать ее миссис Артур Грайд — прелестной миссис Артур Грайд... лакомым кусочком... вкусным цыпленочком... разве не получу я возможность назвать ее миссис Артур Грайд через неделю, через месяц,— в любой день, какой мне вздумается назначить?

— Продолжайте,— сказал Ральф, спокойно покачивая головой и говоря заученно-холодным тоном, представлявшим странный контраст с тем восторженным писком, до которого постепенно дошел его друг.— Продолжайте! Вы пришли сюда не для того, чтобы задавать мне эти вопросы.

— Ах, боже мой, как вы умеете говорить! — воскликнул старый Артур, ближе придвигаясь к Ральфу.— Конечно, я пришел не для этого, я и не думаю притворяться. Я пришел спросить, сколько вы с меня возьмете, если мне посчастливится с отцом, в уплату за этот долг. Пять шиллингов за фунт, шесть шиллингов восемь пенсов, десять шиллингов? Я бы дошел до десяти для такого друга, как вы, мы всегда были в хороших отношениях, но со мной вы не будете так прижимисты, я это знаю. Ну как же?

— Остается еще кое-что добавить,— сказал Ральф, все такой же окаменевший и неподвижный.

— Да, да, остается, но вы меня торопите,— ответил Артур Грайд.— Мне в этом деле нужен помощник — человек, умеющий говорить, настаивать и добиваться своего, а вы умеете это делать, как никто. Я на это не способен, потому что я бедное, робкое нервное существо. Если вы получите приличное возмещение в уплату за этот долг, который давно считали безнадежным, вы будете мне другом и окажете помощь. Не правда ли?

— Остается еще кое-что добавить,— повторил Ральф.

— Право же, ничего,— возразил Артур Грайд.

— Право же, есть что. Говорю вам — есть,— сказал Ральф.

— О! — воскликнул старый Артур, делая вид, будто его внезапно осенило.— Вы имеете в виду еще кое-что, касающееся меня и моих намерений. Да, разумеется, разумеется. Рассказать вам об этом?



— Думаю, что так будет лучше,— сухо ответил Ральф.

— Я не хотел утруждать вас, полагая, что вы интересуетесь этим делом лишь постольку, поскольку оно касается лично вас,— сказал Артур Грайд.— Очень любезно с вашей стороны, что вы меня об этом спрашиваете. Ах, боже мой, как это любезно! Допустим, что мне известно о некоем состоянии — маленьком состоянии, очень маленьком, на которое имеет право эта прелестная малютка и о котором в настоящее время никто не знает и знать не может, но которое ее супруг мог бы препроводить в свой кошелек, если бы знал столько, сколько знаю я,— объяснило ли бы это обстоятельство...

— Оно объяснило бы все! — резко перебил Ральф.— Теперь дайте мне обдумать это дело и сообразить, сколько следует мне получить, если я помогу вам добиться успеха.

— Но не будьте жестоки! — дрожащим голосом воскликнул старый Артур, умоляюще воздев руки.— Не будьте слишком жестоки со мной! Состояние очень маленькое, право же, очень маленькое. Назначим десять шиллингов — и по рукам. Это больше, чем следовало бы дать, но вы так любезны... Так, значит, десять? Соглашайтесь, соглашайтесь!

Ральф не обратил ни малейшего внимания на эти мольбы и минуты три-четыре сидел погруженный в глубокие размышления, сосредоточенно глядя на человека, его умолявшего. После продолжительного раздумья он нарушил молчание, и, конечно, нельзя было обвинить его в том, что он ведет уклончивые речи или отказывается говорить по существу дела.

— Если бы вы женились на этой девушке без моей помощи,— сказал Ральф,— вы должны были бы уплатить мне долг целиком, ибо иначе вы не можете вернуть свободу ее отцу. Стало быть, ясно, что я должен получить всю сумму без всяких вычетов и издержек, иначе я потерял бы на том, что вы меня почтили своим доверием, вместо того чтобы на этом выиграть. Таков первый пункт договора. Что касается второго пункта, то я ставлю условие: я получаю пятьсот фунтов за труд, который положу, ведя переговоры, прибегая к убеждениям и помогая вам завладеть состоянием. Это очень мало, ибо вы получаете

в полную свою собственность пухлые губки, кудри и мало ли что еще. Что касается третьего и последнего пункта, то я требую, чтобы вы сегодня же подписали обязательство уплатить мне обе эти суммы до полудня того дня, когда будет заключен ваш брак с Маделайн Брэй. Вы мне сказали, что я умею настаивать и добиваться своего. Я на этом настаиваю и ни на какие другие условия не пойду. Принимайте их, если хотите. А нет — так женитесь на ней без моей помощи, если можете. Все равно я получу следуемые мне деньги.

Ко всем просьбам, уговорам и предложениям компромисса между его собственными условиями и теми, какие выдвинул сначала Артур Грайд, Ральф оставался глух, как уж. Он отказался от дальнейшего обсуждения этого вопроса, и, пока старый Артур толковал о непомерных его требованиях и предлагал внести изменения, мало-помалу приближаясь к условиям, от которых вначале отказался,— Ральф сидел в глубоком молчании, внимательно просматривая записки и документы, которые находились в его бумажнике.

Убедившись, что немыслимо произвести хотя бы малейшее впечатление на непоколебимого друга, Артур Грайд, который еще до прихода своего приготовился к такому результату, согласился с тяжелым сердцем на предложенный договор и тут же заполнил требуемое обязательство (все необходимое для этого Ральф имел под рукой); предварительно он поставил условием, чтобы мистер Никльби сейчас же отправился вместе с ним к Брэю и начал переговоры немедленно, если обстоятельства окажутся благоприятными и сулящими удачу их замыслам.

Во исполнение этого последнего соглашения достойные джентльмены вскоре вышли вместе, а Ньюмен Ногс с бутылкой в руке вылез из шкафа, из верхней дверцы коего, под страшной угрозой быть открытым, он несколько раз высовывал свой красный нос, когда обсуждению подлежали пункты, больше всего его интересовавшие.

— Теперь у меня нет никакого аппетита,— сказал Ньюмен, пряча фляжку в карман.— Я пообедал.

Проговорив это жалобным и грустным тоном, прихрамывающий Ньюмен одним прыжком очутился у двери, а второй такой же прыжок вернул его обратно.

— Я не знаю, кто она и что̀ она,— сказал он,— но я жалею ее всем сердцем и всей душой. И не могу ей помочь и не могу помочь никому из тех, против кого каждый день затевается сотня заговоров, хотя не было ни одного такого подлого, как этот. Ну что ж! От этого мне еще больнее, но не им. Дело не становится хуже оттого, что я о нем что-то знаю, и оно мучит меня так же, как и самих жертв. Грайд и Никльби! Прекрасная упряжка! О, мерзость, мерзость, мерзость!

Предаваясь таким размышлениям и нанося при каждом восклицании жестокие удары по тулье своей злосчастной шляпы, Ньюмен Ногс, слегка опьяневший от содержимого «карманного пистолета», к которому он прикладывался во время своего пребывания в шкафу, отправился на поиски того утешения, какое могут доставить говядина и овощи в дешевом ресторане.

Тем временем два заговорщика вошли в тот самый дом, где всего несколько дней назад впервые побывал Николас, и, получив доступ к мистеру Брэю и убедившись, что его дочери нет дома, приступили наконец, после искуснейшего вступления, на какое только было способно величайшее мастерство Ральфа, к подлинной цели своего посещения.

— Вот он сидит перед вами, мистер Брэй,— сказал Ральф, в то время как больной, еще не пришедший в себя от изумления, полулежал в кресле, переводя взгляд с него на Артура Грайда.— Что ж тут такого, если он имел несчастье быть одним из виновников вашего пребывания в этом месте? Я был вторым виновником. Люди должны жить. Вы настолько знаете жизнь, что не можете не видеть этого в настоящем свете. Мы предлагаем наилучшее возмещение, какое только можем предложить. Возмещение? Предложение вступить в брак, за которое ухватился бы не один титулованный отец. Мистер Артур Грайд богат, как принц. Подумайте, какая это находка.

— Моя дочь, сэр,— надменно возразил Брэй,— такая, какой я ее воспитал, явилась бы щедрым вознаграждением за самое большое состояние, которое может предложить человек в обмен на ее руку.

— Это как раз то, что я вам говорил,— сказал хитрый Ральф, обращаясь к своему другу, старому Артуру.— Как

раз то, что заставило меня почитать это дело таким легким и пристойным. Обе стороны ничем не обязаны одна другой. У вас деньги, у мисс Маделайн красота и прекрасные качества. У нее молодость, у вас деньги. У нее нет денег, у вас нет молодости. Одно стóит другого, вы квиты... Брак, поистине заключенный на небесах.

— Говорят, браки заключаются на небесах,— добавил старый Артур, отвратительно подмигивая тому, кого он пожелал сделать своим тестем.— Стало быть, если мы сочетаемся браком, это предназначено судьбой.

— Подумайте также, мистер Брэй,— сказал Ральф, поспешно заменяя этот довод соображениями, теснее связанными с землей,— подумайте о том, что ставится на карту в зависимости от того, будет принято или отвергнуто предложение моего друга...

— Как могу я принять его или отвергнуть? — перебил мистер Брэй, с раздражением сознавая, что в сущности решать должен он сам.— От моей дочери зависит принимать или отвергать, от моей дочери! Вы это знаете.

— Совершенно верно,— энергически подтвердил Ральф,— но у вас остается право дать совет, изложить доводы за и против, намекнуть о своем желании.

— Намекнуть о желании, сэр! — воскликнул должник, то надменный, то угодливый, но всегда соблюдающий свою выгоду.— Я отец ее? Зачем бы я стал намекать и действовать украдкой? Или вы полагаете, как друзья ее матери и мои враги,— будь они прокляты все! — что по отношению ко мне она исполняет больше чем свой долг, сэр, больше чем свой долг? Или вы думаете, что мои несчастья являются достаточным основанием для того, чтобы наши отношения изменились и чтобы она приказывала, а я повиновался? Намекнуть о желании! Быть может, видя меня вот в этих стенах, почти лишенного возможности подняться с кресла без посторонней помощи, вы полагаете, что я — какое-то разбитое, ни на что не способное существо и у меня нет ни мужества, ни права делать то, что я считаю необходимым для блага моей дочери? Осталось ли у меня право намекнуть о своем желании?! Надеюсь!

— Простите, вы меня не выслушали,— сказал Ральф, который досконально знал этого человека и соответствую-

щим образом вел свою игру.— Я хотел сказать, что, если бы вы намекнули о своем желании — только намекнули,— это, конечно, было бы равносильно приказанию.

— Да, разумеется, так бы оно и было! — сердито подхватил мистер Брэй.— Если вы случайно не слыхали о тех временах, сэр, то я вам скажу, что было время, когда я всегда торжествовал над всеми родственниками ее матери, хотя на их стороне были власть и богатство, а на моей только воля.

— Но вы меня не выслушали,— продолжал Ральф со всею кротостью, на какую был способен.— У вас еще есть все качества, чтобы блистать в обществе, и перед вами долгая жизнь, конечно, если... вы будете дышать более свежим воздухом, и под более ясными небесами, и среди избранных друзей. Развлечения — ваша стихия, в ней вы блистали прежде. Светское общество и свобода — вот что вам нужно. Франция и ежегодная рента, которая обеспечила бы вам возможность жить там в роскоши, которая снова дала бы вам власть над жизнью, которая возродила бы вас к новому существованию... Когда-то город гремел молвой о ваших расточительных увеселениях, и вы могли бы снова засверкать на сцене, извлекая пользу из опыта и живя на счет других, вместо того чтобы давать другим жить на ваш счет. Какова оборотная сторона картины? Что там? Я не знаю, какое кладбище ближайшее, но вижу могильную плиту на нем, где бы оно ни было, и вижу дату — быть может, отделенную от наших дней двумя годами, быть может, двадцатью. Это все!

Мистер Брэй облокотился на ручку кресла и заслонил лицо рукой.

— Я говорю ясно,— сказал Ральф,— потому что чувствую глубоко. В моих интересах, чтобы вы выдали свою дочь за моего друга Грайда, ибо тогда он позаботится о том, чтобы мне заплатили — по крайней мере часть. Я этого не скрываю. Я это открыто признаю. Но какую пользу извлечете вы, направив ее на этот путь? Не упускайте эту пользу из виду. Ваша дочь может возражать, протестовать, плакать, говорить, что он слишком стар, уверять, что ее жизнь будет несчастной. А какова сейчас ее жизнь?

Жестикуляция больного показала, что эти доводы не были оставлены им без внимания, так же как ничто в его поведении не ускользнуло от внимания Ральфа.

— Какова она сейчас, говорю я? — продолжал коварный ростовщик.— И какие могут быть у нее перспективы? Если вы умрете, люди, которых вы ненавидите, сделают ее счастливой. Можете вы перенести такую мысль?

— Нет! — воскликнул Брэй под влиянием мстительного чувства, которого не мог подавить.

— Я так и думал,— спокойно сказал Ральф.— Если извлечет она пользу из чьей-нибудь смерти, то пусть это будет смерть ее мужа (это было сказано более тихим голосом). Пусть не вспоминает она о вашей смерти как о событии, которое нужно считать началом более счастливой жизни. Каково же возражение? Обсудим его. Ее поклонник — старик. Ну что ж! Как часто люди знатные и состоятельные, у которых нет ваших оправданий, потому что им доступны все радости жизни, как часто, говорю я, они выдают своих дочерей за стариков или (что еще хуже) за молодых людей, безголовых и бессердечных, чтобы подразнить праздное свое тщеславие, укрепить фамильные связи или обеспечить себе место в парламенте! Решайте за нее, сэр, решайте за нее. Вы должны лучше знать, и впоследствии она будет вам благодарна.

— Тише, тише! — воскликнул мистер Брэй, внезапно встрепенувшись и дрожащей рукой зажав рот Ральфу.— Я слышу, она у двери.

В этом быстром движении, говорившем о стыде и страхе, был проблеск совести, который на одно короткое мгновение сорвал тонкое покрывало лицемерия с гнусного замысла и показал всю его подлость и отвратительную жестокость.

Отец упал в кресло, бледный и трепещущий; Артур Грайд схватил и принялся мять свою шляпу, не смея поднять глаз; даже Ральф на секунду съежился, как побитая собака, устрашенный появлением молодой невинной девушки.

Эффект был почти таким же кратковременным, как и внезапным. Ральф первый пришел в себя и, заметив встревоженный вид Маделайн, попросил бедную девушку

успокоиться, заверив ее, что нет никаких оснований пугаться.

— Внезапный спазм,— сказал Ральф, бросив взгляд на мистера Брэя.— Сейчас он уже оправился.

Самое жестокое и искушенное сердце не осталось бы бесчувственным при виде юного и прекрасного существа, чью верную гибель они обсуждали всего лишь минуту тому назад; девушка обвила руками шею своего отца и расточала ему слова ласкового участия и любви — самые нежные слова, какие могут коснуться слуха отца или сорваться с уст ребенка. Но Ральф холодно наблюдал, а Артур Грайд, пожирая слезящимися глазами внешнюю красоту и оставаясь слепым к красоте духа, оживлявшего телесную оболочку, несомненно проявил какие-то пылкие чувства, однако это были не те теплые чувства, какие обычно вызывает созерцание добродетели.

— Маделайн,— сказал отец, мягко освобождаясь из объятий,— это пустяки.

— Но такая же спазма была у вас вчера. Ужасно видеть, как вы страдаете. Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Сейчас ничем. Здесь два джентльмена, Маделайн, одного из них ты видела раньше. Она говорила,— добавил мистер Брэй, обращаясь к Артуру Грайду,— что я всегда чувствую себя хуже, сто́ит мне посмотреть на вас. Ну-ну! Быть может, она изменит свое мнение; девушкам, знаете ли, разрешается изменять свои мнения. Ты очень устала, дорогая?

— Право же, нет.

— Несомненно устала. Ты слишком много работаешь.

— Ах, если бы я могла работать еще больше!

— Я знаю, что ты этого хочешь, но ты переоцениваешь свои силы. Эта жалкая жизнь, моя милочка, с повседневной работой и утомлением тебе не под силу. Я в этом уверен. Бедная Маделайн!

Говоря эти ласковые слова, мистер Брэй привлек к себе дочь и нежно поцеловал ее в щеку. Ральф, зорко и внимательно присматривавшийся к нему, направился к двери и поманил Грайда.

— Вы дадите нам знать? — спросил Ральф.

— Да, да,— отозвался мистер Брэй, поспешно отстраняя дочь.— Через неделю. Дайте мне неделю.

— Через неделю,— сказал Ральф, поворачиваясь к своему спутнику,— считая с сегодняшнего дня. До свидания! Мисс Маделайн, целую вашу руку.

— Обменяемся рукопожатием, Грайд,— сказал мистер Брэй, протягивая руку, когда старый Артур отвесил поклон.— Несомненно, намерения у вас хорошие. Теперь я поневоле это признаю. Если я был должен вам деньги, это не ваша вина. Маделайн, моя милая, дай ему руку.

— Ах, боже мой, если бы молодая леди снизошла! Хотя бы кончики пальцев! — сказал Артур в нерешительности, готовый отступить.

Маделайн невольно отшатнулась от этого уродца, но все-таки вложила концы пальцев в его руку и тотчас же отняла их. После неудачной попытки сжать их, чтобы удержать и поднести к губам, старый Артур с причмокиванием поцеловал свои собственные пальцы и с разнообразными, выражающими влюбленность гримасами отправился за своим другом, который к тому времени был уже на улице.

— Ну, что он скажет? Что он скажет? Что скажет гигант пигмею? — осведомился Артур Грайд, ковыляя к Ральфу.

— А что скажет пигмей гиганту? — отозвался Ральф, подняв брови и глядя сверху вниз на вопрошающего.

— Он не знает, что́ сказать,— ответил Артур Грайд.— Он надеется и боится. Но не правда ли, она лакомый кусочек?

— Я не большой ценитель красоты,— проворчал Ральф.

— Но я ценитель! — заявил Артур, потирая руки.— Ах, боже мой, какие красивые были у нее глаза, когда она склонилась над ним! Такие ресницы... нежная бахрома! Она... она посмотрела на меня так ласково.

— Я думаю, не слишком уж влюбленным взором, а? — сказал Ральф.

— Вы так думаете? — отозвался старый Артур.— Но не кажется ли вам, что этого можно добиться? Не кажется ли вам, что можно?

Ральф бросил на него презрительный и хмурый взгляд и процедил насмешливо сквозь зубы:

— Вы обратили внимание: он говорил ей о том, что она устала и слишком много работает и переоценивает свои силы?

— Да, да. Так что же?

— Как вы думаете, говорил ли он ей это когда-нибудь раньше? И что такая жизнь ей не под силу?! Да, да. Он ее изменит, эту жизнь.

— Вы думаете, дело сделано? — осведомился старый Артур, всматриваясь из-под полуопущенных век в лицо своего собеседника.

— Уверен, что сделано,— сказал Ральф.— Он уже пытается обмануть себя даже перед нами. Он делает вид, будто думает о ее благополучии, а не о своем. Он разыгрывает добродетельную роль и так заботлив и ласков, сэр, что дочь с трудом могла узнать его. Я заметил у нее на глазах слезы изумления. В скором времени прольется еще больше слез, тоже вызванных изумлением, хотя и иного рода. О, мы можем спокойно ждать будущей недели!

ГЛАВА XLVIII,

посвященная бенефису мистера Винсента Крамльса и «решительно последнему» его выступлению на сей сцене

С очень печальным и тяжелым сердцем, угнетаемый мучительными мыслями, Николас пошел обратно в восточную часть города, направляясь в контору «Чирибл, братья». Те необоснованные надежды, какие он позволил себе питать, те приятные видения, какие возникали перед его умственным взором и группировались вокруг прелестного образа Маделайн Брэй,— все они теперь рассеялись и ни следа не осталось от их радужности и блеска.

Для лучших чувств Николаса было бы оскорблением, вовсе не заслуженным, предполагать, будто раскрытие — и какое раскрытие! — тайны, окутывавшей Маделайн Брэй, в то время как он даже не знал ее имени, угасило его пыл или охладило его пламенное восхищение. Если раньше она внушала ему ту страсть, какую могут питать

юноши, привлеченные одною лишь красотой и грацией, то теперь он испытывал чувства, гораздо более глубокие и сильные. Но благоговение перед ее невинным и целомудренным сердцем, уважение к ее беспомощности и одиночеству, сочувствие, вызванное страданиями такого юного и прекрасного существа, и восхищение ее возвышенной и благородной душой — все это как будто поднимало ее на высоту, где она была для него недосягаемой, и хотя усугубляло его любовь, но, однако, нашептывало, что эта любовь безнадежна.

— Я сдержу слово, данное ей,— мужественно сказал Николас.— Не простое доверительное поручение я взял на себя. Двойной долг, на меня возложенный, я исполню неукоснительно и с величайшей добросовестностью. В том положении, в котором я нахожусь, сокровенные мои чувства не заслуживают никакого внимания, и никакого внимания я им уделять не буду.

Однако эти сокровенные чувства были по-прежнему живы, и втайне Николас, пожалуй, даже потворствовал им, рассуждая так (если он вообще рассуждал): они не могут причинить никакого вреда никому, кроме него самого, и если он хранит их в тайне из сознания долга, то тем более прав он имеет питать их в награду за свой героизм.

Все эти мысли в сочетании с тем, что он видел в то утро, и с предвкушением следующего визита сделали его очень скучным и рассеянным собеседником — в такой мере, что Тим Линкинуотер заподозрил, не ошибся ли он где-нибудь, написав не ту цифру. И Тим Линкинуотер серьезно умолял его, если это действительно случилось, лучше чистосердечно покаяться и соскоблить ее, чем отравить себе всю жизнь угрызениями совести.

Но в ответ на эти заботливые увещания и многие другие, исходившие и от Тима и от мистера Фрэнка, Николас мог только заявить, что никогда в жизни не бывал веселее; в таком расположении духа он провел день и в таком же расположении духа отправился вечером домой, по-прежнему передумывая снова и снова все те же думы, размышляя снова и снова все о том же и приходя снова и снова все к тем же выводам.

В таком мечтательном и смутном состоянии люди склонны слоняться неизвестно зачем, читать объявления

на стенах с величайшим вниманием, но не усваивая ни единого слова из их содержания, и смотреть в витрины на вещи, которых они не видят. Таким-то образом случилось, что Николас поймал себя на том, что с чрезвычайным интересом изучает большую театральную афишу, висящую перед второразрядным театром, мимо которого он должен был пройти по дороге домой, и читает список актеров и актрис, обещавших оказать честь какому-то предстоящему бенефису,— читает с такой серьезностью, словно то был перечень имен леди и джентльменов, занимавших первые места в Книге судьбы, а сам он с беспокойством отыскивал свое собственное имя. Улыбнувшись своей рассеянности, он бросил взгляд на верхнюю строку афиши, собираясь продолжать путь, и увидел, что она возвещает крупными буквами, с большими промежутками между ними: «Решительно последнее выступление мистера Винсента Крамльса, знаменитого провинциального актера!!!»

— Вздор! — сказал Николас, снова обращаясь к афише.— Не может быть.

Но это было так. Одна строка возвещала особо о первом представлении новой мелодрамы; другая строка особо возвещала о последних шести представлениях старой; третья строка была посвящена продлению ангажемента несравненного африканского шпагоглотателя, который любезно дал себя убедить и согласился отложить на неделю свои выступления в провинции; четвертая строка возвещала, что мистер Снитл Тимбери, оправившись после недавнего тяжелого недомогания, будет иметь честь выступать сегодня вечером; пятая строка сообщала, что каждое представление будет сопровождаться «Рукоплесканиями, Слезами и Смехом», шестая — что это выступление мистера Винсента Крамльса, знаменитого провинциального актера «решительно последнее».

«Право же, это должен быть тот самый,— подумал Николас.— Не может быть двух Винсентов Крамльсов».

Для наилучшего разрешения этого вопроса он вновь обратился к афише, и, убедившись, что в первой пьесе участвует Барон и что Роберта (его сына) играет некий Крамльс Младший, а Спалетро (его племянника) некий юный Перси Крамльс (*их* последнее выступление!) и что

характерный танец в пьесе будет исполнен действующими лицами, а pas seul[1] с кастаньетами исполнит дитя-феномен (*ее* последнее выступление!), он уже больше не сомневался. Подойдя к входу для актеров, Николас послал клочок бумаги, на котором написал карандашом: «Мистер Джонсон»,— и вскоре был отведен «разбойником» в очень широком поясе с пряжкой и в очень просторных кожаных рукавицах к бывшему своему директору.

Мистер Крамльс был непритворно рад его видеть. Он отпрянул от маленького зеркальца и, с одной очень косматой, криво наклеенной бровью над левым глазом, держа в руке другую бровь и икру одной ноги, горячо его обнял, заявив при этом, что для миссис Крамльс утешением будет попрощаться с ним перед отъездом.

— Вы всегда были ее любимцем, Джонсон,— сказал Крамльс,— всегда, с самого начала! Я был совершенно спокоен за вас с того первого дня, когда вы с нами обедали. Из человека, который пришелся по вкусу миссис Крамльс, несомненно должен был выйти толк. Ах, Джонсон, что это за женщина!

— Я искренне признателен ей за ее доброту ко мне и в данном случае и во всех остальных,— сказал Николас.— Но куда же вы уезжаете, если говорите о прощании?

— Разве вы не читали в газетах? — не без достоинства осведомился Крамльс.

— Нет,— ответил Николас.

— Меня это удивляет,— сказал директор.— Это было в отделе смеси. Заметка где-то здесь у меня... не знаю... ах, вот она!

С этими словами мистер Крамльс, сделав сначала вид, будто потерял ее, извлек газетную вырезку размерами в квадратный дюйм из кармана панталон, которые носил в частной жизни (наряду с повседневным платьем других джентльменов, разбросанным по комнате, они валялись на чем-то вроде комода), и подал ее Николасу для прочтения.

«Талантливый Винсент Крамльс, давно прославившийся в качестве незаурядного провинциального режис-

[1] Сольный танец *(франц.)*.

сера и актера, собирается пересечь Атлантический океан, отправляясь в театральную экспедицию. Как мы слышали, Крамльса сопровождает его супруга и даровитое семейство. Мы не знаем ни одного актера, превосходящего Крамльса в ролях его репертуара, равно как не известен нам ни один общественный деятель и ни одно частное лицо, которые могли бы увезти с собой наилучшие пожелания более широкого круга друзей. Крамльса несомненно ждет успех».

— Вот другая заметка,— сказал мистер Крамльс, протягивая вырезку еще меньших размеров.— Это из отдела «Ответы читателям».

Николас прочел ее вслух:

— «Фило-драматикусу. Крамльсу, провинциальному режиссеру и актеру, не больше сорока трех — сорока четырех лет. Крамльс — не пруссак, так как он родился в Челси». Гм! — сказал Николас.— Странная заметка.

— Очень,— отозвался Крамльс, почесывая нос и посматривая на Николаса с видом в высшей степени беспечным.— Понять не могу, кто помещает такие вещи. Я во всяком случае *не* помещал.

По-прежнему не спуская глаз с Николаса, мистер Крамльс раза два или три с глубокой серьезностью покачал головой и, заметив, что он даже вообразить не может, каким образом газеты разузнают такие факты, сложил вырезки и снова спрятал их в карман.

— Я поражен этой новостью,— сказал Николас.— Уезжаете в Америку! Когда я был с вами, вы об этом и не думали.

— Да,— ответил Крамльс,— тогда не думал. Дело в том, что миссис Крамльс... изумительнейшая женщина, Джонсон!

Тут он запнулся и шепнул ему что-то на ухо.

— О! — с улыбкой сказал Николас.— В перспективе прибавление семейства?

— Седьмое прибавление, Джонсон,— торжественно заявил мистер Крамльс.— Я полагал, что такое дитя, как феномен, закончит серию. Но, видимо, нам предстоит иметь еще одно. Она замечательнейшая женщина.

— Поздравляю вас,— сказал Николас,— и надеюсь, что и это дитя окажется феноменом.

— Почти несомненно, это будет нечто необыкновенное! — подхватил мистер Крамльс.— Талант трех других выражается преимущественно в поединке и серьезной пантомиме. Я бы хотел, чтобы это дитя отличалось способностью к трагедии для юношества, я слыхал, что в Америке очень большой спрос на нечто подобное. Однако мы должны принять это дитя таким, каким оно будет. Быть может, оно будет гением в хождении по канату. Короче говоря, оно может оказаться гением любого рода, если пойдет в свою мать, Джонсон, потому что мать — гений универсальный, но в чем бы ни проявилась гениальность дитяти, она получит надлежащее развитие!

Выразив в таких словах свои чувства, мистер Крамльс налепил другую бровь, прикрепил икры к ногам, а затем надел штаны желтовато-телесного цвета, слегка запачканные на коленках вследствие того, что часто приходилось опускаться на них в минуты проклятий, молитв, последней борьбы и в других патетических сценах.

Заканчивая свой туалет, бывший директор Николаса поведал ему, что так как в Америке его ждут прекрасные перспективы благодаря приличному ангажементу, который ему посчастливилось получить, и так как он и миссис Крамльс вряд ли могут надеяться играть на сцене вечно (будучи бессмертны лишь в сиянии Славы, то есть в иносказательном смысле), он принял решение обосноваться там навсегда в надежде приобрести собственный участок земли, который прокормил бы их на старости лет и который они могли бы оставить в конце концов в наследство детям. Когда Николас горячо одобрил это решение, мистер Крамльс стал сообщать об их общих друзьях те сведения, какие могли, по его мнению, показаться интересными. Между прочим, он уведомил Николаса, что мисс Снивелличчи удачно вышла замуж за преуспевающего молодого торговца воском, поставлявшего в театр свечи, а мистер Лиливик не смеет собственную душу назвать своею — такова тирания миссис Лиливик, которая пользуется верховной и неограниченной властью.

Николас в ответ на эти доверительные сообщения мистера Крамльса поведал ему настоящее свое имя и рас-

сказал о своем положении и перспективах и — в общих словах — о тех обстоятельствах, какие привели к их знакомству. Поздравив его очень сердечно с таким счастливым поворотом в делах, мистер Крамльс объявил ему, что завтра утром он со своим семейством отбывает в Ливерпуль, где находится судно, которому предстоит увезти их от берегов Англии, и что если Николас желает попрощаться с миссис Крамльс, то должен отправиться сегодня с ним на прощальный ужин, даваемый в честь семьи в соседней таверне, на котором председательствует мистер Снитл Тимбери, а обязанности вице-председателя исполняет африканский шпагоглотатель.

В комнате стало к тому времени очень жарко и, пожалуй, слишком тесно ввиду прибытия четырех джентльменов, которые только что убили друг друга в очередной пьесе, и поэтому Николас принял приглашение и обещал вернуться к концу спектакля, предпочитая прохладу и сумерки улицы смешанному запаху газа, апельсинной корки и пороха, преобладавшему в душном и ярко освещенном театре.

Он воспользовался этим промежутком времени, чтобы купить серебряную табакерку — лучшую, какая была ему по средствам,— для мистера Крамльса, и затем, приобретя серьги для миссис Крамльс, ожерелье для феномена и по ослепительной булавке для галстука обоим молодым джентльменам, он прогулялся, чтобы освежиться; вернувшись немного позже условленного часа, он увидел, что огни погашены, театр пуст, занавес поднят на ночь, а мистер Крамльс прохаживается по сцене в ожидании его прихода.

— Тимбери не замедлит прийти,— сказал мистер Крамльс.— Сегодня он играл, пока не опустили занавес. В последней пьесе он выступает в роли верного негра, и ему приходится мыться немного дольше обычного.

— Очень неприятная роль, мне кажется,— заметил Николас.

— Нет, не нахожу,— ответил мистер Крамльс,— смывается довольно легко — он красит только лицо и шею. Когда-то у нас в труппе был первый трагик — тот, играя Отелло, бывало, красил себя черной краской с головы до

пят! Вот что значит чувствовать роль и входить в нее всерьез! К сожалению, это редко бывает.

Появился мистер Снитл Тимбери рука об руку с африканским шпагоглотателем, и, когда его представили Николасу, он приподнял шляпу на полфута и сказал, что гордится знакомством с ним. Шпагоглотатель сказал то же самое, и он удивительно походил на ирландца и говорил совсем как ирландец.

— Я узнал из афиши, что вы были больны, сэр,— сказал Николас мистеру Тимбери.— Надеюсь, вам не стало хуже после сегодняшнего утомительного выступления?

В ответ мистер Тимбери с мрачным видом покачал головой, весьма многозначительно ударил себя несколько раз в грудь и, плотнее закутавшись в плащ, сказал:

— Ну неважно, неважно. Идемте!

Следует заметить, что, когда действующие лица на сцене находятся в тяжелом положении, сопровождающемся слабостью и истощением, они неизменно совершают чудеса выносливости, требующие большой изобретательности и мускульной силы. Так, например, раненый принц или главарь разбойничьей шайки, который истекает кровью и может двигаться (да и то на четвереньках) только под нежнейшие звуки музыки, приближаясь в поисках помощи к двери коттеджа, вертится, извивается, сплетает ноги узлом, перекатывается с боку на бок, встает, снова падает и проделывает такие телодвижения, которые не доступны никому, кроме очень сильного человека, изучившего ремесло акробата. И столь естественным казалось такого рода представление мистеру Снитлу Тимбери, что по пути из театра в таверну, где предстояло ужинать, он доказал серьезный характер своего недавнего заболевания и разрушительное его действие на нервную систему серией гимнастических упражнений, которые привели в восторг всех зрителей.

— Вот это действительно радость, которой я не ждала! — воскликнула миссис Крамльс, когда к ней подвели Николаса.

— Так же, как и я,— ответил Николас.— Только благодаря случаю я имею возможность видеть вас сегодня, хотя ради этой возможности я готов был бы немало потрудиться.

— С нею вы знакомы,— сказала миссис Крамльс, выдвигая вперед феномена в голубом газовом платьице со множеством оборок и в таких же панталончиках.— А вот и еще знакомые,— представила она юных Крамльсов.— Как же поживает ваш друг, верный Дигби?

— Дигби? — повторил Николас, забыв, что это был театральный псевдоним Смайка.— Ах, да! Он здоров... Что это я говорю!.. Он очень нездоров.

— Как! — вскричала миссис Крамльс, трагически отшатнувшись.

— Боюсь,— сказал Николас, покачивая головой и пытаясь улыбнуться,— что ваш супруг был бы поражен теперь его видом больше, чем когда бы то ни было.

— Что вы хотите сказать? — вопросила миссис Крамльс тоном, всегда вызывавшим всеобщее восхищение.— Почему же он так изменился?

— Я хочу сказать, что мой подлый враг нанес мне удар через него и, желая мне отомстить, доводит его до такого мучительного страха и напряжения, что... Вы меня простите! — оборвал себя Николас.— Мне не следовало говорить об этом... И я никогда не говорю ни с кем, кроме тех, кому известны обстоятельства дела, но на секунду я забылся.

После этого торопливого извинения Николас нагнулся, чтобы поцеловать феномена, и переменил тему, мысленно проклиная свою порывистость и пребывая в величайшем недоумении, что должна думать миссис Крамльс о столь внезапной вспышке.

Леди, казалось, думала о ней очень мало, и так как ужин был к тому времени на столе, она подала руку Николасу и проследовала величественной поступью, имея по правую руку мистера Снитла Тимбери. Николасу выпала честь сесть рядом с ней, а мистера Крамльса поместили справа от председателя. Феномен и юные Крамльсы расположились около вице-председателя.

Компания, человек двадцать пять — тридцать, состояла из тех представителей театральной профессии, выступавших или не выступавших в ту пору в Лондоне, какие считались в числе самых близких друзей мистера и миссис Крамльс. Леди было примерно столько же,

сколько джентльменов; расходы, связанные с увеселением, покрывали эти последние, причем каждый джентльмен имел право пригласить одну леди в качестве своей гостьи.

В общем, это было весьма изысканное общество, ибо, помимо малых театральных светил, сгруппировавшихся вокруг мистера Снитла Тимбери, здесь присутствовал джентльмен-литератор, который на своем веку переделал в драмы двести сорок семь романов, едва только они выходили в свет, а иногда и быстрее, чем они выходили, и который, стало быть, по праву именовался джентльменом-литератором.

Этот джентльмен сидел по левую руку от Николаса, которому был представлен с конца стола своим другом, африканским шпагоглотателем, воспевшим панегирик его славе и репутации.

— Я счастлив познакомиться с таким достойным джентльменом,— вежливо сказал Николас.

— К вашим услугам, сэр,— сказал остроумец.— Честь обоюдная, сэр, как обычно говорю я, когда переделываю роман в драму. Слыхали вы когда-нибудь, что́ есть слава, сэр?

— Слыхал немало определений,— с улыбкой ответил Николас.— А каково ваше, сэр?

— Когда я переделываю роман в драму, сэр,— сказал джентльмен-литератор,— *это* и есть слава. Для его автора.

— Вот как! — отозвался Николас.

— Да, это слава, сэр,— повторил джентльмен-литератор.

— Значит, Ричард Терпин, Том Кинг и Джерри Эбершоу * прославили имена тех, кого они самым бессовестным образом ограбили? — осведомился Николас.

— Об этом я ничего не знаю, сэр,— ответил джентльмен-литератор.

— Правда, Шекспир переделывал для сцены вещи, уже опубликованные,— заметил Николас.

— Вы имеете в виду Билла *, сэр? — спросил джентльмен-литератор.— Совершенно верно! Билл, разумеется, занимался переделкой! И переделывал очень неплохо — сравнительно неплохо.

— Я хотел сказать,— возразил Николас,— что Шекспир брал сюжеты для некоторых своих пьес из старинных сказаний и легенд, пользующихся всеобщей известностью. Но мне кажется, что в наши дни иные джентльмены вашей профессии шагнули значительно дальше...

— Вы совершенно правы, сэр,— перебил джентльмен-литератор, откидываясь на спинку стула и пуская в ход зубочистку.— Человеческий разум, сэр, прогрессировал со времен Шекспира. Он прогрессирует, и он будет прогрессировать.

— Я хочу сказать,— продолжал Николас,— шагнули значительно дальше совсем в другом смысле, ибо, в то время как он вовлекал в магический круг своего гения предания, необходимые ему для его замыслов, и знакомые вещи превращал в яркие созвездия, которые должны светить миру на протяжении веков,— вы втягиваете в магический круг вашей тупости сюжеты, отнюдь не пригодные для целей театра, и принижаете все, тогда как он все возвышал. Так, например, вы тащите незаконченные книги ныне живущих авторов у них из рук, еще сырые, прямо из-под пресса, режете, терзаете, кромсаете их, применяясь к силам и способностям ваших актеров и возможностям ваших театров, доделываете недоделанные вещи, второпях и кое-как перекраиваете идеи, еще не разработанные их творцом, но которые несомненно стоили ему многих дней раздумья и бессонных ночей. Выхватывая эпизоды и отдельные фразы диалогов, вплоть до последнего слова, которое он, быть может, написал всего две недели назад, вы делаете все возможное, чтобы предвосхитить развитие интриги — и все это без его согласия и против его воли. А затем в довершение всего вы публикуете в жалкой брошюре бессмысленный набор искаженных выдержек из его произведения, причем вместо фамилии автора ставите свою фамилию, а в примечании с гордостью сообщаете, что вы уже сотню раз совершали подобное нарушение прав. Объясните мне, в чем разница между такой кражей и преступлением воришки, очищающего карманы на улице, если не в том, что законодатели берут на себя заботу о носовых платках, а человеческому мозгу предлагают самому о себе

заботиться (за исключением тех случаев, когда человеку размозжат голову)? *

— Людям нужно как-то жить, сэр,— сказал джентльмен-литератор, пожимая плечами.

— Такое объяснение имело бы равную силу в обоих случаях,— возразил Николас,— но если вы рассматриваете вопрос с этой точки зрения, то мне остается сказать одно: будь я писателем, а вы алчущим драматургом, я бы предпочел оплачивать в течение шести месяцев ваш счет в таверне, как бы ни был он велик, чем украшать вместе с вами ниши в Храме Славы на протяжении шестисот поколений, даже если бы вы занимали самый скромный уголок моего пьедестала!

Беседа, как видно, грозила не совсем приятными осложнениями, но миссис Крамльс, с целью воспрепятствовать ее переходу в бурную ссору, вовремя вмешалась, обратившись к джентльмену-литератору с вопросом касательно интриги шести новых пьес, которые он написал по договору, дабы ввести африканского шпагоглотателя с его разнообразными и непревзойденными номерами. Поэтому он тотчас вступил с этой леди в оживленный разговор, очень быстро рассеявший всякое воспоминание о размолвке с Николасом.

Когда со стола исчезли более существенные блюда и были пущены вкруговую пунш, вино и более крепкие спиртные напитки, гости, которые раньше беседовали, разбившись на маленькие группы по три-четыре человека, постепенно погрузились в мертвое молчание, причем большинство присутствующих взирало время от времени на мистера Снитла Тимбери, а те, что похрабрее, осмелились даже постукивать согнутым пальцем по столу и открыто заявлять о своих ожиданиях, делая такие поощрительные замечания, как, например: «Ну-ка, Тим!», «Проснитесь, мистер председатель!», «Бокалы полны, сэр, ждем тоста», и т. д.

В ответ на эти увещания мистер Тимбери только хлопал себя по груди, ловил ртом воздух и многими иными способами намекал, что он еще продолжает быть жертвой недуга — ибо человек должен знать себе цену и на подмостках и в ином месте,— а мистер Крамльс, прекрасно понимая, что он будет виновником предстоящего тоста,

грациозно развалился на стуле; он небрежно закинул руку за спинку стула и время от времени подносил к губам стакан и прихлебывал пунш с тем самым видом, с каким привык пить большими глотками воздух из картонных кубков в пиршественных сценах.

Наконец мистер Снитл Тимбери встал, приняв позу, которая всегда вызывала всеобщее одобрение — одна рука лежала на груди, а другая на ближайшей табакерке,— и, будучи встречен с великим восторгом, провозгласил со множеством цитат тост в честь своего друга мистера Винсента Крамльса. Закончил он довольно длинный спич, простерев правую руку в одну сторону, а левую в другую и многократно призвав мистера и миссис Крамльс пожать их. Когда с этим было покончено, мистер Винсент Крамльс ответил благодарственной речью, а когда и с этим было покончено, африканский шпагоглотатель в трогательных выражениях провозгласил тост в честь миссис Винсент Крамльс. Тогда послышались громкие стенания миссис Винсент Крамльс и остальных леди, но, несмотря на это, сия героическая женщина настоятельно пожелала ответить изъявлением благодарности, что она и сделала — с такой осанкой и в таком спиче, какие никогда не бывали превзойдены и с коими мало что могло сравняться. После этого мистер Снитл Тимбери провозгласил тост в честь юных Крамльсов, а тогда мистер Винсент Крамльс, в качестве их отца, обратился к собранию с речью, распространившись об их добродетелях, приятных качествах и достоинствах и пожелав, чтобы они были сыновьями и дочерью каждой леди и каждого джентльмена, здесь присутствующих. За этими торжественными церемониями последовал благопристойный антракт, заполненный музыкальными и другими увеселительными номерами. А затем мистер Крамльс предложил выпить за здоровье «гордости нашей профессии» — мистера Снитла Тимбери, и спустя некоторое время — за здоровье другой «гордости профессии» — африканского шпагоглотателя, дражайшего его друга, да будет позволено ему так его называть. Такую вольность африканский шпагоглотатель милостиво разрешил (у него не было никаких оснований не дать разрешения). После этого собирались выпить за здоровье джентльмена-лите-

ратора, но обнаружив, что к тому времени он сам за себя выпил с некоторым излишком и теперь спал на лестнице, намерение это оставили и воздали честь леди. Наконец после весьма длительного председательствования мистер Снитл Тимбери покинул свой пост, и гости разошлись, расточая многочисленные прощальные пожелания и поцелуи.

Николас остался последним, чтобы раздать свои маленькие подарки. Попрощавшись со всем семейством и подойдя к мистеру Крамльсу, он не мог не заметить разницы между этим расставанием и их прощанием в Портсмуте. От театральных манер мистера Крамльса не осталось и следа: он протянул руку с таким видом, который свидетельствовал, что в свое время его ожидала бы слава в пьесах из семейной жизни, если бы он мог принимать этот вид по собственной воле. А когда Николас пожал ее с искренним чувством, тот, казалось, совершенно растаял.

— Наша маленькая труппа жила очень дружно, Джонсон,— сказал бедняга Крамльс.— Мы с вами никогда не ссорились. Завтра утром я буду с радостью думать о том, что повидал вас еще раз, но сейчас я почти жалею, что вы пришли.

Николас собирался сказать в ответ какие-нибудь ободряющие слова, но был приведен в крайнее замешательство внезапным появлением миссис Граден, которая, как оказалось, уклонилась принять участие в ужине, чтобы пораньше встать на следующий день; сейчас она выбежала из смежной комнаты, облаченная в очень странные белые одеяния, и, обхватив руками его шею, нежно обняла его.

— Как! И вы уезжаете? — воскликнул Николас, принимая это объятие с такой любезностью, словно она была прелестнейшим юным созданием.

— Уезжаю ли я? — отозвалась миссис Граден.— Господи помилуй, а как вы думаете, что бы они делали без меня?

Николас уступил еще одному объятию, еще более любезно, если только это было возможно, и, помахав шляпой со всей бодростью, на какую был способен, распрощался с Винсентом Крамльсом и его семейством.

ГЛАВА XLIX

повествует о дальнейших событиях в семье Никльби и о приключениях джентльмена в коротких штанах

В то время как Николас, поглощенный одним предметом, представлявшим с некоторых пор для него захватывающий интерес, занимался в часы досуга размышлениями о Маделайн Брэй и исполнением поручений, возлагаемых на него заботой о ней брата Чарльза, и видел ее снова и снова, подвергая все большей опасности спокойствие своего духа и стойкость принятых им возвышенных решений, миссис Никльби и Кэт жили по-прежнему в мире и покое. Они не знали никаких забот, кроме тех, что были связаны с тревожившими их шагами, предпринятыми мистером Снаули с целью вернуть сына, и беспокоились только о самом Смайке, на чьем здоровье, давно уже ослабевшем, начали столь сильно отражаться боязнь и неуверенность в будущем, что оно серьезно волновало их обеих и Николаса и даже внушало опасения.

Не жалобы и не ропот бедного юноши заставляли их тревожиться. Он неизменно стремился оказывать те маленькие услуги, какие были ему по силам, всегда горячо желал своим счастливым и беззаботным видом отблагодарить своих благодетелей и, быть может, не дал бы человеку, менее к нему расположенному, никаких поводов для беспокойства. Но часто случалось, что запавшие глаза слишком блестели, на ввалившихся щеках горел слишком яркий румянец, дыхание было слишком хриплым и тяжелым, тело слишком обессиленным и истощенным, чтобы это могло ускользнуть от внимания его друзей.

Есть страшный недуг, который таким путем как бы готовит свою жертву к смерти; он утончает грубую ее оболочку и на знакомые черты налагает неземную печать надвигающейся перемены. Страшный недуг, когда борьба между душой и телом ведется медленно, спокойно и торжественно и исход столь неминуем, что день за днем, нить за нитью смертная оболочка изнашивается и чахнет, а дух светлеет и оживает, когда легче становится

его ноша и на пороге бессмертия он почитает этот недуг лишь новым этапом в жизни преходящей; недуг, при котором смерть и жизнь так странно сплетены, что смерть маскируется в горячие и яркие тона жизни, а жизнь надевает сухую страшную маску смерти; недуг, который никогда не могла исцелить медицина, никогда не могло отвратить от себя богатство, а бедность не могла бы похвастать, что от него защищена; недуг, который иногда подвигается гигантскими шагами, а иногда ленивыми и вялыми, но, медлительный или быстрый, всегда достигает своей цели.

Смутно подозревая об этом заболевании, в чем он, однако, ни за что не признался бы даже себе самому, Николас уже водил своего верного друга к врачу, пользовавшемуся большой известностью. Нет еще никаких оснований тревожиться, сказал тот. Налицо нет симптомов, которые можно было бы считать резко и определенно выраженными. Организм был сильно истощен в детстве, но все же печального исхода, *может быть,* удастся избежать,— и это было все.

Но Смайку как будто не становилось хуже, а так как нетрудно было найти причину этих болезненных симптомов в потрясении и волнениях, какие он недавно перенес, Николас утешал себя надеждой, что его бедный друг скоро выздоровеет. Эту надежду разделяли его мать и сестра, а раз сам объект их общих опасений, казалось, ничуть не унывал и не беспокоился о себе, но каждый день отвечал с тихой улыбкой, что чувствует себя лучше, страх их рассеялся, и мало-помалу ко всем возвратилось счастливое расположение духа.

Много-много раз в последующие годы оглядывался Николас на этот период своей жизни и перебирал в памяти скромные, тихие семейные картины, живо встававшие перед ним. Много-много раз в сумерках летнего вечера или у трепещущего зимнего огня — но зимой не так часто и не с такою грустью — возвращались его мысли к прошедшим дням и медлили со сладостной печалью на каждом воспоминании, связанном с этими днями. Маленькая комнатка, где они так часто сиживали подолгу, когда, бывало, уже стемнеет, и рисовали себе такое счастливое будущее; веселый голос Кэт и ее беззаботный

смех; часы, когда ее не бывало дома, а они сидели и ждали ее возвращения, нарушая молчание только для того, чтобы сказать, как скучно без нее; радость, с какою бедный Смайк бросался из своего темного угла, где обычно сидел, и спешил отворить ей дверь; и слезы, которые они часто видели на его лице, не понимая в чем дело,— ведь он был так доволен и счастлив,— все маленькие события этих прошедших дней и даже случайные слова и взгляды, на которые в ту пору мало обращали внимания, но которые запомнились глубоко, хотя деловые заботы и испытания были совсем забыты,— все это ярко и живо возникало перед ним много и много раз, и над пыльной порослью годов вновь шелестели зеленые ветви вчерашнего дня.

Но были и другие лица, связанные с этими воспоминаниями, и немало происходило перемен. Об этом необходимо подумать в интересах нашего повествования, которое сразу вступает в свое привычное русло и, избегая предварять события или уклоняться в сторону, продолжает свой неуклонный равномерный ход.

Если братья Чирибл, убедившись, что Николас достоин их доверия и уважения, каждый день дарили его каким-нибудь новым и существенным знаком своего расположения, то не менее внимательны были они к тем, кто от него зависел. Всевозможные маленькие подарки для миссис Никльби — всегда те самые вещи, в каких она больше всего нуждалась,— немало способствовали украшению коттеджа. Небольшая коллекция безделушек Кэт стала просто ослепительной. Ну, а что касается гостей — если не было брата Чарльза или брата Нэда, заглядывавших хоть на несколько минут каждое воскресенье или вечерком в будни, то мистер Тим Линкинуотер (который за всю свою жизнь не завязал и полдюжины знакомств и которому новые его друзья доставляли невыразимую радость) заходил постоянно во время своих вечерних прогулок и присаживался отдохнуть, а мистер Фрэнк Чирибл благодаря странному стечению обстоятельств случайно проходил по вечерам мимо их дома якобы по делу по крайней мере три раза в неделю.

— Это самый внимательный молодой человек, какого *мне* случалось видеть, Кэт,— сказала миссис Никльби

однажды вечером своей дочери, после того как упомянутый выше джентльмен в течение некоторого времени служил предметом хвалебной речи достойной леди, а Кэт сидела, не нарушая молчания.

— Внимательный, мама? — повторила Кэт.

— Ах, боже мой, Кэт,— воскликнула миссис Никльби со свойственной ей порывистостью,— какой у тебя румянец! Да ты вся красная!

— Ах, мама, какие странные вещи вам чудятся!

— Мне не почудилось, Кэт, дорогая моя, я в этом уверена,— возразила мать.— Впрочем, румянец уже сбежал, а стало быть, неважно, был он или его не было. О чем это мы говорили? Ах, да! О мистере Фрэнке. Никогда в жизни не видела я такого внимательного отношения, никогда.

— Конечно, вы это не серьезно говорите,— сказала Кэт, снова покраснев и на этот раз уже бесспорно.

— Не серьезно! Почему бы мне не говорить серьезно? — возразила миссис Никльби.— Право же, я никогда не говорила более серьезно. Я повторяю, что его учтивость и внимание ко мне — одна из самых привлекательных, лестных и приятных черт, какие я наблюдала за долгое время. Вы не часто встретите такое обхождение у молодых людей, и тем больше оно изумляет, когда его встречаешь.

— Ах, внимание к *вам,* мама! — быстро сказала Кэт.— О да!

— Боже мой, Кэт,— воскликнула миссис Никльби,— какая ты странная девушка! С какой бы стати я заговорила о его внимании к кому-то другому? Уверяю тебя, я очень сожалею о том, что он был влюблен в немецкую леди, очень сожалею.

— Он решительно заявил, что ничего похожего на это не было, мама,— возразила Кэт.— Разве вы не помните, что он это сказал в первый же вечер, когда пришел сюда? А впрочем,— добавила она более мягким тоном,— почему мы должны сожалеть, если это и было? Какое *нам* до этого дела, мама?

— *Нам,* быть может, и никакого,— выразительно произнесла миссис Никльби,— но, признаюсь, *мне* кое-какое дело до этого есть. Я хочу, чтобы англичанин был англи-

чанином до мозга костей, а то получается так: одна его половина — англичанин, а другая — невесть кто. В следующий раз, когда он придет, я ему напрямик скажу, чтобы он женился на одной из своих соотечественниц. И посмотрим, что он ответит.

— Пожалуйста, и не думайте об этом, мама! — быстро заговорила Кэт.— Не надо! Ни за что на свете! Подумайте, как бы это было...

— Ну что же, дорогая моя, как бы это было? — переспросила миссис Никльби, широко раскрыв глаза от изумления.

Не успела Кэт ответить, как особый отрывистый двойной удар в дверь возвестил, что мисс Ла-Криви пришла их навестить, а когда появилась мисс Ла-Криви, миссис Никльби, хотя и весьма расположенная обсудить затронутый вопрос, совершенно забыла о нем, так как нахлынули предположения касательно кареты, в которой приехала мисс Ла-Криви; эти предположения сводились к тому, что кондуктором был либо человек в блузе, либо человек с подбитым глазом, что он не нашел зонтика, который она оставила в карете на прошлой неделе, что несомненно они сделали длительную остановку у «Дома на полдороге» или проехали не останавливаясь, если все места были заняты, и наконец, что они должны были обогнать по дороге Николаса.

— Его я не заметила,— ответила мисс Ла-Криви,— но зато я видела этого милого старика мистера Линкинуотера.

— Ручаюсь, что он вышел на свою обычную вечернюю прогулку и хочет отдохнуть у нас, прежде чем вернуться назад в Сити,— сказала миссис Никльби.

— Думаю, что так,— отозвалась мисс Ла-Криви,— тем более что с ним был молодой мистер Чирибл.

— Но ведь это не основание, почему мистер Линкинуотер должен зайти сюда,— сказала Кэт.

— А я, дорогая моя, думаю, что основание,— сказала мисс Ла-Криви.— Для молодого человека мистер Фрэнк не очень-то хороший ходок, и я заметила, что он обычно устает и нуждается в продолжительном отдыхе, как только доходит до этого места. Но где же мой приятель? — озираясь, спросила маленькая женщина, бросив

сначала лукавый взгляд на Кэт.— Уж не сбежал ли он опять?

— Да, да, где же мистер Смайк? — подхватила миссис Никльби.— Он только что был здесь.

Наведя справки, выяснили, к безграничному изумлению славной леди, что Смайк только-только ушел наверх спать.

— Ну, не странное ли он создание! — сказала миссис Никльби.— В прошлый вторник... Кажется, это было во вторник? Да, конечно. Помнишь, Кэт, дорогая моя, в последний раз, когда здесь был молодой мистер Чирибл?.. В прошлый вторник вечером он ушел точь-в-точь так же странно в ту самую минуту, когда раздался стук в дверь. Быть не может, чтобы ему не нравилось общество, потому что он любит всех, кто любит Николаса, а молодой мистер Чирибл, конечно, его любит. И самое странное то, что он не ложится спать, значит уходит он не потому, что устал. Я знаю, он не ложится: моя комната смежная, и, когда я в прошлый вторник поднялась наверх спустя несколько часов, я обнаружила, что он даже башмаков еще не снял, а свеча у него не горела, стало быть, он все время сидел и хандрил в темноте. Как подумаешь об этом, честное слово, это просто поразительно!

Так как слушатели не откликнулись на эти слова и продолжали хранить глубокое молчание, либо не зная, что сказать, либо не желая перебивать миссис Никльби, та, по привычке своей, продолжала рассуждать.

— Надеюсь,— сказала эта леди,— такое непонятное поведение не приведет к тому, что он сляжет в постель и пролежит в ней всю жизнь, как Жаждущая Женщина из Тэтбери, или Привидение на Кок-лейн *, или еще какое-нибудь из этих удивительных созданий. Одно из них имело какое-то отношение к нашей семье. Не могу вспомнить, пока не просмотрю старых писем, которые у меня наверху, прадед ли мой учился в одной школе с Привидением на Кок-лейн, или Жаждущая Женщина из Тэтбери училась в одной школе с моей прабабкой. Мисс Ла-Криви, вы, конечно, знаете: кто из них не обращал никакого внимания на слова священника? Привидение на Кок-лейн или Жаждущая Женщина из Тэтбери?

— Кажется, Привидение на Кок-лейн.

— В таком случае я не сомневаюсь,— сказала миссис Никльби,— это с ним мой прадед учился в одной школе, потому что я знаю, учителем там был диссидент, и этим должно до известной степени объясняться столь неподобающее отношение Кок-лейновского привидения к священнику, когда оно подросло. Ах, воспитывать привидение — то есть ребенка...

Все дальнейшие рассуждения на эту многообещающую тему были резко прерваны прибытием Тима Линкинуотера и мистера Фрэнка Чирибла, суетливо встречая коих миссис Никльби мгновенно забыла обо всем остальном.

— Мне так жаль, что Николаса нет дома,— сказала миссис Никльби.— Кэт, дорогая моя, ты должна быть и Николасом и собой.

— Мисс Никльби достаточно быть собой,— сказал Фрэнк.

— Тогда она во всяком случае должна настаивать, чтобы вы посидели,— отвечала миссис Никльби.— Мистер Линкинуотер говорит — десять минут, но так скоро я не могу вас отпустить; я уверена, что Николас был бы очень огорчен. Кэт, дорогая моя!

Повинуясь кивкам, подмигиваниям и многозначительному сдвиганию бровей, Кэт присовокупила и свои просьбы, чтобы гости остались; но можно было заметить, что она просила исключительно Тима Линкинуотера; и вдобавок в манерах ее чувствовалось какое-то смущение, которое (отнюдь не уменьшая ее грации, так же как румянец, вызванный им на ее щеках, отнюдь не вредил ее красоте) было подмечено с первого взгляда даже миссис Никльби. Не отличаясь особой склонностью к размышлениям, за исключением тех случаев, когда эти размышления можно было выразить словами и произнести вслух, рассудительная матрона приписала волнение дочери тому обстоятельству, что та не надела лучшего своего платья, «хотя, право же, я никогда еще не видела ее такой хорошенькой», подумала она при этом. Разрешив этот вопрос и будучи, к полному своему удовлетворению, убеждена, что в данном случае, как и во всех остальных, ее заключение правильно, миссис Никльби перестала об этом думать и мысленно поздравила себя с такой проницательностью и смекалкой.

Николас не возвращался, не появлялся и Смайк, но, по правде сказать, оба эти обстоятельства не произвели особого впечатления на маленькое общество, находившееся в наилучшем расположении духа. Начался даже настоящий флирт между мисс Ла-Криви и Тимом Линкинуотером, который говорил тысячу шутливых и пресмешных вещей и мало-помалу стал прямо-таки галантным, чтобы не сказать нежным. Маленькая мисс Ла-Криви в свою очередь была очень весела и удачно подшучивала над тем, что Тим остался на всю жизнь холостяком; в ответ на то Тим не удержался и заявил, что, если бы мог найти особу, которая дала бы свое согласие, он не знает, не изменил ли бы он даже и теперь своего положения. Мисс Ла-Криви серьезно порекомендовала одну знакомую леди, которая как раз подошла бы мистеру Линкинуотеру и имела очень недурное состояние. Но это последнее обстоятельство произвело весьма малое впечатление на Тима, который мужественно заявил, что состояние не явилось бы для него приманкой, но что мужчина должен найти в жене истинные достоинства и веселый нрав, и если бы он их нашел, у него хватило бы средств для удовлетворения скромных потребностей обоих. Это признание Тима показалось столь почтенным, что и миссис Никльби и мисс Ла-Криви без устали превозносили его, и, окрыленный их похвалами, Тим сделал еще ряд других заявлений, также свидетельствовавших о бескорыстии его сердца и о великой его преданности прекрасному полу, каковые были приняты с не меньшим одобрением. Все это разыгрывалось в комическом тоне, и шутливом и серьезном одновременно, и чрезвычайно всех развеселило.

Обычно Кэт бывала дома душой разговора, но на этот раз она была молчаливее, чем всегда (быть может, потому, что им до такой степени завладели Тим и мисс Ла-Криви), и, держась поодаль от собеседников, сидела у окна, следя за надвигающимися вечерними тенями и любуясь безмятежной красотой вечера, который, казалось, представлял не меньшее очарование и для Фрэнка, сначала стоявшего подле нее, а затем усевшегося рядом. Несомненно, много можно сказать слов приличествующих летнему вечеру, и несомненно лучше всего говорить

их тихим голосом — наиболее соответствующим этому мирному и безмятежному часу; и длинные паузы по временам, а потом два-три серьезных слова, и снова молчание, которое почему-то не кажется молчанием, и иной раз быстро отворачивающаяся головка или потупленные глаза (обстоятельства, имеющие второстепенное значение), равно как и нежелание, чтобы внесли свечи, и склонность смешивать часы с минутами — все это, разумеется, объясняется лишь влиянием этого часа, что могут твердо засвидетельствовать много прелестных губок. Не было также у миссис Никльби ни малейших оснований выражать изумление, когда блестящие глаза Кэт, после того как появились, наконец, свечи, не могли вынести их света, что принудило ее отвернуться и даже на короткое время выйти из комнаты; если человек так долго сидел в потемках, свечи и в самом деле ослепляют, и нет ничего более естественного, чем такого рода последствия, о чем известно всем хорошо осведомленным молодым людям. Впрочем, известно и старым или когда-то было известно, но такие вещи они иной раз забывают, и очень жаль.

Однако изумление славной леди еще не достигло своего предела. Оно чрезвычайно возросло, когда выяснилось за ужином, что у Кэт нет ни малейшего аппетита,— открытие столь волнующее, что неизвестно, в каких красноречивых фразах излились бы опасения миссис Никльби, если бы всеобщее внимание не было привлечено в тот момент очень странным и необычным шумом, исходившим, как утверждала бледная и дрожащая служанка и как казалось всем присутствующим, «прямо» из дымохода камина в соседней комнате.

Так как всеми было установлено, что сколь бы это ни казалось необычайным и невероятным, тем не менее шум действительно исходил из упомянутого дымохода, и так как шум (это было странное смешение всевозможных приглушенных дымоходом звуков — шуршанья, шорохов, бурчанья и брыканья) не прекращался, Фрэнк Чирибл схватил свечу, а Тим Линкинуотер — каминные щипцы. Вдвоем они очень быстро определили бы причину переполоха, если бы миссис Никльби не почувствовала дурноты и не запротестовала решительно против того,

чтобы ее оставили одну. Это вызвало недолгие пререкания, закончившиеся тем, что в комнату, откуда доносился шум, отправились все, за исключением одной мисс Ла-Криви: служанка сделала добровольное признание, что в младенчестве страдала припадками, и мисс Ла-Криви осталась с ней, чтобы в крайнем случае позвать на помощь и применить необходимые средства.

Приблизившись к двери таинственного помещения, они немало удивились, услышав человеческий голос. Этот голос распевал с преувеличенно меланхолическим выражением и в придушенных тонах, какие можно ждать от человеческого голоса, исходящего из-под пяти или шести пуховиков наилучшего качества, некогда популярную песенку «Неужели она неверна мне, красотка, любимая мной?». И удивление их отнюдь не уменьшилось, когда, не вступая в переговоры и ворвавшись в комнату, они обнаружили, что эта любовная песенка несомненно исходит из глотки находящегося в дымоходе субъекта, представленного только парой ног, болтавшихся над каминной решеткой и явно нащупывавших в крайнем беспокойстве верхний прут, дабы стать на него.

Зрелище, столь необычайное и чуждое деловому духу, совершенно парализовало Тима Линкинуотера, который, раза два осторожно ущипнув незнакомца за лодыжки, что не произвело на того никакого впечатления, стоял, сжимая и разжимая щипцы, словно оттачивая их перед новой атакой, и больше ровно ничего не делал.

— Должно быть, это пьяный,— сказал Фрэнк.— Ни один вор не стал бы возвещать таким образом о своем присутствии.

Сказав это с большим негодованием, он приподнял свечу, чтобы лучше обозреть ноги, и рванулся вперед, собираясь бесцеремонно дернуть их вниз. Вдруг миссис Никльби, сжав руки, испустила пронзительный звук — нечто среднее между возгласом и воплем — и пожелала узнать, облечены ли таинственные конечности в короткие штаны и серые шерстяные чулки или зрение ей изменяет.

— Вот-вот,— присмотревшись, воскликнул Фрэнк,— несомненно короткие штаны и... и... грубые серые чулки. Вы его знаете, сударыня?



— Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби, медленно опускаясь на стул с той безнадежной покорностью, которая как будто говорила, что теперь дело дошло до кризиса и всякое притворство бесполезно,— будь добра, милочка, объясни подробно, что здесь происходит. С моей стороны он не видел никакого поощрения, решительно никакого, ни малейшего! Ты это знаешь, дорогая моя, прекрасно знаешь! Он был очень почтителен, чрезвычайно почтителен, когда объяснялся в своих чувствах, чему ты была свидетельницей. Но тем не менее, если меня преследуют таким образом, если эти овощи... как они там называются?.. и всевозможные огородные продукты будут сыпаться мне под ноги у меня в саду и джентльмены будут задыхаться у меня в камине, я, право, не знаю, честное слово, *не знаю,* что со мной будет! Это очень тяжелое положение. В такое тяжелое положение я никогда не попадала, в ту пору, когда еще не вышла замуж за твоего бедного дорогого папу, хотя тогда я претерпела много неприятностей, но этого я, разумеется, ждала и к этому была подготовлена. Когда я была гораздо моложе тебя, дорогая моя, один молодой джентльмен, сидевший рядом с нами в церкви, бывало, почти каждое воскресенье во время проповеди вырезывал мое имя крупными буквами на спинке перед своей скамьей. Конечно, это было лестно, но все-таки раздражало, потому что скамья была на очень видном месте и церковный сторож несколько раз публично выводил его за это из церкви. Но то было ничто по сравнению с этим! Сейчас гораздо хуже и положение гораздо более затруднительное. Кэт, дорогая моя,— продолжала миссис Никльби с большой торжественностью, проливая обильные слезы,— право же, я бы предпочла быть самой безобразной женщиной, чем терпеть такую жизнь!

Фрэнк Чирибл и Тим Линкинуотер с невыразимым изумлением посмотрели друг на друга, а потом на Кэт, которая чувствовала, что необходимо дать какое-то объяснение. Но ужас, вызванный появлением ног, страх, как бы владелец их не задохнулся, и тревожное желание найти из этой таинственной истории наименее нелепый выход, какой только было возможно, помешали ей выговорить хотя бы слово.

— Он причиняет мне большие страдания,— продолжала миссис Никльби, вытирая слезы,— большие страдания! Но не повредите ни одного волоска на его голове, прошу вас! Ни под каким видом не повредите волоска на его голове!

При данных обстоятельствах повредить волосок на голове джентльмена было не так легко, как, по-видимому, воображала миссис Никльби, ибо эта часть его особы находилась на несколько футов выше, в дымоходе, который был отнюдь не широким. Но так как все это время он не переставал распевать о преступлении красотки, нарушившей верность, и теперь уже не только слабо хрипел, но и неистово брыкался, как будто дыхание стало трудным делом, Фрэнк Чирибл без дальнейших размышлений потянул за короткие штаны и шерстяные чулки с таким усердием, что втащил барахтающегося джентльмена в комнату более стремительно, чем сам рассчитывал.

— О да! — воскликнула Кэт, как только странная особа появилась вся целиком столь неожиданно.— Я знаю, кто это. Пожалуйста, не обращайтесь с ним грубо. Он не ушибся? Надеюсь, нет. О, пожалуйста, посмотрите, не ушибся ли он.

— Уверяю вас, нет,— отозвался Фрэнк, ощупывая после этой просьбы с внезапной нежностью и уважением объект своего изумления.— Он ничуть не ушибся.

— Пусть он не подходит близко,— сказала Кэт, отступая как можно дальше.

— Он не подойдет,— отозвался Фрэнк.— Вы видите — я его держу. Но разрешите вас спросить, что это значит? Вы ожидали этого старого джентльмена?

— О нет,— сказала Кэт.— Конечно, нет! Но он... мама, кажется, думает иначе... но этот джентльмен — сумасшедший, который убежал из соседнего дома и, должно быть, улучил удобный момент, чтобы спрятаться здесь!

— Кэт! — с суровым достоинством вмешалась миссис Никльби,— ты меня удивляешь.

— Милая мама...— кротко начала Кэт.

— Ты меня удивляешь,— повторила миссис Никльби.— Меня поражает, Кэт, что ты становишься на сторону преследователей этого несчастного джентльмена,

когда ты прекрасно знаешь, что они составили гнусный план завладеть его имуществом и что в этом-то и заключается весь секрет. Было бы гораздо милосерднее, Кэт, попросить мистера Линкинуотера или мистера Чирибла заступиться за него и позаботиться о том, чтобы он был восстановлен в правах. Ты не должна допускать, чтобы твои чувства на тебя влияли. Это нехорошо, совсем нехорошо! Как ты думаешь, каковы должны быть мои чувства? Кто, собственно, должен прийти в негодование? Разумеется, я, и на это есть причины. Но тем не менее я ни за что на свете не допустила бы такой несправедливости. Нет! — продолжала миссис Никльби, выпрямившись и со стыдливым достоинством глядя в другую сторону.— Этот джентльмен поймет меня, если я скажу, что повторяю тот же ответ, какой дала ему на днях, и всегда буду это повторять, хотя я верю в его искренность, когда вижу, в какое ужасное положение ставит он себя ради меня. И я прошу его быть столь любезным и удалиться немедленно, в противном случае немыслимо будет сохранить его поведение в тайне от моего сына Николаса. Я ему признательна, я чрезвычайно ему признательна, но я ни секунды не могу слушать его признания. Это невозможно!

Пока произносилась эта речь, старый джентльмен, нос и щеки которого были разукрашены большими пятнами сажи, сидел на полу, сложив руки, созерцая присутствующих в глубоком молчании и с величественной миной. Казалось, он ни малейшего внимания не обращал на то, что говорит миссис Никльби, но, когда она замолчала, он наградил ее пристальным взглядом и осведомился, кончила ли она.

— Мне больше нечего добавить,— скромно ответила эта леди.— Право же, ничего другого я не могу сказать.

— Прекрасно! — сказал старый джентльмен, повысив голос.— В таком случае пусть принесут молнию в бутылке, чистый стакан и пробочник.

Так как никто не исполнил этого приказания, старый джентльмен после короткой паузы снова повысил голос и потребовал громовой сандвич. Когда и сандвич не появился, он пожелал, чтобы ему подали фрикассе из голе-

нища и соус из золотых рыбок, а затем, от души расхохотавшись, угостил слушателей очень протяжным, очень громким и весьма мелодическим ревом.

Но миссис Никльби в ответ на многозначительные взгляды людей, окружавших ее, по-прежнему покачивала головой, как бы уверяя их, что во всем этом она ничего особенного не видит, кроме легких признаков эксцентричности. До последней минуты жизни она могла бы оставаться непоколебимой в этом убеждении, если бы кое-какие пустячные обстоятельства не изменили существа дела.

Случилось так, что мисс Ла-Криви, не находя состояние своей пациентки угрожающим и чрезвычайно любопытствуя узнать, что происходит, вбежала в комнату как раз в то время, когда старый джентльмен разразился ревом. И случилось так, что, едва ее увидев, старый джентльмен мгновенно перестал реветь, внезапно вскочил и начал с увлечением посылать воздушные поцелуи — перемена в поведении, испугавшая маленькую портретистку чуть ли не до обморока и заставившая ее с величайшей поспешностью спрятаться за Тима Линкинуотера.

— Ага! — воскликнул старый джентльмен, складывая руки и сжимая их изо всех сил.— Я ее вижу, я ее вижу! Любовь моя, жизнь моя, невеста моя, несравненная моя красавица! Наконец-то она пришла!

На секунду миссис Никльби была как будто сбита с толку, но, тотчас оправившись, закивала мисс Ла-Криви и прочим зрителям, нахмурилась и с важностью улыбнулась, давая им понять, что она понимает, в чем тут дело, и через минутку-другую все уладит.

— Она пришла,— сказал старый джентльмен, приложив руку к сердцу.— Она пришла! Все богатства мои принадлежат ей, если она согласна взять меня в рабство! Где вы найдете такую грацию, красоту и нежность? У императрицы Мадагаскара? Нет! У бубновой дамы? Нет! У миссис Роуленд, которая каждое утро купается бесплатно в Калидоре? Нет! Смешайте их всех вместе, прибавьте три грации, девять муз и четырнадцать дочерей пирожников с Оксфорд-стрит, и вы не сделаете женщины, наполовину столь прекрасной. Ого! Попробуйте-ка!

После этой рапсодии старый джентльмен раз двадцать или тридцать щелкнул пальцами и затем погрузился в созерцание чар мисс Ла-Криви. Получив таким образом возможность дать объяснение, миссис Никльби немедленно приступила к нему.

— Разумеется,— сказала эта достойная леди, предварительно кашлянув,— это великое облегчение, что при столь тягостных обстоятельствах за меня приняли кого-то другого. Величайшее облегчение! И этого никогда еще не случалось. Впрочем, нет, меня несколько раз принимали за мою дочь Кэт. Несомненно, эти люди поступали нелепо и следовало бы им быть более осведомленными, но тем не менее они принимали меня за нее, и, конечно, моей вины тут нет, и было бы очень тяжело, если бы меня считали ответственной за это. Однако в данном случае я сознаю, что поступила бы очень нехорошо, если бы позволила кому бы то ни было — тем более особе, которой я столь обязана,— испытывать неудобства из-за меня. А потому я почитаю своим долгом сказать этому джентльмену, что он ошибается, и я являюсь именно той леди, которую кто-то имел дерзость назвать племянницей Уполномоченных по замощению улиц. И я прошу и умоляю его удалиться спокойно, хотя бы только,— тут миссис Никльби захихикала и замялась,— ради *меня.*

Можно было ожидать, что старый джентльмен будет пронзен в самое сердце деликатностью такого обращения и что он даст по крайней мере учтивый и подобающий ответ. Каково же было потрясение, испытанное миссис Никльби, когда, обращаясь бесспорно к ней, он произнес громким и звучным голосом:

— Брысь — кошка!

— Сэр! — слабым голосом воскликнула миссис Никльби.

— Кошка! — повторил старый джентльмен.— Старая кошка! Серая! Пестрая! Пшш!

С шипением процедив этот последний звук сквозь зубы, старый джентльмен начал энергически размахивать руками и то наступал на миссис Никльби, то отступал от нее, исполняя тот самый дикарский танец, каким мальчишки в базарные дни пугают свиней, овец и других животных, когда те упрямо хотят свернуть не в ту улицу.

Миссис Никльби не тратила лишних слов, но вскрикнула от ужаса и неожиданности и мгновенно упала в обморок.

— Я позабочусь о маме,— быстро сказала Кэт.— Я совсем не испугалась. Но, пожалуйста, уведите его. Пожалуйста, уведите его.

Фрэнк был далеко не уверен, окажется ли он в силах исполнить эту просьбу, пока его не осенила мысль послать мисс Ла-Криви на несколько шагов вперед и предложить старому джентльмену следовать за ней. Успех был поразительный. Старый джентльмен удалился в восторге и восхищении под бдительной охраной Тима Линкинуотера с одной стороны и Фрэнка — с другой.

— Кэт! — прошептала миссис Никльби, ожив, когда комната опустела.— Он ушел?

Она получила успокоительный ответ.

— Я никогда не прощу себе этого, Кэт,— сказала миссис Никльби,— никогда! Этот джентльмен лишился рассудка из-за меня, несчастной.

— Из-за вас? — с величайшим изумлением воскликнула Кэт.

— Из-за меня, моя милая,— ответила миссис Никльби со спокойствием отчаяния.— Ты видела, каким он был тогда, ты видишь, каков он сейчас. Я говорила твоему брату, Кэт, несколько недель назад, что опасаюсь, как бы разочарование не оказалось ему не по силам. Ты видишь, какой он стал развалиной. Если отнестись снисходительно к некоторой его ветрености, ты знаешь, как разумно, рассудительно и благородно он говорил, когда мы видели его в саду. Ты слышала, какой ужасный вздор болтал он сегодня вечером и как он себя держал по отношению к этой бедной маленькой несчастной старой деве. Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что произошло?

— Думаю, что никто не может,— мягко отозвалась Кэт.

— Я тоже так думаю,— подтвердила ее мать.— И, если это произошло из-за меня, несчастной, у меня остается утешение сознавать, что винить меня нельзя. Я говорила Николасу. Я сказала ему: «Николас, дорогой

мой, мы должны действовать очень осторожно». Он меня едва слушал. Если бы с самого начала взяться за это дело по-настоящему, так, как я хотела! Но вы оба похожи на вашего бедного папу. Все-таки *одно* утешение у меня остается, и этого должно быть для меня достаточно.

Сняв с себя таким образом всякую ответственность по этому пункту за прошлое, настоящее и будущее, миссис Никльби кротко выразила надежду, что у детей ее никогда не будет более серьезных оснований упрекать себя, чем у нее; затем она приготовилась встречать провожатых, которые вскоре вернулись с сообщением, что старый джентльмен благополучно доставлен домой и что они отыскали его сторожей, которые веселились с какими-то приятелями, не ведая об его отлучке.

После того как спокойствие было восстановлено, восхитительные полчаса — так выразился Фрэнк в последующем разговоре с Тимом Линкинуотером по дороге домой — прошли в беседе, а когда часы Тима уведомили его, что давно пора уходить, леди остались в одиночестве, хотя со стороны Фрэнка последовало немало предложений побыть с ними до возвращения Николаса, в котором бы часу ночи он ни вернулся, если после недавнего соседского вторжения они хоть сколько-нибудь опасаются остаться вдвоем. Но так как они не опасались и он не мог настаивать на занятии сторожевого поста, то и принужден был покинуть цитадель и удалиться вместе с верным Тимом.

Почти три часа прошли в тишине. Когда вернулся Николас, Кэт покраснела, узнав, как долго сидела она одна, занятая своими мыслями.

— Право же, я думала, что не прошло и получаса,— сказала она.

— Должно быть, мысли были приятные, Кэт,— весело отозвался Николас,— если время пролетело так быстро. Что же это за мысли?

Кэт была смущена; она переставила какую-то вещицу на столе, подняла глаза и улыбнулась, потупилась и уронила слезинку.

— Ну-ка, Кэт,— сказал Николас, притягивая к себе сестру и целуя ее,— дай я посмотрю тебе в лицо.

А! Но я и взглянуть не успел, так не годится. Дай посмотреть подольше, Кэт! Тогда я прочту все твои мысли.

В этом предложении, хотя оно и было сделано без всякого умысла и Николас не выразил никаких подозрений, было что-то так сильно встревожившее его сестру, что Николас со смехом перевел разговор на домашние дела и мало-помалу выяснил, когда они вышли из комнаты и вместе поднялись наверх, в каком одиночестве провел Смайк весь вечер,— выяснил далеко не сразу, потому что и на эту тему Кэт как будто говорила неохотно.

— Бедняга,— сказал Николас, тихо постучав ему в дверь.— Какая может быть этому причина?

Кэт держала под руку брата. Дверь распахнулась так быстро, что она не успела освободить руку, когда Смайк, очень бледный, измученный и совсем одетый, предстал перед ними.

— Так вы еще не легли спать? — спросил Николас.

— Н-н-нет,— ответил тот.

Николас мягко удержал сестру, которая хотела уйти, и спросил:

— Почему же?

— Я не мог спать,— сказал Смайк, схватив руку, протянутую ему другом.

— Вам нездоровится? — продолжал Николас.

— Право же, мне лучше. Гораздо лучше! — быстро сказал Смайк.

— Но почему же тогда вы поддаетесь этим приступам меланхолии? — самым ласковым тоном осведомился Николас.— И почему не скажете нам, в чем дело? Вы стали другим человеком, Смайк.

— Да, я это знаю,— ответил он.— Когда-нибудь я вам скажу, в чем дело, но не сейчас. Я ненавижу себя за это — вы все такие добрые и ласковые. Но я ничего не мог поделать. Так много у меня на сердце... Вы не знаете, как много у меня на сердце!

Он сжал руку Николаса, прежде чем ее выпустить, и, бросив взгляд на стоявших рядом брата и сестру, словно в их крепкой любви было что-то глубоко его трогавшее, ушел к себе в спальню, и вскоре он один бодрствовал под мирной кровлей.

ГЛАВА L

повествует о серьезной катастрофе

На маленьком ипподроме в Хэмптоне было многолюдно и весело; день был такой ослепительный, каким только может быть день; солнце стояло высоко в безоблачном небе и сияло во всем своем великолепии. Каждый цветной вымпел, дрожавший в воздухе над сиденьем экипажа или над палаткой, казался особенно ярким. Старые грязные флаги стали новыми, потускневшая позолота обновилась, грязная, прогнившая парусина казалась белоснежной, даже лохмотья нищих посвежели, и милосердие отступило перед горячим восхищением столь живописной нищетой.

Это была одна из тех живых сцен, захваченная в самый яркий и трепетный момент, которая неизбежно должна понравиться, ибо если зрение устало от пышности и блеска, а слух утомлен непрестанным шумом, зрение может отдохнуть на оживленных, счастливых и радостно настороженных лицах, а слух — заглушить восприятие более раздражающих звуков, звуками веселыми и радостными. Даже загорелые лица маленьких полуголых цыганят приносят каплю утешения. Приятно видеть, что на них светит солнце, знать, что воздух и свет окутывают их каждый день, чувствовать, что они дети и ведут жизнь детей, что если подушки их и бывают влажными, то это небесная роса, а не слезы, что девочки не искалечены неестественными жестокими пытками, на которые обречен их пол, что жизнь их протекает день за днем среди колеблемых ветром деревьев, а не между страшными машинами, которые детей делают стариками прежде, чем они узнали, что такое детство, и несут им истощение и недуги старости, не давая старческой привилегии умереть. Дай бог, чтобы старые сказки были правдой и чтобы цыгане воровали детей десятками!

Только что закончились великолепные заезды этого дня, и сомкнутые ряды людей по обеим сторонам беговой дорожки, внезапно разорвавшись и хлынув на нее, придали новую жизнь ипподрому, где все теперь снова

пришло в движение. Одни нетерпеливо бежали взглянуть на лошадь-победительницу, другие с не меньшим нетерпением метались во все стороны, не находя своих экипажей, которые они оставили в поисках более удобного места. Вот кучка людей собралась вокруг стола, где идет игра в «горошину и наперсток» *, и наблюдает, как надувают какого-нибудь злополучного джентльмена; а там владелец другого стола, со своими сообщниками, соответствующим образом переодетыми (один в очках, другой с моноклем и в модной шляпе, третий в костюме зажиточного фермера — в пальто, переброшенном через руку, и с фальшивыми банкнотами в большом кожаном бумажнике, и все вооруженные кнутами с тяжелой рукояткой, чтобы их принимали за невиннейших деревенских жителей, приехавших сюда верхом), пытается громким и шумным разговором и притворным участием в игре заманить какого-нибудь неосмотрительного клиента, а тем временем джентльмены-сообщники (в чистом белье и хороших костюмах, а потому еще более гнусные на вид) невольно выдают свой живейший интерес к делу, бросая исподтишка беспокойные взгляды на всех подходящих к столу. Многие вертелись в задних рядах толпы, окружавшей кольцом бродячего фокусника, который соперничал с шумным оркестром, а чревовещатели, ведшие диалоги с деревянными куклами, и гадалки, заглушавшие крики реальных младенцев, также привлекали внимание публики. Палатки с напитками были переполнены; в экипажах звенели стаканы, распаковывались корзины, извлекались соблазнительные яства: застучали ножи и вилки, взлетели пробки от шампанского, засверкали глаза, которые и раньше не были тусклы, и карманные воришки стали подсчитывать деньги, которыми они разжились во время последнего заезда. Внимание, только что сосредоточённое на одном интересном зрелище, теперь разделилось между сотней, и куда бы вы ни посмотрели, всюду было ликование, слышался смех, разговоры, всюду просили милостыню, вели азартную игру, разыгрывали пантомимы.

Бесчисленные игорные павильоны были представлены во всем их великолепии, с коврами, полосатыми занавесками, алым сукном, остроконечными крышами, ливрей-

ными слугами и горшками с геранью. Здесь был Клуб иностранцев, клуб «Атенеум», клуб «Хэмптон», клуб «Сент-Джеймс» — клубы, растянувшиеся на полмили, где можно было играть во всевозможные игры и в rouge-et-noir *. В один из таких павильонов нас и приводит это повествование.

В этом павильоне, битком набитом игроками и зрителями, хотя он и был самым большим на ипподроме, с тремя столами для игры, было нестерпимо жарко, несмотря на то, что часть брезентовой крыши была откинута для доступа воздуха и две двери пропускали сквозной ветерок. За исключением двух-трех человек, которые, держа в левой руке длинный столбик полукрон с несколькими случайно затесавшимися соверенами, ставили деньги при каждом пуске шарика с деловитой степенностью, свидетельствовавшей, что они к этому привыкли и играли весь день, не было среди игроков никого особо примечательного. Большей частью это были молодые люди, явно пришедшие сюда из любопытства или игравшие по маленькой, видя в этом развлечение, входившее в программу дня, и мало интересуясь, выиграют они или проиграют. Однако среди присутствующих находились двое, которые, как превосходные представители своей профессии, заслуживают мимолетного внимания.

Один из них, лет пятидесяти шести или восьми, сидел на стуле у одного из входов в павильон, сложив руки на набалдашнике палки и опустив на них подбородок. Это был высокий толстый человек с длинным туловищем, в наглухо застегнутом светло-зеленом сюртуке, отчего его туловище казалось еще длиннее. На нем были темные короткие брюки, гетры, белый галстук и широкополая белая шляпа. Среди жужжанья и гула за игорными столами, среди непрерывно снующих людей он казался совершенно спокойным и отчужденным, его лицо не выражало ни малейшего возбуждения. Он не проявлял никаких признаков усталости и, на взгляд поверхностного наблюдателя, не представлял никакого интереса. Он сидел неподвижный и сдержанный. Иногда, но очень редко, он кивал головой кому-нибудь из проходивших мимо или давал знак лакею подойти к одному из столиков, куда его подзывали. Через секунду он погружался в прежнее

свое состояние. То ли он был совершенно глухим старым джентльменом, зашедшим сюда отдохнуть, то ли терпеливо ждал приятеля, не замечая присутствия других людей, а быть может, пребывал в трансе или накурился опиума. Люди оглядывались и посматривали на него, он же не делал ни одного жеста, не ловил их взглядов; входили все новые и новые посетители, а он не обращал на них никакого внимания. Когда он двигался, казалось чудом, как он мог заметить нечто такое, что потребовало сделать движение. Да это и в самом деле было чудом. Но не было ни одного человека, входившего или выходившего, которого бы он не видел; ни один жест за любым из трех столов не ускользал от него; ни одно слово, произнесенное крупье, не пролетало мимо его ушей; ни один игрок, проигрывавший или выигрывавший, не оставался не замеченным им. Он был владельцем павильона.

Другой председательствовал за столом rouge-et-noir. Он был, вероятно, лет на десять моложе, пухлый, коренастый человек с брюшком, с поджатой нижней губой — вследствие привычки считать про себя деньги, когда он их выплачивал; лицо у него не было отталкивающее, скорее даже приятное и честное. Он снял сюртук, так как было жарко, и стоял за столом перед грудой крон и полукрон и ящиком для банкнотов. Игра велась без перерывов. Быть может, игроков двадцать ставили одновременно. Этот человек должен был пускать шарик, следить за ставками, когда их клали на стол, собирать их с того цветного поля, которому не повезло, платить тем, кто выиграл, и все время держать игроков в напряжении. Все это он проделывал с быстротой, поистине чудесной, не ошибаясь, не останавливаясь и не переставая повторять нижеследующие не связанные между собою фразы, которые — отчасти по привычке, а отчасти вследствие необходимости говорить что-то соответствующее случаю и деловое — он неустанно изливал все с тою же монотонной выразительностью и чуть ли не в одном и том же порядке с утра до вечера:

— Руж-и-нор[1] из Парижа! Ставьте, джентльмены,

[1] Искаженное «rouge-et-noir» — «красное и черное» *(франц.)*.

и удваивайте ставки все время, пока шарик крутится! Руж-и-нор из Парижа, джентльмены! Это французская игра, джентльмены, я сам ее привез, да! Руж-и-нор из Парижа! Черное выигрывает — черное... Минутку, сэр, сейчас я вам заплачу: два там, полфунта вон там, три здесь и один туда... Джентльмены, шарик крутится! ...Все время, сэр, пока шарик крутится... Вся прелесть этой игры заключается в том, что вы можете ставить или удваивать ставки, джентльмены, все время, пока шарик крутится... Опять черное — черное выигрывает. Никогда еще я не видывал такой штуки, честное слово, такой штуки я не видывал никогда в жизни! Если последние пять минут кто-нибудь из джентльменов ставил на черное, он должен был выиграть сорок пять фунтов за четыре оборота шарика, это несомненно. Джентльмены, у нас есть портвейн, херес, сигары и превосходнейшее шампанское. Официант, подайте бутылку шампанского и принесите-ка сюда штук двенадцать — пятнадцать сигар — не будем ни в чем себе отказывать, джентльмены! — и подайте чистые стаканы — все время, пока шарик крутится. Вчера вечером, джентльмены, я потерял сто тридцать семь фунтов сразу, честное слово, потерял!.. Как поживаете, сэр? (узнав знакомого джентльмена, не делая паузы, не изменяя тона и только подмигивая слегка, так что это могло быть и случайностью.) Не угодно ли рюмку хереса, сэр! Лакей, сюда! Чистую рюмку и хересу этому джентльмену — и предложите херес всем, слышите, лакей? Это руж-и-нор из Парижа, джентльмены,— все время, пока крутится шарик!.. Джентльмены, ставьте и удваивайте ставки! Это руж-и-нор из Парижа, новая игра — я сам ее привез, сам! Джентльмены, шарик крутится!

Этот служака рьяно исполнял свои обязанности, когда в павильон вошли человек шесть, которым он, не прерывая ни речи своей, ни работы, поклонился почтительно и в то же время указал глазами своему соседу на самого высокого в группе, узнав коего, владелец снял шляпу. Это был сэр Мальбери Хоук со своим другом и учеником и маленькой свитой, состоявшей из людей, одетых как джентльмены, с репутацией скорее сомнительной, чем неопределенной.

Владелец тихо приветствовал сэра Мальбери. Сэр Мальбери так же тихо послал его к черту и, отвернувшись, заговорил со своими друзьями.

Он был явно раздражен сознанием, что является объектом любопытства в этот день, когда он впервые показался в обществе после происшедшего с ним несчастного случая. Нетрудно было заметить, что на скачках он появился не столько с целью насладиться спортом, сколько в надежде встретить великое множество знакомых и таким образом сразу покончить с наибольшим количеством неприятностей. На лице его еще заметен был шрам, и, когда его узнавали люди, входившие и выходившие из павильона — а это случалось чуть ли не каждую минуту,— он нервически пытался прикрыть его перчаткой, тем самым обнаруживая, как остро он чувствует нанесенное оскорбление.

— А, Хоук! — произнес весьма элегантно одетый субъект в ньюмаркетском пальто, отменном галстуке и со всеми прочими аксессуарами самого безупречного качества.— Как поживаете, старина?

Это был соперник — тренер молодых аристократов и джентльменов, человек, которого сэр Мальбери ненавидел и боялся встретить больше, чем кого бы то ни было. Они обменялись чрезвычайно дружеским рукопожатием.

— Ну, как вы себя теперь чувствуете, старина? А?

— Прекрасно, прекрасно,— отвечал сэр Мальбери.

— Очень рад,— сказал тот.— Как поживаете, лорд Фредерик? А наш друг немножко осунулся. Не совсем еще пришел в себя? А?

Надлежит отметить, что у джентльмена были очень белые зубы и, когда не бывало повода для смеха, он имел обыкновение заканчивать фразу этим междометием и произносить его так, чтобы выставить их напоказ.

— Он в превосходном состоянии, все в порядке,— небрежно ответил молодой человек.

— Клянусь честью, рад это слышать,— сказал тот.— Вы вернулись из Брюсселя?

— Только вчера поздно вечером приехали в Лондон,— отозвался лорд Фредерик.

Сэр Мальбери, отвернувшись, заговорил с одним из своих спутников и притворился, будто не слушает.

— Честное слово,— продолжал джентльмен громким шепотом,— необычайно мужественно со стороны Хоука так скоро показаться на людях. Я это говорю не без умысла, в этом много смелости. Видите ли, он пробыл в уединении достаточно долго, чтобы разжечь любопытство, но недостаточно долго, чтобы публика забыла эту дьявольски неприятную... Кстати, вам, конечно, известно истинное положение дел? Почему же вы не изобличили эти проклятые газеты во лжи? Я редко читаю газеты, но я в них заглянул специально, и если бы я мог...

— Загляните в газеты,— сказал сэр Мальбери, внезапно обернувшись,— загляните завтра... нет, послезавтра!

— Честное слово, дорогой мой, я никогда не читаю газет или читаю их очень редко,— сказал тот, пожимая плечами.— Но я последую вашему совету. Что же я там увижу?

— До свидания,— сказал сэр Мальбери, круто повернувшись на каблуках и увлекая за собой своего ученика.

Тою же медлительной небрежной походкой, какою они вошли в павильон, они вышли рука об руку.

— Я не доставлю ему случая прочесть об убийстве,— с проклятьем пробормотал сэр Мальбери,— но это будет почти убийство, если хлыст рассекает, а дубинка бьет.

Его спутник ничего не ответил, но было нечто в его поведении, что подстрекнуло сэра Мальбери добавить почти с такой же яростью, как если бы его друг был самим Николасом:

— Еще не было восьми часов утра, когда я послал сегодня Дженкинса к старому Никльби. Он человек надежный: пришел ко мне раньше, чем вернулся посланный. За пять минут я получил от него все сведения. Я знаю, где можно встретить этого мерзавца, знаю и время и место. Но говорить об этом незачем. Завтра не за горами...

— А что та-акое произойдет завтра? — осведомился лорд Фредерик.

Сэр Мальбери бросил на него гневный взгляд, но не снизошел до ответа на вопрос. Оба хмуро пошли дальше, по-видимому занятые своими мыслями, пока не выбрались из толпы и не остались почти с глазу на глаз, как вдруг сэр Мальбери круто повернул назад.

— Подождите! — сказал его спутник.— Я хочу поговорить с вами серьезно. Не возвращайтесь туда. Походим несколько минут здесь.

— Что такое хотите вы мне сообщить, чего нельзя с таким же успехом сказать там, как и здесь? — возразил его ментор, освободив свою руку.

— Хоук,— начал тот,— ответьте мне, я должен знать...

— *Должен* знать! — презрительно повторил тот.— Фью! Продолжайте. Раз вы должны знать, значит, мне, конечно, от вас не ускользнуть. Должен знать!

— Скажем — должен спросить,— отозвался лорд Фредерик,— и должен настаивать на ясном и прямом ответе. Было ли то, что вы сейчас сказали, мимолетной фантазией, вызванной вашим дурным расположением духа и раздражением, или же таково ваше серьезное намерение — намерение, которое вы действительно обдумали?

— А разве вы не помните, что было сказано по этому поводу в один из вечеров, когда я лежал со сломанной ногой? — со злобной усмешкой спросил сэр Мальбери.

— Прекрасно помню.

— Ну, так во имя всех чертей примите это как ответ! — заявил сэр Мальбери.— И не требуйте от меня другого!

Таково было его влияние на одураченного им человека и такова была привычка последнего повиноваться, что в первую минуту лорд Фредерик как будто опасался продолжать разговор на эту тему. Впрочем, он скоро преодолел это чувство, если оно действительно его удерживало, и сердито возразил:

— Насколько я припоминаю, в тот день, о котором вы говорите, я энергически возражал по этому вопросу и заявил, что с моего ведома и согласия вы никогда не сделаете того, чем угрожаете сейчас.

— Вы мне помешаете? — со смехом спросил сэр Мальбери.

— Да-а, если это в моих силах,— быстро ответил тот.

— Весьма уместная спасительная оговорка,— сказал

сэр Мальбери,— и она вам пригодится. Занимайтесь своим делом и предоставьте мне заниматься моим.

— Это *мое* дело,— возразил лорд Фредерик.— Я его делаю моим, оно будет моим. Оно уже мое. Я и так скомпрометирован больше, чем мне бы этого хотелось.

— Ради себя делайте, что вам угодно и как вам угодно,— сказал сэр Мальбери с притворным добродушием и непринужденностью.— Право же, этого должно быть для вас достаточно. Но ради меня не делайте ничего, вот и все. Никому не советую вмешиваться в то, что я намерен предпринять. Вы меня знаете. Вижу, что вы хотите дать мне совет. Намерение у вас хорошее, в этом я уверен, но совет я отвергаю. А теперь, будьте добры, вернемся к нашему экипажу. Здесь ничто меня не развлекает, скорее наоборот. Если мы продолжим этот разговор, мы можем поссориться, что отнюдь не явилось бы доказательством рассудительности ни с вашей, ни с моей стороны.

Дав этот ответ и не дожидаясь дальнейших возражений, сэр Мальбери Хоук зевнул и не спеша повернул назад.

В такой манере обращения было и много такта и знание характера молодого лорда. Сэр Мальбери ясно видел, что для сохранения своей власти над ним следует утвердить ее сейчас же. Он знал, что стоит ему выйти из терпения — и молодой человек в свою очередь выйдет из терпения. Много раз ему удавалось укрепить свое влияние, когда какое-либо обстоятельство его ослабляло, с помощью этой холодной сдержанности, и теперь он полагался на нее, почти не сомневаясь в полном успехе.

Но, пока он вел эту игру и сохранял самую беззаботную и равнодушную мину, какую помогли ему принять его хитрость и опыт, он мысленно решил не только отомстить Николасу с сугубой жестокостью за унижение, вызванное необходимостью обуздать свои чувства, но так или иначе заставить и молодого лорда дорого заплатить за это когда-нибудь. Пока тот был пассивным орудием в его руках, сэр Мальбери не питал к нему никаких чувств, кроме презрения, но теперь, когда он дерзнул признаться в убеждениях, противоречивших его собственным,

и даже говорить высокомерным тоном и с видом превосходства, он начал его ненавидеть. Сознавая, что он находится в зависимости — в самом гнусном и недостойном смысле этого слова — от слабовольного молодого лорда, сэр Мальбери тем меньше мог примириться с нанесенным ему оскорблением; почувствовав неприязнь к молодому лорду, он соразмерял ее, как это частенько делается, со своими провинностями по отношению к объекту этой неприязни. Если вспомнить, что сэр Мальбери грабил, дурачил, обманывал и водил за нос своего ученика всеми возможными способами, то не приходится удивляться, что, начав его ненавидеть, он возненавидел его от всей души.

С другой стороны, молодой лорд, поразмыслив,— а это с ним случалось очень редко,— и к тому же поразмыслив серьезно, об истории с Николасом и обстоятельствах, ей предшествовавших, пришел к мужественному и честному выводу. Грубое и возмутительное поведение сэра Мальбери во время этого инцидента произвело на него глубокое впечатление; сильное подозрение, что тот подстрекнул его преследовать мисс Никльби, имея в виду какие-то свои цели, уже мелькало у него в течение некоторого времени; он искренне стыдился своего участия во всем этом деле и был удручен опасением, что его одурачили. Последнее время, когда они жили вдали от света, он мог на досуге подумать об этих вещах, и он воспользовался благоприятным случаем в той мере, в какой этому не препятствовали его природная беззаботность и лень. К тому же, некоторые незначительные обстоятельства усилили его подозрения. Недоставало лишь пустяка, чтобы разжечь его гнев против сэра Мальбери. Это было достигнуто пренебрежительным и наглым тоном последнего во время приведенного разговора (единственного, какой был у них на эту тему с того дня, о котором упомянул сэр Мальбери).

Итак, они присоединились к своим друзьям; у каждого были причины питать затаенную неприязнь к другому; вдобавок молодого человека преследовали мысли о мести, угрожавшей Николасу, и он обдумывал энергические меры, которые могли бы этому воспрепятствовать. Но это было еще не все. Сэр Мальбери, воображая, что

заставил его окончательно замолчать, не мог скрыть свое торжество и не удержался, чтобы не воспользоваться тем, что считал своим преимуществом. Здесь был мистер Пайк, и здесь был мистер Плак, и здесь был полковник Чоусер и другие джентльмены такого же сорта, и сэру Мальбери важно было показать им, что он не утратил своего влияния. Сначала молодой лорд довольствовался молчаливым решением принять меры к тому, чтобы немедленно порвать дружеские отношения. Мало-помалу он начал раздражаться и пришел в негодование от шуточек и фамильярных замечаний, которые несколько часов назад только позабавили бы его. От этого он ничего не выиграл, ибо не мог состязаться с сэром Мальбери, когда дело доходило до насмешек и остроумных реплик, имевших успех в подобной компании. Однако резкого разрыва еще не было. Они вернулись в город. На обратном пути мистеры Пайк и Плак и другие джентльмены много раз заявляли, что никогда в жизни сэр Мальбери не бывал в таком чудесном расположении духа.

Они превосходно пообедали вместе. Вино лилось рекой, как, впрочем, лилось оно целый день. Сэр Мальбери пил, чтобы вознаградить себя за недавнее воздержание; молодой лорд — чтобы утопить свой гнев; остальные члены компании — потому что вино подавалось наилучшее и им не надо было за него платить. Было около полуночи, когда они, неистовые, разгоряченные вином, с бурлящей кровью и воспаленным мозгом, бросились к игорному столу.

Здесь они встретили другую компанию, безумствовавшую так же, как они. Возбуждение, вызванное игрой, жара в комнатах, ослепительный свет не были рассчитаны на то, чтобы остудить лихорадочный жар. В этом головокружительном шуме и сумятице люди пришли в исступление. Кто в диком опьянении минутой думал о деньгах, разорении или завтрашнем дне? Потребовали еще вина, осушали стакан за стаканом. Пересохшие, обожженные глотки изнывали от жажды; вино лилось в них, как масло в пылающий огонь. А оргия все продолжалась. Разгул достиг высшей своей точки; стаканы падали на пол из рук, которые не могли донести их до рта; проклятья срывались с уст, которые едва могли скла-

дывать слова, чтобы их извергнуть; пьяные проигравшиеся игроки ругались и орали; иные вскакивали на стол, размахивая над головой бутылками и бросая вызов остальным; другие танцевали; многие пели, а кое-кто разрывал карты и бесновался. Буйство и безумие правили самовластно, когда поднялся шум, в котором потонули все другие звуки, и два человека, схватив друг друга за горло, пробились на середину комнаты.

Десяток голосов, до сих пор молчавших, громко закричал, что нужно их разнять. Те, кто сохранял хладнокровие, чтобы выигрывать, и те, кто зарабатывал себе на жизнь при такого рода сценах, бросились к дерущимся и, оторвав их друг от друга, оттащили на несколько шагов.

— Пустите меня! — крикнул сэр Мальбери глухим, охрипшим голосом.— Он меня ударил! Слышите вы? Я говорю, он меня ударил! Есть у меня здесь друг? Кто это? Вествуд? Вы слышите, я говорю, что он меня ударил!

— Слышу, слышу,— ответил один из тех, кто его держал.— Уйдите, уйдите сейчас!

— Не уйду! — крикнул тот.— Десять человек, бывших поблизости, видели, как он ударил.

— Завтра времени будет сколько угодно,— сказал его приятель.

— Нет, не будет! — закричал сэр Мальбери.— Сегодня, немедленно, здесь!

Бешенство его было так велико, что он не мог говорить членораздельно, сжимал кулаки, рвал на себе волосы и топал ногами.

— Что случилось, милорд? — спросил кто-то из толпы.— Были нанесены удары?

— *Один* удар,— тяжело дыша, ответил молодой лорд.— Я его ударил. Я объявляю об этом всем. Я его ударил, и он знает, за что. Я тоже хочу, чтобы с этим делом было покончено. Капитан Адамс,— продолжал молодой лорд, быстро оглянувшись и обращаясь к одному из вмешавшихся,— прошу вас, разрешите поговорить с вами.

Тот, к кому он обратился, выступил вперед и, взяв молодого человека под руку, вышел с ним вместе; вскоре за ними последовал сэр Мальбери со своим приятелем.

Это был притон распутников, пользовавшийся дурной



славой, и отнюдь не такое место, где бы подобная история могла пробудить симпатии к той или другой стороне и вызвать новое вмешательство. Где-нибудь в другом месте, но не здесь, дальнейшее развитие столкновения было бы немедленно приостановлено и повздорившим предоставлено время для трезвого и хладнокровного раздумья. Потревоженная в своем разгуле компания распалась; одни ушли, покачиваясь с пьяной важностью; другие удалились, шумно обсуждая происшествие; благородные джентльмены, жившие на свои выигрыши, уходя, говорили друг другу, что Хоук — прекрасный стрелок, а те, кто шумел больше всех, крепко заснули на диванах и больше ни о чем не думали.

Между тем два секунданта, как можно называть их теперь, после долгого совещания со своими принципалами встретились в другой комнате. Оба — люди совершенно бессердечные, оба светские бездельники, оба искушенные во всех пороках города, оба увязшие в долгах, оба занимавшие прежде более высокое положение, оба приверженные всем распутным привычкам, для которых общество умеет подыскать какое-нибудь элегантное название, выдвигая в виде оправдания самые порочные свои условности,— они были, разумеется, джентльменами с незапятнанной честью и весьма взыскательны, когда дело касалось чести других людей.

Сейчас эти два джентльмена были необычайно оживлены, ибо эта история не могла не наделать шуму и должна была оказаться полезной для их репутации.

— Дело щекотливое, Адамс,— приосанившись, сказал мистер Вествуд.

— Чрезвычайно,— отозвался капитан.— Удар был нанесен, и, разумеется, остается только один выход.

— Полагаю, никаких извинений? — осведомился мистер Вествуд.

— Ни звука, сэр, со стороны моего приятеля, хотя бы мы говорили до Судного дня,— ответил капитан.— Первоначальной причиной спора, насколько мне известно, была какая-то девушка; о ней ваш приятель отзывался в таких выражениях, которые лорд Фредерик, защищая девушку, не пожелал слушать. Но это привело к долгим пререканиям по всевозможным деликатным вопросам,

со взаимными обвинениями. Сэр Мальбери был саркастичен, лорд Фредерик возбужден и, выведенный из терпения, ударил его в пылу спора при отягчающих дело обстоятельствах. Если сэр Мальбери не откажется полностью от своих слов, лорд Фредерик готов считать этот удар заслуженным.

— Больше говорить не о чем,— заявил мистер Вествуд,— остается назначить время и место. Ответственность велика, но тем не менее надо покончить с этим. Вы не возражаете, если мы назначим час восхода солнца?

— Времени в обрез,— отозвался капитан, взглянув на часы.— Но поскольку все это, по-видимому, назревало давно и переговоры являются пустой тратой слов, я не возражаю.

— После инцидента в той комнате, может быть, сказано было на открытом воздухе нечто такое, что принуждает нас, не откладывая, выехать из Лондона,— сказал мистер Вествуд.— Что вы скажете, если мы выберем одну из лужаек у реки против Туикенхема?

Капитан не имел никаких возражений.

— Не собраться ли нам в аллее, которая ведет от Питерсхема к Хэм-Хаусу, и там точно определить место? — предложил мистер Вествуд.

На это капитан также согласился. Сделав еще несколько предварительных замечаний, не менее лаконических, и установив, какой дорогой поедет каждый из дуэлянтов, чтобы избежать подозрений, они расстались.

— У нас как раз хватит времени, милорд,— сказал капитан, сообщив молодому лорду о соглашении,— заглянуть ко мне за ящиком с пистолетами, а затем, не торопясь, поехать туда. Если вы разрешите мне отпустить вашего слугу, мы отправимся в моем кэбе, потому что ваш, пожалуй, могут узнать.

Они вышли на улицу — какой резкий контраст с тем местом, которое они только что покинули! Уже рассвело. Вместо ослепительного желтого света в комнатах — ясное, чистое чудесное утро; вместо нагретой душной атмосферы, пропитанной чадом гаснущих ламп и зловонными испарениями распутства и кутежа,— свежий, здоровый воздух. Разгоряченной голове, которую обвевал этот прохладный ветерок, он, казалось, приносил раскаяние в

том, что время растрачено зря и бесчисленные возможности упущены. Лорд Верисофт, у которого набухли вены и горела кожа, глаза, налитые кровью, казались безумными, а мысли сменяли друг друга в диком беге, воспринимал дневной свет как укоризну и невольно ежился, встречая рассвет, словно был какой-то нечистой и мерзкой тварью.

— Знобит? — сказал капитан.— Вам холодно?

— Немножко.

— Действительно свежо после этой жары в комнатах. Завернитесь-ка в плащ. Вот так. А теперь в путь.

Они с грохотом проехали по тихим улицам, побывали на квартире у капитана, оставили позади город и выехали на открытую дорогу, не встретив никаких препятствий и помех.

Поля, деревья, сады, живые изгороди — все казалось прекрасным. Прежде молодой человек как будто едва замечал их, хотя проезжал мимо тысячу раз. Мир и покой почили на них в странном противоречии со смятением и путаницей его полутрезвых мыслей, но притягивали к себе и были так желанны. Он не чувствовал никакого страха; покуда он смотрел по сторонам, гнев его утих, и, хотя все старые иллюзии, связанные с бывшим его недостойным приятелем, рассеялись, он больше сожалел о том, что вообще знал его, нежели думал о том, к чему это привело.

Последняя ночь, вчерашний день и многие другие дни и ночи — все закружилось в бессмысленном и непонятном вихре; он не мог расчленить события, происшедшие в разное время. То узнавал он в шуме колес, переходившем в какую-то безумную музыку, знакомые обрывки мелодий, то не слышал ничего, кроме ошеломляющих и странных звуков, подобных гулу потока. Но спутник его начал подшучивать над его молчанием, и они принялись громко болтать и смеяться. Когда они приехали, он немного удивился, заметив, что курит, но, подумав, вспомнил, когда и где он закурил сигару.

Они остановились у въезда в аллею и вышли из экипажа, оставив его на попечении слуги, который был сметливым малым и привык к такого рода делам почти так же, как и его хозяин. Сэр Мальбери и его друг были уже

здесь. Все четверо в глубоком молчании пошли аллеей величественных вязов, которые, переплетаясь высоко над их головами, образовали длинную зеленую перспективу готических арок, упиравшихся, словно старые руины, в открытое небо.

После остановки и недолгого совещания между секундантами они, наконец, свернули направо, пересекли небольшой луг и, миновав Хэм-Хаус, вышли в поля. В поле они и остановились. Шаги были отсчитаны, обычные формальности соблюдены, дуэлянты поставлены друг против друга на условленном расстоянии, и сэр Мальбери в первый раз повернулся лицом к своему молодому противнику. Он был очень бледен, глаза налиты кровью, одежда в беспорядке, и волосы растрепаны. Лицо же его не выражало ничего, кроме неистовой злобы. Он заслонил глаза рукой, несколько секунд смотрел в упор на своего противника, а затем, взяв протянутое ему оружие, устремил на него взгляд и больше не поднимал глаз, пока не раздался сигнал, после чего тотчас же выстрелил.

Два выстрела раздались чуть ли не одновременно. И в тот же момент молодой лорд резко повернул голову, бросил ужасный взгляд на противника и, не застонав, не покачнувшись, упал мертвый.

— Убит! — закричал Вествуд, который вместе с другим секундантом подбежал к телу и опустился перед ним на одно колено.

— Пусть кровь его падет на его голову! — сказал сэр Мальбери.— Он сам навлек это на себя и принудил меня к этому.

— Капитан Адамс,— быстро заговорил Вествуд,— призываю вас в свидетели, что все произошло по правилам. Хоук, нам нельзя терять ни минуты! Мы должны немедленно бежать, спешить в Брайтон и как можно скорее переправиться во Францию. Это — скверная история и может обернуться еще хуже, если мы помедлим хоть секунду. Адамс, позаботьтесь о своей безопасности и не оставайтесь здесь: теперь надо думать о живых, а не о мертвых... Прощайте!

С этими словами он схватил под руку сэра Мальбери и увлек его за собой. Капитан Адамс, задержавшись только для того, чтобы окончательно убедиться в роковом

исходе, поспешил в том же направлении, желая обсудить со своим слугой, какие принять меры, чтобы убрать тело и обеспечить собственную безопасность.

Так умер лорд Фредерик Верисофт от руки, которую он отягощал многими дарами и пожимал тысячу раз, умер по воле человека, не будь которого и ему подобных, он мог бы жить счастливо и умереть, видя вокруг своего ложа лица детей.

Солнце взошло горделиво во всем своем великолепии, благородная река текла извилистым руслом, листья дрожали и шелестели в воздухе, птицы заливались веселыми песнями на каждом дереве, недолговечная бабочка трепетала крылышками; настал день, принеся свет и жизнь; а здесь, приминая траву, где на каждой былинке приютились десятки крохотных жизней, лежал мертвец, обратив к небу неподвижное и застывшее лицо.

ГЛАВА LI

Проект мистера Ральфа Никльби и его друга, приближаясь к успешному завершению, неожиданно становится известен противной стороне, не пользующейся их доверием

В старом доме, унылом, темном и пыльном, который, казалось, увял, как его хозяин, и пожелтел и сморщился, оберегая его от дневного света, как пожелтел и сморщился хозяин, оберегая свои деньги, жил Артур Грайд. Старые, расшатанные стулья и столы, жесткие и холодные, как сердце скряги, выстроились угрюмыми рядами вдоль хмурых стен; изнуренные, отощавшие шкафы, которые, охраняя запертые в них сокровища, пошатывались, как бы вечно опасаясь воров, забились в темные углы, откуда не отбрасывали теней на пол, и скрывались и прятались от взглядов. На лестнице высокие угрюмые часы с длинными, тощими стрелками и голодным циферблатом тикали осторожным шепотом, а когда раздавался их бой, тонкий и писклявый, как старческий голос, они потрескивали, словно их донимал голод.

Не было кушетки у камина, сулящей покой и уют. Кресла здесь были, но они как будто чувствовали себя тревожно: робко и подозрительно изгибали ручки и стояли настороженные. Одни казались фантастически мрачными и изможденными, они как бы вытянулись во весь рост и приняли самый свирепый вид, чтобы приводить в смущение посетителей; другие навалились на своих соседей и искали опоры у стены — иной раз так, чтобы это бросалось в глаза, словно призывали всех в свидетели, что не стоит на них садиться. Темные квадратные громоздкие кровати, казалось, были сооружены для беспокойных снов. Покрытые плесенью портьеры, казалось, съежились, собираясь в складки, и, когда по ним пробегал ветерок, боязливо перешептывались, сообщая друг другу о соблазнительных товарах, таившихся в темных и крепко-накрепко запертых стенных шкафах.

Из самой жалкой и унылой комнаты во всем этом жалком и унылом доме доносился однажды утром дребезжащий голос старого Грайда, слабо чирикавшего обрывок какой-то всеми забытой песни, припев которой звучал так:

Та-ран-так-так,
Брось старый башмак *.
Пусть будет сей брак счастливым!

Он повторял этот припев все тем же пронзительным дрожащим голосом снова и снова, пока страшный припадок кашля не заставил его прекратить пенье и молча продолжать работу, которой он занимался.

Эта работа заключалась в том, что он доставал с полок источенного червями гардероба различные заплесневелые костюмы, подвергал каждый тщательному и детальному осмотру, держа костюм против света, а затем, сложив его с величайшей аккуратностью, присоединял к одной из двух небольших кучек одежды подле себя. Двух костюмов сразу он не вытаскивал, но доставал их по одному и неизменно закрывал дверцу и запирал шкаф на ключ после каждого своего визита к полкам.

— Костюм табачного цвета,— сказал Артур Грайд, обозревая потертый фрак.— К лицу ли мне был табачный цвет? Подумаем.

По-видимому, результат его размышлений оказался неблагоприятным, ибо он снова сложил фрак, отложил его в сторону и взобрался на стул, чтобы достать другой, чирикая при этом:

Юности пыл
Радость сулил!
Брак их будет счастливым!

— Всегда они вставляют слово «юность»! — сказал старый Артур.— Но ведь песни пишутся только для рифмы, и эта песня глупая, ее пели деревенские бедняки, когда я был маленьким мальчиком. А впрочем... юность здесь подходит — это относится к невесте. Хи-хи-хи! Это относится к невесте. Ах, боже мой, это хорошо! Это очень хорошо. И вдобавок это правда, сущая правда!

Удовлетворенный таким открытием, он повторил куплет с сугубой выразительностью и с двумя-тремя трелями. Затем он вернулся к прежнему занятию.

— Бутылочно-зеленый,— сказал старый Артур.— Бутылочный был славным костюмом, и я его купил по дешевке у старьевщика, и там в жилетном кармане оказался — хи-хи-хи! — потертый шиллинг. Подумать только, старьевщик не знал, что там был шиллинг! Я-то знал! Я его нащупал, когда исследовал качество материи. Ох, и дурак же этот старьевщик. А бутылочно-зеленый фрак принес мне счастье. В тот самый день, когда я в первый раз его надел, старый лорд Малоуфорд сгорел в своей постели и его наследники должны были уплатить по всем своим долговым обязательствам. Я женюсь в бутылочно-зеленом! Пэг Слайдерскью, я надену фрак бутылочного цвета!

Этот возглас, громко повторенный раза два или три у самой двери, привел в комнату низенькую, худую, высохшую, трясущуюся старуху со слезящимися глазами и отталкивающе уродливую; вытирая морщинистое лицо грязным передником, она осведомилась тихим голосом, каким обычно говорят глухие:

— Это вы меня звали или это часы били? Ничего не слышу, никак не отличу, кто, но, когда я слышу шум, я знаю, что это либо вы, либо часы, потому что в доме больше никто не шевелится.

— Это я, Пэг, я! — сказал Артур Грайд, похлопав себя по груди, чтобы сделать ответ более вразумительным.

— Вы? — отозвалась Пэг.— А что вам нужно?

— Я женюсь в бутылочно-зеленом! — крикнул Артур Грайд.

— Он слишком хорош, чтобы жениться в нем, хозяин,— возразила Пэг, осмотрев костюм.— Нет ли чего-нибудь похуже?

— Ничего подходящего нет,— ответил старый Артур.

— Как это так — ничего подходящего? — спросила Пэг.— Почему вам не надеть тот костюм, который вы каждый день носите?

— Он недостаточно хорош, Пэг,— ответил ее хозяин.

— Что недостаточно?

— Недостаточно хорош.

— Что недостаточно? — громко переспросила Пэг.— Недостаточно стар, чтобы надеть?

Артур Грайд вполголоса послал к черту глухоту своей экономки и заорал ей в ухо:

— Недостаточно наряден! Я хочу предстать в наилучшем виде!

— В наилучшем виде! — воскликнула Пэг.— Если она такая хорошенькая, как вы говорите, то можете поверить мне на слово, хозяин, не очень-то она будет на вас смотреть. И какой бы костюм вы ни надели,— цвета перца с солью, бутылочного цвета, небесно-голубого или в клетку, все равно вы от этого нисколько не изменитесь.

С таким утешительным замечанием Пэг Слайдерскью взяла костюм, на который пал выбор, и, скрестив поверх узелка костлявые руки, пожевала губами, ухмыльнулась и заморгала водянистыми глазами, напоминая странную фигуру в какой-то чудовищной скульптурной группе.

— Вы как будто в смешливом расположении духа, Пэг,— не особенно любезным тоном сказал Артур.

— Да и есть над чем посмеяться,— заявила старуха.— Но я очень скоро приду в дурное расположение, если кто-нибудь вздумает мной командовать. Так что я вас заранее предупреждаю, хозяин. Никто не сядет на голову Пэг Слайдерскью после стольких-то лет! Вы это

знаете, значит незачем и говорить! Мне это не подходит. Не подходит! Да и вам тоже. Вы только попробуйте разок, и вы разоритесь — разоритесь, разоритесь!

— Ах, боже мой, боже мой, я и пробовать никогда не буду,— сказал Артур Грайд, придя в ужас при одном этом слове.— Ни за что на свете! Очень легко было бы меня разорить. Мы должны быть очень осмотрительны и более экономны, чем раньше, теперь, когда появится лишний рот. Но только... только не нужно, чтобы она потеряла свою миловидность, Пэг, потому что мне приятно смотреть на нее.

— Берегитесь, как бы эта миловидность не обошлась вам очень дорого,— возразила Пэг, грозя указательным пальцем.

— Но она сама может зарабатывать деньги, Пэг,— сказал Артур Грайд, жадно всматриваясь в лицо старухи, чтобы узнать, как подействует на нее это сообщение.— Она умеет рисовать карандашом, писать красками, мастерить всевозможные хорошенькие вещицы для украшения табуретов и стульев; и туфли, Пэг, цепочки для часов, цепочки из волос и тысячу изящных безделушек, которые я даже назвать вам не могу. Потом она умеет играть на фортепьяно (и, что еще лучше, оно у нее есть) и поет, как птичка. Очень дешево будет стоить, Пэг, одевать ее и кормить. Разве вы со мной не согласны?

— Да, пожалуй, если вы позаботитесь о том, чтобы она вас не одурачила,— отозвалась Пэг.

— Одурачить *меня*! — воскликнул Артур.— Положитесь на вашего старого хозяина, Пэг, хорошенькое личико его не одурачит. Нет, нет, нет! Да и безобразное тоже, миссис Слайдерскью,— тихо буркнул он себе под нос.

— Вы что-то говорите и не желаете, чтобы я слышала,— сказала Пэг.— Я знаю, что вы говорите!

— Ах, боже мой, черт сидит в этой старухе! — пробормотал Артур и добавил, отвратительно подмигнув: — Я сказал, что всецело доверяю вам, Пэг, вот и все.

— Так и делайте, хозяин, и никаких забот у вас не будет,— одобрительно сказала Пэг.

«Они у меня будут, Пэг Слайдерскью, *если* я вам доверюсь»,— подумал Артур Грайд.

Хотя он и думал об этом очень отчетливо, однако не смел даже прошептать беззвучно, опасаясь, как бы старуха не изобличила его. Казалось, он даже побаивался, что она прочтет его мысли, и льстиво подмигнул ей, когда заговорил вслух:

— На бутылочно-зеленом нужно обметать все петли лучшим черным шелком. Возьмите самый лучший моток и новые пуговицы для фрака. А вот мне пришла в голову хорошая мысль, Пэг, и вам, я знаю, она понравится: так как я до сих пор ничего ей не дарил, а девушки любят такие знаки внимания, вы почистите то блестящее ожерелье, которое лежит у меня наверху, и я ей подарю его в день свадьбы — сам обовью его вокруг ее прелестной шейки. А на следующий день отберу назад. Хи-хи-хи! Я его спрячу под замок, Пэг, а потом потеряю. Хотел бы я знать, кто тогда останется в дураках, Пэг?

По-видимому, миссис Слайдерскью весьма одобрила этот остроумный план и выразила свое удовольствие всевозможными конвульсивными подергиваниями головы и туловища, что отнюдь не способствовало ее очарованию. Эти подергивания продолжались, пока она не дошла, ковыляя, до двери, где заменила их кислым и злобным взглядом и, двигая из стороны в сторону нижней челюстью, принялась осыпать жаркими проклятьями будущую миссис Грайд, пока медленно ползла вниз по лестнице, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, чтобы отдышаться.

— Мне кажется, она наполовину ведьма,— сказал Артур Грайд, когда снова остался один.— Но она очень бережлива и очень глуха. Мне почти ничего не стоит кормить ее, и ей незачем подслушивать у замочных скважин, потому что она все равно ничего не услышит. В этом смысле она — превосходная женщина, в высшей степени благоразумная старая экономка... и должна цениться на вес... меди.

Воздав хвалу служанке, старый Артур снова стал напевать свою песенку.

Так как костюм, предназначенный украсить приближающееся его бракосочетание, был выбран, Артур спрятал остальные с такою же заботливостью, с какою вы-

таскивал их из покрытых плесенью уголков, где они покоились в безмолвии в течение многих лет.

Встрепенувшись от звонка у двери, он торопливо закончил эту операцию и запер гардероб; но спешить не было никакой необходимости, так как благоразумная Пэг редко замечала, что звонит колокольчик, если ей не случалось поднять мутные глаза и увидеть, что он раскачивается под потолком кухни. Впрочем, Пэг приковыляла довольно скоро, а вслед за ней вошел Ньюмен Ногс.

— А, мистер Ногс! — воскликнул Артур Грайд, потирая руки.— Мой добрый друг мистер Ногс, какие новости вы мне принесли?

Ньюмен с бесстрастным и неподвижным лицом ответил, сопровождая слово делом:

— Письмо. От мистера Никльби. Податель ждет.

— Не хотите ли вы... э...

Ньюмен поднял глаза и причмокнул губами.

— ...присесть?

— Нет,— ответил Ньюмен,— благодарю вас.

Артур дрожащими руками вскрыл письмо и с невероятной жадностью стал пожирать глазами его содержание, восторженно над ним захихикал и прочел несколько раз, прежде чем смог оторвать от него взгляд. Столько раз он его читал и перечитывал, что Ньюмен счел уместным напомнить ему о своем присутствии.

— Ответ! — сказал Ньюмен.— Податель ждет.

— Да, правда,— отозвался старый Артур.— Да, да. Уверяю вас, я почти забыл об этом.

— Я так и думал, что вы забыли,— сказал Ньюмен.

— Хорошо сделали, что напомнили мне, мистер Ногс. Очень хорошо! — сказал Артур.— Да. Я напишу одну строчку. Я... я немножко взволнован, мистер Ногс. Это известие...

— Плохое? — перебил Ньюмен.

— Нет, мистер Ногс, благодарю вас. Хорошее, хорошее. Лучшее из известий. Садитесь. Я принесу перо и чернила и напишу одну строчку в ответ. Я вас долго не задержу. Я знаю, какое вы сокровище для вашего хозяина, мистер Ногс. Иногда он о вас говорит в таких выражениях, мистер Ногс, что... ах, боже мой, вы бы изу-

мились! Могу сказать, что я тоже так говорю и всегда говорил. О вас я всегда говорю одно и то же.

«Ну, значит вы говорите: «От всей души желаю, чтобы мистер Ногс убрался к черту»,— подумал Ньюмен, когда Грайд поспешно вышел.

Письмо упало на пол. Осторожно осмотревшись вокруг, Ньюмен, подстрекаемый желаньем узнать результаты заговора, о котором он услышал, сидя в стенном шкафу, поднял его и быстро прочел следующее:

«Грайд!

Сегодня утром я опять видел Брэя и предложил (согласно вашему желанию) назначить свадьбу на послезавтра. С его стороны нет никаких возражений, а для его дочери все дни одинаковы. Мы отправимся вместе, вы должны быть у меня к семи часам утра. Мне незачем говорить вам, чтобы вы были пунктуальны.

Пока не делайте больше визитов девушке. Последнее время вы бывали там гораздо чаще, чем следовало. Она по вас не томится, и это может оказаться опасным. Сдерживайте ваш юношеский пыл в течение сорока восьми часов, а ее предоставьте отцу. Вы только губите то, что он делает — и делает хорошо.

Ваш *Ральф Никльби*».

За дверью послышались шаги. Ньюмен бросил письмо на прежнее место, придавил ногой, чтобы оно тут и осталось, одним прыжком вернулся к своему стулу и принял такой рассеянный и тупой вид, какой только может быть у смертного. Артур Грайд, нервически осмотревшись, увидел на полу письмо, поднял его и, усевшись писать ответ, взглянул на Ньюмена Ногса, который созерцал стену столь внимательно, что Артур встревожился не на шутку.

— Вы увидели там что-нибудь особенное, мистер Ногс? — спросил Артур, стараясь проследить за взглядом Ньюмена, а это было совершенно невозможно и до сих пор никому еще не удавалось.

— Только паутину,— ответил Ньюмен.

— О! И это все?

— Нет,— сказал Ньюмен.— В ней муха.

— Здесь очень много паутины,— заметил Артур Грайд.

— И у нас много,— отозвался Ньюмен.— И мух тоже.

Казалось, эта реплика доставила большое удовольствие Ньюмену, и, к великому потрясению нервов Артура Грайда, он извлек из суставов своих пальцев серию резких потрескиваний, напоминавших по звуку отдаленные залпы мелких орудий. Тем не менее Артуру удалось дописать ответ Ральфу, и, наконец, он протянул записку эксцентрическому посланцу для передачи.

— Вот она, мистер Ногс,— сказал Грайд.

Ньюмен кивнул, спрятал ее в свою шляпу и, волоча ноги, пошел к двери, но Грайд, чей любовный восторг не знал пределов, поманил его и сказал пронзительным шепотом и с усмешкой, от которой все лицо его собралось в складки, а глаза почти закрылись:

— Не хотите ли... не хотите ли выпить капельку чего-нибудь — так только, отведать?

В дружеском согласии (если Артур Грайд был на это способен) Ньюмен не выпил бы с ним ни капли наилучшего вина, какое только есть на свете, но, желая посмотреть, каков он при этом будет, и по мере сил наказать его, он немедленно принял предложение.

И вот Артур Грайд снова отправился к гардеробу и с полки, нагруженной высокими фламандскими рюмками и причудливыми бутылками — одни были с горлышками, похожими на шею аиста, а другие с квадратным голландским туловищем и короткой толстой, апоплексической шеей,— снял покрытую пылью, многообещающую на вид бутылку и две рюмочки, на редкость маленькие.

— Такого вы никогда не пробовали,— сказал Артур.— Это eau d'or — золотая вода. Мне это вино нравится из-за названия. Чудесное название. Вода из золота, золотая вода! Ах, боже мой, прямо-таки грешно пить ее!

Так как мужество, казалось, быстро ему изменяло и он играл пробкой с таким видом, что можно было опасаться возвращения бутылки на старое место, Ньюмен взял одну из рюмочек и раза два-три постучал ею о бутылку, деликатно напоминая, что ему еще не налили.

С глубоким вздохом Артур Грайд медленно наполнил рюмку, хотя и не до краев, а потом налил себе.

— Постойте, постойте, не пейте еще,— сказал он, положив руку на руку Ньюмена.— Мне это подарили двадцать лет тому назад, и, когда я выпиваю глоточек, что бывает очень редко, я люблю раньше подумать и раззадорить себя. Мы за кого-нибудь выпьем. Давайте выпьем за кого-нибудь, мистер Ногс!

— А! — сказал Ньюмен, нетерпеливо посматривая на свою рюмочку.— Пошевеливайтесь. Податель ждет.

— Так вот что я вам скажу,— захихикал Артур.— Мы выпьем — хи-хи-хи! — мы выпьем за здоровье леди.

— Вообще *всех* леди? — осведомился Ньюмен.

— О нет, мистер Ногс! — ответил Грайд, удерживая его руку.— *Одной* леди. Вы удивляетесь, когда я говорю — *одной* леди? Знаю, что удивляетесь. Знаю. За здоровье маленькой Маделайн. Вот за кого, мистер Ногс. За маленькую Маделайн!

— За Маделайн! — сказал Ньюмен и мысленно добавил: «И да поможет ей бог!»

Быстрота и беспечность, с какою Ньюмен проглотил свою порцию золотой воды, произвели сильное впечатление на старика, который сидел, выпрямившись, на стуле и смотрел на него, разинув рот, словно от этого зрелища у него прервалось дыхание. Ничуть не смущаясь, Ньюмен оставил его допивать не спеша свою рюмку или, если ему угодно, вылить ее обратно в бутылку и удалился, нанеся сначала тяжкое оскорбление достоинству Пэг Слайдерскью, когда прошмыгнул мимо нее в коридоре без всяких извинений или приветствий.

Оставшись наедине, мистер Грайд и его экономка немедленно образовали комитет по изысканию путей и средств и приступили к обсуждению мер, какие следовало принять для встречи молодой жены. Как и в некоторых других комитетах, дебаты были чрезвычайно скучны и многословны, и потому мы в нашем повествовании можем отправиться по стопам Ньюмена Ногса, соединяя необходимое с полезным, ибо это было бы необходимо при любых обстоятельствах, а для необходимого не существует никаких законов, о чем известно всему миру.

— Вы очень замешкались,— сказал Ральф, когда Ньюмен вернулся.

— Это он мешкал,— возразил Ньюмен.

— Эх! — нетерпеливо воскликнул Ральф.— Дайте мне его записку, если он вам ее дал, а если нет, так передайте ответ на словах. И не уходите. Я хочу сказать вам два слова, сэр.

Ньюмен протянул записку и принял весьма добродетельный и невинный вид, пока Ральф распечатывал ее и просматривал.

— Он не преминет прийти,— пробормотал Ральф, разрывая записку на мелкие кусочки.— Разумеется, я знал, что он не преминет прийти. Зачем было это сообщать? Ногс! Послушайте, сэр, что это за человек, с которым я вас видел вчера вечером на улице?

— Не знаю,— ответил Ногс.

— Ну-ка освежите свою память, сэр! — грозно взглянув на него, сказал Ральф.

— Говорю же вам, что не знаю,— смело возразил Ньюмен.— Он приходил сюда два раза и спрашивал вас. А вас не было. Он пришел опять. Вы сами его прогнали. Он сказал, что его фамилия Брукер.

— Знаю,— заметил Ральф.— А потом что?

— А потом что? Потом он шнырял здесь вокруг и ходил за мной по пятам на улице. Он идет за мной следом каждый вечер и пристает, чтобы я ему устроил встречу с вами. По его словам, такая встреча один раз уже была, и не так давно. Ему нужно увидеть вас лицом к лицу, говорит он, и он ручается, что скоро вы согласитесь выслушать его до конца.

— А вы что на это говорите? — осведомился Ральф, зорко глядя на своего раба.

— Что это не мое дело и что я не хочу. Я ему посоветовал поймать вас на улице, если это все, что ему нужно. Так нет же, этого он не хочет! Он сказал, что на улице вы ни слова не пожелаете слушать. Он должен остаться с вами с глазу на глаз в комнате с запертой дверью, где может говорить без опаски, и тогда вы скоро измените тон и выслушаете его терпеливо.

— Наглец! — пробормотал Ральф.

— Вот все, что мне известно,— сказал Ньюмен.— По-

вторяю, я не знаю, что это за человек. Не думаю, чтобы он сам это знал. Вы его видели. Может быть, вы знаете.

— Думаю, что знаю,— ответил Ральф.

— Ну, так вот,— угрюмо продолжал Ньюмен,— не думайте, что я тоже его знаю. Теперь вы меня спросите, почему я вам раньше об этом не сообщил. А что бы вы сказали, если бы я передавал вам все, что о вас говорят? Как вы меня называете, если я иной раз это делаю? «Скотина! Осел!» И огрызаетесь, как дракон.

Это была правда. Что же касается вопроса, который предвосхитил Ньюмен, то он и в самом деле готов был сорваться с языка Ральфа.

— Это бездельник и мошенник! — сказал Ральф.— Бродяга, вернувшийся из-за океана, куда отправился за свои преступления; преступник, выпущенный на свободу, чтобы окончить жизнь в петле; негодяй, имевший дерзость испробовать свои плутни на мне, невзирая на то, что я его хорошо знаю. В следующий раз, когда он будет к вам приставать, передайте его в руки полиции за попытку вымогать деньги угрозами и ложью!.. Слышите?.. А остальное предоставьте мне. Пусть он посидит в тюрьме, и, ручаюсь, по выходе оттуда он поищет других людей, которых мог бы стричь. Вы слышите, что я говорю?

— Слышу,— подтвердил Ньюмен.

— Так и сделайте,— сказал Ральф,— а я вас награжу. Теперь можете идти.

Ньюмен охотно воспользовался этим разрешением, заперся в своей маленькой конторе и провел там весь день в очень серьезных размышлениях. Вечером, когда его отпустили, он отправился во всю прыть в Сити и занял прежний свой пост за насосом, чтобы подстеречь Николаса. Ибо Ньюмен Ногс был по-своему горд и в качестве друга Николаса не мог появиться перед братьями Чирибл таким оборванцем и в таком жалком состоянии, до какого его довели.

Он не провел на этом посту и нескольких минут, когда с радостью увидел приближавшегося Николаса и выскочил из своей засады ему навстречу. Николас, со своей стороны, был не менее обрадован появлению друга, которого последнее время не видел; поэтому встретились они сердечно.

— Я только что о вас думал,— сказал Николас.

— Это хорошо,— отозвался Ньюмен,— а я о вас. Сегодня я не мог не прийти. Слушайте: мне кажется, я на пути к какому-то открытию.

— Какое же это может быть открытие? — спросил Николас, улыбаясь такому странному сообщению.

— Не знаю какое, не знаю какое,— сказал Ньюмен,— Это какая-то тайна, в сохранении которой заинтересован ваш дядя, но что это такое, мне еще не удалось выяснить, хотя у меня есть серьезные подозрения. Сейчас не буду о них говорить, чтобы вам не пришлось разочароваться.

— Разочароваться *мне*! — воскликнул Николас.— Разве я в этом замешан?

— Думаю, что да,— ответил Ньюмен.— Мне запало в голову, что это именно так. Я нашел человека, который явно знает больше, чем хочет сказать. И он уже бросал мне такие намеки, которые поставили меня в тупик. Я говорю — поставили меня в тупик,— повторил Ньюмен, яростно растирая свой красный нос; при этом он изо всех сил таращил глаза на Николаса.

Недоумевая, что побудило его друга принять столь таинственный вид, Николас попытался выяснить причину с помощью ряда вопросов, но безуспешно. Из Ньюмена нельзя было вытянуть более вразумительного ответа, чем повторение туманных замечаний, уже брошенных им раньше, и запутанной речи на тему о том, что необходимо соблюдать величайшую осторожность, что зоркий Ральф уже видел его в обществе незнакомца и что он, Ньюмен, сбил с толку упомянутого Ральфа крайней своей сдержанностью и хитроумными ответами, ибо с самого начала подготовился к этому.

Вспомнив слабость своего собеседника,— о ней его нос, подобно маяку, постоянно извещал всех зрителей,— Николас увлек его в уединенную таверну. Здесь они принялись обсуждать начало и развитие их знакомства; припоминая мелкие события, они добрались, наконец, до мисс Сесилии Бобстер.

— Кстати,— заметил Ньюмен,— вы мне так и не сказали настоящего имени молодой леди.

— Маделайн,— сообщил Николас.

— Маделайн? — воскликнул Ньюмен.— Какая Маделайн? Как ее фамилия? Скажите мне ее фамилию!

— Брэй,— с величайшим изумлением ответил Николас.

— Та самая! — вскричал Ньюмен.— Плохо дело! И вы можете сложа руки смотреть, как этот чудовищный брак будет заключен, не делая ни единой попытки спасти ее?

— Что это значит? — встрепенувшись, воскликнул Николас.— Брак! Вы с ума сошли?

— А вы? А она? Или вы слепы, глухи, бесчувственны, мертвы? — сказал Ньюмен.— Да знаете ли вы, что через день благодаря вашему дяде Ральфу она выйдет замуж за человека такого же дурного, как он? Даже еще хуже, если это только возможно! Знаете ли вы, что через день она будет принесена в жертву — и это так же верно, как то, что вы стоите здесь,— старому негодяю, дьяволу во плоти, искушенному во всех дьявольских кознях...

— Думайте о том, что вы говорите! — перебил Николас.— Ради бога! Я один здесь остался, а те, кто мог бы протянуть руку, чтобы спасти ее, сейчас далеко. Что вы хотите сказать?

— Я никогда не слышал ее имени,— сказал Ньюмен, задыхаясь от волнения.— Почему вы мне не сказали? Как я мог знать? По крайней мере у нас было бы время подумать!

— Что вы хотите сказать? — закричал Николас.

Нелегкое было дело вырвать у Ньюмена это сообщение, но после бесконечной и странной пантомимы, которая ничего не разъясняла, Николас, придя почти в такое же неистовство, как и сам Ньюмен Ногс, насильно усадил его на стул и придерживал, пока тот не начал рассказывать.

Бешенство, изумление, негодование захлестнули сердце слушателя, когда перед ним раскрылся заговор. Едва успел он уразуметь, в чем дело, как, дрожа всем телом и с землисто-серым лицом, выбежал из комнаты.

— Держите его! — закричал Ньюмен, бросившись вдогонку.— Он выкинет что-нибудь отчаянное! Он убьет кого-нибудь! Эй! Держи его! Держи вора, держи вора!

ГЛАВА LII

Николас отчаивается спасти Маделайн Брэй, но вновь обретает мужество и решает сделать попытку. Сведения о делах семейных Кенуигсов и Лиливиков

Видя, что Ньюмен решил во что бы то ни стало остановить его, и опасаясь, что какой-нибудь благонамеренный прохожий, привлеченный криком: «Держи вора!», немедленно схватит его и тогда ему не так-то легко будет выпутаться из этого неприятного положения, Николас вскоре замедлил шаги и позволил Ньюмену Ногсу присоединиться к нему; тот это сделал, задыхаясь так, что казалось, еще минута — и он не выдержит.

— Я иду прямо к Брэю! — сказал Николас.— Я увижу этого человека. Если осталось у него в груди хоть какое-нибудь человеческое чувство, хоть искра любви к родной дочери, не имеющей ни матери, ни друзей, я эту искру раздую!

— Не раздуете,— возразил Ньюмен.— Право же, не раздуете.

— В таком случае,— сказал Николас, шагая вперед,— я последую первому своему побуждению и пойду прямо к Ральфу Никльби.

— К тому времени, когда вы туда доберетесь, он будет в постели,— сказал Ньюмен.

— Я его оттуда вытащу! — крикнул Николас.

— Ну-ну! — сказал Ногс.— Опомнитесь.

— Вы лучший из друзей, Ньюмен,— помолчав, начал Николас и с этими словами взял его за руку.— Много испытаний выпало на мою долю, и я не терял голову, но с этим испытанием связано несчастье другого человека — такое несчастье, что я прихожу в отчаяние и не знаю, как быть!

Действительно, положение казалось безнадежным. Немыслимо было извлечь какую-нибудь пользу из тех сведений, какие почерпнул Ньюмен Ногс, когда прятался в шкафу. Самый факт соглашения между Ральфом Никльби и Грайдом не мог служить законным препятствием к браку и не заставил бы возражать против него Брэя, ко-

торый если и не знал точно о существовании какого-то договора, то несомненно подозревал об этом. Упоминание о мошенничестве, жертвой которого должна была стать Маделайн, было сделано Артуром Грайдом в достаточной мере туманно, а в передаче Ньюмена Ногса, окутанного вдобавок парами из «карманного пистолета», оно стало совсем невразумительным.

— Я не вижу ни проблеска надежды,— сказал Николас.

— Тем больше оснований сохранять хладнокровие, рассудок, сообразительность,— сказал Ньюмен, делая паузу после каждого слова, чтобы с тревогой заглянуть в лицо друга.— Где братья?

— Уехали по неотложным делам и вернутся не раньше чем через неделю.

— Нельзя ли дать им знать? Сделать так, чтобы один из них был здесь завтра к вечеру?

— Невозможно! — сказал Николас.— Нас разделяет море. При самом попутном ветре, какой только может быть, потребовалось бы три дня и три ночи, чтобы съездить туда и вернуться.

— А их племянник? — спросил Ньюмен.— Их старый клерк?

— Могут ли они сделать больше, чем я? — возразил Николас.— Что касается их обоих, мне предписано хранить полное молчание об этом предмете. Какое право имею я обмануть доверие, мне оказанное, если ничто, кроме чуда, не может предотвратить этой жертвы?

— Подумайте,— понукал Ньюмен.— Нет ли какого-нибудь средства?

— Нет,— в глубоком унынии сказал Николас.— Никакого. Отец настаивает, дочь соглашается. Эти дьяволы держат ее в своих сетях; на их стороне закон, сила, власть, деньги, положение. Могу ли я надеяться спасти ее?

— Надейтесь до конца! — воскликнул Ньюмен, похлопав его по спине.— Всегда надейтесь, мой мальчик! Никогда не переставайте надеяться! Вы меня слышите, Ник? Испробуйте всё. Это кое-что значит — увериться в том, что вы сделали все возможное. Но главное — не переставайте надеяться, иначе нет никакого смысла делать что бы то ни было. Надейтесь, надейтесь до конца!

Николас нуждался в ободрении. Внезапность, с какой открылись ему планы обоих ростовщиков, короткий срок, оставшийся ему, чтобы им помешать, вероятность, почти граничившая с уверенностью, что через несколько часов Маделайн станет для него навеки недосягаемой, будет обречена на невыразимые страдания и, быть может, на безвременную смерть,— все это совершенно оглушило и ошеломило его. Все надежды, связанные с нею, какие он позволял себе лелеять или питал бессознательно, казалось, лежали у его ног, увядшие и мертвые. Все обаятельные ее черты, какие хранила его память или воображение, представлялись ему, и это только усиливало его тревогу, и отчаяние его становилось еще более горьким. Глубокое сострадание, вызванное ее беспомощностью, и восхищение ее героизмом и стойкостью разжигали негодование, сотрясавшее его тело и переполнявшее сердце, готовое разорваться.

Но если сердце Николаса было для него бременем, то сердце Ньюмена пришло ему на помощь. Столько настойчивости было в его уговорах и столько искренности и горячности в его манерах, как всегда странных и нелепых, что Николас обрел новые силы; некоторое время он шел молча и, наконец, сказал:

— Вы дали мне хороший урок, Ньюмен, и я им воспользуюсь. Один шаг я во всяком случае могу сделать, нет, должен сделать. И этим я займусь завтра.

— Какой шаг? — пытливо спросил Ногс.— Пригрозить Ральфу? Увидеть отца?

— Увидеть дочь, Ньюмен,— ответил Николас.— Сделать то, больше чего не мог бы сделать брат, если бы он у нее был, если бы небо его послало. Привести ей доводы против этого отвратительного союза, нарисовать ей те ужасы, навстречу которым она стремится,— быть может, опрометчиво и не подумав как следует. Умолять ее, чтобы она хотя бы повременила! Ведь у нее не было и нет никого, кто бы заботился о ее благе. Может быть, я еще могу повлиять на нее, хотя близится последний час и она на краю гибели!

— Мужественные слова! — отозвался Ньюмен.— Прекрасно сказано, прекрасно сказано! Очень хорошо.

— И я заявляю,— воскликнул восторженно Николас,— что, если я делаю это усилие, мною руководят не эгоистические соображения, но только жалость к ней и омерзение и отвращение к этому замыслу! Я сделал бы то же самое, если бы рядом стояли двадцать соперников и среди них я был бы последним и пользовался наименьшей благосклонностью!

— Верю, что вы бы это сделали,— сказал Ньюмен.— Но куда вы сейчас спешите?

— Домой,— ответил Николас.— Вы пойдете со мной, или мы попрощаемся?

— Я вас провожу немного, если вы будете идти, а не бежать,— сказал Ногс.

— Сегодня я не могу идти медленно, Ньюмен,— возразил Николас.— Я должен двигаться быстро, иначе я задохнусь. Завтра я вам расскажу все, что я говорил и делал.

Не дожидаясь ответа, он пошел быстрым шагом и, нырнув в толпу, запрудившую улицу, тотчас скрылся из виду.

— Этот юноша иногда собой не владеет,— сказал Ньюмен, глядя ему вслед,— но таким я еще больше люблю его. На это у него есть основания, ведь сам черт вмешался в дело. Надежда! И я еще говорил о надежде, когда Ральф Никльби и Грайд столковались! Надежда для их противника! Хо-хо!

Очень меланхолический был смех, которым Ньюмен Ногс закончил свой монолог; и, очень меланхолически покачивая головой и с очень унылой физиономией, он повернулся и побрел своей дорогой.

При обычных обстоятельствах эта дорога привела бы его к какой-нибудь маленькой таверне или кабачку; таков был его обычный путь. Но Ньюмен был слишком взволнован и обеспокоен, чтобы прибегнуть даже к этому средству, и после долгих печальных и гнетущих размышлений пошел прямо домой.

Случилось так, что в этот день мисс Морлина Кенуигс получила приглашение сесть завтра на пароход у Вестминстерского моста и отправиться на Ил-Пай-Айленд у Туикенхема — угощаться холодными закусками, пивом, наливками, креветками и танцевать на вольном воздухе под музыку бродячих музыкантов, доставленных туда

для этой цели; пароход был специально нанят для удобства многочисленных учеников учителем танцев с обширными связями, а ученики оценили старания учителя танцев, купив — и заставив своих друзей сделать то же самое — множество голубых билетов, дающих право участвовать в экскурсии. Из этих голубых билетов один был преподнесен тщеславной соседкой мисс Морлине Кенуигс с предложением присоединиться к ее дочерям. И миссис Кенуигс, правильно рассудив, что честь семьи зависит от того, чтобы за такое короткое время придать мисс Морлине наиболее ослепительный вид и доказать учителю танцев, что существуют и другие учителя танцев, кроме него, а всем присутствующим отцам и матерям — что не только их дети, но и дети других родителей могут быть обучены элегантным манерам,— миссис Кенуигс дважды падала в обморок, подавленная грандиозностью своих приготовлений. Но, подкрепленная решимостью оправдать семейную репутацию или погибнуть, она все еще трудилась не покладая рук, когда Ньюмен Ногс вернулся домой.

Гофрируя воротничок, обшивая оборками панталончики, отделывая платьице и, между прочим, падая в обморок и снова приходя в чувство, миссис Кенуигс была слишком занята и потому всего полчаса назад заметила, что льняные косички мисс Морлины, так сказать, отбились от рук и если не поручить ее заботам искусного парикмахера, то ей никак не восторжествовать над дочерьми всех остальных родителей, а что-либо меньшее, чем грандиозное торжество, было равносильно поражению. Это открытие повергло миссис Кенуигс в отчаяние, так как парикмахер жил за три квартала и по дороге к нему было восемь опасных перекрестков. Морлину нельзя было отпустить туда одну, даже если бы такой шаг отвечал всем правилам приличия, в чем миссис Кенуигс сомневалась; мистер Кенуигс еще не вернулся с работы, и отвести ее было некому. И вот миссис Кенуигс сначала шлепнула мисс Кенуигс как виновницу ее раздражения, а затем залилась слезами.

— Неблагодарное дитя! — воскликнула миссис Кенуигс.— И это после всего того, что я сегодня претерпела ради тебя!

— Я ничего не могу поделать, мама,— отозвалась Морлина, тоже в слезах.— Волосы растут и растут.

— Не возражай мне, дрянная девчонка! — сказала миссис Кенуигс.— Не возражай мне! Даже если бы я тебе доверяла и отпустила одну и тебя бы не переехали, я знаю — ты бы забежала к Лоре Чопкинс (это была дочь тщеславной соседки) и рассказала бы ей, какое платье ты завтра наденешь. Знаю, что рассказала бы. У тебя нет настоящей гордости, и тебя ни на секунду нельзя оставить без присмотра.

Сетуя в таких выражениях на дурные наклонности своей старшей дочери, миссис Кенуигс снова пролила слезы, вызванные досадой, и заявила о своей уверенности в том, что ни один человек на свете не выносил таких испытаний, как она. Тут Морлина Кенуигс опять разрыдалась, и вдвоем они принялись себя оплакивать.

Таково было положение дел, когда они услышали, как Ньюмен Ногс проковылял мимо их двери к себе наверх, после чего миссис Кенуигс, обретя надежду при звуке его шагов, поспешила удалить со своей физиономии те следы недавнего волнения, какие можно было стереть за такое короткое время; представ перед Ньюменом Ногсом и поведав об их затруднении, она стала умолять, чтобы он проводил Морлину в парикмахерскую.

— Я бы не просила вас, мистер Ногс,— сказала миссис Кенуигс,— если бы не знала, какой вы добрый, сердечный человек. Ни за что на свете я бы вас не попросила! Я слабое существо, мистер Ногс, но дух мой не позволил бы мне просить об одолжении, если бы в нем могло быть отказано, так же как не позволил бы он мне подчиниться и спокойно наблюдать, как зависть и низость топчут и попирают ногами моих детей!

Ньюмен был слишком добродушен, чтобы ответить отказом, даже если бы не было этого конфиденциального признания со стороны миссис Кенуигс. Поэтому не прошло и нескольких минут, как он и мисс Морлина были на пути к парикмахерской.

Это была в сущности не парикмахерская,— иными словами, умы более грубые и вульгарные могли бы назвать ее цирюльней, так как здесь не только подстригали

и завивали дам элегантно, а детей аккуратно, но и мягко брили джентльменов. Все-таки это было чрезвычайно изысканное заведение,— собственно говоря, первоклассное,— и в окне, помимо других изящных вещей, были выставлены восковые бюсты белокурой леди и темноволосого джентльмена, которые вызывали восхищение всех окрестных жителей. Иные леди даже дошли до того, что утверждали, будто темноволосый джентльмен является копией вдохновенного молодого владельца парикмахерской, а большое сходство между их прическами (у обоих были очень глянцевитые волосы, узкий пробор посередине и множество плоских круглых завитушек по бокам) укрепляло это мнение. Однако леди, более осведомленные, не принимали этого утверждения всерьез; как бы ни хотелось им (а им очень хотелось) воздать должное красивому лицу и фигуре владельца парикмахерской, они считали физиономию темноволосого джентльмена в витрине воплощением восхитительной и отвлеченной идеи мужской красоты, каковая, пожалуй, наблюдается иногда у ангелов и военных, но очень редко услаждает взоры смертных.

В это заведение Ньюмен Ногс благополучно привел мисс Кенуигс. Владелец парикмахерской, зная, что у мисс Кенуигс есть три сестры и у каждой две льняные косички, что давало по шесть пенсов с головы по крайней мере раз в месяц, тотчас бросил старого джентльмена, которого только что намылил и, передав его своему помощнику (который не пользовался большой популярностью у дам, ввиду своей тучности и солидного возраста), сам занялся молодой леди.

Как только произошел этот обмен местами, явился, чтобы побриться, дюжий, дородный, добродушный грузчик угля с трубкой во рту; проведя рукой по подбородку, он пожелал узнать, когда освободится брадобрей.

Помощник, которому был задан этот вопрос, нерешительно посмотрел на молодого хозяина, а молодой хозяин презрительно посмотрел на грузчика и заметил:

— Вас здесь брить не будут, приятель.

— А почему? — спросил грузчик.

— Мы не бреем джентльменов вашей профессии,— объявил молодой хозяин.



— Да я сам видел на прошлой неделе, заглянув в окно, как вы брили булочника,— сказал грузчик.

— Необходимо где-то провести черту, любезный,— ответил хозяин.— Мы проводим черту здесь. Мы не можем идти дальше булочников. Если мы спустимся ниже булочников, наши клиенты уйдут от нас, и придется закрывать лавочку. Поищите какое-нибудь другое заведение, сэр. Здесь мы не можем вас брить.

Посетитель вытаращил глаза, ухмыльнулся Ньюмену Ногсу, казалось, веселившемуся от души, затем пренебрежительно окинул взглядом парикмахерскую, как бы снижая цену баночкам с помадой и прочим товарам, вынул изо рта трубку и очень громко свистнул, а потом снова сунул ее в рот и вышел.

Старый джентльмен, которого только что намылили и который сидел в меланхолической позе, обратив лицо к стене, казалось, даже не заметил этого инцидента и оставался бесчувственным ко всему, вокруг него происходящему, погруженный в глубокое раздумье, весьма печальное, если судить по вздохам, вырывавшимся у него время от времени. Вдохновленный эпизодом с посетителем, хозяин начал подстригать мисс Кенуигс, помощник — скрести старого джентльмена, а Ньюмен Ногс — читать последний номер воскресной газеты,— все трое в глубоком молчании; вдруг мисс Кенуигс пронзительно взвизгнула, и Ньюмен, подняв глаза, увидел, что этот визг вызван тем обстоятельством, что старый джентльмен повернул голову и обнаружились черты лица мистера Лиливика, сборщика.

Да, это были черты лица мистера Лиливика, но странно изменившиеся. Если какой-либо пожилой джентльмен почитал существенно важным появляться в обществе чисто и гладко выбритым, то таким пожилым джентльменом был мистер Лиливик. Если какой-либо сборщик держал себя, как подобает сборщику, и всегда сохранял вид торжественный и исполненный достоинства, словно весь мир был записан у него в книгах и еще не заплатил за последние два квартала, то таким сборщиком был мистер Лиливик. А теперь он сидел здесь с обременяющими его подбородок остатками бороды, отросшей по крайней мере за неделю, сидел в запачканных и измятых

брыжах, которые прижимались к его груди, вместо того чтобы смело торчать вперед, и с видом таким смущенным и прибитым, таким безнадежным и выражающим такое унижение, скорбь и стыд, что, если бы души сорока несостоятельных квартирохозяев, у которых выключили воду за невзнос платы, воплотились в одном теле, это одно тело вряд ли могло бы выразить такое отчаяние и разочарование, какие выражала сейчас особа мистера Лиливика, сборщика.

Ньюмен Ногс окликнул его по имени, и мистер Лиливик застонал, потом кашлянул, чтобы заглушить стон. Но стон был полноценным стоном, а покашливание только хрипением.

— Что-нибудь неладно? — спросил Ньюмен Ногс.

— Неладно, сэр! — повторил мистер Лиливик.— Водопроводный кран жизни высох, сэр, и осталась только грязь.

Так как эта реплика, стиль которой Ньюмен приписал недавнему общению мистера Лиливика с драматическими актерами, не вполне разъяснила дело, Ньюмен хотел задать еще вопрос, но мистер Лиливик предупредил его, горестно протянув руку для рукопожатия, а затем махнув этой рукой.

— Пусть меня побреют,— сказал мистер Лиливик.— Это будет сделано раньше, чем кончат с Морлиной. Ведь это Морлина, не так ли?

— Да,— сказал Ньюмен.

— У Кенуигсов родился мальчик, не правда ли? — осведомился сборщик.

Ньюмен снова сказал:

— Да.

— Хорошенький мальчик? — спросил сборщик.

— На вид не очень противный,— ответил Ньюмен, приведенный в некоторое замешательство этим вопросом.

— Бывало, Сьюзен Кенуигс говорила, что, если когда-нибудь будет еще мальчик,— заметил сборщик,— она надеется, он будет похож на меня. А этот похож, мистер Ногс?

Вопрос был затруднительный, но Ньюмен ответил мистеру Лиливику уклончиво, что, по его мнению, со временем малютка может оказаться на него похожим.

— Почему-то мне было бы приятно увидеть кого-нибудь похожего на меня, прежде чем я умру,— сказал мистер Лиливик.

— Но пока вы еще не собираетесь это сделать? — осведомился Ньюмен.

На что мистер Лиливик ответил торжественно:

— Пусть меня побреют!

И, снова отдав себя в руки помощника, не проронил больше ни слова.

Такое поведение было удивительно. Мисс Морлина, рискуя, что ей, того гляди, отхватят ухо, не могла удержаться и раз двадцать оглядывалась в продолжение вышеупомянутого разговора. Однако на нее мистер Лиливик не обращал ни малейшего внимания, даже старался (по крайней мере так показалось Ньюмену Ногсу) ускользнуть от ее наблюдения и ежился всякий раз, когда привлекал к себе ее взгляды. Ньюмен недоумевал, чем могла быть вызвана такая перемена в манерах сборщика. Но, рассудив философически, что, по всей вероятности, он рано или поздно об этом узнает, а до той поры прекрасно может подождать, он не испытывал особенного беспокойства по случаю странного поведения старого джентльмена.

Когда с подстриганьем и завивкой было покончено, старый джентльмен, который сидел в ожидании, встал и, выйдя с Ньюменом и его опекаемой, взял Ньюмена под руку и некоторое время шествовал, не делая никаких замечаний. Ньюмен, которого мало кто мог превзойти в уменье безмолвствовать, не пытался нарушить молчание, и так продолжали они идти, пока почти не поравнялись с домом мисс Морлины, а тогда мистер Лиливик задал вопрос:

— Мистер Ногс, Кенуигсы были очень потрясены этим известием?

— Каким известием? — спросил в свою очередь Ньюмен.

— Что я... я...

— Женились? — подсказал Ньюмен.

— Да! — ответил мистер Лиливик опять со стоном, который на этот раз не был замаскирован даже сопеньем.

— Мама расплакалась, когда узнала,— вмешалась мисс Морлина,— но мы долго от нее скрывали, а папа

был очень удручен, но теперь ему лучше, а я была очень больна, но мне тоже лучше.

— Ты бы поцеловала твоего двоюродного дедушку Лиливика, если бы он тебя попросил об этом, Морлина? — нерешительно осведомился сборщик.

— Да, поцеловала бы, дядя Лиливик,— ответила Морлина с такой же энергией, какая была свойственна ее матери и отцу,— но не тетю Лиливик. Она мне не тетя, и я никогда не буду называть ее тетей.

Едва были произнесены эти слова, как мистер Лиливик схватил мисс Морлину на руки и поцеловал ее. Находясь к тому времени у двери дома, где жил мистер Кенуигс (дверь, как упоминалось выше, обычно была открыта настежь), он вошел прямо в гостиную мистера Кенуигса и поставил мисс Морлину посреди комнаты. Мистер и миссис Кенуигс сидели за ужином. При виде вероломного родственника миссис Кенуигс побледнела и почувствовала дурноту, а мистер Кенуигс величественно поднялся.

— Кенуигс,— сказал сборщик,— пожмем друг другу руку!

— Сэр! — сказал мистер Кенуигс.— Было время, когда я с гордостью пожимал руку такому человеку, как тот, который сейчас меня созерцает. Было время, сэр,— сказал мистер Кенуигс,— когда посещение этого человека пробуждало в груди моей и моего семейства чувства натуральные и бодрящие. Но теперь я смотрю на этого человека с волнением, превосходящим решительно все, и я спрашиваю себя: где его честь, где его прямота и где его человеческая природа?

— Сьюзен Кенуигс! — проговорил мистер Лиливик, смиренно обращаясь к племяннице.— Ты мне ничего не скажешь?

— Ей это не по силам, сэр! — сказал мистер Кенуигс, энергически ударив кулаком по столу.— Когда она кормит здорового младенца и размышляет о вашем жестоком поведении, четыре пинты пива едва могут поддержать ее.

— Я рад, что младенец здоров. Я этому очень рад,— кротко сказал бедный сборщик.

Он коснулся самой чувствительной струны Кенуигсов.

Миссис Кенуигс мгновенно залилась слезами, а мистер Кенуигс обнаружил чрезвычайное волнение.

— Приятнейшим моим чувством на протяжении всего того времени, когда ожидалось это дитя,— горестно сказал мистер Кенуигс,— было такое чувство: «Если родится мальчик, на что я надеюсь, ибо слышал, как дядя Лиливик повторял снова и снова, что предпочел бы в следующий раз мальчика,— если родится мальчик, что скажет его дядя Лиливик? Как пожелает он назвать его? Будет ли он Питер, или Александр, или Помпей, или Диоргин [1], или кем он будет?» И теперь, когда я смотрю на него,— драгоценное, наивное, беспомощное дитя, которому его ручонки служат только для того, чтобы срывать крошечный чепчик, а ножонки — чтобы лягать собственное тельце,— когда я вижу его, лежащего на коленях матери, воркующего и в невинности своей едва не удушающего себя своим собственным маленьким кулачком,— когда я вижу его в этом младенческом состоянии и думаю о том, что тот самый дядя Лиливик, который должен был так его полюбить, улетучился,— такая жажда мести овладевает мной, что никакими словами ее не описать! И я чувствую себя так, словно даже этот святой младенец повелевает мне ненавидеть его!

Эта трогательная картина глубоко взволновала миссис Кенуигс. После неудачных попыток произнести несколько слов, которые тщетно пытались выбраться на поверхность, но захлебнулись и были смыты неудержимым потоком слез, она заговорила.

— Дядя! — сказала миссис Кенуигс.— Подумать только, что вы повернулись спиной ко мне, и к моим дорогим детям, и к Кенуигсу, виновнику их существования,— вы, когда-то такой нежный и любящий! Мы испепелили бы презрением, как молнией, всякого, кто намекнул бы нам о чем-либо подобном... Вы, в честь которого был наречен у алтаря маленький Лиливик, наш первенец, наш славный первый мальчик! О боже милостивый!

— Разве мы интересовались когда-нибудь деньгами? — осведомился мистер Кенуигс.— Разве думали мы когда-нибудь о богатстве?

---

[1] Искаженное Диоген.

— Нет! — воскликнула миссис Кенуигс.— Я его презираю!

— Я тоже презираю,— сказал мистер Кенуигс.— И всегда презирал.

— Чувства мои были растерзаны,— продолжала миссис Кенуигс,— сердце мое разорвалось на части от тоски, роды начались с опозданием, мое невинное дитя от этого страдало, и, боюсь, Морлина совсем зачахла. И все это я прощаю и забываю, и с вами, дядя, я никогда не ссорилась. Но не просите меня принять ее, никогда не просите об этом, дядя! Потому что я этого не сделаю! Не сделаю! Я не хочу, не хочу, не хочу!

— Сьюзен, дорогая моя, подумай о твоем ребенке! — сказал мистер Кенуигс.

— Да! — взвизгнула миссис Кенуигс.— Я подумаю о моем ребенке, я подумаю о моем ребенке! О родном моем ребенке, которого никакие дяди не могут у меня отнять! О моем ненавидимом, презираемом, заброшенном, отвергнутом ребеночке...

И тут волнение миссис Кенуигс стало столь неудержимым, что мистер Кенуигс поневоле должен был прибегнуть к нюхательной соли, как к внутреннему средству, и к уксусу, как к средству наружному, и погубить шнурок от корсета, четыре тесемки от юбки и несколько пуговиц.

Ньюмен был молчаливым свидетелем этой сцены, так как мистер Лиливик дал ему знак не уходить, а мистер Кенуигс кивком пригласил его остаться. Когда миссис Кенуигс немножко оправилась и Ньюмен, как человек, имеющий на нее некоторое влияние, принялся увещевать ее и успокаивать, мистер Лиливик сказал, запинаясь:

— Никогда не буду просить я никого из присутствующих принимать мою... мне незачем произносить это слово, вы знаете... что я хочу сказать. Кенуигс и Сьюзен! Вчера... ровно неделя, как она... сбежала с капитаном в отставке!

Мистер и миссис Кенуигс содрогнулись одновременно.

— Сбежала с капитаном в отставке! — повторил мистер Лиливик.— Гнусно и предательски сбежала с капитаном в отставке. С капитаном, обладателем толстого и распухшего носа, с капитаном, которого каждый почитал бы безопасным. В этой комнате,— сказал мистер

Лиливик, сурово озираясь вокруг,— я впервые увидел Генриетту Питоукер! В этой комнате я отрекаюсь от нее навеки!

Это заявление совершенно изменило положение дел. Миссис Кенуигс бросилась на шею старому джентльмену, горько упрекая себя за недавнюю жестокость и восклицая, что если она страдала, то каковы же были его страдания! Мистер Кенуигс схватил его руку и поклялся в вечной дружбе и в раскаянии. Миссис Кенуигс пришла в ужас при мысли, что она пригрела у себя на груди такую змею, ехидну, гадюку и гнусного крокодила, как Генриетта Питоукер. Мистер Кенуигс заявил, что она, должно быть, и в самом деле ужасна, если ей не пошло на пользу столь длительное созерцание добродетелей миссис Кенуигс. Миссис Кенуигс припомнила, как мистер Кенуигс частенько говорил, что его не вполне удовлетворяет поведение мисс Питоукер, и выразила удивление, как это могло случиться, что ее ввела в заблуждение эта мерзкая особа. Мистер Кенуигс припомнил, что у него мелькали подозрения, но его не удивляет, если они не мелькали у миссис Кенуигс, ибо миссис Кенуигс — воплощенное целомудрие, чистота и правда, а Генриетта — это гнусность, фальшь и обман. И мистер и миссис Кенуигс сказали оба со слезами сострадания, что все случилось к лучшему, и умоляли доброго сборщика не предаваться бесплодной тоске, но искать утешения в обществе тех любящих родственников, чьи объятия и сердца всегда для него раскрыты!

— Из любви и уважения к вам, Сьюзен и Кенуигс,— сказал мистер Лиливик,— но отнюдь не из мстительного и злобного чувства к ней, ибо этого она недостойна, я завтра же утром переведу на ваших детей, с тем чтобы им выплатили в день их совершеннолетия или бракосочетания, те деньги, которые я когда-то намерен был оставить им по завещанию. Акт составим завтра, и одним из свидетелей будет мистер Ногс. Сейчас он слышит мое обещание, и он убедится, что оно будет исполнено.

Потрясенные этим благородным и великодушным предложением, мистер Кенуигс, миссис Кенуигс и мисс Морлина Кенуигс принялись рыдать все вместе, а когда их рыдания донеслись до смежной комнаты, где спали дети,

те тоже заплакали, и мистер Кенуигс бросился туда как сумасшедший, принес их на руках, по двое в каждой руке, опустил их в их ночных чепчиках и рубашонках к ногам мистера Лиливика и предложил им возблагодарить и благословить его.

— А теперь,— сказал мистер Лиливик, когда душераздирающая сцена пришла к концу и детей убрали,— дайте мне поужинать. Все это произошло в двадцати милях от Лондона. Я приехал сегодня утром и слонялся целый день, не решаясь прийти и повидать вас. Я потакал ей во всем, она поступала по-своему, она делала все, что ей угодно, а теперь вот она что сделала! У меня было двенадцать чайных ложек и двадцать четыре фунта соверенами... Сначала я обнаружил их пропажу... Это было испытание... Я чувствую, что впредь уже не в силах буду стучать двойным ударом в дверь во время моих обходов... Пожалуйста, не будем больше говорить об этом... Ложки стоили... но все равно... все равно!

Изливая свои чувства в таком бормотании, старый джентльмен проронил несколько слезинок, но его усадили в кресло и заставили — особых уговоров не потребовалось — плотно поужинать, а когда он выкурил первую трубку и осушил с полдюжины стаканчиков, наполненных из чаши пунша, заказанной мистером Кенуигсом, чтобы ознаменовать возвращение сборщика в лоно семьи, он хотя и пребывал в подавленном состоянии, но, казалось, совершенно примирился со своей судьбой и был, пожалуй, даже рад бегству своей супруги.

— Когда я смотрю на этого человека,— сказал мистер Кенуигс, одной рукой обвивая талию миссис Кенуигс, другой придерживая трубку (которая заставляла его часто моргать и сильно кашлять, так как он не был курильщиком) и не спуская глаз с Морлины, сидевшей на коленях у дяди,— когда я смотрю на этого человека, снова вращающегося в сфере, которую он украшает, и вижу, как привязанность его развивается в законном направлении, я чувствую, что природа его столь же возвышенна, сколь безупречно его положение общественного деятеля, и мне слышится тихий шепот моих малолетних детей, отныне обеспеченных: «Это такое событие, на которое взирает само небо!»

ГЛАВА LIII,

содержащая дальнейшее развитие заговора, составленного мистером Ральфом Никльби и мистером Артуром Грайдом

С той твердой решимостью и устремленностью к цели, которые критические обстоятельства столь часто порождают даже у людей с темпераментом, значительно менее возбудимым и более вялым, чем тот, каким был наделен поклонник Маделайн Брэй, Николас вскочил на рассвете со своего беспокойного ложа, где истекшей ночью не посещал его сон, и приготовился сделать последнюю попытку, от которой зависела единственная слабая и хрупкая надежда спасти Маделайн.

Хотя у натур беспокойных и пылких утро, быть может, и является самой подходящей порой дня для деятельных трудов, но не всегда в этот час надежда бывает особенно крепкой, а дух особенно бодрым и жизнерадостным. В рискованных и тяжелых положениях молодость, привычка, упорные размышления о трудностях, нас окружающих, и знакомство с ними незаметно уменьшают наши опасения и порождают относительное равнодушие, если не туманную и безотчетную уверенность в том, что придет какое-то облегчение, характер которого мы не стараемся предугадать. Но когда, отдохнув, мы останавливаемся на этих мыслях поутру, когда темная и безмолвная пропасть отделяет нас от вчерашнего дня, когда каждое звено хрупкой цепи надежды нужно ковать заново, когда пыл энтузиазма угас и уступил место холодному, спокойному рассудку,— тогда оживают сомнения и опасения.

Подобно тому как путник видит дальше при свете дня и обнаруживает крутые горы и непроходимые равнины, скрытые ласковой темнотой от его глаз и от его сознания, так странник, идущий по тернистой тропе человеческой жизни, видит с каждым восходом солнца какое-нибудь новое препятствие, которое нужно преодолеть, какую-нибудь новую вершину, которой нужно достигнуть. Перед ним тянется пространство, на которое он едва обратил внимание накануне вечером, и свет, золотящий

веселыми лучами всю природу, как будто озаряет одни только тягостные препятствия, еще отделяющие его от могилы.

Так размышлял Николас, когда с нетерпением, естественным в его положении, тихо вышел из дому. Чувствуя себя так, словно оставаться в постели значило терять драгоценнейшее время, а встать и двигаться значило както приблизиться к цели, к которой он стремился, он стал бродить по Лондону, прекрасно зная, что пройдет несколько часов, прежде чем он получит возможность поговорить с Маделайн, а сейчас он может только желать, чтобы скорее пролетело это время.

И даже теперь, когда он шагал по улицам и безучастно смотрел на увеличивающуюся сутолоку и приготовления к наступающему дню, все словно давало ему новый повод для уныния. Накануне вечером принесение в жертву юного, любящего, прекрасного создания такому негодяю и ради такой цели казалось делом слишком чудовищным, чтобы свершиться. И чем больше он горячился, тем крепче верил, что чье-то вмешательство должно вырвать ее из когтей этого негодяя. Но теперь он думал о том, как размерен ход событий — изо дня в день, все по тому же неизменному кругу, о том, как умирают юность и красота, а безобразная цепкая старость продолжает жить; думал о том, как обогащается лукавая скупость, а мужественные, честные сердца остаются бедными и печальными, как мало людей живет в великолепных домах, и сколько таких, что населяют вонючие логова или встают поутру и ложатся вечером, и живут и умирают,— отец и сын, мать и дитя, род за родом, поколение за поколением,— не имея своего угла и не находя ни одного человека, который пришел бы им на помощь; думал о том, сколько женщин и детей ищут не роскоши и великолепия, но скудных средств к самому жалкому существованию и разделены в этом городе на классы, переписаны и разнесены по рубрикам так же аккуратно, как высшая знать, и с младенческих лет воспитываются для занятия ремеслом самым преступным и отвратительным; думал о том, как невежество всегда карают и никогда не просвещают, как раскрываются тюремные двери и воздвигаются виселицы для многих тысяч людей, гони-

мых обстоятельствами, омрачавшими их путь с колыбели, для людей, которые, не будь этих обстоятельств, могли бы честно зарабатывать свой хлеб и жить мирно; о том, сколько людей умирает духовно и лишены надежды на жизнь; о том, сколь многие, поставленные в такие условия, что, несмотря на порочность натуры, вряд ли могли бы свернуть с прямого пути, высокомерно отворачиваются от сломленных и раздавленных бедняков, которые не могли не свернуть с него, а поступая хорошо, удивили бы нас больше, чем счастливцы, поступающие плохо; думал о том, сколько в мире несправедливости, горя и зла, и, однако, жизнь течет из года в год, невозмутимая и равнодушная, и ни один человек не пытается исправить или изменить мир,— Николас думал обо всем этом и, из бесчисленных примеров выбрав единственный, на котором были сосредоточены его мысли, почувствовал, что нет места надежде и нет оснований полагать, что судьба Маделайн не явится новой бесконечно малой частицей в океане отчаяния и горя и к гигантской сумме не прибавится еще одна крохотная, ничтожная единица.

Но юность не склонна созерцать самую темную сторону картины, которую может перемещать по своей воле. Подумав о том, что ему предстояло сделать, и воскресив в памяти ход мыслей, который прервала ночь, Николас постепенно призвал на помощь всю свою энергию и, когда настал ожидаемый час, помышлял только о том, чтобы использовать его как можно лучше. Позавтракав на скорую руку и покончив с теми делами, которые требовали немедленного исполнения, он направил стопы к дому Маделайн Брэй, куда и не замедлил прибыть.

Ему пришло в голову, что, весьма возможно, его не допустят к молодой леди, хотя его всегда принимали, и он все еще придумывал самый верный способ получить доступ к ней, когда, подойдя к дому, увидел, что дверь оставлена полуоткрытой,— вероятно, тем, кто последним оттуда вышел. Положение было не из тех, когда можно соблюдать церемонии; поэтому, воспользовавшись счастливой случайностью, Николас тихо поднялся по лестнице и постучал в дверь комнаты, где его обычно принимали. Получив разрешение войти от человека, находившегося в комнате, он открыл дверь и вошел.

Брэй и его дочь сидели одни. Трех недель не прошло с тех пор, как он в последний раз ее видел, но с прелестной девушкой, сидевшей перед ним, произошла перемена, которая потрясла Николаса. Он понял, сколько душевных страданий было испытано за такое короткое время. Нет слов, чтобы изобразить, нет ничего, с чем можно было бы сравнить эту бледность, эту чистую прозрачную белизну прекрасного лица, которое обратилось к нему, когда он вошел. Волосы у нее были темно-каштановые, но, оттеняя лицо и ниспадая на шею, соперничавшую с ним в белизне, они казались, по контрасту, иссиня-черными. Что-то пугливое и беспокойное было во взгляде, но он оставался таким же терпеливым, выражение лица таким же кротким и печальным, каким он его хорошо помнил, и не было в глазах ни следа слез. Было нечто в этом прекрасном лице — пожалуй, еще более прекрасном, чем всегда,— что лишило Николаса мужества и показалось ему гораздо более трогательным, чем самое страшное горе. Ее лицо было не только спокойным и невозмутимым, но неподвижным и застывшим. Благодаря непомерным усилиям эта невозмутимость в присутствии отца, победившая все ее мысли, воспрепятствовала даже мимолетному отражению горя на ее лице и застыла в его чертах, как знак торжества.

Отец сидел против нее, не глядя ей в глаза и разговаривая с веселым видом, который плохо скрывал его тревожные мысли... Принадлежностей для рисования не было на обычном их месте на столе, не видно было и других свидетелей ее обычной работы. Вазочки, которые Николас всегда видел со свежими цветами, были пусты или в них торчали только увядшие стебли и листья. Птица не пела. Платок, которым покрывали на ночь ее клетку, не был снят. Ее хозяйка забыла о ней.

Бывают минуты, когда душа болезненно восприимчива к впечатлениям и многое можно заметить с первого взгляда. Так было сейчас, ибо Николас успел только осмотреться вокруг, когда мистер Брэй его узнал и нетерпеливо сказал:

— Ну, сэр, что вам нужно? Передайте, пожалуйста, поскорей поручение, потому что моя дочь и я заняты другими и более важными делами, чем то, по кото-

рому вы сюда пришли. Немедленно приступайте к делу, сэр.

Николас прекрасно понял, что раздражительность и нетерпение, с какими были сказаны эти слова, притворны и что Брэй в глубине души рад любой помехе, которая может отвлечь внимание его дочери. Он невольно посмотрел на отца, когда тот говорил, и заметил его замешательство: Брэй покраснел и отвернулся.

Но Николас хотел, чтобы Маделайн вмешалась, и цель его была достигнута. Она встала и, направившись к Николасу, остановилась на полдороге, как бы в ожидании письма.

— Маделайн, дорогая моя, куда ты? — нетерпеливо сказал отец.

— Может быть, мисс Брэй ждет чека,— сказал Николас очень отчетливо и с ударением, которое она вряд ли могла истолковать неправильно.— Моего патрона нет в Англии, иначе я принес бы письмо. Я надеюсь, что она даст мне отсрочку, небольшую отсрочку. Я очень прошу — небольшую отсрочку.

— Если вы только для этого пришли, сэр, то можете не беспокоиться,— сказал мистер Брэй.— Маделайн, дорогая моя, я не знал, что этот человек остался тебе должен.

— Кажется, какую-то мелочь,— слабым голосом ответила Маделайн.

— Должно быть, вы полагаете,— сказал Брэй, подвинув свое кресло и повернувшись лицом к Николасу,— что мы умерли бы с голоду, если бы не жалкие суммы, которые вы сюда приносите только потому, что моей дочери вздумалось проводить время так, как она его проводила?

— Я об этом не думал,— заметил Николас.

— Вы об этом не думали! — с усмешкой воскликнул больной.— Вы знаете, что думали об этом, и думали именно так, и думаете каждый раз, когда сюда приходите! Вы полагаете, молодой человек, что мне неизвестно, каковы мелкие торговцы, которые кичатся своим богатством, когда благодаря счастливым обстоятельствам получают — или думают, что получили,— на короткий срок власть над джентльменом?

— Я имею дело с леди,— вежливо сказал Николас.

— С дочерью джентльмена, сэр,— возразил больной.— А у дочери джентльмена гордость та же, что у мужчины. Но, может быть, вы принесли *заказ*? У вас есть какие-нибудь новые *заказы* для моей дочери, сэр?

Николас уловил торжествующий тон, каким был задан этот вопрос, но, памятуя о необходимости играть роль, за которую он взялся, достал бумажку со списком тем для рисунков, которые его патрон якобы хотел получить; на всякий случай он захватил листок с собой.

— О! — сказал мистер Брэй.— Это заказ?

— Да, если вы настаиваете на этом слове, сэр,— ответил Николас.

— В таком случае, можете сказать вашему хозяину,— с торжествующей улыбкой произнес Брэй, швыряя ему назад бумагу,— что моя дочь мисс Маделайн Брэй больше не снисходит до того, чтобы заниматься подобной работой! Можете сказать ему, что вопреки его предположениям она не находится в зависимости от него и что мы не живем на его деньги, хотя он и льстит себя этой мыслью, и что он может отдать, сколько бы ни был нам должен, первому нищему, который пройдет мимо его лавки, или прибавить эти деньги к своим барышам в следующий раз, когда будет их подсчитывать. И что он может убираться к черту! Вот мой ответ на его заказы, сэр!

«Вот как понимает независимость человек, продающий свою дочь так, как была продана эта плачущая девушка!» — подумал Николас.

Отец был слишком упоен своим торжеством, чтобы заметить презрительное выражение лица, которого Николас не мог скрыть, даже если бы его в эту минуту пытали.

— Ну вот,— продолжал Брэй после короткой паузы,— вы получили ответ и можете удалиться. Если вы не имеете еще каких-нибудь — ха! — еще каких-нибудь заказов.

— У меня нет больше заказов,— сказал Николас,— и из внимания к положению, которое вы прежде занимали, я никогда не произнес ни одного слова, даже самого безобидного, которое можно было бы истолковать как напоминание о моей власти или вашей зависимости.

Заказов у меня нет никаких, но у меня есть опасения, которые я выскажу, как бы вы ни горячились,— опасения, что вы, быть может, обрекаете эту молодую леди на нечто худшее, чем содержать вас трудами рук своих, хотя бы эта работа ее убивала. Таковы мои опасения, и эти опасения я основываю на вашем собственном поведении. Ваша совесть скажет вам, сэр, правильно я рассуждаю или нет!

— Ради бога! — воскликнула Маделайн, в тревоге бросаясь между ними.— Вспомните, сэр, что он болен!

— Болен! — вскричал инвалид, задыхаясь и ловя воздух ртом.— Болен! Болен! Мне грубит, меня запугивает мальчишка из лавки, а она умоляет его пожалеть меня и вспомнить, что я болен!

С ним сделался припадок такой сильный, что с минуту Николас боялся за его жизнь. Но Брэй начал приходить в себя, и Николас удалился, жестом дав понять молодой леди, что должен сообщить ей нечто важное и будет ждать ее за дверью. Там ему было слышно, как больному постепенно становилось лучше; без единого упоминания о происшедшем, словно он лишь смутно об этом помнил, Брэй пожелал, чтобы его оставили одного.

«О, только бы мне удалось воспользоваться этим случаем,— подумал Николас,— и добиться отсрочки хотя бы на неделю, чтобы у нее было время подумать!»

— Вам поручено что-то передать мне, сэр,— сказала Маделайн, выйдя к нему в страшном волнении.— Не настаивайте на этом сейчас, умоляю вас! Послезавтра, приходите сюда послезавтра!

— Тогда будет слишком поздно — слишком поздно для того, что я должен вам сказать,— возразил Николас,— и вас здесь не будет. О сударыня, если вы хотя бы немного думаете о том, кто послал меня сюда, если еще хоть немного заботитесь о спокойствии вашей души и сердца, я богом заклинаю вас выслушать меня!

Она сделала попытку уйти, но Николас мягко удержал ее.

— Выслушайте! — сказал Николас.— Я прошу вас только выслушать меня — не меня одного, но того, от чьего имени я говорю, кто сейчас далеко и не знает об

угрожающей вам опасности. Во имя неба выслушайте меня!

Бедная служанка, с глазами, распухшими и красными от слез, стояла рядом; к ней обратился Николас с такими страстными мольбами, что она открыла боковую дверь, повела, поддерживая, свою хозяйку в смежную комнату и знаком предложила Николасу следовать за ними.

— Оставьте меня, сэр, прошу вас,— сказала молодая леди.

— Не могу и не хочу вас оставить! У меня есть долг, который я обязан исполнить. Либо здесь, либо в той комнате, откуда вы только что вышли, я буду умолять вас, какой бы опасностью это ни угрожало мистеру Брэю, подумать еще раз о том ужасном шаге, к которому вас принудили!

— О каком шаге вы говорите и кто меня принудил, сэр? — спросила молодая леди, делая попытку принять горделивый вид.

— Я говорю об этой свадьбе! — ответил Николас.— Об этой свадьбе, назначенной на завтра тем, кто никогда не колебался в преследовании дурной цели и никогда не содействовал ни одному доброму замыслу. Об этой свадьбе, история которой мне известна лучше, гораздо лучше, чем вам. Я знаю, какою паутиной вы опутаны. Я знаю, что это за люди, которые задумали этот план. Вы преданы и проданы за деньги, за золото, и каждая монета заржавела от слез, если не обагрена кровью разоренных людей, которые в своем отчаянии и безумии наложили на себя руки!

— Вы говорили о долге, который обязаны исполнить,— сказала Маделайн.— И у меня тоже есть долг. И с божьей помощью я его исполню.

— Скажите лучше — с помощью дьявола! С помощью людей — из них один ваш будущий муж,— которые...

— Я не должна вас слушать! — воскликнула молодая леди, стараясь подавить дрожь, вызванную, по-видимому, даже этим мимолетным упоминанием об Артуре Грайде.— Если это зло, я его сама искала. К этому шагу меня не принуждал никто, я его делаю по своей воле. Вы видите, мне никто не приказывает. Передайте это моему дорогому другу и благодетелю. И, унося с собой мою благо-

дарность и молитвы за него и за вас, оставьте меня навсегда!

— Нет! Я буду умолять вас со всем жаром и пылом, какие меня одушевляют, отложить эту свадьбу на одну короткую неделю! — воскликнул Николас.— Я умоляю вас подумать более серьезно, чем могли вы думать, находясь под чужим влиянием, о решении, к которому вы склоняетесь. Хотя вы не можете знать до конца гнусность этого человека, которому собираетесь отдать свою руку, кое-какие его дела вам известны. Вы слышали его речи, вы видели его лицо. Подумайте, подумайте, пока не поздно, какой насмешкой прозвучат клятвы, данные ему пред алтарем! Клятвы, которым не может верить ваше сердце, торжественные слова, против которых должны восстать природа и разум, падение ваше в ваших же глазах, которое неизбежно и которое вы будете все мучительнее ощущать, по мере того как будет раскрываться перед вами гнусное его лицо! Остерегайтесь отвратительного общения с этим негодяем, как остерегались бы вы заразы и болезни. Изнемогайте под тяжестью труда, если хотите, но бегите его, бегите его, и вы будете счастливы! Ибо, верьте мне, я говорю правду! Самая жестокая бедность, самые ужасные условия человеческого существования, если душа остается чистой и честной,— счастье по сравнению с тем, что вы должны претерпеть, будучи женой такого человека!

Задолго до того, как Николас умолк, молодая леди закрыла лицо руками и дала волю слезам. Голосом, сначала невнятным от волнения, но обретавшим силу по мере того, как она говорила, она ответила ему:

— Не буду скрывать от вас, сэр, хотя, быть может, и должна была бы скрыть, что я терпела тяжкие душевные муки и сердце мое едва не разорвалось с тех пор, как я в последний раз вас видела. Я не люблю этого джентльмена. Этому препятствует разница в возрасте, во вкусах и привычках. Он это знает и, зная, все-таки предлагает мне свою руку. Приняв ее и сделав один только этот шаг, я могу вернуть свободу моему отцу, который здесь умирает, быть может продлить его жизнь на многие годы, вернуть ему комфорт — пожалуй, я могла бы даже сказать богатство — и освободить великодушного

человека от заботы помогать тому, кто — говорю это со скорбью — плохо понимает его благородное сердце. Не считайте меня такой испорченной и не думайте, будто я притворяюсь любящей, когда не чувствую любви! Не говорите так плохо обо мне, потому что *этого* я бы не вынесла. Если рассудок или природа не позволяют мне любить человека, который платит такую цену за мою бедную руку, то я могу исполнять обязанности жены. Я могу дать все, чего он от меня ждет, и я это сделаю. Он согласен взять меня такой, какая я есть. Я дала ему слово и должна радоваться, а не плакать. Я радуюсь. За интерес, какой вы проявляете ко мне, одинокой и беспомощной, за деликатность, с какою вы исполнили доверенное вам поручение, за вашу веру в меня я признательна вам от всей души и, как видите, растрогана до слез, принося вам в последний раз мою благодарность. Но я не раскаиваюсь, и я не несчастна. Я счастлива, думая о том, чего могу достигнуть так легко. Я буду еще счастливее, вспоминая об этом, когда все будет кончено. Я это знаю.

— Ваши слезы текут быстрее, когда вы говорите о счастье,— сказал Николас,— и вы боитесь заглянуть в темное будущее, которое должно принести вам столько горя. Отложите эту свадьбу на неделю! Только на неделю!

— Когда вы к нам вошли, он говорил с такой улыбкой — я ее помню с прежних времен и не видела много-много дней,— говорил о свободе, которая придет завтра,— сказала Маделайн, на секунду обретя твердость,— о благотворной перемене, о свежем воздухе, о новых местах и обстановке, которые в новой жизни будут спасением для его истощенного тела. Глаза у него заблестели и лицо просияло при этой мысли. Я не отложу свадьбы ни на час.

— Это только уловки и хитрость, чтобы заставить вас решиться! — вскричал Николас.

— Больше я не стану слушать,— быстро сказала Маделайн.— Я и так слушала слишком долго — дольше, чем должна была. Сэр, говоря с вами, я словно говорила с тем дорогим другом, которому — в этом я уверена — вы честно передадите мои слова. Спустя некоторое время,

когда я немного успокоюсь и примирюсь с моим новым образом жизни,— если я доживу до той поры,— я напишу ему. А пока пусть все святые ангелы ниспошлют ему свое благословение и хранят его.

Она хотела пробежать мимо Николаса, но он бросился к ней и умолял ее еще один только раз подумать о той судьбе, навстречу которой она рвалась так стремительно.

— Возврата нет, нет отступления! — сказал Николас со страстной мольбой.— Все сожаления будут тщетны, а они должны быть глубокими и горькими. Что мне сказать, чтобы заставить вас помедлить в эту последнюю минуту? Что мне сделать, чтобы спасти вас?

— Ничего,— невнятно ответила она.— Это самое тяжелое испытание из всех, какие у меня были. Сжальтесь надо мной, сэр, заклинаю вас, и не терзайте мне сердце такими мольбами! Я... я слышу, он зовет. Я... я... не должна, не хочу оставаться здесь ни секунды дольше.

— Если это заговор,— сказал Николас так же быстро, как говорила она,— заговор, мною еще не открытый, но который со временем я бы обнаружил, и если вы имеете право, сами того не зная, получить свое собственное состояние, вернув которое вам удалось бы сделать все, что может быть достигнуто этим браком, вы бы не изменили решения?

— Нет, нет, нет! Это немыслимо. Это детские сказки. Отсрочка принесет ему смерть. Он опять зовет!

— Быть может, мы в последний раз встречаемся на земле,— сказал Николас,— быть может, лучше было бы для меня, чтобы мы больше никогда не встретились.

— Для обоих, для обоих! — ответила Маделайн, не сознавая, что говорит.— Настанет время, когда воспоминание об этом одном свидании сведет меня с ума. Непременно скажите им, что вы оставили меня спокойной и счастливой. Да пребудет с вами бог, сэр, и моя благодарность и благословение!

Она ушла. Николас, шатаясь, вышел из дому, думая о сцене, над которой только что опустился занавес, словно это было какое-то тревожное, безумное сновидение. Прошел день. Вечером, когда ему удалось до какой-то степени собраться с мыслями, он снова вышел.

Этот вечер — последний вечер холостой жизни Артура Грайда — застал его в превосходнейшем расположении духа и в превеликом восторге. Бутылочного цвета костюм был вычищен, приготовлен к завтрашнему дню, Пэг Слайдерскью дала отчет о последних хозяйственных расходах: точный отчет был дан в восемнадцати пенсах (ей никогда не доверяли большую сумму, а счета сводились обычно не чаще двух раз в день). Все приготовления к предстоящему празднеству были сделаны, и Артур Грайд мог бы сесть и подумать о близком счастье, но он предпочитал сесть и подумать о записях на веленевых листах грязной старой книги с заржавленными застежками.

— Ну-ну! — хихикая, сказал он и, опустившись на колени перед крепким, привинченным к полу сундуком, засунул туда руку по самое плечо и медленно вытащил засаленный том.— Это вся моя библиотека, но это одна из самых занимательных книг, какие были написаны! Это чудесная книга, надежная книга, чистопробная — надежна, как Английский банк, и такая же чистопробная, как золото и серебро в этом банке. Написана Артуром Грайдом. Хи-хи-хи! Ручаюсь, что ни одному из ваших романистов никогда не написать такой хорошей книги, как эта. Она написана только для одного человека — для меня одного и больше ни для кого. Хи-хи-хи!

Бормоча сей монолог, Артур взял свой драгоценный том и, примостив его на пыльном столе, надел очки и начал сосредоточенно всматриваться в страницы.

— Ах, какая большая сумма для уплаты мистеру Никльби,— сказал он с сокрушением.— Долг уплатить полностью — девятьсот семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса. Дополнительная сумма по обязательству — пятьсот. Тысяча четыреста семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса завтра в двенадцать часов. Но, с другой стороны, я получу возмещение благодаря этому хорошенькому цыпленочку. Однако возникает вопрос: неужели я не мог обделать это дело самостоятельно? «Трусу не победить красотки» *. Почему я такой трус? Почему я смело не открылся Брэю и не сберег тысячи четырехсот семидесяти пяти фунтов четырех шиллингов трех пенсов?

Эти размышления столь угнетающе подействовали на ростовщика, что вырвали из груди его слабые стенания и заставили его объявить, воздев руки, что он умрет в работном доме. Вспомнив, однако, что при любых обстоятельствах ему пришлось бы уплатить долг Ральфу или дать какое-нибудь другое щедрое возмещение, он после раздумья усомнился в том, добился ли бы он успеха, если бы взялся один за это предприятие, после чего он вновь обрел спокойствие духа и начал бормотать и гримасничать над другими, более отрадными записями, пока ему не помешало появление Пэг Слайдерскью.

— Эге, Пэг! — сказал Артур.— Что это? Что это такое, Пэг?

— Это курица,— ответила Пэг, поднимая тарелку с маленькой, очень маленькой курицей.— Чудо, а не курица. Такая крохотная и жилистая.

— Прекрасная птица! — сказал Артур, осведомившись сначала о цене и найдя ее соответствующей размерам.— Ломтик ветчины залить одним яичком, картофель, зелень, яблочный пудинг, Пэг, маленький кусочек сыра — вот вам и королевский обед. Ведь будут только она да я — и вы, Пэг... после нас.

— Не жалуйтесь потом на расходы,— хмуро сказала миссис Слайдерскью.

— Боюсь, что первую неделю нам придется жить широко,— со стоном отозвался Артур,— но потом мы это возместим. Я буду есть в самую меру, и я знаю, вы слишком любите вашего старого хозяина, чтобы есть не в меру, не правда ли, Пэг?

— Что — не правда ли? — спросила Пэг.

— Слишком любите вашего старого хозяина...

— Нет, не слишком,— сказала Пэг.

— О господи, хоть бы черт побрал эту женщину! — воскликнул Артур.— Слишком его любите, чтобы есть не в меру на его счет.

— На его что? — сказала Пэг.

— О боже! Никогда она не может расслышать самое важное слово, а все остальное слышит! — захныкал Грайд.— На его счет, старая вы карга!

Так как эта хвала очарованию миссис Слайдерскью была произнесена шепотом, леди выразила согласие по

основному вопросу глухим ворчаньем, которому сопутствовал звонок у входной двери.

— Звонят,— сказал Артур.

— Да, да, я знаю,— отозвалась Пэг.

— Так почему же вы не идете? — заорал Артур.

— Куда мне идти? — возразила Пэг.— Я тут ничего плохого не делаю, верно?

Артур Грайд в ответ повторил слово «звонят», гаркнув во всю мочь, и так как притупленному слуху миссис Слайдерскью смысл этого слова стал еще более понятен благодаря пантомиме, изображающей, как звонят у двери, Пэг заковыляла из комнаты, резко спросив сначала, почему он сразу не сказал, что звонят, вместо того чтобы толковать о всякой всячине, которая никакого отношения к этому не имеет, в то время как ее ждет полпинты пива на ступеньках лестницы.

— С вами произошла перемена, миссис Пэг,— сказал Артур, провожая ее глазами.— Что она означает, я хорошенько не знаю, но если так будет продолжаться, я вижу, мы недолго проживем в согласии. Мне кажется, вы вот-вот рехнетесь. Если это так, придется вам убираться, миссис Пэг, или вас уберут. Мне все равно.

Бормоча и перелистывая страницы своей книги, он вскоре напал на какую-то запись, остановившую его внимание, и позабыл о Пэг Слайдерскью и обо всем на свете, поглощенный интересными страницами.

Комнату освещала только тусклая и грязная лампа; тощий фитиль, заслоненный темным абажуром, отбрасывал бледные лучи на очень ограниченное пространство, а все за пределами его оставлял в густой тени. Эту лампу ростовщик придвинул к себе так близко, что между нею и ним оставалось место только для книги, над которой он склонился. Он сидел, облокотившись на стол и подперев руками острые скулы, и лампа рельефно освещала его уродливые черты над маленьким столом, а остальная комната была погружена во мрак. Делая в уме какие-то вычисления и подняв глаза, Артур Грайд рассеянно посмотрел в этот мрак и внезапно встретил пристальный взгляд человека.

— Воры! Воры! — завизжал ростовщик, вскакивая и прижимая к груди книгу.— Грабят! Убивают!

— Что случилось? — спросила фигура, приближаясь.

— Не подходите! — дрожа, закричал негодяй.— Человек это или... или...

— За кого вы меня принимаете, если не за человека? — последовал вопрос.

— Да, да,— крикнул Артур Грайд, заслоняя глаза рукой,— это человек, а не привидение. Это человек! Грабят! Грабят!

— Зачем так кричать? Разве вы меня знаете и подумали что-нибудь дурное? — спросил незнакомец, близко подойдя к нему.— Я не вор.

— А тогда зачем и как вы сюда попали? — воскликнул Грайд, немного успокоившись, но все еще пятясь от посетителя.— Как вас зовут и что вам нужно?

— Имя мое вам незачем знать,— был ответ.— Я вошел сюда, потому что мне показала дорогу ваша служанка. Я окликал вас раза два или три, но вы были так поглощены вашей книгой, что не слышали меня, и я молча ждал, когда вы от нее оторветесь. Что мне нужно, я вам скажу, когда вы оправитесь настолько, чтобы слушать меня и понимать.

Решив взглянуть на посетителя повнимательнее и увидев, что это молодой человек с приятным лицом и осанкой, Артур Грайд вернулся на свое место и, пробормотав, что вокруг бродят дурные люди, а покушения на его дом, имевшие раньше место, сделали его пугливым, предложил посетителю сесть. Однако тот отказался.

— О боже! Я остался стоять не для того, чтобы иметь преимущество перед вами,— сказал Николас (ибо это был Николас), заметив испуганный жест Грайда.— Выслушайте меня. Завтра утром ваша свадьба.

— Н-н-нет,— пробормотал Грайд.— Кто сказал, что завтра моя свадьба? Откуда вы знаете?

— Неважно, откуда,— ответил Николас.— Я это знаю. Молодая леди, которая отдает вам свою руку, ненавидит и презирает вас. У нее кровь холодеет при одном упоминании вашего имени. Ястреб и ягненок, крыса и голубь больше были бы под пару, чем вы и она. Как видите, я ее знаю.

Грайд смотрел на него, остолбенев от изумления, но не произнес ни слова — быть может, был не в силах.

— Вы и еще один человек, по имени Ральф Никльби, вдвоем составили этот заговор,— продолжал Николас.— Вы платите ему за его участие в том, чтобы совершилась эта продажа Маделайн Брэй. Вы ему платите. Вижу — лживые слова готовы сорваться с ваших губ!

Он остановился, но, так как Артур не дал никакого ответа, снова заговорил:

— Вы платите самому себе, грабя ее! Каким образом и с помощью каких средств — я не хочу осквернять защиту ее дела ложью и обманом,— мне неизвестно. В настоящее время мне неизвестно, но я действую не один, у меня есть помощники. Если человеческой энергии хватит на то, чтобы разоблачить ваше мошенничество и вероломство до вашей смерти, если деньги, месть и праведная ненависть могут выследить вас на ваших извилистых путях, вам еще предстоит дорого заплатить за все. Мы уже напали на след. Вам, знающему то, чего не знаем мы, вам лучше судить о том, когда мы вас разоблачим.

Снова он приостановился, и по-прежнему Артур Грайд молча смотрел на него.

— Если бы вы были человеком, к которому я бы мог обратиться в надежде пробудить его сострадание или человеколюбие,— продолжал Николас,— я бы просил вас вспомнить о беспомощности, невинности, молодости этой леди, о ее достоинствах и красоте, о ее дочерней преданности и, наконец — и это особенно важно, ибо ближе всего касается вас,— о том, как она взывала к вашему милосердию и человеческому чувству. Но я избираю тот путь, какой только и можно избрать с людьми, подобными вам, и спрашиваю, сколько вам нужно заплатить, чтобы возместить ваши убытки. Не забывайте, какой опасности вы подвергаетесь! Вы видите, я знаю столько, что без особого труда могу узнать гораздо больше. Согласитесь на меньшую прибыль, чтобы не рисковать, и назовите вашу цену!

Старый Артур Грайд зашевелил губами, но они только сложились в отвратительную улыбку и снова застыли.

— Вы думаете, что деньги не будут уплачены? — продолжал Николас.— Но у мисс Брэй есть богатые друзья, которые отдали бы на чеканку монеты свои сердца, чтобы

спасти ее от такой беды. Назовите вашу цену, отложите свадьбу всего на несколько дней, и вы увидите, уклонятся ли от уплаты те, о ком я говорю. Вы меня слышите?

Когда Николас начал говорить, Артур Грайд подумал, что Ральф Никльби его предал; но, по мере того как он продолжал, Грайд убедился, что, каким бы путем Николас ни получил эти сведения, он действует совершенно открыто и с Ральфом дела не имеет. По-видимому, незнакомец достоверно знал только то, что он, Грайд, уплатит долг Ральфу, но этот факт должен был быть превосходно известен всем, кто знал обстоятельства, сопутствовавшие задержанию Брэя,— по словам Ральфа, даже самому Брэю. Что же касается мошенничества, жертвой которого была сама Маделайн, то посетитель знал о характере его так мало, что это могло быть счастливой догадкой или случайным обвинением. Так или иначе, но у него не было ключа к тайне, и он не мог повредить тому, кто хранил ее в своем сердце. Упоминание о друзьях и предложение денег Грайд считал пустой похвальбой, чтобы протянуть время. «А если бы даже деньги и можно было получить,— подумал Артур Грайд, бросив взгляд на Николаса и задрожав от бешенства, вызванного его мужеством и дерзостью,— зато этот лакомый кусочек будет моей женой, и *тебя*, молокосос, я проведу за нос!»

Долгая привычка отмечать все, что говорят клиенты, мысленно взвешивать все шансы за и против и подсчитывать их на глазах у клиентов, ничем не выдавая своих мыслей, научила Грайда быстро принимать решение и делать хитроумнейшие выводы из туманных, запутанных и часто противоречивых посылок. Вот почему сейчас, пока говорил Николас, Грайд строил параллельно свои умозаключения и, когда тот замолчал, был готов к ответу, как будто размышлял две недели.

— Я вас слышу! — крикнул он, вскочив с места, и, отодвинув задвижки ставня, поднял оконную раму.— На помощь! На помощь!

— Что вы делаете?! — воскликнул Николас, схватив его за руку.

— Я буду кричать, что здесь грабят, воруют, убивают! Подниму на ноги всех соседей, буду бороться с

вами, сделаю себе маленькое кровопускание и покажу под присягой, что вы пришли меня ограбить,— если вы не уйдете из моего дома! — ответил Грайд, с гнусной усмешкой отвернувшись от окна.— Вот что я сделаю!

— Негодяй! — вскричал Николас.

— Вы приходите сюда с угрозами? — сказал Грайд, который от ревности к Николасу и от сознания собственного торжества превратился в сущего дьявола.— Отвергнутый возлюбленный! О боже! Хи-хи-хи! Но ни вы ее не получите, ни она вас. Она моя жена, моя любящая маленькая женушка. Вы думаете, она будет жалеть о вас? Думаете, будет плакать? Я с удовольствием посмотрю, как она плачет, мне от этого худо не будет. В слезах она еще красивее.

— Мерзавец! — крикнул Николас, задыхаясь от бешенства.

— Еще минута — и я всполошу всю улицу такими воплями, что, если бы их испускал кто-нибудь другой, они разбудили бы меня даже в объятиях хорошенькой Маделайн! — воскликнул Грайд.

— Подлец! — закричал Николас.— Будь вы помоложе...

— О да! — ухмыльнулся Артур Грайд.— Будь я помоложе, было бы еще не так плохо, но ради меня, такого старого и безобразного,— ради меня быть отвергнутым малюткой Маделайн!

— Слушайте меня,— сказал Николас,— и будьте благодарны, что я владею собой и не выбрасываю вас из окна, чему никто не мог бы помешать, если бы я вас схватил за горло. Я не был возлюбленным этой леди. Никогда не было ни соглашения, ни помолвки, не было сказано ни одного любовного слова. Даже имени моего она не знает.

— А все-таки я у нее спрошу. Я поцелуями буду вымаливать. И она мне его скажет и ответит поцелуями, и мы вместе посмеемся и будем обниматься и веселиться, думая о бедном юноше, который жаждал получить ее, но не мог, потому что она была обещана мне!

После нового издевательства выражение лица Николаса вызвало у Артура Грайда явные опасения, не яв-

ляется ли оно предвестником того, что посетитель немедленно приведет в исполнение свою угрозу вышвырнуть его на улицу. Артур Грайд высунулся из окна и, крепко держась обеими руками, заорал не на шутку. Не считая нужным дожидаться результатов этих криков, Николас с презрением вышел из комнаты и из дома. Артур Грайд следил, как он перешел через улицу, а затем втянул голову, снова закрыл ставнем окно и сел, чтобы отдышаться.

— Если она окажется сварливой или злой, я не дам ей покоя, напоминая об этом щеголе! — сказал он, когда пришел в себя.— Она и не подозревает, что я о нем знаю, и если я умело поведу дело, я таким путем сломлю ее и заберу в руки. Хорошо, что никто не пришел. Я кричал не слишком громко. Какая дерзость — войти ко мне в дом и так со мной говорить! Но завтра я буду торжествовать, а он будет грызть себе пальцы — может быть, утопится или перережет себе горло! Я бы не удивился. Тогда торжество мое будет полным, о да, полным!

Когда Артур Грайд пришел в обычное свое состояние благодаря этим размышлениям о грядущем торжестве, он спрятал книгу и, очень тщательно заперев сундук, спустился в кухню, чтобы послать спать Пэг и выбранить ее за то, что она с такой легкостью впускает незнакомых людей.

Ничего не ведавшая Пэг не могла уразуметь, в чем она провинилась, и он приказал ей посветить ему, пока он совершит осмотр всех запоров и собственноручно закроет парадную дверь.

— Верхняя задвижка,— бормотал Артур, задвигая ее,— нижняя задвижка, цепочка, засов, дважды повернуть ключ и спрятать под подушку. Если придут еще какие-нибудь влюбленные, пусть пролезают в замочную скважину. Теперь пойду спать, а в половине шестого встану, чтобы приготовиться к свадьбе, Пэг!

С этими словами он шутливо потрепал миссис Слайдерскью по подбородку, и была минута, когда он, казалось, не прочь был отпраздновать конец своей холостой жизни поцелуем в сморщенные губы служанки. Но, одумавшись, он снова потрепал ее по подбородку, заменив этим более теплую ласку, и крадучись пошел спать.

ГЛАВА LIV

Решающий момент заговора и его последствия

Мало найдется людей, которые слишком долго лежат в постели или просыпаются слишком поздно в день своей свадьбы. Существует легенда о том, как один человек, славившийся своей рассеянностью, продрал глаза утром того дня, который должен был подарить ему молодую жену, и, совершенно забыв об этом, принялся бранить слуг, приготовивших ему прекрасный костюм, предназначенный для празднества. Существует другая легенда о том, как молодой джентльмен, не страшась канонов церкви, придуманных для такого рода случаев, воспылал страстной любовью к своей бабушке. Оба эти случая странны и своеобразны, и весьма сомнительно, чтобы их можно было рассматривать как прецеденты, которыми будут широко пользоваться грядущие поколения.

Артур Грайд облачился в свои свадебные одеяния бутылочного цвета за добрый час до того момента, как миссис Слайдерскью, стряхнув с себя свой более тяжелый сон, постучала в дверь его спальни. И он уже проковылял вниз и причмокивал, смакуя скудную порцию своего любимого бодрящего напитка, прежде чем этот изящный обломок древности украсил своим присутствием кухню.

— Тьфу! — сказала Пэг, исполняя свои домашние обязанности и ворча над жалкой кучкой золы и заржавленной каминной решеткой.— Тоже еще свадьба! Чудесная свадьба! Ему нужно, чтобы о нем заботился кто-то получше его старой Пэг. А что он мне говорил много-много раз, желая, чтобы я смирилась с скверной пищей, маленьким жалованьем и чуть тлеющим огнем? «Мое завещание, Пэг, мое завещание! — говорил он.— Я холостяк — ни родственников, ни друзей, Пэг». Вранье! А теперь он приводит в дом новую хозяйку, девчонку с детским личиком. Если ему, дураку, нужна была жена, почему он не мог выбрать себе подходящую по возрасту и такую, которая знает его привычки? Он говорит, что мне поперек дороги она не станет. Да, не станет. Но вам и невдомек, почему не станет, дружок Артур!

Пока миссис Слайдерскью под влиянием, быть может, томительных чувств разочарования и обиды, вызванных тем, что старый хозяин предпочел ей другую, предавалась сетованиям под лестницей, Артур Грайд размышлял в гостиной о том, что произошло накануне вечером.

— Понять не могу, где он мог раздобыть эти сведения! — сказал Артур.— Разве что я сам себе повредил — сболтнул что-нибудь у Брэя, и меня подслушали. Это могло случиться. Я бы не удивился, если так оно и было. Мистер Никльби часто сердился, что я начинаю говорить с ним раньше, чем мы вышли за дверь. Лучше я не стану ему рассказывать об этой стороне дела, а то он меня расстроит, и весь день я буду в нервическом состоянии.

Ральфа в его кругу все почитали некиим гением, а на Артура Грайда его суровый, неуступчивый характер и непревзойденное мастерство производили столь глубокое впечатление, что он не на шутку его побаивался. От природы раболепный и трусливый, Артур Грайд пресмыкался в пыли перед Ральфом Никльби, и даже не будь у них сейчас общих интересов, он предпочел бы лизать ему башмаки и ползать перед ним, чем возражать или изменить свое отношение к нему, самое угодливое и льстивое.

К Ральфу Никльби отправился теперь Артур Грайд, как было условлено; и Ральфу Никльби поведал он о том, как накануне вечером какой-то молодой буян, которого он никогда не видел, ворвался к нему в дом и старался угрозами заставить его отказаться от свадьбы.

— А дальше что? — сказал Ральф.

— О! Больше ничего,— ответил Грайд.

— Он старался вас запугать, и, полагаю, *запугал,* не так ли? — осведомился Ральф.

— Это я его запугал, закричав: «Грабят, убивают!» — возразил Грайд.— Уверяю вас, я не шутил, потому что почти готов был показать под присягой, что он мне угрожал и требовал кошелек или жизнь.

— Ого! — сказал Ральф, искоса посматривая на него.— Он ревнует!

— Ах, боже мой, вы только послушайте! — воскликнул Артур, потирая руки и делая вид, будто смеется.

— Зачем вы корчите эти гримасы, сударь? — сказал Ральф.— Вы ревнуете — и не без оснований, полагаю я.

— Нет, нет, никаких оснований! Вы не думаете, чтобы были... э... основания? — заикаясь, спросил Артур.— Как вы думаете?

— А каковы обстоятельства дела? — возразил Ральф.— Старика навязывают в мужья девушке, и к этому старику приходит красивый молодой человек — вы, кажется, сказали, что он красив?

— Нет! — огрызнулся Артур Грайд.

— О,— сказал Ральф,— мне послышалось, что сказали. Ну-с, красивый или некрасивый, но к этому старику приходит молодой человек, который бросает ему в зубы — в десны, следовало бы мне сказать — всевозможные дерзкие угрозы и открыто заявляет, что его любовница ненавидит старика. Ради чего он это делает? Из человеколюбия?

— Не из любви к леди. Он сказал, что ни одним любовным словом (собственное его выражение) они ни разу не обменялись.

— Он сказал! — презрительно повторил Ральф.— Но одно мне в нем нравится, а именно — он честно предостерег вас: теперь-то вы должны держать вашу... как это... малютку или лакомый кусочек?.. под замком. Будьте осторожны, Грайд, будьте осторожны. А какое торжество — отнять ее у галантного молодого соперника! Великое торжество для старика! Остается только сохранить ее в целости, когда вы ее получите, вот и все.

— Что за человек! — воскликнул Артур Грайд, притворяясь во время этой пытки, будто веселится от всей души. А затем с беспокойством добавил: — Да, сохранить ее, вот и все. И ведь это нетрудно, не правда ли?

— Нетрудно! — насмешливо повторил Ральф.— Всем известно, как легко понять женщину и следить за нею. Но послушайте, приближается час, когда вас осчастливят. Полагаю, вы теперь же уплатите по обязательству, чтобы в дальнейшем избавить нас от хлопот.

— О, что за человек! — проворчал Артур.

— Почему бы нет? — осведомился Ральф.— Полагаю, никто не заплатит вам процентов с этой суммы за время с настоящего момента до двенадцати часов, не так ли?

— Но и вам, знаете ли, никто их не заплатит,— возразил Грайд, подмигнув Ральфу с таким лукавым и хит-

рым выражением, какое только мог придать своему лицу.

— Кроме того,— сказал Ральф, позволив своим губам скривиться в улыбку,— при вас нет денег и вы не ожидали моей просьбы, иначе вы захватили бы их с собой. И никому вы бы так не хотели оказать услугу, как мне. Понимаю. Доверяем мы друг другу приблизительно одинаково. Вы готовы?

Грайд, который только и делал, что усмехался, кивал и бормотал во время этой последней тирады Ральфа, ответил утвердительно и, вынув из шляпы два больших белых банта, приколол один к груди и с большим трудом заставил Ральфа сделать то же самое. Принарядившись таким образом, они сели в карету, которую заранее нанял Ральф, и поехали к дому прекрасной и несчастнейшей невесты.

Грайд, которому бодрость и мужество постепенно изменяли, по мере того как они все ближе и ближе подъезжали к дому, был совершенно удручен и запуган мрачным молчанием, окутывавшим этот дом. Заплаканное лицо бедной девушки-служанки, единственного живого существа, которое они увидели, носило следы бессонницы. Не было никого, кто бы их встретил и приветствовал, и они прокрались наверх в гостиную скорее как два грабителя, чем как жених и его друг.

— Можно подумать,— сказал Ральф, невольно говоря тихим и приглушенным голосом,— что здесь похороны, а не свадьба.

— Хи-хи! — хихикнул его приятель.— Какой вы шутник!

— Приходится шутить,— сухо заметил Ральф,— потому что здесь довольно тоскливо и холодно. Приободритесь, сударь, и не будьте похожи на висельника!

— Да, да, я постараюсь,— сказал Грайд.— Но... но... разве вы не думаете, что она сейчас выйдет?

— Полагаю, что она не выйдет, пока не будет принуждена выйти,— ответил Ральф, посмотрев на часы,— а у нее есть еще добрых полчаса. Укротите ваше нетерпение.

— Я... я... постараюсь быть терпеливым,— запинаясь, выговорил Артур.— Ни за что на свете не хотел бы я быть

резким с ней. Боже мой, ни за что! Пусть она приходит, когда хочет, когда ей угодно. Мы ее торопить не будем.

Когда Ральф устремил на своего трепещущего друга острый взгляд, показывавший, что он прекрасно понимает причину этой чрезвычайной предупредительности и внимания, на лестнице послышались шаги и в комнату вошел сам Брэй, на цыпочках и предостерегающе подняв руку, словно где-то поблизости лежал больной, которого нельзя беспокоить.

— Тише! — прошептал он.— Вечером ей было очень плохо. Я думал, что сердце ее разобьется; сейчас она одета и горько плачет у себя в комнате; но ей лучше, и она совсем спокойна. Это главное!

— Она готова, не так ли? — спросил Ральф.

— Совсем готова,— ответил отец.

— И нас не задержит слабость, свойственная молодым леди,— обморок или что-нибудь в этом роде? — продолжал Ральф.

— Теперь на нее можно вполне положиться,— заявил Брэй.— Послушайте, пойдемте-ка сюда.

Он увлек Ральфа в дальний конец комнаты и указал на Грайда, который сидел, съежившись в углу, нервно теребя пуговицы фрака и выставляя напоказ лицо, в котором беспокойство заострило и подчеркнуло все, что было в нем гнусного и подлого.

— Посмотрите на этого человека! — выразительно прошептал Брэй.— В конце концов это кажется жестоким.

— Что кажется вам жестоким? — осведомился Ральф с таким тупым видом, как будто и в самом деле его не понял.

— Эта свадьба! — ответил Брэй.— Не спрашивайте — что. Вы знаете не хуже меня.

Ральф пожал плечами, выражая немое порицание раздражению Брэя, поднял брови и сжал губы, как это делают люди, когда у них готов исчерпывающий ответ на какое-нибудь замечание, но они ждут более благоприятного случая, чтобы дать его, или же не считают нужным отвечать тому, кто им возражает.

— Взгляните на него! Разве это не жестоко? — сказал Брэй.

— Нет! — смело ответил Ральф.

— А я говорю, что жестоко! — с чрезвычайным раздражением возразил Брэй.— Это жестоко, клянусь всем, что есть подлого и предательского!

Когда люди готовы совершить какое-нибудь неправедное дело или дать на него свое согласие, им свойственно выражать жалость к жертве и в то же время сознавать, что сами они высокодобродетельны, нравственны и стоят бесконечно выше тех, кто этой жалости не выражает. Таково своеобразное утверждение превосходства веры над делами; и оно весьма утешительно. Нужно отдать справедливость Ральфу: он редко прибегал к такого рода лицемерию, но понимал тех, кто это делал, а потому позволил Брэю несколько раз повторить весьма энергически, что они сообща совершают очень жестокое дело, после чего снова решил вставить словечко.

— Посмотрите, какой это высохший, сморщенный, бессильный старик,— сказал Ральф, когда Брэй, наконец, замолчал.— Будь он помоложе, это было бы жестоко, но в данном случае... Слушайте, мистер Брэй, он скоро умрет и оставит ее богатой молодой вдовой! На этот раз мисс Маделайн считается с вашим выбором, в следующий раз пусть она сама сделает выбор.

— Правда, правда,— отозвался Брэй, грызя ногти и явно чувствуя себя неважно.— Ничего лучшего я не мог для нее сделать, чем посоветовать ей принять это предложение, не правда ли? Я спрашиваю вас, Никльби, как человека, знающего свет, так ли это?

— Конечно,— ответил Ральф.— Вот что я вам скажу, сэр: в округе на пять миль от этого места найдется сотня отцов — зажиточных, добрых, богатых, надежных людей,— которые рады были бы отдать своих дочерей и собственные уши в придачу вот этому самому человеку, хоть он и похож на обезьяну и мумию.

— Это верно! — воскликнул Брэй, жадно хватаясь за все, в чем видел оправдание себе.— Я это ей говорил и вчера вечером и сегодня.

— Вы ей говорили правду,— сказал Ральф,— и хорошо сделали, что так поступили, хотя в то же время должен вам сказать, что, если бы у меня была дочь и если бы моя свобода, развлечения и, больше того, здоровье мое и жизнь зависели от того, возьмет ли она

мужа, мною выбранного, я бы надеялся, что не представится необходимости приводить еще какие-нибудь доводы, чтобы заставить ее подчиниться моим желаниям.

Брэй взглянул на Ральфа, как бы проверяя, серьезно ли тот говорит, и, выразив двумя-тремя кивками безоговорочное согласие с его словами, сказал:

— На несколько минут я должен пойти наверх закончить свой туалет. Когда я вернусь, я приведу с собой Маделайн. Знаете, какой странный сон приснился мне сегодня ночью? Я только что его вспомнил. Мне снилось, что утро уже настало и мы с вами беседуем, как беседовали сию минуту, что я собираюсь идти наверх, как собираюсь пойти сейчас, и что, когда я протянул руку, чтобы взять за руку Маделайн и повести ее вниз, пол провалился подо мной, и, упав с такой невероятной, потрясающей высоты, какую можно увидеть только во сне, я опустился в могилу.

— И вы проснулись и обнаружили, что лежите на спине, или голова свесилась с кровати, или у вас боли от несварения желудка? — осведомился Ральф.— Вздор, мистер Брэй! Берите пример с меня (теперь, когда вам представляется возможность предаваться удовольствиям и развлечениям): найдите себе днем занятие, и у вас не останется времени думать о том, что вам снилось ночью.

Пристальным взглядом Ральф проводил его до двери; когда они снова остались одни, он сказал, повернувшись к жениху:

— Запомните мои слова, Грайд: *ему* вам недолго придется платить пенсию. Вам всегда чертовски везет при сделках. Если ему не предстоит отправиться в далекое путешествие в течение ближайших месяцев, я готов носить на плечах апельсин вместо головы.

На это пророчество, столь приятное его слуху, Артур не дал никакого ответа, кроме радостного кудахтанья. Ральф бросился в кресло, оба стали ждать в глубоком молчании. Ральф с усмешкой думал об изменившемся в тот день поведении Брэя и о том, сколь быстро их сообщничество в подлом заговоре сбило с него спесь и установило между ними фамильярные отношения, как вдруг настороженный его слух уловил шорох женского платья на лестнице и шаги мужчины.

— Проснитесь! — сказал он, нетерпеливо топнув ногой.— И немножко расшевелитесь, сударь! Они идут. Перетащите ваши старые сухие кости вот сюда. Двигайтесь, сударь, двигайтесь!

Грайд, волоча ноги, поплелся вперед и остановился, подмигивая и кланяясь, рядом с Ральфом, как вдруг дверь открылась и быстро вошли — не Брэй и его дочь, а Николас и его сестра Кэт.

Если бы какое-нибудь устрашающее видение из мира теней внезапно предстало перед ним, Ральф Никльби не мог быть ошеломлен сильнее, чем был он ошеломлен этим сюрпризом. Руки его беспомощно повисли, он отшатнулся и с открытым ртом и землисто-серым лицом стоял, глядя на них в безмолвной ярости. Глаза чуть не вылезли из орбит, и лицо, искаженное судорогами гнева, бушевавшего в нем, изменилось до такой степени, что трудно было признать в Ральфе того сурового, сдержанного, невозмутимого человека, каким он был минуту назад.

— Это тот самый человек, который приходил ко мне вчера вечером! — прошептал Грайд, теребя его за локоть.— Человек, который приходил ко мне вечером!

— Вижу! — пробормотал Ральф.— Знаю! Я бы мог догадаться раньше. На моем пути, на каждом повороте, куда бы я ни пошел, что́ бы я ни делал,— появляется он!

Бледное лицо, раздувшиеся ноздри, дрожащие губы, которые, хотя и были крепко сжаты, продолжали подергиваться, свидетельствовали о том, с какими чувствами боролся Николас. Но он их обуздывал и, мягко прижимая руку Кэт, чтобы ее успокоить, стоял, прямой и бесстрашный, лицом к лицу со своим недостойным родственником.

Когда брат и сестра стояли бок о бок, большое сходство между ними бросалось в глаза, хотя многие, быть может, его бы и не заметили, если бы не видели их вместе. Облик, осанка, даже взгляд и выражение лица брата как бы нашли свое отражение в образе сестры, но благодаря женской хрупкости и привлекательности обрели мягкость и тонкость. Более странным было какое-то неуловимое сходство между ними обоими и Ральфом. Никогда еще они не были столь привлекательны, а он — столь безобразен, никогда еще не держались они столь

горделиво, а он — не был так низок, и, однако, никогда сходство не было столь заметно и никогда наихудшие характерные черты лица Ральфа, подчеркнутые недобрыми мыслями, не казались такими грубыми и жестокими.

— Прочь! — было первое слово, какое ему удалось выговорить, так как он буквально скрежетал зубами.— Прочь! Что привело вас сюда? Лгун, негодяй, подлец, вор!

— Я пришел сюда,— сказал Николас тихим, глухим голосом,— чтобы спасти вашу жертву, если это в моих силах. Лгун и негодяй — вы, и вы всюду и везде остаетесь лгуном и негодяем! Воровство — это ваша профессия, и вы должны быть сугубым подлецом, иначе не было бы вас здесь сегодня. Оскорбления меня не тронут, как не тронут и удары. Здесь я стою и буду стоять, пока не исполню своего долга.

— Уйдите, мисс! — сказал Ральф.— С ним мы можем свести счеты, но я бы не хотел трогать вас, если удастся этого избежать. Уйдите, слабая и глупенькая девчонка, и оставьте этого мальчишку, чтобы с ним расправились так, как он того заслуживает!

— Я не уйду! — сказала Кэт, сверкая глазами, и яркий румянец залил ее щеки.— Какой бы вред вы ему ни причинили, он сумеет расквитаться. Расправляйтесь со мной! Я думаю, вы это сделаете, потому что *я девушка,* и это вам как раз на руку. Но если я слаба по-девичьи, то у меня сердце женщины, и не в таком деле, как это, вы можете заставить мое сердце изменить решение.

— А каково это решение, гордая леди? — спросил Ральф.

— В этот последний момент предложить несчастной жертве вашего предательства приют и кров! — ответил Николас.— Если перспектива иметь такого мужа, какого вы припасли, не испугает ее, я надеюсь, ее растрогают просьбы и мольбы существа ее же пола. Во всяком случае, это средство будет испытано. Я же, признавшись ее отцу, кем я послан и чьим представителем являюсь, докажу ему, что его поступок еще более низок, гнусен и жесток, если он все-таки осмелится настаивать на этой свадьбе. Здесь я буду ждать его с дочерью. Для этого

я пришел и привел мою сестру, невзирая даже на ваше присутствие. Мы пришли не для того, чтобы видеть вас или взывать к вам. Поэтому больше мы не будем унижаться до разговора с вами.

— Вот как! — сказал Ральф.— Вы настаиваете на том, чтобы остаться здесь, сударыня?

Грудь его племянницы вздымалась от негодования, но она ему ничего не ответила.

— Посмотрите-ка, Грайд,— сказал Ральф,— этот мальчишка (признаюсь с горестью, сын моего брата, распутник и мерзавец, запятнавший себя всеми корыстными и гнусными преступлениями), этот мальчишка пришел сегодня сюда с целью расстроить торжественную церемонию, зная, что в результате его появления в чужом доме в такое время он будет вышиблен пинками и его поволокут по улице, как бродягу,— а он и есть бродяга,— этот мальчишка, заметьте, приводит с собой сестру в виде защитницы. Он думает, что мы избавим глупую девушку от унижений и оскорблений, которые для него не новость. И даже после того, как я предупредил ее о неизбежных последствиях, он, как видите, все еще удерживает ее при себе и цепляется за ее юбку, как трусливый ребенок за юбку матери. Ну, не превосходный ли это человек, который говорит такие громкие слова, какие вы сейчас от него слышали?

— И какие слышал от него вчера вечером! — подхватил Артур Грайд.— Какие слышал от него вчера вечером, когда он пробрался ко мне в дом и — хи-хи-хи! — очень скоро оттуда выбрался, когда я запугал его чуть не до смерти. И *он* еще хочет жениться на мисс Маделайн! О боже! Может быть, он еще чего-нибудь хочет? Хочет, чтобы мы не только отказались от нее, но и еще что-то для него сделали? Заплатили его долги, омеблировали ему дом, дали ему несколько банкнотов на бритье,— если он уже бреется? Хи-хи-хи!

— Вы остаетесь, мисс? — сказал Ральф, снова обращаясь к Кэт.— Чтобы вас поволокли по лестнице, как пьяную девку? Клянусь, вас поволокут, если вы здесь останетесь! Никакого ответа! Поблагодарите вашего брата за последствия. Грайд, позовите сюда Брэя, но одного, без дочери. Пусть ее задержат наверху.

— Если вы дорожите своей головой,— сказал Николас, занимая позицию перед дверью, говоря тем же тихим голосом, каким говорил раньше, и выдавая свое волнение не больше, чем раньше,— стойте там, где стоите!

— Слушайте меня, а не его и позовите Брэя! — сказал Ральф.

— Слушайте лучше себя самого, чем меня или его! И стойте там, где стоите! — сказал Николас.

— Позовете вы сюда Брэя? — крикнул Ральф.

— Помните, вам небезопасно подходить ко мне,— сказал Николас.

Грайд колебался. Ральф, как разъяренный тигр, шагнул к двери и, пытаясь пройти мимо Кэт, грубо взял ее за руку. Николас, сверкая глазами, схватил его за шиворот. В этот момент что-то тяжелое с грохотом упало на пол наверху, и сейчас же вслед за этим послышался отчаянный и ужасный вопль.

Все замерли и переглянулись. Вопль следовал за воплем, раздался топот ног, слышны были пронзительные крики: «Он умер!»

— Назад! — крикнул Николас, давая волю гневу, который так долго сдерживал.— Если произошло то, на что я едва смею надеяться, вы попались, негодяи, в свои же собственные сети!

Он выбежал из комнаты и, бросившись наверх, в ту сторону, откуда доносился шум, прорвался сквозь толпу людей, заполнивших маленькую спальню, и увидел, что Брэй лежит мертвый на полу. Дочь прильнула к нему.

— Как это случилось? — крикнул Николас, дико озираясь.

Несколько голосов ответили сразу: в полуоткрытую дверь заметили, что он сидит на стуле в странной и неудобной позе; несколько раз к нему обращались и, не получая ответа, подумали, не заснул ли он, тогда кто-то вошел в комнату и потряс его за плечо, после чего он тяжело рухнул на пол, и тогда увидели, что он мертв.

— Кто хозяин этого дома? — быстро спросил Николас.

Ему указали на пожилую женщину, и ей он сказал, стоя на коленях и осторожно отрывая руки Маделайн от безжизненного тела, вокруг которого они обвились:

— Я послан самыми близкими друзьями этой леди, о чем известно ее служанке, и должен избавить ее от этого ужасного зрелища. Это моя сестра, заботам которой вы ее поручите. Мое имя и адрес на этой карточке, и вы получите от меня все необходимые указания относительно того, что должно быть сделано. Отойдите все и, ради бога, дайте больше простора и воздуха!

Все отступили, удивляясь только что происшедшему вряд ли больше, чем возбуждению и горячности того, кто говорил. Николас, взяв на руки бесчувственную девушку, вынес ее из спальни, спустился вниз и внес в комнату, откуда только что выбежал; за ним следовали его сестра и верная служанка, которой он поручил нанять карету, тогда как сам он и Кэт склонились над Маделайн и тщетно пытались привести ее в чувство. Служанка так быстро исполнила поручение, что через несколько минут карета была подана.

Ральф Никльби и Грайд, ошеломленные и парализованные ужасным событием, которое столь неожиданно разрушило их планы (в противном случае, оно, пожалуй, не произвело бы на них большого впечатления), и отброшенные в сторону необычайной энергией и стремительностью Николаса, который сметал все на своем пути, взирали на происходящее, словно люди, пребывающие во сне или в трансе. Лишь после того как сделаны были все приготовления, чтобы немедленно увезти Маделайн, Ральф нарушил молчание, заявив, что ее отсюда не увезут.

— Кто это говорит? — крикнул Николас, поднимаясь с колен, но удерживая в своей руке безжизненную руку Маделайн.

— Я! — хрипло ответил Ральф.

— Тише, тише! — воскликнул устрашенный Грайд, уцепившийся за его руку.— Послушаем, что он скажет.

— Да! — сказал Николас, простирая вперед свободную руку.— Послушайте! Он скажет, что долг вам обоим уплачен вместе с этим великим долгом природе! Что обязательство, срок которого истекает сегодня в полдень, является теперь пустой бумажкой! Что мошеннический план, вами задуманный, еще будет раскрыт! Что ваши замыслы известны человеку и разрушены небом!



Негодяй, попробуйте сделать наихудшее, на что вы способны!

— Этот человек,— сказал Ральф едва внятным голосом,— требует свою жену и получит ее.

— Этот человек требует то, что ему не принадлежит, и он не получил бы ее, если бы в нем была сила пятидесяти человек и еще пятьдесят стояли за его спиной,— сказал Николас.

— Кто ему воспрепятствует?

— Я!

— По какому праву, хотел бы я знать? — спросил Ральф.— По какому праву, спрашиваю я?

— Вот по какому праву: благодаря тому, что я знаю, вы не осмелитесь доводить меня до крайности. И еще вот по какому: те, кому я служу и в чьих глазах вы хотели гнусно очернить меня и повредить мне, являются ее самыми близкими и дорогими друзьями. Действуя от их имени, я увожу ее отсюда. Дайте дорогу!

— Одно слово! — с пеной у рта крикнул Ральф.

— Ни одного, не буду слушать ни одного, но скажу: берегитесь и запомните мое предостережение! Для ваших дел день миновал и спускается ночь.

— Проклятье на твою голову, мальчишка! Вечное проклятье!

— Откуда возьмутся проклятья по вашему повелению? И чего стоит проклятье или благословенье такого человека, как вы? Я вам говорю, что разоблачение и беда нависли над вашей головой, что здания, сооруженные вами на протяжении всей вашей недоброй жизни, обращаются в прах, что вы окружены соглядатаями, что как раз сегодня десять тысяч фунтов из денег, попавших в ваши руки, погибли во время великого краха!

— Это ложь! — отпрянув, крикнул Ральф.

— Это правда, и вы в этом убедитесь. Больше я не буду тратить слов. Отойдите от двери! Кэт, выходи первая. Не прикасайтесь ни к ней, ни к этой женщине, ни ко мне. Даже одежды их не касайтесь, когда они проходят мимо вас... Как! Вы их пропустили, а он опять загораживает дверь!

Артур Грайд очутился в дверях, но умышленно или от растерянности, было не совсем ясно. Николас отшвыр-

нул его с такой силой, что тот закружился по комнате, пока не налетел на острый выступ стены и упал, после чего Николас, схватив на руки свою прекрасную ношу, выбежал из комнаты. Никто не пытался его остановить, даже если у кого-нибудь и было такое желание. Пробившись сквозь толпу, которую привлек к дому слух о происшедшем, и неся Маделайн с такой легкостью, словно она была ребенком, он добрался до кареты, где уже ждали Кэт и служанка, и, поручив им Маделайн, вскочил на козлы рядом с кучером и приказал ему ехать.

ГЛАВА LV

О семейных делах, заботах, надеждах, разочарованиях и горестях

Хотя и сын и дочь познакомили миссис Никльби со всеми известными им фактами, относившимися к истории Брэй, хотя ответственное положение, в каком очутился Николас, было ей старательно разъяснено и ее даже подготовили на всякий случай к тому, что может возникнуть необходимость принять молодую леди у себя в доме, сколь маловероятным ни казался такой результат всего за несколько минут до печального события, однако миссис Никльби с того момента, как накануне поздно вечером было ей сделано это сообщение, оставалась неудовлетворенной и крайне заинтригованной, и тут не могли помочь никакие объяснения или доводы: любопытство только усиливалось после каждого монолога и раздумья.

— Ах, боже мой, Кэт,— так рассуждала эта славная леди,— если мистеры Чириблы не хотят, чтобы молодая леди вышла замуж, почему они не предъявят иск к лорд-канцлеру, не сделают ее арестанткой Канцлерского суда и не посадят для безопасности в тюрьму Флит? Сотни раз я читала о таких случаях в газете. Если же они ее любят так, как утверждает Николас, почему они сами на ней не женятся — один из них, хочу я сказать. И даже если допустить, что они не хотят, чтобы она вышла за-

муж и сами не хотят на ней жениться, то почему должен Николас бегать по свету, препятствуя церковному оглашению других людей?

— Мне кажется, вы не совсем поняли,— кротко сказала Кэт.

— Право же, Кэт, дорогая моя, ты удивительно вежлива! — отозвалась миссис Никльби.— Как-никак, я сама была замужем и видела, как другие выходят замуж. Не поняла, вот еще!

— Я знаю, что у вас большой опыт, милая мама,— промолвила Кэт.— Я хочу сказать, что в данном случае вы, может быть, не совсем поняли все обстоятельства. Вероятно, мы их плохо объяснили.

— Полагаю, что плохо! — с живостью подхватила ее мать.— Это весьма возможно. И за это я не несу ответственности. Хотя в то же время, поскольку обстоятельства говорят сами за себя, я беру на себя смелость сказать, дорогая моя, что я их понимаю, и понимаю очень хорошо, что бы там ни думали вы с Николасом. Зачем поднимать такой шум из-за того, что мисс Магдален собирается выйти замуж за кого-то, кто старше ее? Ваш бедный папа был старше меня на четыре с половиной года. Джейн Дибабс... Дибабсы жили в красивом белом одноэтажном домике с тростниковой крышей, сплошь покрытом ползучими растениями и плющом, с прелестным крытым крылечком, обвитым жимолостью и всякой всячиной; в летние вечера уховертки падали, бывало, в чай и всегда опрокидывались на спину и ужасно дрыгали ножками, а лягушки забирались в колпачки на тростниковых свечах *, если кто-нибудь оставался ночевать в доме, и сидели и смотрели в дырочки, совсем как люди... Так вот, Джейн Дибабс вышла замуж за человека, который был гораздо старше ее, и *хотела* за него выйти, несмотря на все возражения, какие можно было привести, и она его так любила, что сильнее и любить нельзя. Никакого шума из-за Джейн Дибабс не поднимали, и ее муж был превосходным и достойнейшим человеком, и все говорили о нем одно хорошее. Так зачем же тогда поднимать шум из-за этой Магдален?

— Ее жених значительно старше, он ей не нравится, по натуре он совершенно противоположен тому, кого вы

только что описали. Неужели вы не видите большой разницы между этими двумя случаями? — спросила Кэт.

На это миссис Никльби отвечала, что, должно быть, она очень глупа, да, она не сомневается, что это так, раз ее собственные дети чуть ли не говорят это ей каждый день; разумеется, она немножко старше их, и, быть может, какие-нибудь нелепые люди, пожалуй, решат, что, естественно, она должна лучше знать. Но несомненно она неправа, она всегда была неправа, она не могла быть права, этого нельзя было ожидать от нее; поэтому лучше ей не высказывать своего мнения. И на все примирительные замечания Кэт славная леди в течение часа не давала другого ответа, кроме: о, разумеется... зачем они *ее* спрашивают?.. *ее* мнение не имеет ни малейшего значения... неважно, что *она* говорит... — и много других реплик в том же духе.

В таком расположении (выражавшемся, когда она предалась смирению, не допускавшему речей, в кивках, закатывании глаз и в тихих стенаниях, которые переходили, если они привлекали внимание, в отрывистое покашливанье) миссис Никльби пребывала до возвращения Николаса и Кэт с предметом их забот. После этого, вновь обретя к тому времени сознание собственной важности и вдобавок заинтересовавшись испытаниями такого юного и прекрасного существа, она не только проявила величайшее рвение и заботливость, но и поздравила себя с тем, что посоветовала такой образ действий, который был принят ее сыном; при этом она не раз замечала с многозначительным видом, что дело обернулось весьма счастливо, и намекала, что если бы не ее внушения и рассудительность, оно никогда не приняло бы такого оборота.

Не останавливаясь на вопросе, оказала или не оказала миссис Никльби серьезную помощь при улаживании этого дела, остается бесспорным, что у нее были веские основания ликовать. Братья по возвращении так хвалили Николаса за роль, которую он сыграл, и были так обрадованы изменившимся положением дел и избавлением их юной приятельницы от испытаний, столь тяжелых, и опасностей, столь грозных, что — как не раз говорила миссис Никльби своей дочери — она считала благосостояние их семейства «все равно что достигнутым». По кате-

горическому утверждению миссис Никльби, мистер Чарльз Чирибл в первом порыве изумления и восторга «так прямо и сказал». Не объясняя подробно, что означают эти слова, она, заговаривая на эту тему, неизменно принимала такой таинственный и важный вид и ей мерещилось такое богатство и влияние в будущем, что (как бы ни были эти видения туманны и расплывчаты) она была в такие минуты счастлива не меньше, чем если бы ей навсегда обеспечили блистательное существование.

Неожиданное и страшное потрясение, перенесенное Маделайн, наряду с великой печалью и тревогой, которые она долго испытывала, оказались ей не по силам. Выйдя из состояния оцепенения, вызванного, к счастью для нее, внезапной смертью отца, она опасно заболела. Когда слабые физические силы, которые поддерживало неестественное напряжение душевной энергии и твердая решимость не сдаваться, в конце концов иссякают, степень упадка обычно бывает пропорциональна усилиям, ранее приложенным. Вот почему болезнь, постигшая Маделайн, была не легкой и не кратковременной, но угрожала ее рассудку и — что не более страшно — самой жизни.

Кто, медленно оправляясь после столь жестокой болезни, мог остаться нечувствительным к неусыпным заботам такой сиделки, как нежная, кроткая, внимательная Кэт? На кого могли произвести более глубокое впечатление милый, мягкий голос, легкая поступь, ласковая рука, тысяча мелких услуг, оказанных спокойно, бесшумно и приносящих облегчение, которое мы так глубоко чувствуем, когда больны, и так легко забываем, когда здоровы,— на кого могли они произвести более глубокое впечатление, чем на юное сердце, преисполненное самыми чистыми, самыми искренними чувствами, какие лелеют женщины, на сердце, знакомое лишь с той женской нежностью, какую оно само питало, на сердце, изведавшее превратности судьбы и страдания и жадно впитывающее сочувствие, которого оно так долго не знало и тщетно искало? Можно ли почитать чудом, если, выздоравливая, Маделайн с каждым часом глубже и нежнее откликалась на похвалы, которые Кэт расточала своему брату, когда они воскрешали в памяти давние события,— теперь они казались давними, случившимися много лет

назад. Какое чудо в том, что эти похвалы пробуждали живейший отклик в сердце Маделайн, и облик Николаса непрестанно вставал перед нею в чертах лица его сестры, и она не могла разделить два этих облика и иногда не могла разобраться в тех чувствах, какие брат и сестра сначала ей внушали! И незаметно к ее благодарности к Николасу начало примешиваться более теплое чувство, которое она предназначала Кэт.

— Дорогая моя,— говорила миссис Никльби, входя в комнату с преувеличенной осторожностью, рассчитанной на то, чтобы расстроить нервы больного сильнее, чем прибытие кавалериста полным галопом,— как вы себя чувствуете сегодня? Надеюсь, вам лучше?

— Почти здорова, мама,— отвечала Кэт, откладывая в сторону работу и беря за руку Маделайн.

— Кэт,— укоризненно говорила миссис Никльби,— тише, тише! (Достойная леди говорила шепотом, от которого кровь могла застыть в жилах самого стойкого человека.)

Кэт принимала этот упрек очень спокойно, и миссис Никльби, снуя потихоньку по комнате, от чего каждая доска скрипела и каждая ниточка шелестела, добавляла:

— Мой сын Николас только что пришел домой, и я, дорогая моя, зашла, по обыкновению, узнать прямо из ваших уст, как вы себя чувствуете, потому что он ни за что не захочет и не будет слушать меня.

— Сегодня он вернулся позже, чем всегда,— отвечала иногда Маделайн,— почти на полчаса.

— Никогда в жизни не видела я людей, которые бы так следили за часами, как вы! — с величайшим изумлением восклицала миссис Никльби.— Право же, никогда в жизни! Я понятия не имела, что Николас запоздал, ни малейшего понятия. Мистер Никльби говаривал,— я говорю о твоем бедном папе, Кэт, дорогая моя,— что аппетит — лучшие часы в мире, но у вас нет никакого аппетита, дорогая моя мисс Брэй... Я бы так хотела, чтобы он у вас был, и, честное слово, я думаю, вы должны съесть что-нибудь такое для возбуждения аппетита. Конечно, я не знаю, но я слыхала, что две-три дюжины английских омаров возбуждают аппетит, хотя в конце концов это сводится к тому же, потому что, мне кажется,

нужно почувствовать аппетит, прежде чем вы сможете съесть их. Я сказала — омары, а хотела сказать — устрицы, но разницы никакой нет. Но все-таки, как вы могли угадать, что Николас...

— Мы только что говорили о нем, мама, вот в чем дело.

— Мне кажется, вы никогда ни о чем другом не говорите, Кэт, и, честное слово, меня удивляет твоя неосмотрительность. Иногда ты умеешь находить предметы для разговора, а теперь, когда тебе известно, как важно подбадривать мисс Брэй и развлекать ее, меня просто поражает, что́ заставляет тебя долбить, долбить, долбить, жевать, жевать, жевать вечно одно и то же. Ты очень приятная сиделка, Кэт, и очень хорошая, и я знаю, что ты хочешь добра, но вот что я должна сказать: не будь меня, я, право, не знаю, что было бы с расположением духа мисс Брэй. Так я и говорю каждый день доктору. Он говорит, что удивляется, как это у меня хватает сил, и, право же, я сама частенько удивляюсь, как это я ухитряюсь держаться. Конечно, нужны особые усилия, но раз я знаю, сколь многое зависит от меня в этом доме, я обязана делать эти усилия. Хвастаться тут нечем, но оно необходимо, и я его делаю!

С этими словами миссис Никльби придвигала стул и в течение трех четвертей часа перебирала самые разнообразные увлекательные темы самым увлекательным образом, после чего удалялась, наконец, под тем предлогом, что должна теперь пойти развлечь Николаса, пока тот ужинает. Подбодрив его сначала сообщением, что, по ее разумению, больной значительно хуже, она продолжала увеселять его, рассказывая о том, какая мисс Брэй печальная, вялая и удрученная, потому что Кэт имеет глупость говорить только о нем и о домашних делах. Окончательно успокоив Николаса этими и другими ободряющими замечаниями, она начинала подробно рассказывать о тяжелых трудах, выпавших ей на долю в этот день, и порой бывала растрогана до слез размышлениями о том, как будет обходиться без нее семья, если с ней что-нибудь случится.

Иногда Николас возвращался домой вместе с мистером Фрэнком Чириблом, которому братья поручали

узнать, как себя чувствует сегодня вечером Маделайн. В таких случаях (а они бывали отнюдь не редки) миссис Никльби почитала особенно важным быть начеку, ибо по некоторым признакам и приметам, привлекшим ее внимание, она проницательно угадала, что мистер Фрэнк — как бы его дяди ни были заинтересованы Маделайн — приходит столько же для того, чтобы справиться о ней, сколько и для того, чтобы увидеть Кэт, тем более что братья все время поддерживали связь с врачом, частенько наведывались сами и каждое утро получали подробный отчет от Николаса. То было славное время для миссис Никльби: никогда еще не бывало человека столь осмотрительного и мудрого, как она, или столь хитроумного; и никогда еще не применялись столь искусная стратегия и такие непостижимые уловки, какие испробовала она на мистере Фрэнке с целью установить, основательны ли ее подозрения, и, если они основательны, терзать его до тех пор, пока он не подарит ей свое доверие и не поручит себя ее милосердным заботам. Могуча была артиллерия, тяжелая и легкая, какую пустила в ход миссис Никльби ради осуществления этого великого замысла; разнообразны и противоречивы были средства, которыми она пользовалась для достижения поставленной ею цели. То она бывала воплощением сердечности и непринужденности, то чопорности и холодности. Иной раз она как будто раскрывала сердце перед своей несчастной жертвой; в следующую их встречу она принимала его с холодной и обдуманной сдержанностью, словно новый свет озарил ее и, угадав его стремления, она решила сразу их пресечь, считая своим долгом действовать со спартанской твердостью и раз и навсегда уничтожить надежды, которые не могли сбыться.

Когда Николаса не было и он не мог ее услышать, а Кэт заботливо ухаживала наверху за больной подругой, достойная леди бросала мрачные намеки о своем намерении отправить дочь во Францию на три-четыре года, или в Шотландию для поправки здоровья, подорванного недавним переутомлением, или погостить в Америку, или еще куда-нибудь, что грозило долгой и тягостной разлукой. Она зашла так далеко, что даже туманно намекнула на чувства, питаемые к ее дочери сыном одного из их

прежних соседей, некиим Горацио Пелтирогесом (молодым джентльменом, которому в ту пору могло быть года четыре), изобразив это как дело, почти решенное между двумя семьями,— ожидалось только окончательное согласие ее дочери, чтобы затем все завершилось благословением церкви, к невыразимому счастью и удовлетворению всех заинтересованных лиц.

Опьяненная гордостью и славой, когда однажды вечером эта последняя мина была взорвана с необычайным успехом, миссис Никльби, оставшись перед сном наедине с сыном, воспользовалась удобным случаем, чтобы выведать его точку зрения относительно предмета, столь занимавшего ее мысли, не сомневаясь, что двух мнений по этому вопросу быть не может. С этой целью она приступила к делу, начав с различных хвалебных и уместных замечаний о приятных качествах мистера Фрэнка Чирибла.

— Вы совершенно правы, мама,— сказал Николас,— совершенно правы. Он прекрасный малый.

— И хорош собой,— сказала миссис Никльби.

— Несомненно, хорош собой,— отозвался Николас.

— А что бы ты сказал о его носе, дорогой мой? — продолжала миссис Никльби, желая хорошенько заинтересовать Николаса этим разговором.

— Что бы я сказал? — повторил Николас.

— Да,— ответила его мать.— Какого стиля у него нос? Какого архитектурного ордена, кажется это так называется? Я не очень сведуща в носах. Ты бы его назвал римским или греческим?

— Насколько я могу припомнить,— со смехом сказал Николас,— я бы его назвал композицией, или носом смешанного стиля. Но я не очень-то хорошо представляю себе его нос. Если это вам доставит удовольствие, я присмотрюсь к нему поближе и сообщу вам.

— Я бы хотела, чтобы ты это сделал, дорогой мой,— с очень серьезным видом сказала миссис Никльби.

— Прекрасно,— ответил Николас,— я посмотрю.

Когда диалог достиг этой стадии, Николас вернулся к книге, которую читал. Миссис Никльби после недолгого молчания, посвященного раздумью, снова заговорила:

— Он к тебе очень привязан, дорогой Николас.

Закрыв книгу, Николас со смехом сказал, что он рад это слышать, и заметил, что, по-видимому, его мать уже пользуется полным доверием их нового друга.

— Гм! — отозвалась миссис Никльби.— Этого я не знаю, дорогой мой, но я считаю необходимым, крайне необходимым, чтобы кто-нибудь пользовался его доверием.

Ободренная взглядом сына и сознанием, что ей одной ведома великая тайна, миссис Никльби продолжала с большим оживлением:

— Право же, дорогой Николас, меня изумляет, как ты мог не заметить этого, а впрочем, не знаю, почему я это говорю. Конечно, до известной степени такого рода вещи — в особенности вначале — могут быть очевидны для женщины, но остаются незамеченными мужчиной. Я не утверждаю, что отличаюсь особой проницательностью в таких делах. Может быть, и отличаюсь. Об этом должны знать люди, меня окружающие, и, может быть, они знают. По этому вопросу я не выскажу своего мнения, мне не подобает это делать, об этом и речи быть не может.

Николас снял нагар со свечей, засунул руки в карманы и, откинувшись на спинку стула, принял вид страдальчески терпеливый и меланхолически покорный.

— Я считаю своим долгом, дорогой Николас,— продолжала мать,— сообщить тебе то, что я знаю,— не только потому, что ты имеешь право знать все происходящее в нашей семье, но и потому, что в твоей власти подвинуть вперед это дело и чрезвычайно способствовать ему. И, разумеется, чем скорее приходят к полной ясности в таких вопросах, тем лучше во всех отношениях. Сделать ты можешь очень многое. Например, прогуляться иногда по саду, или посидеть немножко наверху у себя в комнате, или притвориться, будто ты задремал, или притвориться, будто вспомнил о каком-нибудь деле, и уйти на часок и увести с собой мистера Смайка. Все это кажется пустяками, и, вероятно, тебя позабавит, что я придаю им такое значение, но, право же, дорогой (и ты сам убедишься в этом, Николас, когда влюбишься в кого-нибудь, а я верю и надеюсь, что ты влюбишься, только бы она была приличной и благовоспитанной особой, но, разумеется, тебе и в голову не придет влюбиться в какую-нибудь другую), так вот, я уверяю тебя, что от этих

мелочей зависит гораздо больше, чем ты, быть может, предполагаешь. Если бы твой бедный папа был жив, он бы тебе сказал, как много зависит от того, чтобы заинтересованные стороны оставались наедине. Конечно, ты не должен выходить из комнаты так, как будто делаешь это умышленно, с определенной целью; надо это делать как бы случайно и таким же образом возвращаться. Если ты кашлянешь в коридоре, прежде чем открыть дверь, или будешь беззаботно насвистывать или напевать какую-нибудь песенку или еще что-нибудь в этом роде, чтобы предупредить их, что ты идешь, так будет лучше. Хотя это не только натурально, но и вполне прилично и уместно в таком деле, но все-таки молодые люди очень смущаются, если их застают, когда они сидят рядом на диване и... и тому подобное. Может быть, это очень нелепо, но тем не менее это так.

Глубокое изумление, с каким сын смотрел на нее во время этой длинной речи, усиливавшееся по мере того, как она приближалась к кульминационной точке, ничуть не смутило миссис Никльби, но скорее повысило ее мнение о собственной проницательности; поэтому, заметив только с большим самодовольством, что его изумления она ждала, миссис Никльби привела великое множество косвенных улик, чрезвычайно запутанных и сбивчивых, в результате чего было установлено что мистер Фрэнк Чирибл вне всяких сомнений влюблен в Кэт.

— В кого? — воскликнул Николас.

Миссис Никльби повторила:

— В Кэт.

— Как? В *нашу* Кэт? В мою сестру?!

— Ах, боже мой, Николас! — сказала миссис Никльби.— *Чья* же может быть Кэт, если не наша? И разве стала бы я беспокоиться или хоть сколько-нибудь интересоваться этим, если бы это была не твоя сестра, а кто-нибудь другой?

— Дорогая мама,— сказал Николас,— не может этого быть!

— Прекрасно, дорогой мой,— с большой твердостью ответила миссис Никльби.— Подожди и увидишь.

До этой минуты Николас ни разу не задумывался даже об отдаленной возможности события, о котором ему

сейчас сообщили. Помимо того, что последнее время он мало бывал дома и усердно занимался другими делами, ревнивые опасения внушили ему мысль, что тайное чувство к Маделайн, родственное тому, какое питал он сам, вызвало эти визиты Фрэнка Чирибла, с недавних пор столь участившиеся. Даже теперь, хотя он знал, что в данном случае наблюдения бдительной матери должны быть более правильны, чем его собственные, и хотя она напомнила ему о многих мелких обстоятельствах, которые в совокупности несомненно оправдывали то истолкование поведения Фрэнка, какое она с торжеством предлагала, он все еще сомневался, полагая, что они были вызваны добродушной, легкомысленной галантностью человека, который вел бы себя точно так же по отношению к любой другой девушке, молодой и привлекательной. Во всяком случае, он на это надеялся и потому старался этому верить.

— Я очень встревожен тем, что вы мне сказали,— заметил Николас после недолгого раздумья,— хотя я еще надеюсь, что, быть может, вы ошибаетесь.

— Признаюсь, не понимаю, зачем тебе на это надеяться,— сказала миссис Никльби,— но можешь не сомневаться, что я не ошибаюсь.

— А что Кэт? — осведомился Николас.

— Видишь ли, дорогой мой, тут у меня еще нет полной уверенности,— отозвалась миссис Никльби.— За время этой болезни она постоянно сидела у постели Маделайн — никогда еще два человека не бывали так привязаны друг к другу, как они. И, сказать по правде, Николас, я иногда отсылала ее к Маделайн, потому что, мне кажется, это прекрасное средство и подстрекает молодого человека. У него, знаешь ли, исчезает полная уверенность.

Она сказала это с таким восторгом и в то же время с таким самодовольством, что Николасу невыразимо тяжело было разбить ее надежды; но он чувствовал, что перед ним лежит только один достойный путь и этот путь он должен избрать.

— Дорогая мама,— ласково сказал он,— разве вы не видите, что, если бы со стороны мистера Фрэнка было действительно серьезное чувство к Кэт и мы хоть на се-

кунду позволили себе поощрять его, мы совершили бы очень недостойный и неблаговидный поступок? Я вас спрашиваю: разве вы не видите? Но о чем говорить, когда я знаю, что вы не видите, иначе вы были бы более осторожны. Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду: вспомните, как мы бедны.

Миссис Никльби покачала головой и промолвила сквозь слезы, что бедность не преступление.

— Да,— сказал Николас,— и по этой причине бедность должна порождать честную гордость, чтобы не послужить соблазном и не привести нас к каким-нибудь низким поступкам и чтобы мы не потеряли того самоуважения, какое могут сохранить и дровосек и водонос лучше, чем сохраняет его монарх. Подумайте, чем мы обязаны этим двум братьям, вспомните, что они для нас сделали и делают каждый день с таким великодушием и деликатностью, за которые преданность наша в течение всей жизни явилась бы отнюдь недостаточной и несовершенной благодарностью. Как отплатили бы мы им, если бы позволили их племяннику, единственному их родственнику, к которому они относятся, как к сыну,— ребячеством было бы предполагать, что они не составили планов, соответствующих полученному им образованию и богатству, какое он унаследует, —если бы мы позволили ему жениться на девушке-бесприданнице, связанной с нами такими узами, что нас троих неизбежно заподозрили бы в интриге и в желании поймать его в ловушку! Подумайте об этом, мама. Что почувствовали бы вы, если бы они поженились, а братья пришли, как всегда, с добрыми намерениями, какие так часто их сюда приводят, и вы должны были бы открыть им правду? Могли бы вы быть спокойной и сознавать, что вели честную игру?

Бедная миссис Никльби, плача все сильнее и сильнее, пробормотала, что, конечно, мистер Фрэнк испросил бы сначала согласие своих родственников.

— Да, конечно, но это улучшило бы его отношение с ними,— сказал Николас,— а мы по-прежнему могли бы навлечь на себя все те же подозрения; расстояние между ними не уменьшилось бы: все равно каждый считал бы, что у нас есть свои расчеты. Но, быть может, мы обманываемся в наших предположениях? — добавил он более

веселым тоном.— Я надеюсь и почти верю, что это так! Если же нет, то я питаю доверие к Кэт и знаю, что она будет чувствовать то же, что я. И к вам, дорогая мама! Я не сомневаюсь, что, немного подумав, вы почувствуете то же самое.

После долгих уговоров и просьб Николас добился от миссис Никльби обещания, что она по мере сил постарается думать так же, как он, и что, если мистер Фрэнк будет упорствовать в своем ухаживании, она попытается воспрепятствовать этому или по крайней мере не будет оказывать ему ни поддержки, ни помощи. Он решил не заговаривать об этом с Кэт, пока окончательно не убедится, что сделать это действительно необходимо. Он также решил пристально наблюдать и удостовериться в подлинном положении дел. Это было очень разумное решение, но осуществить его помешал новый повод для беспокойства и тревоги.

Смайк опасно заболел; он стал таким слабым, что без посторонней помощи едва мог переходить из комнаты в комнату, таким худым и изнуренным, что больно было смотреть на него. Николаса предупредил тот самый пользующийся авторитетом врач, к которому он уже обращался, что единственная надежда спасти жизнь Смайка заключается в том, чтобы немедленно увезти его из Лондона. Тот уголок Девоншира, где родился Николас, был указан как наиболее подходящее место. Но этот совет сопровождался осторожным предупреждением, что кто бы ни поехал с ним туда, должен быть готов к худшему, так как появились все признаки скоротечной чахотки, и Смайк может оттуда не вернуться.

Добрые братья, которым была известна история бедного мальчика, уполномочили старого Тима присутствовать при консультации. В то же утро брат Чарльз призвал Николаса к себе в кабинет и обратился к нему с такими словами:

— Дорогой сэр, времени терять нельзя. Этот мальчик не должен умереть, если средства, какие находятся в распоряжении человека, могут спасти ему жизнь; и он не должен умереть один в чужом месте. Увезите его завтра утром, позаботьтесь о том, чтобы у него было все необходимое, и не оставляйте его. Не оставляйте его, дорогой

сэр, пока не узнаете, что непосредственная опасность больше ему не угрожает. Было бы жестокостью разлучить вас теперь. Да, да, да! Тим зайдет к вам сегодня вечером, сэр, Тим зайдет к вам сегодня вечером сказать два-три слова на прощание. Брат Нэд, дорогой мой! Мистер Никльби ждет, чтобы пожать тебе руку и попрощаться. Мистер Никльби недолго будет в отсутствии: этот бедный мальчик скоро почувствует облегчение, он очень скоро почувствует облегчение, а тогда мистер Никльби найдет какое-нибудь хорошее простое деревенское семейство, поместит его в этом семействе и время от времени будет наведываться туда и возвращаться — понимаешь, Нэд, наведываться и возвращаться. И нет никаких оснований падать духом, потому что ему очень скоро станет лучше, очень скоро. Не правда ли, не правда ли, Нэд?

Нет нужды говорить, что сказал Тим Линкинуотер и что принес он в тот вечер. На следующее утро Николас и его ослабевший спутник отправились в дорогу.

И кто, кроме одного человека — того, кто до встречи с друзьями, окружавшими его сейчас, не видел ни единого ласкового взгляда и не слышал ни единого сочувственного слова,— кто мог бы рассказать, какие душевные муки, какие горькие мысли, какая безнадежная скорбь были связаны с этой разлукой!

— Смотрите! — с живостью воскликнул Николас, выглядывая из окна кареты.— Они все еще стоят у поворота дороги! А вот Кэт, бедная Кэт, машет носовым платком — вы сказали, что у вас не хватит сил попрощаться с нею! Не уезжайте, не помахав на прощанье Кэт!

— Я не могу! — дрожа, воскликнул его спутник, откидываясь назад и закрывая глаза рукой.— Вы ее видите сейчас? Она еще стоит?

— Да, да! — с жаром сказал Николас.— Вот! Она опять машет рукой! Я ей ответил за вас. А теперь они скрылись из виду. Не надо так горевать, дорогой друг, не надо. Вы еще увидите их всех.

Тот, кого он ободрял, поднял иссохшие руки и лихорадочно сжал их.

— На небе... Смиренно прошу бога: на небе!

Это прозвучало как молитва разбитого сердца.

ГЛАВА LVI

Ральф Никльби, чей последний заговор был расстроен его племянником, замышляет план мести, подсказанный ему случаем, и посвящает испытанного помощника в свои замыслы

Ход этих событий, развивающихся по своим законам и властно призывающих историка следовать за ними, требует теперь вернуться к тому моменту перед началом последней главы, когда Ральф Никльби и Артур Грайд остались вдвоем в доме, где смерть так неожиданно воздвигла свой мрачный и тяжелый стяг.

Сжав кулаки и стиснув зубы так плотно и крепко, что никакая судорога не могла бы прочнее сковать ему челюсти, Ральф несколько минут стоял в той позе, какую принял, обращаясь с последними словами к своему племяннику,— он тяжело дышал, но застыл неподвижно, как бронзовая статуя. Спустя немного он начал, как человек, пробуждающийся от тяжелого сна, ослаблять напряженные мышцы. Он погрозил кулаком в сторону двери, за которой исчез Николас, а потом, спрятав руку за пазуху, словно хотел побороть даже это проявление страсти, повернулся и посмотрел на менее отважного ростовщика, который еще не поднялся с пола.

Съежившийся негодяй, все еще дрожа всем телом — у него даже редкие седые волосы трепетали и топорщились на голове от страха,— встал, шатаясь, когда встретил взгляд Ральфа, и, закрыв лицо обеими руками, объявил, пробираясь к двери, что это не его вина.

— А кто сказал, что ваша? — возразил Ральф приглушенным голосом.— Кто это сказал?

— Вы посмотрели так, как будто хотели сказать, что я виноват,— робко сказал Грайд.

— Вздор! — пробормотал Ральф, пытаясь засмеяться.— Я виню его за то, что он не прожил еще час. Одного часа было бы достаточно. Больше я никого не виню.

— Больше н-н-никого? — спросил Грайд.

— В этом несчастном случае — никого,— ответил Ральф.— С тем молодым человеком, который унес вашу

возлюбленную, у меня старые счеты, но это не имеет никакого отношения к тому, что он сейчас буянил, потому что вы скоро бы от него отделались, если бы не эта проклятая случайность.

Было что-то столь неестественное в спокойствии, с каким говорил Ральф Никльби, и наряду с этим спокойствием было что-то столь неестественное и жуткое в контрасте между его жестким, медлительным, твердым голосом (изменившимся только от прерывистого дыхания, что заставляло его останавливаться почти после каждого слова, как пьяницу, который старается говорить внятно) и его лицом, выражавшим напряженный и неистовый гнев и усилия обуздать его, что, если бы мертвец, лежавший наверху, стоял здесь вместо него перед дрожащим Грайдом, это зрелище вряд ли могло бы сильнее устрашить ростовщика.

— Карета! — сказал Ральф после паузы, в течение которой он боролся с обморочным состоянием, как умеют бороться только сильные люди.— Мы приехали в карете. Она ждет?

Грайд с радостью воспользовался предлогом подойти к окну и посмотреть. Ральф, упорно отворачиваясь и не вынимая руки из-за пазухи, рвал на груди рубашку и хрипло шептал:

— Десять тысяч фунтов! Он сказал — десять тысяч! Сумма, уплаченная вчера за две закладные, которая должна была завтра снова пойти в оборот под большие проценты. Что, если эта фирма потерпела банкротство и он первый принес эту новость?! Карета ждет?

— Да, да! — ответил Грайд, вздрогнув от резкого тона, каким был задан вопрос.— Она здесь. Ах, боже мой, какой вы вспыльчивый!

— Идите сюда! — поманив его, сказал Ральф.— Мы и виду не должны показывать, что расстроены. Мы спустимся вниз рука об руку.

— Но вы меня щиплете до синяков! — взмолился Грайд.

Ральф нетерпеливо отпустил его и, спустившись по лестнице своим обычным твердым и тяжелым шагом, сел в карету. Грайд последовал за ним. Посмотрев нерешительно на Ральфа, когда кучер спросил, куда ехать,

и убедившись, что он молчит и не выражает ни малейшего желания ответить, Грайд назвал свой адрес, и они отправились туда.

Дорогой Ральф сидел в своем углу, скрестив руки, и не проронил ни слова. Подбородок его покоился на груди, опущенных глаз не видно было из-под нахмуренных бровей, он не подавал никаких признаков жизни и казался спящим, пока карета не остановилась, после чего он поднял голову и, посмотрев в окно, осведомился, что это за место.

— Мой дом,— ответил безутешный Грайд, быть может удрученный его заброшенным видом.— О боже, мой дом!

— Верно,— сказал Ральф.— Я не заметил, какой дорогой мы ехали. Я бы хотел стакан воды. Надеюсь, вода у вас в доме найдется?

— Вы получите стакан воды... или... или чего пожелаете,— со стоном отозвался Грайд.— Кучер, стучать не имеет смысла. Позвоните в колокольчик!

Тот звонил, звонил и звонил, потом стучал, пока стук не разнесся по всей улице, потом стал прислушиваться у замочной скважины. Никто не вышел. Дом был безмолвен, как могила.

— Что это значит? — нетерпеливо спросил Ральф.

— Пэг так ужасно глуха,— ответил Грайд со смущенным и обеспокоенным видом.— Ах, боже мой! Позвоните еще раз, кучер. Она *видит* колокольчик.

Снова тот стал звонить и стучать, стучать и звонить. Соседи открыли окна и кричали друг другу через улицу, что, должно быть, экономка старого Грайда лежит мертвая. Иные столпились вокруг кареты и высказывали всевозможные догадки: одни утверждали, что она заснула, другие — что она напилась, а один толстяк — что она увидела что-нибудь съестное и это ее так испугало (с непривычки), что она упала в обморок. Эта последняя догадка особенно восхитила зрителей, которые встретили ее ревом, и стоило труда помешать им спрыгнуть в нижний дворик и взломать дверь кухни, чтобы убедиться в правильности предположения. Но это было еще не все. Так как по соседству разнесся слух, что в то утро Артур Грайд должен жениться, посыпались нескромные вопросы

касательно невесты, которая, по мнению большинства, была переодета и приняла облик мистера Ральфа Никльби; это привело к шутливо-негодующим замечаниям по поводу появления на людях невесты в сапогах и штанах и вызвало вопли и гиканье. Наконец оба ростовщика нашли приют в соседнем доме и, раздобыв лестницу, взобрались на стену заднего двора, которая была невысока, и благополучно спустились по другую сторону.

— Уверяю вас, я боюсь войти,— сказал Артур, повернувшись к Ральфу, когда они остались одни.— Что, если ее убили? Лежит, а голова пробита кочергой, а?

— Допустим, что так,— сказал Ральф.— Я бы хотел, чтобы такие вещи были делом более обычным, чем теперь, и более легким. Можете таращить глаза и дрожать... Я бы этого хотел!

Он подошел к насосу во дворе и, напившись воды и хорошенько смочив себе голову и лицо, вновь обрел свой обычный вид и первым вошел в дом. Грайд следовал за ним по пятам.

В доме было так же мрачно, как и всегда: все комнаты так же унылы и безмолвны, все страшные, как привидения, предметы обстановки на обычном своем месте. Железное сердце хмурых старых часов, не тревожимое шумом, доносившимся снаружи, по-прежнему тяжело билось в своем пыльном ящике; шаткие шкафы, как всегда, прятались в меланхолических углах, подальше от глаз; все то же печальное эхо отзывалось на шум шагов; длинноногий паук остановился в проворном беге и, испугавшись людей в своем скучном жилище, повис неподвижно на стене, притворяясь мертвым, пока они проходили мимо него.

От погреба до чердака прошли ростовщики, открывая каждую скрипучую дверь и заглядывая в каждую заброшенную комнату. Но не было ни следа Пэг. Наконец они уселись в той комнате, где большей частью проводил время Артур Грайд, отдохнуть после поисков.

— Должно быть, старая карга вышла из дому, чтобы сделать какие-нибудь приготовления к вашему свадебному празднеству,— сказал Ральф, собираясь уходить.— Смотрите: я уничтожаю обязательство. Больше оно нам никогда не понадобится.

В эту минуту Грайд, зорко обводивший глазами комнату, упал на колени перед поместительным сундуком и испустил отчаянный вопль.

— Что случилось? — спросил Ральф, сердито оглянувшись.

— Ограбили! Ограбили! — завизжал Артур Грайд.

— Ограбили? Украдены деньги?

— Нет, нет, нет! Хуже! Гораздо хуже!

— Что же? — спросил Ральф.

— Хуже, чем деньги, хуже, чем деньги! — кричал старик,— выбрасывая из сундука бумаги, словно дикий зверь, роющий землю.— Лучше бы она украла деньги... все мои деньги... у меня их немного! Лучше бы она оставила меня нищим, чем сделала такое дело!

— Что сделала? — спросил Ральф.— Что сделала, проклятый, выживший из ума старик?

По-прежнему Грайд не дал никакого ответа, но, роясь и копошась в бумагах, продолжал выть и визжать, словно его пытали.

— Вы говорите — что-то пропало! — крикнул Ральф, в бешенстве схватив его за шиворот.— Что именно?!

— Бумаги, документы. Я разорен!.. Погиб, погиб! Меня ограбили, разорили. Она видела, как я их читал, читал в последнее время — я это очень часто делал. Она за мной следила... видела, как я спрятал их в шкатулку, находившуюся в этом сундуке... Шкатулка исчезла... она ее украла... Будь она проклята, она меня ограбила!

— *Что* украдено? — крикнул Ральф, которого как будто осенило, потому что глаза у него сверкали и он дрожал от возбуждения, когда схватил Грайда за костлявую руку.— Что?

— Она не знает, что это, она не умеет читать! — взвизгнул Грайд, не слушая вопроса.— Есть только один способ добыть таким путем деньги — отнести шкатулку к *той*. Кто-нибудь прочтет ей и объяснит, что нужно делать. Она и ее сообщник получат деньги за эту шкатулку и останутся безнаказанными. Они это поставят себе в заслугу, скажут, что нашли документ... узнали о нем... и выступят свидетелями против меня. Единственным человеком, который от этого пострадает, буду я, я, я!

— Терпенье! — сказал Ральф, стискивая еще крепче его руку и глядя на него искоса напряженным и горящим взглядом, который ясно показывал, что, собираясь что-то сказать, он преследует тайную цель.— Прислушайтесь к доводам рассудка. Она не могла далеко уйти. Я позову полицию. Дайте только указания, что именно она украла, и ее задержат, поверьте мне. На помощь! На помощь!

— Нет, нет, нет! — запищал старик, зажимая Ральфу рот рукой.— Я не могу, не смею!

— На помощь! На помощь! — крикнул Ральф.

— Нет, нет, нет! — завизжал тот, неистово, как сумасшедший, топая ногами.— Говорю же вам — нет! Я не смею, не смею!

— Не смеете заявить публично об этом грабеже? — выкрикнул Ральф.

— Да! — ответил Грайд, ломая руки.— Тише, тише! Ни слова об этом, ни слова не нужно говорить об этом. Я погиб. В какую бы сторону я ни обратился, я погиб. Меня предали. Меня выдадут. Я умру в Ньюгете!

Выкрикивая эти безумные слова и многие другие, в которых странно сливались страх, отчаяние и бешенство, старый негодяй постепенно понижал голос и перешел к тихим душераздирающим стонам, чередовавшимся с завываниями, когда, перебирая оставшиеся в сундуке бумаги, он обнаруживал новые потери. Почти не трудясь приносить извинения за внезапный уход, Ральф оставил его и, весьма разочаровав зевак, шатавшихся перед домом, заявлением, что ничего не случилось, сел в карету и поехал домой.

У него на столе лежало письмо. Некоторое время он не прикасался к письму, словно ему не хватало мужества вскрыть его, но, наконец, он это сделал и побледнел, как смерть.

— Случилось худшее,— сказал он,— фирма обанкротилась. Понимаю. Вчера вечером слух распространился в Сити и дошел до этих купцов. Так, так!

Он быстро зашагал взад и вперед по комнате и снова остановился.

— Десять тысяч фунтов! И пролежали там всего день — только один день! Сколько беспокойных лет,

сколько голодных дней и бессонных ночей, прежде чем я наскреб эти десять тысяч фунтов!.. Десять тысяч фунтов! Сколько надменных нарумяненных леди пресмыкались бы и улыбались, сколько безмозглых расточителей льстили бы мне в лицо и проклинали меня в сердце своем, пока я превращал бы эти десять тысяч в двадцать! Пока я ради собственного удовольствия и пользы притеснял бы и ущемлял этих нуждающихся должников, какими сладкими речами, любезными взглядами и учтивыми письмами угощали бы они меня! В этом ханжеском лживом мире говорят, что люди, подобные мне, накапливают богатство благодаря лицемерию и предательству, низкопоклонничая и пресмыкаясь. Да останься у меня эти десять тысяч фунтов, как бы мне лгали, как бы подло ползали и унижались передо мной те выскочки, которые, если бы не мои деньги, отшвырнули бы меня с презрением, как отшвыривают они ежедневно тех, кто лучше, чем они! Допустим, я бы эту сумму удвоил, заработал сто на сто, на каждый соверен еще один,— не нашлось бы ни одной монеты во всей этой груде, которая не представляла бы десяти тысяч низких и презренных лживых слов, сказанных не ростовщиком — о нет! — а должниками... Этими вашими щедрыми, великодушными, смелыми людьми, для которых бесчестьем было бы отложить про запас шесть пенсов!

Словно стараясь утопить горечь своих сожалений в горечи других мыслей, Ральф продолжал шагать по комнате. Но все менее твердой становилась его поступь, по мере того как мысли возвращались к понесенной потере; наконец, упав в кресло и стиснув его ручки так крепко, что они заскрипели, он сказал:

— Было время, когда ничто не могло бы расстроить меня так, как потеря такой крупной суммы. Ничто! Ибо рождения, смерти, свадьбы и все события, представляющие интерес для большинства людей, никакого интереса для меня не представляют (если они не связаны с наживой или убытками). Но, клянусь, с этой потерей я соединяю его торжество в тот миг, когда он о ней возвестил! Если бы он был виновником ее,— у меня такое чувство, как будто виновник он,— я бы не мог ненавидеть его сильнее! Только бы отомстить ему! Пусть не

сразу, пусть постепенно, только бы мне начать одерживать верх над ним, только бы чаша весов наклонилась в мою сторону — и у меня хватит сил устоять!

Его раздумье было длительным и глубоким. Оно закончилось тем, что он отправил с Ньюменом письмо, адресованное мистеру Сквирсу в «Голову Сарацина», распорядившись узнать, в Лондоне ли он, и, если в Лондоне, подождать ответа. Ньюмен принес известие, что мистер Сквирс прибыл сегодня утром с почтовой каретой и получил письмо в постели; он посылает почтительный привет и просит передать, что немедленно встанет и явится к мистеру Никльби.

Промежуток между получением этого сообщения и приходом мистера Сквирса был очень коротким, но до его прибытия Ральф подавил все признаки волнения и вновь обрел суровый, невозмутимый, непреклонный вид, который был ему свойственен и которому, быть может, следовало в значительной мере приписать то влияние, какое он имел, стоило ему того пожелать, на многих людей, не склонных к предрассудкам в вопросах морали.

— Ну-с, мистер Сквирс,— сказал он, встречая этого почтенного человека привычной улыбкой, которой неизменно сопутствовали зоркий взгляд и задумчиво нахмуренные брови,— как *вы* поживаете?

— Очень недурно, сэр,— ответил Сквирс.— А также и семейство, а также и мальчики, если не считать какой-то сыпи, распространившейся в школе и лишающей их аппетита. Но плох тот ветер, который никому не приносит добра, вот что я всегда говорю, когда мальчишек посещает божья кара. Божья кара, сэр, есть удел смертных. Сама смерть, сэр, есть божья кара. Мир битком набит божьими карами, и, если мальчик досадует на божью кару и надоедает вам своими жалобами, нужно треснуть его по голове. Это согласуется со священным писанием.

— Мистер Сквирс! — сухо сказал Ральф.

— Сэр?

— Оставим в стороне эти драгоценные правила морали и поговорим о деле.

— С величайшим удовольствием, сэр,— отозвался Сквирс.— И прежде всего разрешите мне сказать...

— Прежде всего разрешите сказать *мне*. Ногс!

После двукратного призыва явился Ньюмен и спросил, звал ли его хозяин.

— Звал. Идите обедать. И ступайте немедленно. Слышите?

— Сейчас не время,— упрямо сказал Ньюмен.

— Мое время должно быть и вашим, а я говорю, что сейчас время,— возразил Ральф.

— Вы его меняете каждый день,— сказал Ньюмен.— Это нечестно.

— Кухарок у вас немного, и вы легко можете принести им извинения за беспокойство,— заявил Ральф.— Ступайте, сэр!

Ральф не только отдал этот приказ самым повелительным тоном, но, сделав вид, будто хочет принести какие-то бумаги из каморки Ньюмена, проследил за его исполнением; а когда Ньюмен вышел из дому, он заложил дверную цепочку, чтобы лишить его возможности вернуться тайком с помощью ключа.

— У меня есть основания подозревать этого субъекта,— сказал Ральф, вернувшись в свой кабинет.— Поэтому, пока я не придумал простейшего и наиболее удобного способа извести его, я предпочитаю держать его на расстоянии.

— Я бы сказал, что извести его — дело нетрудное,— с усмешкой заметил Сквирс.

— Пожалуй,— ответил Ральф.— Так же, как извести великое множество людей, которых я знаю. Вы хотели сказать...

Лаконическая и деловая манера, с какою Ральф упомянул о Ньюмене и бросил последующий намек, явно произвела впечатление (каковую цель этот намек несомненно преследовал) на мистера Сквирса, который сказал после некоторого колебания, значительно понизив тон:

— Вот что я хотел сказать, сэр: это самое дело, касающееся неблагодарного и жестокосердного парня, Снаули-старшего, выбивает меня из колеи и вызывает неудобства, ни с чем не сравнимые, и вдобавок, если можно так выразиться, на целые недели делает миссис Сквирс настоящей вдовой. Разумеется, для меня удовольствие иметь дело с вами...

— Разумеется,— сухо сказал Ральф.

— Я и говорю — разумеется,— продолжал мистер Сквирс, потирая колени,— но в то же время, когда человек приезжает, как приехал сейчас я за двести пятьдесят с лишком миль, чтобы дать письменное показание под присягой, это для него нешуточное дело, не говоря уже о риске.

— А какой может быть риск, мистер Сквирс? — осведомился Ральф.

— Я сказал — не говоря уже о риске,— уклонился от ответа Сквирс.

— А я сказал — какой риск?

— Мистер Никльби, я, знаете ли, не жаловался,— заметил Сквирс.— Честное слово, я никогда не видывал такого...

— Я спрашиваю: какой риск? — энергически повторил Ральф.

— Какой риск? — отозвался Сквирс, еще сильнее растирая колени.— Ну, о нем нет надобности говорить. Некоторых вопросов лучше не касаться. О, вы знаете, какой риск я имею в виду.

— Сколько раз я вам говорил и сколько раз еще придется вам повторять, что вы ничем не рискуете! — сказал Ральф.— В чем принесли вы присягу или в чем вы должны присягнуть, как не в том, что в такое-то и такое-то время вам был оставлен мальчик по фамилии Смайк, что определенное число лет он был у вас в школе, пропал при таких-то и таких-то обстоятельствах и был опознан вами у такого-то лица? Все это правда, не так ли?

— Да,— ответил Сквирс,— все это правда.

— В таком случае, чем вы рискуете? — сказал Ральф.— Кто приносит ложную присягу, кроме Снаули — человека, которому я заплатил гораздо меньше, чем вам?

— Да, Снаули, конечно, дешево за это взял,— заметил Сквирс.

— Дешево взял! — с раздражением воскликнул Ральф.— И хорошо сделал, сохранив при этом свой лицемерный ханжеский вид. Но вы!.. Риск! Что вы под этим подразумеваете? Бумаги все подлинные. У Снаули *был* еще один сын, Снаули *женился* второй раз, первая его

жена *умерла;* никто, кроме ее призрака, не мог бы сказать, что она не написала того письма, никто, кроме самого Снаули, не может сказать, что это не его сын, что его сын — пища червей! Единственный, кто приносит ложную присягу, это Снаули, и я думаю, что к этому он привык. Чем же вы рискуете?

— Ну, знаете ли,— сказал Сквирс, ерзая на стуле,— уж раз вы об этом заговорили, то я мог бы спросить, чем рискуете вы?

— Вы могли бы спросить, чем рискую я! — повторил Ральф.— Чем рискую я! Я в этом деле не замешан, равно как и вы. Снаули должен помнить одно — твердо держаться рассказанной им истории. Единственный риск — отступить от нее хоть на волос. А вы говорите о том, чем рискуете *вы,* участвуя в заговоре!

— Позвольте,— запротестовал Сквирс, тревожно озираясь,— не называйте этого таким словом! Сделайте милость.

— Называйте как хотите, но слушайте меня,— с раздражением сказал Ральф.— Первоначально эта история была придумана как средство досадить тому, кто повредил вашему торговому делу и избил вас до полусмерти, и дать вам возможность вновь завладеть полумертвым работником, которого вы хотели вернуть, так как, мстя ему за его участие в этом деле, вы понимали: сознание, что мальчишка снова в вашей власти, явится наилучшим наказанием, какому вы можете подвергнуть вашего врага. Так ли было дело, мистер Сквирс?

— Видите ли, сэр, до известной степени это верно,— отозвался Сквирс, сбитый с толку той решимостью, с какой Ральф повернул дело так, что оно говорило против него, и суровым, непреклонным тоном Ральфа.

— Что это значит? — спросил Ральф.

— Это значит,— ответил Сквирс,— что все это было сделано не для меня одного, потому что ведь и вам нужно было свести старые счеты.

— А если бы этого не было, как вы думаете, стал бы я вам помогать? — сказал Ральф, отнюдь не смущенный таким напоминанием.

— Пожалуй, не стали бы,— ответил Сквирс.— Я только хотел, чтобы между нами было все ясно.

— Может ли быть иначе? — возразил Ральф.— Но выгода не на моей стороне, потому что я трачу деньги, чтобы удовлетворить мою ненависть, а вы их прикарманиваете и в то же время удовлетворяете свою. Вы по меньшей мере так же скупы, как и мстительны. Таков и я. Кто же из нас в лучшем положении? Вы, который добиваетесь денег и отмщения одновременно и при всех обстоятельствах уверены если не в отмщении, то в деньгах, или я, который уверен лишь в том, что истрачу деньги и в лучшем случае не добьюсь ничего, кроме отмщения?

Так как мистер Сквирс мог ответить на этот вопрос только пожатием плеч и улыбками, Ральф предложил ему помолчать и быть благодарным, что дела его так хороши. И начал говорить:

Во-первых, о том, что Николас расстроил задуманный им план относительно замужества одной молодой леди и в суматохе, вызванной внезапной смертью ее отца, сам завладел этой леди и увез ее с торжеством.

Во-вторых, что по завещанию или дарственной записи,— несомненно, по какому-то письменному документу, в котором должна значиться фамилия молодой леди, и посему он может быть легко найден среди других бумаг, если удастся проникнуть туда, где он хранится,— молодая леди имеет право на состояние, которое, если существование этой бумаги станет ей когда-либо известно, сделает ее мужа (Ральф изобразил дело так, что Николас непременно на ней женится) богатым и преуспевающим человеком и очень опасным врагом.

В-третьих, что этот документ был, наряду с прочими, похищен у человека, который сам завладел им или скрыл его мошенническим путем и теперь боится предпринять какие бы то ни было шаги, чтобы его вернуть, и что он, Ральф, знает вора.

Ко всему этому мистер Сквирс прислушивался с жадностью, проглатывал каждый слог и широко раскрыл рот и единственный глаз, дивясь, по каким особым причинам почтен он таким доверием Ральфа и к чему все это клонится.

— Теперь,— сказал Ральф, наклоняясь и кладя руку на плечо Сквирса,— выслушайте план, который я заду-

мал и который должен — повторяю, должен, если он у меня созреет — привести в исполнение! Никаких выгод из этого документа никто извлечь не может, кроме самой девушки или ее мужа, а для того, чтобы один из них извлек выгоду, им необходимо обладать этим документом. *Это* я установил вне всяких сомнений. Я хочу, чтобы документ был доставлен сюда, после чего я уплачу человеку, который его принесет, пятьдесят фунтов золотом и превращу бумагу в пепел у него на глазах.

— Да, но кто ее принесет?

— Быть может, никто, потому что много нужно сделать, чтобы ее добыть,— сказал Ральф.— Но если кто может это сделать, так только вы!

Ужас мистера Сквирса и его решительный отказ от такого поручения поколебали бы большинство людей или заставили бы их немедленно и окончательно отвергнуть этот проект. На Ральфа они не произвели ни малейшего впечатления. Когда школьный учитель договорился до того, что чуть не задохся, Ральф хладнокровно, словно его не перебивали, начал распространяться о тех сторонах дела, какие почитал уместным подчеркнуть.

Вот на какие темы он распространялся: возраст, дряхлость и слабость миссис Слайдерскью, отсутствие у нее сообщника или даже знакомого, если принять во внимание ее привычку к уединенной жизни и долгое пребывание в таком доме, как дом Грайда; серьезные основания предполагать, что кража не являлась результатом обдуманного плана, иначе старуха воспользовалась бы случаем и унесла бы деньги; трудности, с какими она должна была столкнуться, когда начала размышлять о содеянном и поняла, что у нее на руках документы, смысл которых ей совершенно непонятен; сравнительная легкость, с какою кто-нибудь, прекрасно знающий ее положение, получив доступ к ней, может запугать ее, вкрасться в доверие и под тем или иным предлогом добиться добровольной передачи документа. Далее было указано на такие факты, как постоянное местожительство мистера Сквирса вдали от Лондона, что заставило бы думать, будто кто-то, замаскировавшись им, вошел в сношения с миссис Слайдерскью, и никто не мог бы его узнать ни теперь, ни впоследствии; на невозможность для Ральфа

взяться за это дело, раз она знает его в лицо; добавлены были также различные похвалы необычайному такту и опытности мистера Сквирса, благодаря чему одурачить старуху было бы для него детской забавой и развлечением. В добавление к этим веским доводам и убеждениям Ральф с величайшим мастерством и ловкостью нарисовал яркую картину поражения, какое потерпит Николас (если они добьются успеха), связав себя с нищей, тогда как надеялся жениться на богатой наследнице; указал на неизмеримую важность для человека в положении Сквирса сохранить такого друга, как он, Ральф; остановился на длинном перечне услуг, оказанных ему за время их знакомства, когда он, Ральф, благоприятно отозвался о его обращении с больным мальчиком, умершим на глазах Сквирса (чья смерть была в интересах Ральфа и его клиентов, но об этом он не упомянул); и, наконец, намекнул, что сумма в пятьдесят фунтов может быть повышена до семидесяти пяти, а в случае особенного успеха — даже до ста.

Когда все эти доводы были, наконец, приведены, мистер Сквирс положил ногу на ногу, снова вытянул ноги, почесал в голове, потер глаз, посмотрел на свои ладони, погрыз ногти и, проявив ряд других признаков беспокойства и нерешительности, спросил, «является ли сотня фунтов самой большой суммой, какую может дать мистер Никльби». Получив утвердительный ответ, он снова заерзал и после раздумья и бесплодного вопроса, «не прибавит ли он еще пятьдесят», сказал, что, пожалуй, он должен попытаться и сделать все, что может, для друга — это всегда было его правилом,— а потому он берется за эту работу.

— Но как вы разыщете эту женщину? — осведомился он.— Вот что меня смущает.

— Может быть, я и не разыщу ее,— ответил Ральф,— но я попытаюсь. Мне случалось откапывать в этом городе людей, которые были спрятаны получше, чем она, и я знаю такие места, где одна-две гинеи, толково истраченные, частенько разрешают загадки потруднее этой. Да, и все сохраняется в тайне! Я слышу — мой клерк звонит у двери. Лучше нам сейчас расстаться. И лучше вам не заходить сюда, а подождать, пока я дам вам знать.

— Ладно! — отозвался Сквирс.— Послушайте, если вы ее найдете, оплатите вы мой счет у «Сарацина» и дадите что-нибудь за потерю времени?

— Оплачу,— сердито сказал Ральф.— Вам больше нечего сказать?

Когда Сквирс покачал головой, Ральф проводил его до двери и, выразив вслух — в назидание Ньюмену — удивление по поводу того, что дверь заперта, как будто сейчас ночь, впустил его, выпроводил Сквирса и вернулся к себе в комнату.

— Так! — пробормотал он.— Будь что будет! Теперь я тверд и непоколебим. Только бы мне получить это маленькое возмещение за мою потерю и мой позор, только бы мне разбить эту надежду, дорогую его сердцу,— а я знаю, что она должна быть ему дорога. Только бы мне этого добиться, и это явится первым звеном в такой цепи, какой не ковал еще человек,— в цепи, которой я его опутаю!

ГЛАВА LVII

Как помощник Ральфа Никльби принялся за работу и как он в ней преуспел

Был темный, сырой и мрачный осенний вечер, когда в комнате верхнего этажа в жалком доме, расположенном на уединенной улице, или, вернее, во дворе близ Лембета *, сидел в полном одиночестве одноглазый человек, странно одетый — либо у него не было лучшего костюма, либо он переоделся с умыслом: на нем было просторное пальто с рукавами, в полтора раза длиннее его рук; ширина и длина пальто позволили бы ему завернуться в него с головы до пят без всякого труда и без малейшего риска растянуть старую, засаленную материю, из которой оно было сшито.

В таком наряде и в этом квартале, столь далеком от тех мест, где он бывал по делам, и столь бедном и жалком, быть может сама миссис Сквирс не без труда узнала бы своего повелителя, хотя природной ее зоркости несомненно способствовали бы нежные чувства любящей жены. Но тем не менее это был повелитель миссис

Сквирс; и в довольно безутешном расположении духа пребывал, по-видимому, повелитель миссис Сквирс, когда, наливая себе из черной бутылки, стоявшей перед ним на столе, окидывал комнату взглядом, в котором весьма слабое внимание к находившимся в поле зрения предметам явно сочеталось с каким-то полным сожаления и нетерпения воспоминанием о далеких сценах и лицах.

Не было ничего особенно привлекательного и в комнате, по которой столь безутешно блуждал взгляд мистера Сквирса, и на узкой улице, куда его взгляд мог проникнуть, если бы ему вздумалось подойти к окну. Мансарда, где он сидел, была пустой и безобразной, кровать и другие необходимые предметы обстановки — самыми дешевыми, ветхими и отвратительными на вид. Улица была хмурой, грязной и пустынной. Так как это был тупик, то мало кто проходил здесь, кроме ее обитателей, а так как в вечерние часы большинство радовалось возможности укрыться в домах, то сейчас здесь не видно было никаких признаков жизни, кроме тусклого мерцания жалких свечей в грязных окнах, и не слышно никаких звуков, кроме стука дождя и грохота захлопывающихся скрипучих дверей.

Мистер Сквирс продолжал безутешно озираться и прислушиваться к этим звукам в глубокой тишине, нарушаемой только шуршанием его широкого пальто, когда он время от времени поднимал руку, чтобы поднести к губам рюмку. Мистер Сквирс продолжал этим заниматься, пока сгущающийся мрак не напомнил ему о том, что надо снять нагар со свечи. Слегка оживившись от этого упражнения, он поднял глаза к потолку и, устремив их на какие-то странные и фантастические фигуры, начертанные на нем сыростью, проникшей сквозь крышу, разразился следующим монологом:

— Нечего сказать, недурное положение! Превосходнейшее положение! Вот уже сколько недель — почти что шесть — я преследую эту проклятую старую воровку (последний эпитет мистер Сквирс выговорил с большим трудом), а в Дотбойс-Холле тем временем все идет прахом. Вот что хуже всего, когда имеешь дело с таким наглецом, как старый Никльби. Никогда не знаешь, на что он решится, и, рискуя на пенни, можешь потерять фунт.

Может быть, это замечание напомнило мистеру Сквирсу, что для него во всяком случае речь идет о ста фунтах. Физиономия его прояснилась, и он поднес ко рту рюмку, смакуя ее содержимое с бóльшим удовольствием, чем раньше.

— Никогда я не видывал,— продолжал монолог мистер Сквирс,— никогда я не видывал такого плута, как старый Никльби. Никогда! Его никто не раскусит. Ну и пройдоха этот Никльби! Нужно было видеть, как он трудился изо дня в день, и рылся, и копался, и крутился, и вертелся, пока не узнал, где прячется эта драгоценная миссис Пэг, и не расчистил мне дорогу для работы. Как он ползал, и извивался, и пролезал, словно безобразная гадюка с блестящими глазами и ледяной кровью! Как бы он преуспел на нашем поприще! Но оно для него слишком тесно. Его талант сломал бы все преграды, преодолел все препятствия, поверг перед собой всё, пока не воздвигся бы, как монумент... Ну, конец я потом придумаю и скажу при случае...

Прервав на этом месте свои размышления, мистер Сквирс снова поднес к губам рюмку и, достав из кармана грязное письмо, начал изучать его с видом человека, который читал его очень часто и теперь хочет освежить в памяти скорее ввиду отсутствия лучшего развлечения, чем в поисках особых новостей.

— Свиньи здоровы,— сказал мистер Сквирс,— коровы здоровы, и мальчишки живехоньки. «Молодой Спраутер подмигивал». Вот как? Я ему подмигну, когда приеду. «Кобби все время сопел, пока ел свой обед, и сказал, что говядина такая старая, что он от этого сопит». Очень хорошо, Кобби, посмотрим, не заставим ли мы вас сопеть и без говядины. «Питчер опять заболел лихорадкой». Ну, конечно! «За ним приехали его друзья, и он умер на следующий день по приезде домой». Конечно, умер, и все назло, хитро задумано! Нет второго такого мальчишки в школе, который бы умер как раз к концу четверти; вытянул из меня все до последнего и от злости околел. «Памер-младший сказал, что ему хочется на небо». Не знаю, положительно не знаю, что делать с этим мальчишкой! Он всегда хочет чего-то ужасного. Однажды он сказал, что ему хочется быть ослом, потому что тогда

у него не было бы отца, который его не любит. Какая злость у шестилетнего ребенка!

Мистер Сквирс был так расстроен размышлениями о черствой природе столь юного существа, что сердито спрятал письмо и стал искать утешения в других размышлениях.

— Долгонько придется оставаться в Лондоне,— сказал он,— а в этой ужасной дыре и неделю трудно прожить. А все же сотня фунтов — это пять мальчишек, и надо ждать целый год, пока получишь сто фунтов с пяти мальчишек, да еще нужно вычесть за их содержание. Ничто не потеряно, пока я сижу здесь, потому что плата за мальчишек поступает точно так же, как если бы я был дома, а миссис Сквирс держит их в руках. Конечно, придется наверстать потерянное время. Придется заняться поркой, чтобы возместить упущенное; но дня через два все будет налажено, а никто не станет возражать против небольшой дополнительной работы за сто фунтов. Пора уже навестить старуху. Судя по ее вчерашним словам, если суждено мне добиться успеха, кажется, я его добьюсь сегодня, а потому выпью еще полрюмочки, чтобы пожелать себе успеха и придать бодрости. Миссис Сквирс, дорогая моя, за ваше здоровье!

Подмигнув единственным глазом, как будто леди, за которую он пил, и в самом деле здесь присутствовала, мистер Сквирс — несомненно в порыве восторга — налил полную рюмку и осушил ее. А так как напиток разбавлен водой не был и Сквирс уже не раз прикладывался к бутылке, то не удивительно, что он пришел в чрезвычайно веселое расположение духа и был в достаточной мере возбужден для исполнения своей миссии.

Какова была эта миссия, обнаружилось скоро. Пройдясь несколько раз по комнате, чтобы установить равновесие, он взял бутылку под мышку, а рюмку в руку и, задув свечу, вышел потихоньку на лестницу и, прокравшись к двери напротив, осторожно постучал.

— Да что толку стучать! — сказал он.— Все равно она не услышит. Ничего особенного она не делает, а если и делает, не беда, если я увижу.

После такого короткого предисловия мистер Сквирс взялся за щеколду и, просунув голову на чердак, гораздо

более убогий, чем тот, откуда он только что вышел, увидел, что там никого нет, кроме старухи, которая склонилась над жалким огнем (хотя погода стояла теплая, вечер был прохладный), вошел и похлопал ее по плечу.

— Как дела, моя Слайдер? — шутливо сказал мистер Сквирс.

— Это вы? — осведомилась Пэг.

— Да, это я; «я» — первое лицо, единственное число, именительный падеж, согласуется с местоимением «это» и управляется Сквирсом, а не Сквирсам — пишется «о», а произносится «а», все равно как в слове «голова» — не «галава», а «голова»,— отозвался мистер Сквирс, наобум приводя примеры из учебника грамматики.— Во всяком случае, если это неверно, то все равно вы ничего не понимаете. А если верно, то я это сказал случайно.

Говорил он, не повышая голоса, так что Пэг, разумеется, его не слышала; затем мистер Сквирс придвинул стул к огню, уселся против старухи и, поставив перед собой на пол бутылку и рюмку, заорал очень громко:

— Как дела, моя Слайдер?

— Я вас слышу,— сказала Пэг, принимая его милостиво.

— Я обещал прийти — и пришел! — заорал Сквирс.

— Так говаривали в тех краях, откуда я родом,— самодовольно заметила Пэг,— но я нахожу, что масло лучше.

— Лучше, чем что? — гаркнул Сквирс, добавив вполголоса несколько довольно крепких словечек.

— Нет,— сказала Пэг,— конечно, нет.

— Никогда не видывал такого чудовища! — пробормотал Сквирс, стараясь принять самый любезный вид, потому что взгляд Пэг был устремлен на него и она отвратительно хихикала, словно радуясь своей прекрасной реплике.— Вы это видите? Это бутылка!

— Вижу,— ответила Пэг.

— Ну, а *это* вы видите? — заорал Сквирс.— Это рюмка!

Пэг увидела и рюмку.

— Теперь смотрите,— сказал Сквирс, сопровождая свои замечания соответствующими действиями,— я на-

полняю рюмку из этой бутылки, я говорю: «За ваше здоровье, Слайдер»,— и я ее осушаю. Потом я деликатно споласкиваю ее одной капелькой, которую принужден выплеснуть в камин,— эх, придется опять раздувать огонь! — наполняю ее снова и подаю вам!

— За *ваше* здоровье,— сказала Пэг.

— Это она во всяком случае понимает,— пробормотал Сквирс, следя, как миссис Слайдерскью справилась со своей порцией, но при этом захлебнулась и закашлялась самым устрашающим образом.— А теперь давайте потолкуем. Как ревматизм?

Миссис Слайдерскью, подмигивая, кудахча и бросая взгляды, выражавшие величайшее восхищение мистером Сквирсом, его особой, манерами и разговором, ответила, что ревматизм лучше.

— Какова причина,— сказал мистер Сквирс, черпая шутливость из бутылки,— какова причина ревматизма? Что он означает? Почему он бывает у людей, а?

Миссис Слайдерскью не знала, но высказала предположение, что, должно быть, это потому, что они ничего не могут с ним поделать.

— Корь, ревматизм, коклюш, лихорадка и прострел,— сказал мистер Сквирс,— все это философия, вот что это такое. Небесные тела — это философия, и земные тела — это философия. Если какой-нибудь винтик развинтился в небесном теле — это философия, а если какой-нибудь винтик развинтился в земном теле — это тоже философия, иногда бывает еще немножко метафизики, но это случается не часто. Я стою за философию. Если какой-нибудь родитель задает вопрос из классической, коммерческой или математической области, я с важностью говорю: «Прежде всего, сэр, философ ли вы?» — «Нет, мистер Сквирс,— говорит он,— я не философ».— «В таком случае, сэр,— говорю я,— мне вас жаль, но я не могу вам это объяснить». Натурально, родитель уходит и жалеет о том, что он не философ, и, опять-таки натурально, думает, что я философ.

Изрекая это и еще многое другое с пьяным глубокомыслием и комически-серьезным видом и все время не спуская глаз с миссис Слайдерскью, которая не могла расслышать ни слова, мистер Сквирс кончил тем, что

налил себе и передал бутылку Пэг, которой та оказала подобающее внимание.

— Таковы-то дела! — сказал мистер Сквирс.— У вас вид на двадцать фунтов десять шиллингов лучше, чем был.

Снова миссис Слайдерскью захихикала, но скромность не позволила ей согласиться вслух с этим комплиментом.

— На двадцать фунтов десять шиллингов лучше, чем в тот день, когда я с вами познакомился. Не так ли?

— А! — сказала Пэг, покачивая головой.— Но вы меня в тот день испугали.

— Испугал! — повторил Сквирс.— Да, пожалуй, можно удивиться, когда незнакомый человек входит и рекомендуется, говоря, что ему все о вас известно — как вас зовут, и почему вы живете здесь так уединенно, и что вы стянули, и у кого вы стянули, не правда ли?

В знак согласия Пэг энергически кивнула головой.

— Но мне, знаете ли, все такие дела известны,— продолжал Сквирс.— Ничто не случается в этой области, во что я бы не был посвящен. Я как бы юрист, Слайдер, высшего качества. Я ближайший друг и доверительный советник каждого мужчины, женщины и ребенка, которые попадают в беду из-за того, что руки у них слишком проворные. Я...

Перечень заслуг и талантов мистера Сквирса, который отчасти входил в план, составленный им самим и Ральфом Никльби, а отчасти вытекал из черной бутылки, был в этом месте прерван миссис Слайдерскью.

— Ха-ха-ха! — захохотала она, складывая руки и мотая головой.— Так, значит, он в конце концов так и не женился? Так и не женился?

— Да,— ответил Сквирс.— Не женился.

— А молодой кавалер пришел и похитил невесту, а? — спросила Пэг.

— Из-под самого носа! — ответил Сквирс.— И мне говорили, что молодчик стал вдобавок буянить, побил стекла в окнах и заставил его проглотить свадебный бант, которым он чуть не подавился.

— Расскажите мне все еще раз! — воскликнула Пэг, злобно наслаждаясь поражением своего старого хозяина,

отчего природное ее безобразие стало просто чудовищным.— Послушаем все еще раз, начиная с самого начала, как будто вы ничего мне не рассказывали. Послушаем от слова до слова, с самого начала, знаете — когда он отправился туда в то утро!

Мистер Сквирс, щедро угощая миссис Слайдерскью крепким напитком и частенько прибегая к нему сам, чтобы поддержать себя в своих усилиях говорить громко, исполнил эту просьбу и описал поражение Артура Грайда с теми прикрасами, какие приходили ему в голову и хитроумное измышление коих оказалось весьма полезно, когда нужно было заслужить расположение старухи в начале их знакомства. Миссис Слайдерскью была в экстазе: вертела головой, пожимала костлявыми плечами и собирала в складки кожу на страшном, как у мертвеца, лице, делая такие сложные и уродливые гримасы, что вызвала беспредельное изумление и отвращение даже у мистера Сквирса.

— Он старый козел и предатель! — воскликнула Пэг.— Он дурачил меня хитрыми уловками и лживыми обещаниями. Ну, да все равно. Я свела с ним счеты. Я свела с ним счеты!

— Больше того, Слайдер,— сказал Сквирс,— вы были бы с ним квиты, даже если бы он женился, а когда его еще постигло такое разочарование, вы его совсем обскакали. Так обскакали, Слайдер, что его и не видать! Кстати, я вспомнил,— добавил он, протягивая ей рюмку,— если вы хотите знать мое мнение об этих документах и услышать от меня, что нужно сохранить, а что сжечь, так теперь самое подходящее время, Слайдер.

— Спешить некуда,— сказала Пэг, бросая многозначительные взгляды и подмигивая.

— О, прекрасно! — отозвался Сквирс.— Мне-то все равно. Вы сами меня просили. Я бы ничего с вас не взял, раз мы друзья. Конечно, вам лучше знать. Но вы храбрая женщина, Слайдер.

— Что вы хотите этим сказать? Почему я храбрая? — спросила Пэг.

— На вашем месте ни за что бы не хранил я бумаг, которые могут довести меня до виселицы! И не оставил бы их валяться зря, если их можно превратить в деньги.

Ненужные я бы уничтожил, а нужные положил бы куда-нибудь в безопасное место. Вот и всё! Но каждый сам лучший судья в своих делах. Я хочу только сказать, Слайдер, что я бы этого не делал.

— Хорошо, вы их увидите,— сказала Пэг.

— Не хочу я их видеть,— возразил Сквирс, притворяясь раздосадованным.— Вы говорите так, как будто это какое-то редкое удовольствие. Покажите их кому-нибудь другому и спросите у него совета.

Быть может, мистер Сквирс еще растянул бы эту комедию, притворяясь обиженным, если бы миссис Слайдерскью, горя желанием вновь обрести его милостивое расположение, не проявила столь безграничной нежности, что ему грозила опасность быть задушенным ее ласками. Как можно деликатнее положив конец такому фамильярному обращению (есть основания предполагать, что черная бутылка была в нем повинна не меньше, чем природные склонности миссис Слайдерскью), он заявил, что хотел только пошутить и в доказательство своего неизменного расположения готов немедленно изучить бумаги, если таким путем может доставить удовольствие или успокоение своей прекрасной подруге.

— А теперь, раз уж вы встали, моя Слайдер,— заорал Сквирс, когда она поднялась со стула, чтобы принести бумаги,— заприте дверь.

Пэг рысцой побежала к двери, потом, повозившись с задвижкой, прокралась в другой конец комнаты и из-под угля, сваленного в нижнем отделении буфета, вытащила маленькую сосновую шкатулку. Поставив ее на пол у ног Сквирса, она вынула из-под подушки небольшой ключ и знаком предложила этому джентльмену отпереть шкатулку. Мистер Сквирс, жадно следивший за каждым ее движением, повиновался этому жесту, не теряя времени, и, откинув крышку, с восторгом воззрился на хранившиеся здесь документы.

— А теперь,— сказала Пэг, опускаясь около него на колени и удерживая его нетерпеливую руку,— то, от чего никакой пользы нет, мы сожжем, а то, что может принести нам деньги, сохраним. А если есть здесь какие-нибудь бумаги, которые помогут нам истомить и растерзать в клочья его сердце, о них мы особенно позаботимся,

потому что этого-то я и хочу и на это я надеялась, когда ушла от него.

— Я так и полагал, что вы не очень-то желали ему добра,— сказал Сквирс.— Но послушайте, почему вы не прихватили немножко денег?

— Немножко чего? — спросила Пэг.

— Денег! — заорал Сквирс.— Право же, я думаю, что эта женщина меня слышит и хочет, чтобы у меня лопнула какая-нибудь жила, а тогда она будет иметь удовольствие ухаживать за мной. Денег, Слайдер, денег!

— Что за вопросы вы задаете! — с презрением воскликнула Пэг.— Если бы я взяла у Артура Грайда деньги, он обрыскал бы весь свет, чтобы отыскать меня,— нюхом бы их почуял и откопал бы их, даже если бы я их зарыла на дне самого глубокого колодца в Англии. Нет, нет! Я знала, что делаю. Я взяла то, в чем были заключены его секреты. Их он не мог разгласить, сколько бы денег они ни стоили. Он старый пес, хитрый, старый, лукавый, неблагодарный пес! Сначала он морил меня голодом, а потом обманул, и я бы его убила, если бы могла!

— Правильно и весьма похвально,— сказал Сквирс.— Но первым делом, Слайдер, сожгите эту шкатулку. Никогда не следует хранить вещи, которые могут вас выдать. Помните это всегда. А пока вы будете ее ломать (сделать это нетрудно, потому что она очень старая и трухлявая) и сжигать по кусочкам, я просмотрю бумаги и расскажу вам, в чем тут дело.

Когда Пэг согласилась на такое предложение, мистер Сквирс перевернул шкатулку вверх дном и, вытряхнув содержимое на пол, вручил шкатулку ей; уничтожение шкатулки было тут же придуманной уловкой, чтобы занять Пэг в случае, если окажется желательным отвлечь ее внимание от его собственных операций.

— Вот так! — сказал Сквирс.— Вы будете просовывать эти куски между прутьями, а я тем временем буду читать. Посмотрим, посмотрим!

И, поставив подле себя свечу, мистер Сквирс с величайшим нетерпением и с хитрой улыбкой, расплывшейся по лицу, приступил к осмотру.

Если бы старуха не была так глуха, она должна была бы услышать, когда подходила к двери, дыхание двух

человек у самого порога; и если бы эти два человека не были осведомлены о ее немощи, они должны были бы воспользоваться этим моментом либо чтобы войти, либо чтобы обратиться в бегство. Но, зная, с кем имеют дело, они не двинулись с места и теперь не только появились незамеченными в двери (которая осталась незапертой, так как задвижка была без гнезда), но и вошли в комнату, осторожно и неслышно ступая.

Пока они крались вперед, медленно, едва заметно подвигаясь, и с такой осторожностью, что, казалось, не дышали, старая карга и Сквирс, отнюдь не помышляя о подобном вторжении и не подозревая, что еще кто-то находится здесь, кроме них, усердно занимались своей работой. Старуха, приблизившая морщинистое лицо к прутьям очага, раздувала тускло тлевшие угли, еще не нагревшие дерева. Сквирс наклонился к свече, при свете которой отчетливо вырисовывалась его физиономия во всем ее безобразии, так же как физиономия его приятельницы при свете очага. Оба были увлечены своим занятием, и их возбуждение являло резкий контраст с настороженностью людей у них за спиной: они подкрадывались, пользуясь малейшим шорохом, который мог заглушить их шаги, и, едва подвинувшись на дюйм, замирали на месте. Все это вместе взятое и большая пустая комната, сырые стены и трепещущий, неверный свет создавали картину, которая захватила бы самого беззаботного и равнодушного зрителя (если бы он здесь присутствовал) и надолго осталась бы в памяти.

Из двух пришельцев один был Фрэнк Чирибл, а другой — Ньюмен Ногс. Ньюмен держал за заржавленное рыльце старые раздувальные мехи, которые только что сделали росчерк в воздухе, готовясь опуститься на голову мистера Сквирса, но Фрэнк схватил его за руку и, сделав еще один шаг вперед, остановился так близко за спиной школьного учителя, что, слегка наклонившись, мог свободно прочитать бумагу, которую тот поднес к глазам.

Не отличаясь большой ученостью, мистер Сквирс был явно сбит с толку своей первой находкой, документом, написанным крупными буквами и понятным только для искушенного глаза. Попытавшись прочесть его слева на-

право и справа налево и убедившись, что от этого бумага не становится ясней, он перевернул его вверх ногами, но успеха не добился.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Пэг, которая, стоя на коленях перед огнем, подбрасывала в него обломки шкатулки и ухмылялась в сатанинском восторге.— Что там такое написано, а?

— Ничего особенного,— ответил Сквирс, швырнув ей бумагу.— Насколько я могу понять, это всего-навсего старый арендный договор. Бросьте его в огонь.

Миссис Слайдерскью повиновалась и пожелала узнать, какие там еще бумаги.

— Это пачка просроченных квитанций и переписанных векселей семи-восьми молодых джентльменов, но все они — Ч. П.[1], стало быть, никакого толку от этого нет. Бросьте ее в огонь! — сказал Сквирс.

Пэг сделала, как было ей приказано, и ждала продолжения.

— А вот это договор о продаже права назначения кандидата на должность настоятеля прихода * Пьюрчерч в долине Кешоп. Ради бога, припрячьте эту бумагу, Слайдер. Она принесет вам деньги на аукционе.

— А что это? — осведомилась Пэг.

— А это, судя по двум приложенным письмам, обязательство деревенского священника уплатить полугодовое жалованье — сорок фунтов — за взятые в долг двадцать,— сказал Сквирс.— Бумагу вы поберегите, потому что, если он не заплатит, его епископ очень скоро за него возьмется. Мы знаем, что значит верблюд и игольное ушко: ни один человек, если он не довольствуется своими доходами, не имеет никакой надежды попасть на небо... Очень странно: ничего похожего я все еще не нахожу.

— Что такое? — осведомилась Пэг.

— Ничего,— ответил Сквирс.— Просто-напросто я ищу...

Ньюмен снова поднял мехи. И снова Фрэнк быстрым движением руки, не сопровождавшимся ни малейшим шумом, помешал его намерению.

---

[1] Ч. П.— член парламента.



— Вот здесь у вас закладные,— сказал Сквирс,— сохраните их. Доверенность юристу — сохраните ее. Два признания долга ответчиком — сохраните. Арендный и субарендный договоры — сожгите. А! «Маделайн Брэй по достижении совершеннолетия или по выходе замуж... упомянутая Маделайн...» Вот, *это* сожгите.

Торопливо швырнув старухе какой-то пергамент, выхваченный им из стопки для этой цели, Сквирс, как только она отвернулась, сунул за борт своего широкого пальто документ, в котором приведенные выше слова привлекли его внимание, и испустил торжествующий крик.

— Он у меня! — воскликнул Сквирс.— Он у меня! Ура! План был хорош, хотя шансов не было почти никаких, и наконец-то победа за нами!

Пэг спросила, почему он смеется, но ответа не последовало. Удержать руку Ньюмена было невозможно. Мехи, опустившись тяжело и метко на самую макушку мистера Сквирса, повалили его на пол и простерли плашмя и без чувств.

ГЛАВА LVIII,

в которой заканчивается один из эпизодов этой истории

Разбив путешествие на два дня, чтобы больной меньше страдал от изнеможения и усталости, связанных с дальней дорогой, Николас к концу второго дня после отъезда находился на расстоянии очень немногих миль от того места, где прошли самые счастливые годы его жизни. Это место, пробудив приятные мысли, вызывало в то же время много мучительных и ярких воспоминаний о тех обстоятельствах, при которых он и его близкие покинули родной дом, брошенные в суровый мир и на милость чужих людей.

Не было необходимости в тех размышлениях, какие память о прошедших днях и скитания по местам, где протекало наше детство, обычно вызывают в самых бесчув-

ственных сердцах, чтобы растрогать сердце Николаса и вызвать у него еще большее сострадание к угасающему другу. Днем и ночью, во всякое время и во всякий час, неизменно бдительный, внимательный и заботливый, неустанно исполняющий принятый на себя долг перед тем, кто был так одинок и беспомощен и чей жизненный путь так быстро приближался к концу, Николас был всегда подле него. Он от него не отходил. Теперь его постоянной и неизменной заботой было ободрять его, удовлетворять его желания, поддерживать и развлекать его по мере сил.

Они заняли скромное помещение на маленькой ферме, окруженной лугами, где Николас в детстве часто резвился с толпой веселых школьников. И здесь расположились они на отдых.

Сначала у Смайка хватало сил прогуливаться понемногу, не нуждаясь в другой поддержке или помощи, кроме той, какую мог оказать ему Николас. В это время его ничто, казалось, не занимало так сильно, как посещение мест, которые были особенно близки его другу в былые дни. Уступая этому желанию и радуясь, что исполнение его помогает больному юноше коротать тягостные часы, а потом неизменно доставляет тему для размышлений и разговора, Николас избрал эти места для ежедневных прогулок. Он перевозил Смайка в маленькой повозке и поддерживал его под руку, когда они медленно брели по этим любимым местам или останавливались, залитые лучами солнца, чтобы бросить последний долгий взгляд на уголки самые мирные и красивые.

В такие минуты Николас, почти бессознательно поддаваясь власти старых воспоминаний, показывал какое-нибудь дерево, на которое он сотни раз взбирался, чтобы взглянуть на птенцов в гнезде, и сук, с которого окликал, бывало, маленькую Кэт, стоявшую внизу, испуганную высотой, на какую он поднялся, но самым своим восхищением побуждавшую его лезть еще выше. Был здесь и старый дом, мимо которого они проходили ежедневно, поглядывая на маленькое оконце, куда врывались, бывало, солнечные лучи и будили его в летнее утро — тогда каждое утро было летним,— а взбираясь на садовую ограду и глядя вниз, Николас видел тот самый розовый

куст, который был преподнесен Кэт каким-то влюбленным мальчуганом, и она посадила его собственноручно. Здесь были живые изгороди, подле которых брат и сестра часто срывали цветы, и зеленые поля и тенистые тропинки, где они часто бродили. Не было здесь ни одного проселка, ни одного ручья, рощи или коттеджа, с которыми не связывалось бы какое-нибудь детское воспоминание (и оно воскресало, как всегда воскресают воспоминания детства), какой-нибудь пустяк: слово, смех, взгляд, легкое огорчение, мимолетная мысль или страх; но ярче и отчетливее запечатлелись они и живее припоминались, чем самые суровые испытания и тяжкие горести истекшего года.

Во время одной из таких прогулок они прошли по кладбищу, где была могила отца Николаса.

— Даже здесь мы, бывало, бродили, когда еще не знали, что такое смерть, и не ведали о том, чей прах будет здесь покоиться, и, дивясь тишине, присаживались отдохнуть и разговаривали шепотом,— тихо сказал Николас.— Однажды Кэт заблудилась, и через час, проведенный в бесплодных поисках, ее нашли спящей под этим деревом, которое теперь осеняет могилу моего отца. Отец очень любил ее и, взяв на руки, все еще спящую, сказал, что, когда он умрет, пусть его похоронят там, где покоилась головка его маленькой любимой девочки. Как видите, его желание не забыто.

Больше ничего не было тогда сказано, но вечером, когда Николас сидел у его кровати, Смайк встрепенулся, словно пробудился ото сна, и, вложив свою руку в его, со слезами, струившимися по лицу, стал просить, чтобы он дал ему торжественное обещание.

— Какое? — ласково спросил Николас.— Если я могу исполнить обещание, вы знаете, что я его дам.

— Я уверен, что вы это сделаете,— был ответ.— Обещайте мне, что, когда я умру, меня похоронят совсем близко от того дерева, которое мы видели сегодня.

Николас дал это обещание. В немногих словах он его дал, но они были торжественными и шли от самого сердца. Его бедный друг удержал его руку в своей и отвернулся, словно хотел заснуть. Но были слышны приглушенные рыдания, и не один раз пожимал он руку

Николаса, прежде чем погрузился в сон и постепенно разжал свою руку.

Недели через две ему стало так плохо, что он не мог больше ходить. Раза два Николас возил его в экипаже, обложенного подушками, но езда в экипаже причиняла ему боль и вызывала обмороки, которые при его слабости были опасны. В доме была кушетка, которая в дневные часы служила ему любимым местом отдыха; когда светило солнце и погода стояла теплая, кушетку выносили в маленький фруктовый сад, находившийся в двух шагах; больного хорошенько закутывали и переносили туда, и, бывало, они вдвоем сиживали здесь часами.

В один из таких дней произошел случай, который в то время Николас твердо считал плодом воображения, пораженного болезнью, но впоследствии по веским основаниям признал подлинной действительностью.

Он вынес Смайка на руках,— бедняжка! в то время его мог бы поднять ребенок,— вынес посмотреть закат солнца и, уложив его на кушетку, сел рядом с ним. Прошлую ночь он бодрствовал около него и теперь, устав, незаметно заснул.

Прошло не больше пяти минут, как он сомкнул глаза, и вдруг чей-то вопль заставил его очнуться. Вскочив в испуге, какой охватывает человека, если его внезапно разбудят, он, к великому своему изумлению, увидел, что больной с усилием приподнялся, глаза его чуть не выскакивают из орбит, холодный пот выступил на лбу и, охваченный дрожью, сотрясающей все его тело, он зовет на помощь.

— Боже мой, что случилось?! — воскликнул Николас, наклоняясь к нему.— Успокойтесь! Вам что-то приснилось.

— Нет, нет, нет! — крикнул Смайк, цепляясь за него.— Держите меня крепко. Не отпускайте меня. Там, там!

Николас проследил за его взглядом, устремленным куда-то в сторону, за то кресло, с которого он сам только что поднялся. Но там никого не было.

— Это только игра воображения,— сказал он, стараясь его успокоить.— Больше ничего.

— Мне лучше знать. Я видел так же ясно, как вижу сейчас вас,— был ответ.— О, скажите мне, что я останусь с вами! Поклянитесь, что вы меня не покинете ни на секунду!

— Разве я когда-нибудь покидал вас? — отозвался Николас.— Лягте. Вот так! Вы видите, я здесь. Теперь скажите мне, что это было?

— Вы помните,— тихим голосом сказал Смайк, пугливо озираясь,— помните, я вам рассказывал о человеке, который отдал меня в школу?

— Да, конечно.

— Я только что посмотрел вон на то дерево с толстым стволом, и там, устремив на меня взгляд, стоял он!

— Вы подумайте минутку,— сказал Николас,— даже если он еще жив и бродит в таких уединенных местах, находящихся так далеко от проезжей дороги, неужели вы полагаете, что по прошествии стольких лет вы могли бы узнать этого человека?

— В любом месте, в любой одежде! — ответил Смайк.— Но сейчас, когда он стоял, опираясь на палку, и смотрел на меня, он был точь-в-точь таким, каким я его запомнил. Он был покрыт дорожной пылью и плохо одет,— мне кажется, на нем были лохмотья,— но как только я его увидел, дождливая ночь, его лицо, когда он уходил, комната, где он меня оставил, люди, которые там были,— все это как будто вернулось снова. Когда он понял, что я его вижу, он словно испугался, потому что задрожал и отпрянул. Днем я о нем думал, ночью он мне снился. Я видел его во сне, когда был маленьким, и видел его во сне в последующие годы таким, каким он был сейчас.

Николас привел все доводы, какие мог придумать, чтобы убедить запуганное существо, что воображение обмануло его и что доказательством этого и является поразительное сходство между образом его сновидений и человеком, которого он якобы видел. Но все было тщетно. Уговорив Смайка остаться ненадолго на попечении хозяев дома, он принялся тщательно расследовать, видел ли кто-нибудь незнакомца. Он обыскал фруктовые сады, и примыкающий участок земли, и все места по соседству, где мог спрятаться человек, но все было безуспешно.



Удостоверившись, что первоначальные его выводы правильны, он принялся успокаивать испуганного Смайка, и спустя некоторое время это ему удалось до известной степени, хотя Смайк снова и снова повторял с большим жаром и очень торжественно, что он видел человека, которого описал, и никто его в этом не разуверит.

И тут Николас начал понимать, что надежды нет и что скоро все будет кончено для спутника, разделявшего с ним бедность, и друга его более счастливых дней. Смайк мало страдал и тревожился мало, но не заметно было никакого улучшения, никаких усилий, никакой борьбы за жизнь. Он был окончательно истощен; голос стал таким тихим, что его едва можно было расслышать. Природа исчерпала все силы, и он был обречен.

В ясный, мягкий осенний день, когда все вокруг было безмятежно и мирно, когда теплый, нежный ветерок залетал украдкой в открытое окно тихой комнаты и ни звука не было слышно, кроме легкого шелеста листьев, Николас сидел на обычном своем месте у постели больного, зная, что час близок. Такая была тишина, что он часто наклонялся, прислушиваясь к дыханию спящего, словно хотел увериться, что жизнь еще теплится и Смайк не погрузился в тот глубокий сон, от которого нет на земле пробуждения.

Когда он прислушивался, закрытые глаза открылись, и на бледном лице Смайка появилась спокойная улыбка.

— Вот и прекрасно,— сказал Николас.— Сон принес вам пользу.

— Мне снились такие приятные сны. Такие приятные, счастливые сны!

— Что вам снилось? — спросил Николас.

Умирающий юноша повернулся к нему и, обвив рукой его шею, ответил:

— Скоро я буду там!

После короткого молчания он снова заговорил.

— Я не боюсь умереть,— сказал он.— Я рад. Мне кажется, если бы я мог встать с этой постели совсем здоровым, сейчас я бы этого не хотел. Вы так часто говорили мне, что мы встретимся снова, и теперь я так глу-

боко чувствую правду этих слов, что могу вынести даже разлуку с вами.

Дрожащий голос, и слезы на глазах, и рука, обвившаяся крепче, показывали, как переполнено этими последними словами сердце говорившего, и не менее ясно было видно, как глубоко тронули они сердце того, к кому были обращены.

— Вы говорите хорошо,— ответил, наконец, Николас,— и очень утешаете меня, дорогой мой. Если можете, скажите мне, что вы счастливы.

— Сначала я должен вам кое-что открыть. У меня не должно быть от вас тайн. Я знаю, в такую минуту, как эта, вы не будете меня упрекать.

— Я — упрекать вас! — воскликнул Николас.

— Я уверен, что не будете. Вы меня спрашивали, почему я так изменился и... и так часто оставался один. Сказать вам, почему?

— Нет, если это причиняет вам боль,— сказал Николас.— Я спрашивал только потому, что хотел сделать вас счастливее, по мере моих сил.

— Знаю. Я это чувствовал тогда.— Он ближе притянул к себе своего друга.— Вы меня простите, я ничего не мог поделать, но, хотя я готов был умереть, чтобы сделать ее счастливой, у меня разрывалось сердце, когда я видел... Я знаю, он горячо ее любит... О, кто бы мог понять это раньше меня!

Следующие слова были произнесены слабым и тихим голосом и разделены длинными паузами, но Николас понял, что умирающий мальчик со всем пылом души, сосредоточившись на одном всепоглощающем, безнадежном, тайном чувстве, любил его сестру Кэт.

Он раздобыл ее локон и спрятал у себя на груди, завернув в узкую ленту, которую она носила. Он умолял, чтобы после его смерти Николас снял этот локон,— чужие глаза не должны его увидеть,— а потом снова спрятал у него на груди. Пусть локон лежит вместе с ним в земле, когда его уже положат в гроб и опустят в могилу.

Николас обещал ему это, стоя на коленях, и повторил обещание, что он будет покоиться в том месте, которое указал. Они обнялись и поцеловали друг друга.

— Теперь я счастлив,— прошептал Смайк.

Он погрузился в легкую дремоту, а проснувшись, улыбнулся, как и раньше. Потом заговорил о прекрасных садах, которые, по словам его, раскинулись перед ним; там были мужчины и женщины и много детей, и все лица озарены светом, потом прошептал, что это рай, и скончался.

ГЛАВА LIX

Планы рушатся, а заговорщиком овладевают сомнения и страхи

Ральф сидел один в уединенной комнате, где имел обыкновение обедать, ужинать и сидеть по вечерам, когда никакое выгодное дело не влекло его на улицу. Перед ним был нетронутый завтрак, а там, где он беспокойно постукивал пальцами по столу, лежали часы. Давно уже прошел тот час, когда, на протяжении многих лет, он прятал их в карман и размеренными шагами спускался по лестнице, чтобы заняться своими повседневными делами, но на монотонное их напоминание он обращал не больше внимания, чем на завтрак, и продолжал сидеть, подперев голову рукой и хмуро уставившись в пол.

Одно это отступление от неизменной и прочно укоренившейся привычки у человека, такого неизменного и пунктуального во всем связанном с повседневной погоней за богатством, могло дать понять, что ростовщику было не по себе. Что он страдал от какого-то душевного или физического недомогания и оно было не из легких, если так повлияло на такого человека, как он,— об этом явно свидетельствовало его измученное лицо, удрученный вид и ввалившиеся, усталые глаза; наконец он поднял их, вздрогнув и быстро оглянувшись, словно его внезапно разбудили и он не может сразу узнать место, где находится.

— Что это нависло надо мной, чего я не могу стряхнуть? — сказал он.— Я никогда не был неженкой, и не следовало бы мне болеть. Я никогда не унывал, не охал и не уступал причудам, но что может сделать человек, если нет покоя?

Он прижал руку ко лбу.

— Ночь за ночью приходит и уходит, а покоя у меня нет. Если я сплю, какой это отдых, когда его неустанно тревожат сновидения все о тех же ненавистных лицах вокруг меня — о тех же ненавистных людях, занимающихся всевозможными делами и вмешивающихся во все, что я говорю и делаю, и всегда во вред мне? Когда я пробуждаюсь, какой может быть отдых, если меня неустанно преследует этот злой призрак,— не знаю, чей,— призрак самый жестокий? Я должен отдохнуть. Одна ночь полного отдыха — и я бы снова стал человеком.

Отодвинув от себя при этих словах стол, как будто ему ненавистен был вид пищи, он случайно заметил часы, стрелки которых указывали почти полдень.

— Странно! — сказал он.— Полдень, а Ногса нет! Какая пьяная драка могла задержать его! Я бы кое-что дал — даже денег дал бы, несмотря на эту ужасную потерю,— если бы он зарезал человека во время потасовки в таверне, или забрался в чей-нибудь дом, или очистил карман, или сделал что-нибудь такое, чтобы его с железным кольцом на ноге отправили за море и избавили меня от него. А еще лучше, если бы я мог подстроить ему ловушку и как-нибудь его соблазнить, чтобы он меня обокрал. Пусть берет что хочет, только бы я мог отдать его под суд, потому что, клянусь, он предатель! Как он предает, когда и где, я не знаю, хотя подозрения у меня есть.

Подождав еще полчаса, он отправил к Ньюмену женщину, которая ведала хозяйством, узнать, не заболел ли он и почему не пришел или не прислал кого-нибудь. Она принесла ответ, что он не ночевал дома и никто ничего не мог сказать ей о нем.

— Но там внизу какой-то джентльмен, сэр,— сказала она.— Он стоял у двери, когда я входила, и он говорит...

— Что он говорит? — спросил Ральф, сердито повернувшись к ней.— Я вам сказал, что никого не желаю видеть.

— Он говорит, что пришел по очень важному делу, которое не терпит отлагательств,— сказала женщина, оробев от его резкого тона.— И я подумала, что, может быть, это касается...

— Кого касается, черт возьми? — воскликнул Ральф.— Вы шпионите и следите за моими сделками, так, что ли?

— Ах, боже мой, нет, сэр! Я видела, что вы обеспокоены, и подумала, что, может быть, это из-за мистера Ногса, вот и все.

— Видели, что я обеспокоен! — пробормотал Ральф.— Теперь они все следят за мной. Где этот человек? Надеюсь, вы ему не сказали, что я еще у себя наверху?

Женщина ответила, что он в маленькой конторе и она ему сказала, что ее хозяин занят, но она передаст его просьбу.

— Хорошо, я его приму,— сказал Ральф.— Ступайте в кухню и оставайтесь там. Понимаете?

Обрадованная тем, что ее отпустили, женщина быстро скрылась. Собравшись с духом и приложив все силы, чтобы принять свой обычный вид, Ральф спустился вниз. Держась за ручку двери, он помедлил несколько секунд, после чего вошел в каморку Ньюмена и очутился лицом к лицу с мистером Чарльзом Чириблом.

Из всех людей в мире он меньше всего хотел бы встретить этого человека в любое время, а сейчас, когда видел в нем только патрона и защитника Николаса, он предпочел бы столкнуться с привидением. Однако эта встреча оказала на него благодетельное воздействие: она мгновенно пробудила всю его дремлющую энергию; снова разожгла в его груди страсти, какие в течение многих лет находили в ней приют; оживила весь его гнев, ненависть и злобу; вернула его губам насмешливую улыбку и его лбу грозные морщины и снова сделала его по внешнему виду тем самым Ральфом Никльби, которого столь многие имели горькие основания помнить.

— Гм! — сказал Ральф, остановившись в дверях.— Неожиданная честь, сэр.

— И нежелательная, знаю, что нежелательная,— сказал брат Чарльз.

— Говорят, вы — сама правда, сэр,— отозвался Ральф.— Сейчас во всяком случае вы сказали правду, и я не буду вам противоречить. Честь эта по меньшей мере столь же нежелательна, сколь неожиданна. Вряд ли я могу сказать больше!

— Короче говоря, сэр...— начал брат Чарльз.

— Короче говоря, сэр,— перебил Ральф,— я хочу, чтобы наша беседа была короткой и закончилась не начавшись. Я догадываюсь, о каком предмете вы собираетесь говорить, и слушать вас я не буду. Кажется, вы любите откровенность, так вот она. Как видите, вот дверь. Наши дороги расходятся. Прошу вас, ступайте своей дорогой, а мне предоставьте идти спокойно моей.

— Спокойно! — кротко повторил брат Чарльз, глядя на него скорее с жалостью, чем с упреком.— Идти спокойно *его* дорогой!

— Полагаю, сэр, вы не останетесь у меня в доме против моего желания,— сказал Ральф,— и вряд ли у вас может быть надежда произвести впечатление на человека, который глух ко всему, что вы можете сказать, и твердо решил не слушать вас.

— Мистер Никльби, сэр,— возразил брат Чарльз не менее кротко, чем раньше, но в то же время твердо,— я пришел сюда против моей воли, с тоскою и болью, против моей воли. Никогда не бывал я в этом доме, и, если говорить откровенно, сэр, мне здесь тревожно и не по себе, и я не имею ни малейшего желания когда бы то ни было прийти сюда опять. Вы не догадываетесь, о каком предмете пришел я поговорить с вами, да, не догадываетесь. Я в этом уверен, иначе ваш тон был бы совсем иным.

Ральф зорко посмотрел на него, но ясные глаза и открытое лицо честного старого негоцианта сохраняли прежнее выражение, и он спокойно встретил его взгляд.

— Продолжать ли мне? — спросил мистер Чирибл.

— О, пожалуйста! — сухо ответил Ральф.— Вот стены, к которым вы можете обращаться, сэр, конторка и два табурета — внимательнейшие слушатели, они, конечно, не будут вас перебивать. Продолжайте, прошу вас; пусть мой дом будет вашим, а к тому времени, когда я вернусь с прогулки, вы, быть может, договорите то, что имеете сказать, и разрешите мне вновь вступить во владение им.

С этими словами он застегнул сюртук и, выйдя в коридор, взял шляпу. Старый джентльмен последовал за ним и хотел заговорить, но Ральф нетерпеливо отмахнулся от него и сказал:

— Ни слова! Говорю вам — ни слова, сэр. Сколь вы ни добродетельны, все-таки вы не ангел, чтобы являться к людям в дом, хотят они того или не хотят, и обращаться с поучением к нежелающим слушать. Говорю вам, проповедуйте стенам, не мне!

— Небу известно, что я не ангел, но заблуждающийся и слабый человек! — покачивая головой, сказал брат Чарльз.— Однако есть одна добродетель, которую все люди наравне с ангелами могут проявить, если захотят: милосердие. Дело милосердия привело меня сюда. Прошу вас, дайте мне его исполнить.

— Мне чуждо милосердие,— с торжествующей улыбкой сказал Ральф,— и я не прошу о нем. Не ждите никакого милосердия от меня, сэр, по отношению к этому мальчишке, который воспользовался вашей ребяческой доверчивостью, но пусть он ждет наихудшего, что я способен сделать.

— Ему просить о милосердии *вас!* — с жаром воскликнул старый негоциант.— Просите о нем его, сэр, просите о нем его! Вы не хотите выслушать меня теперь, когда это возможно, но вы меня выслушаете, когда это будет неизбежно, если не предугадаете, что я хочу сказать, и не примете мер, чтобы навсегда предотвратить новую нашу встречу. Ваш племянник — благородный юноша, сэр, честный, благородный юноша! Кто такой вы, мистер Никльби, я говорить не хочу, но что вы сделали, я знаю. Теперь, сэр, когда вы отправитесь по делу, которым недавно занялись, и убедитесь, что вести его трудно, приходите ко мне и к моему брату Нэду и к Тиму Линкинуотеру, сэр, и мы вам все объясним. И приходите поскорее, иначе будет поздно и тогда вам объяснят с большею грубостью и меньшей деликатностью... И всегда помните, сэр, что сегодня я пришел сюда из милосердия и по-прежнему готов беседовать с вами в духе милосердия.

С этими словами, произнесенными с большой серьезностью и волнением, брат Чарльз надел свою широкополую шляпу и, без дальнейших слов пройдя мимо Ральфа Никльби, быстро вышел на улицу. Ральф посмотрел ему вслед, но некоторое время не двигался и не произносил ни слова, потом нарушил молчание, походившее на оцепенение, презрительным смехом.

— Это так дико, что могло быть одним из тех сновидений, которые последнее время нарушают мой покой,— сказал он.— Из милосердия! Фу! Старый дурак сошел с ума!

Хотя Ральф и высказался в таком насмешливом и презрительном тоне, но было ясно, что чем больше он размышлял, тем больше становилось ему не по себе и тем сильнее томили его какое-то смутное беспокойство и тревога, которые нарастали по мере того, как шло время, а о Ньюмене Ногсе не было никаких известий. Прождав до позднего часа, терзаемый всевозможными предчувствиями, опасениями и воспоминанием о том предостережении, какое сделал ему племянник во время их последней встречи, он вышел из дому и, вряд ли понимая почему (если не считать причиной волнение), направился к дому Снаули. Вышла его жена, и у нее Ральф осведомился, дома ли ее муж.

— Нет! — резко ответила она.— Нет дома, и думаю, что еще очень долго не будет, вот оно как!

— Вы знаете, кто я? — спросил Ральф.

— О да, я вас очень хорошо знаю!.. Пожалуй, слишком хорошо, да и он тоже слишком хорошо знает, и жаль, что приходится это говорить.

— Скажите ему — я только что его видел сквозь жалюзи наверху, когда переходил через дорогу,— что я хотел бы поговорить с ним по делу,— сказал Ральф.— Слышите?

— Слышу,— отозвалась миссис Снаули, оставляя без внимания эту просьбу.

— Я знал, что эта женщина — лицемерка, со всеми ее псалмами и цитатами из библии,— сказал Ральф, спокойно проходя мимо нее,— но раньше я никогда не замечал, что она пьет.

— Стойте! Вы сюда не войдете! — крикнула лучшая половина мистера Снаули, загораживая дверь своей особой, достаточно внушительной.— По делу вы уже говорили с ним более чем достаточно. Я всегда ему твердила о том, чем кончатся его дела с вами и исполнение ваших распоряжений. Или вы, или школьный учитель — один из вас или вы вместе — подделали письмо, запом-

ните это! Не он это делал, стало быть нечего на него сваливать!

— Придержите язык, мегера! — сказал Ральф, пугливо озираясь.

— Я знаю, когда мне придерживать язык, а когда говорить, мистер Никльби,— возразила леди.— Позаботьтесь о том, чтобы другие тоже знали, когда нужно придержать язык!

— Слушайте вы, старая шельма! — крикнул Ральф.— Если ваш муж такой идиот, что поверяет вам свои тайны, так вы по крайней мере храните их, чертовка!

— Может быть, не столько свои, сколько чужие тайны! — воскликнула женщина.— Не столько свои, сколько ваши! Нечего бросать на меня грозные взгляды! Может быть, они вам еще пригодятся в другой раз. Приберегите-ка их!

— Пойдете вы к своему мужу,— начал Ральф, стараясь по мере сил сдержать бешенство и крепко сжимая ей руку,— пойдете вы к нему и скажете, что я сейчас видел его и должен с ним поговорить? И скажете вы мне, почему это вы и он переменили манеру обращения?

— Нет! — ответила женщина, резко освобождаясь.— Ни того, ни другого я не сделаю.

— Значит, вы мне бросаете вызов? — сказал Ральф.

— Да, бросаю вызов,— был ответ.

Ральф поднял было руку, словно хотел ее ударить, но сдержался, тряхнул головой и, пробормотав, что он ей этого не забудет, ушел.

Он пошел прямо в гостиницу, где останавливался мистер Сквирс, и спросил, когда тот был там в последний раз, смутно надеясь, что Сквирс, плохо ли, хорошо ли исполнив свою миссию, вернулся и может его успокоить. Но мистера Сквирса не видели там десять дней и сообщили, что он оставил свои вещи и не уплатил по счету.

Волнуемый тысячей опасений и догадок и желая установить, пронюхал ли Сквирс что-нибудь о Снаули, или же сам в какой-то мере повинен в этой перемене, Ральф решил прибегнуть к рискованному средству — справиться о нем на квартире в Ламбете и повидать его хотя бы там. Находясь в том состоянии, когда промедление невыносимо, он сейчас же отправился туда и, хорошо зная по

описанию расположение комнат, крадучись поднялся по лестнице и тихо постучал в дверь.

Ни первый, ни второй, ни третий, ни даже двенадцатый удар не могли убедить Ральфа, что в комнате никого нет. Быть может, Сквирс спит, решил он и, прислушиваясь, почти внушил себе, что слышит его дыхание. Когда уже нельзя было сомневаться в отсутствии Сквирса, он присел на поломанную ступеньку и стал терпеливо ждать, убеждая себя, что тот вышел по какому-нибудь пустячному делу и скоро вернется.

Много людей поднималось по скрипучей лестнице, и иные шаги казались настороженному слуху Ральфа столь похожими на шаги человека, которого он ждал, что он часто вставал, собираясь заговорить. Но люди, один за другим, сворачивали в какую-нибудь комнату, не доходя до того места, где он расположился, и после каждого такого разочарования его охватывал озноб и чувство одиночества.

Наконец он понял, что оставаться долее бесполезно и, спустившись снова вниз, спросил у одного из жильцов, известно ли ему что-нибудь о мистере Сквирсе, назвав этого достойного человека вымышленным именем, как было между ними условлено. Этот жилец отослал его к другому жильцу, а тот еще к кому-то, от кого он узнал, что накануне, поздно вечером, Сквирс торопливо вышел из дому с двумя людьми, которые вскоре вернулись за старухой, жившей в том же этаже, и что хотя это обстоятельство и привлекло внимание жильца, он в то время с ними не разговаривал, да и потом не наводил справок.

Это навело Ральфа на мысль, что, быть может, Пэг Слайдерскью арестовали за кражу и что мистер Сквирс, находившийся в тот момент с ней, был арестован по подозрению в соучастии. Если таково положение дел, об этом факте должен знать Грайд; к дому Грайда он и направился. Теперь он уже встревожился не на шутку и испугался, не задуманы ли в самом деле какие-то планы, несущие ему поражение и гибель.

Подойдя к дому ростовщика, он увидел плотно закрытые окна, спущенные грязные шторы: везде безмолвно, уныло и пустынно. Но таков был обычный вид дома. Он

постучал — сначала тихо, потом громко и настойчиво. Никто не вышел. Он написал несколько слов карандашом на карточке и, подсунув под дверь, отошел, как вдруг шум наверху, словно кто-то украдкой поднял оконную раму, коснулся его слуха. Посмотрев вверх, он едва успел увидеть лицо самого Грайда, осторожно выглядывавшего поверх парапета из окна чердака. Увидев Ральфа, Грайд втянул голову, но недостаточно быстро, и Ральф дал ему понять, что он замечен, и крикнул, чтобы тот спустился вниз.

На вторичный окрик Грайд выглянул снова с такой осторожностью, что туловище старика осталось невидимым. Только лицо с заостренными чертами и седые волосы появились над парапетом, словно отрубленная голова, украшавшая стену.

— Тише! — крикнул он.— Уходите, уходите!

— Спускайтесь,— сказал Ральф, поманив его.

— Уходите! — взвизгнул Грайд, с каким-то судорожным нетерпением тряся головой.— Не говорите со мной, не стучите, не привлекайте внимания к этому дому, уходите!

— Клянусь, я буду стучать, пока ваши соседи не сбегутся, если вы мне не скажете, почему вы там прячетесь, скулящая вы дворняжка!

— Я не хочу слушать вас... не разговаривайте со мной... это небезопасно... Уходите... уходите! — ответил Грайд.

— Спускайтесь, говорю вам! Спуститесь вы или нет? — злобно крикнул Ральф.

— Нет! — огрызнулся Грайд.

Он втянул голову, и Ральф, стоя на тротуаре, слышал, что окно закрылось так же тихо и осторожно, как и открылось.

— Что это? — сказал он.— Почему все они отшатываются, бегут от меня, как от чумы, эти люди, которые лизали пыль на моих сапогах? Или мой день миновал и сейчас в самом деле спускается ночь? Я узнаю, что это значит! Узнаю любой ценой. Сейчас я тверже и больше похож на самого себя, чем все эти дни.

Отвернувшись от двери, в которую он в порыве бешенства намеревался колотить до тех пор, пока страх не

заставит Грайда открыть ему, он пошел к Сити и, настойчиво пробиваясь сквозь толпу, валившую оттуда (было уже между пятью и шестью часами вечера), направился прямо к торговому дому братьев Чирибл. Просунув голову в стеклянный ящик, он увидел там одного Тима Линкинуотера.

— Меня зовут Никльби,— сказал Ральф.

— Я это знаю,— ответил Тим, созерцая его сквозь очки.

— Кто из вашей фирмы заходил ко мне сегодня утром? — спросил Ральф.

— Мистер Чарльз.

— В таком случае, скажите мистеру Чарльзу, что я хочу его видеть.

— Вы увидите,— сказал Тим, проворно слезая с табурета,— вы увидите не только мистера Чарльза, но и мистера Нэда.

Тим замолчал, посмотрел пристально и сурово на Ральфа, резко кивнул головой, как бы говоря, что за этими словами скрывается еще нечто, и вышел. Вскоре он вернулся и, введя Ральфа к обоим братьям, остался в комнате.

— Я хочу поговорить с вами — с тем, кто говорил со мной сегодня утром,— сказал Ральф, указывая пальцем на того, к кому обращался.

— У меня нет тайн ни от брата Нэда, ни от Тима Линкинуотера,— спокойно заметил брат Чарльз.

— У меня есть,— сказал Ральф.

— Мистер Никльби, сэр,— сказал брат Нэд,— дело, по которому заходил к вам сегодня мой брат Чарльз, прекрасно известно нам троим и еще кое-кому. И, к несчастью, скоро будет известно многим. Сэр, он пришел к вам сегодня один из деликатности. Теперь мы чувствуем, что в дальнейшем деликатность была бы неуместна, и если беседовать нам, то всем вместе или вовсе не беседовать.

— Ну что ж, джентльмены,— сказал Ральф, презрительно скривив рот,— по-видимому, говорить загадками — ваше общее свойство. Полагаю также, что ваш клерк, как человек благоразумный, неплохо изучил это искусство, чтобы попасть к вам в милость. Ну что ж, джентльмены,

будем беседовать все вместе. Я готов считаться с вашей слабостью.

— Считаться со слабостью! — воскликнул Тим Линкинуотер и густо покраснел.— Он готов считаться с нашей слабостью! Со слабостью «Чирибл, братья»! Вы это слышите? Вы его слышите? Вы слышите: он говорит, что будет считаться со слабостью «Чирибл, братья»!

— Тим! — сказали в один голос Чарльз и Нэд.— Пожалуйста, Тим... ну, пожалуйста... не надо.

Тим, вняв просьбе, приглушил, насколько мог, свое негодование и позволил ему прорываться лишь сквозь очки, пользуясь время от времени добавочным предохранительным клапаном в виде отрывистого истерического смешка, казалось приносившего ему большое облегчение.

— Раз никто не приглашает меня сесть,— сказал Ральф, осмотревшись вокруг,— я сяду без приглашения, потому что устал от ходьбы. А теперь, джентльмены, я желаю знать — я требую, у меня есть на это право,— что имеете вы мне сказать и как оправдаете подобное обращение со мной и вмешательство исподтишка в мои дела, которыми вы занимаетесь, как я имею основания предполагать. Говорю вам откровенно, джентльмены: хоть я и мало считаюсь с мнением света (как принято выражаться), однако я не намерен спокойно примириться с клеветой и злословьем! Или вы сами стали легковерной жертвой обмана, или умышленно принимаете в нем участие, впрочем, для меня это безразлично: и в том и в другом случае вы не можете ждать от заурядного человека вроде меня особой снисходительности или терпения.

Так хладнокровно и рассудительно было это сказано, что девять человек из десяти, не знающие обстоятельств дела, сочли бы Ральфа обиженным незаслуженно. Он сидел, скрестив руки, был, правда, бледнее, чем обычно, и угрюм, но совершенно спокоен — куда спокойнее, чем братья или взволнованный Тим — и был готов смело встретить наихудшее.

— Очень хорошо, сэр,— сказал брат Чарльз.— Очень хорошо. Брат Нэд, пожалуйста, позвоните.

— Чарльз, дорогой мой, одну секунду! — возразил тот.— Лучше будет для мистера Никльби, а также и для

наших целей, чтобы он помолчал, если может, пока мы не выскажем того, что имеем сказать. Я бы хотел, чтобы он это понял.

— Совершенно верно, совершенно верно,— согласился брат Чарльз.

Ральф улыбнулся, но ничего не ответил. Позвонили. Открылась дверь, вошел, прихрамывая, человек, и, оглянувшись, Ральф встретился глазами с Ньюменом Ногсом. С этой секунды мужество начало ему изменять.

— Хорошее начало! — сказал он с горечью.— Очень хорошее начало! Искренние, честные, откровенные, прямодушные люди! Я всегда знал цену таким, как вы! Подкупать подобного рода субъекта, который готов продать душу (если она у него есть), чтобы напиться, и каждое слово которого — ложь! Кто же может почитать себя в безопасности, если это возможно? О, превосходное начало!

— Я *буду* говорить! — крикнул Ньюмен, привстав на цыпочки, чтобы смотреть поверх головы Тима, который вмешался, стараясь его остановить.— Эй, вы, сэр! Старый Никльби! Что вы имеете в виду, когда говорите о «подобного рода субъекте»? Кто меня сделал «подобного рода субъектом»? Если я готов душу продать, чтобы напиться, почему я не стал вором, мошенником, взломщиком, карманщиком, почему не таскал пенсов с блюдца у собаки слепца, вместо того чтобы быть вашим рабом и вьючной лошадью? Если каждое мое слово — ложь, почему не был я вашим любимцем и фаворитом? Ложь! Разве я когда-нибудь низкопоклонничал и пресмыкался перед вами? Отвечайте мне. Я служил вам верно. Я исполнял больше работы и выслушивал от вас больше оскорблений, чем любой человек, которого вы могли бы взять из приходского работного дома, потому что я был беден и потому что я презирал и вас и эти оскорбления. Я вам служил, потому что я был горд, потому что у вас я был одинок и не было других рабов, которые бы видели мое унижение. Никто не знал лучше, чем вы, что я — разорившийся человек, что не всегда я был таким, каков я теперь, и что мне жилось бы лучше, если бы я не был дураком и не попал в лапы ваши и других негодяев. Вы это отрицаете?

— Тише,— урезонивал Тим.— Ведь вы сказали, что не будете...

— Сказал, что не буду! — крикнул Ньюмен, отстраняя его и отодвигаясь по мере того, как Тим придвигался, чтобы не подпустить его ближе, чем на расстояние вытянутой руки.— Не говорите мне этого! Эй, вы, Никльби! Нечего притворяться, будто вы не обращаете внимания на мои слова, меня не обманете, я-то вас знаю! Вы только что говорили о подкупе. А кто подкупил йоркширского школьного учителя и, отослав раба, чтобы он не подслушивал, позабыл о том, что такая чрезмерная осторожность может показаться ему подозрительной и он будет следить за своим хозяином по вечерам и поручит другим следить за школьным учителем? Кто подкупил отца-эгоиста, чтобы он продал свою дочь старому Артуру Грайду? Кто подкупил Грайда — в маленькой конторе, *в комнате со стенным шкафом?*

Ральф крепко держал себя в руках, но он не мог не вздрогнуть, хотя бы его через секунду должны были за это обезглавить.

— Ага! — крикнул Ньюмен.— Теперь вы обращаете на меня внимание? А что заставило этого слугу шпионить за хозяином? Что заставило его понять, что, если он при случае не пойдет ему наперекор, он станет таким же негодяем, если не хуже? Жестокость хозяина к родным и гнусный замысел, направленный против молодой девушки — девушки, которая вызвала сочувствие даже у его разорившегося, пьяного, жалкого слуги и заставила его остаться на службе в надежде чем-нибудь ей помочь, как уже случалось ему раза два помогать другим. Не будь этого, он облегчил бы свои чувства — здорово отколотил бы хозяина, а потом отправился бы к черту. Он бы это сделал, заметьте! И заметьте еще одно: я нахожусь сейчас здесь, потому что эти джентльмены сочли это нужным. Отыскав их (я сам это сделал, меня никто не подкупал), я им сказал, что мне нужна помощь, чтобы вывести вас на чистую воду, выследить вас, довести до конца начатое дело, добиться справедливости. И я сказал, что, совершив это, я ворвусь в вашу комнату и скажу вам все в лицо, по-мужски, как мужчина мужчине! Теперь я кончил, пусть говорят другие! Начинайте!

После этой заключительной фразы Ньюмен Ногс, который то садился, то вскакивал на протяжении всей своей отрывистой речи и от этих энергических упражнений и волнения пришел в состояние крайне напряженное и возбужденное, внезапно, минуя все промежуточные стадии, застыл, прямой и неподвижный, да так и остался стоять, глядя во все глаза на Ральфа Никльби.

Ральф смотрел на него секунду, только секунду, потом махнул рукой и, постукивая ногой по полу, сказал сдавленным голосом:

— Продолжайте, джентльмены, продолжайте! Как видите, я терпелив. Есть на свете закон, есть закон. Я вас привлеку к ответу. Думайте о том, что говорите. Я вас заставлю привести доказательства.

— Доказательства есть,— возразил брат Чарльз,— доказательства в наших руках. Вчера вечером этот Снаули сделал признание.

— Кто такой «этот Снаули»,— сказал Ральф,— и какое отношение к моим делам имеет его «признание»?

На этот вопрос, заданный с невозмутимым видом, старый джентльмен не дал никакого ответа и заявил, что с целью показать, сколь серьезно отнеслись они к делу, необходимо сообщить ему не только об обвинениях, выдвинутых против него, но и о доказательствах, имеющихся у них, и о способе, каким они были получены. Когда вопрос был таким образом поставлен открыто, вмешались брат Нэд, Тим Линкинуотер и Ньюмен Ногс — все трое сразу,— долго и путано говорили наперебой, после чего изложили Ральфу в ясных выражениях следующее.

Ньюмен получил торжественное заверение от одного лица, которое в данный момент здесь не присутствует, что Смайк не был сыном Снаули, и этот факт в случае необходимости может быть подтвержден под присягой; после этого заверения они впервые начали сомневаться в справедливости притязаний Снаули, которые в противном случае у них не было бы никаких оснований оспаривать, поскольку они подкреплялись свидетельскими показаниями, оставшимися неопровергнутыми. Раз заподозрив наличие заговора, они без труда открыли его первоисточник — злобу Ральфа и мстительность и алчность Сквирса. Но подозрение и доказательство — вещи разные, и вот

один юрист, весьма проницательный и ловкий в такого рода делах, посоветовал им сопротивляться притязаниям стороны, требующей возвращения юноши; он посоветовал им действовать медленно и осторожно и в то же время осаждать Снаули (на его участии, это было ясно, строился весь заговор), довести его, если возможно, до противоречивых показаний, тревожить его всеми доступными способами и использовать его страх и заботу о собственной безопасности так, чтобы побудить его открыть весь план и выдать своего нанимателя и всех, кто был замешан. Все это было проделано весьма успешно, но Снаули, искушенный в науке хитростей и интриг, противился всем их попыткам, пока неожиданное стечение обстоятельств не повергло его вчера вечером на колени.

Случилось это так. Когда Ньюмен Ногс доложил, что Сквирс опять в Лондоне и между ним и Ральфом состоялось совещание столь секретное, что Ньюмена услали из дому, чтобы он ни слова не подслушал,— за школьным учителем начали следить в надежде обнаружить что-нибудь такое, что пролило бы свет на предполагаемый заговор. Но Сквирс не поддерживал никаких сношений ни с Ральфом, ни со Снаули, и это совершенно сбивало с толку; слежка была прекращена, и они отказались бы от дальнейшего наблюдения за ним, если бы однажды вечером Ньюмен, оставаясь незамеченным, не наткнулся случайно на улице на Сквирса и Ральфа. Следуя за ними, он, к изумлению своему, обнаружил, что они заходят в жалкие меблированные комнаты и таверны, содержавшиеся разорившимися игроками, где Ральф почти повсюду был известен; Ньюмен установил также, что они разыскивают старуху, приметы которой в точности соответствовали приметам глухой миссис Слайдерскью. Теперь, когда дела приняли более серьезный оборот, слежку возобновили с удвоенным рвением. Был приглашен полицейский агент, который поселился в той же гостинице, что и Сквирс; он и Фрэнк Чирибл следили за каждым шагом школьного учителя, пока тот не обосновался в комнате в Лембете. Когда мистер Сквирс переехал в эту комнату, агент переехал в дом, расположенный напротив, и скоро обнаружил, что мистер Сквирс и миссис Слайдерскью постоянно встречаются.

Тогда обратились к Артуру Грайду. О краже давно уже стало известно отчасти благодаря любопытству соседей, а отчасти благодаря его отчаянию и бешенству; но Грайд категорически отказался дать согласие на арест старухи или способствовать ему и пришел в такой ужас при мысли о вызове в суд для дачи показаний против нее, что заперся у себя в доме и не желал общаться ни с кем. Тогда они собрались на совет и пришли, в поисках истины, к заключению, что Грайд и Ральф, пользуясь Сквирсом как орудием, договариваются о возвращении тех украденных бумаг, какие не могли быть преданы огласке и, возможно, разъясняли намеки касательно Маделайн, подслушанные Ньюменом; и тогда они решили, что миссис Слайдерскью должна быть арестована, прежде чем она с этими бумагами расстанется, а также и Сквирс, если можно будет его обвинить в каких-нибудь подозрительных действиях. Итак, получив ордер на обыск и сделав все приготовления, стали наблюдать за окном мистера Сквирса, пока в окне не потух свет и не настал час, когда он, как было предварительно установлено, имел обыкновение навещать миссис Слайдерскью.

Тогда Фрэнк Чирибл и Ньюмен прокрались наверх, чтобы подслушать их разговор и в благоприятный момент дать сигнал агенту. В какой благоприятный момент они явились, как они подслушивали и что услыхали, читателю уже известно. Мистера Сквирса, все еще оглушенного, с находившейся у него украденной бумагой быстро увели, а миссис Слайдерскью также была арестована, Снаули был тотчас уведомлен об аресте Сквирса (ему не сообщили причины), после чего этот достойный человек, добившись обещания, что не подвергнется каре, признал всю историю со Смайком мошенничеством, в котором замешан Ральф Никльби. Что до мистера Сквирса, то он был в то утро подвергнут судьей допросу, и так как не мог удовлетворительным образом объяснить, почему в его руках находится бумага и почему он поддерживал сношения с миссис Слайдерскью, то и был посажен вместе с нею под арест на неделю.

Теперь обо всем этом было рассказано Ральфу обстоятельно и подробно. Как бы ни повлиял на него рассказ, но он не проявил ни малейших признаков волне-

ния. Он сидел совершенно неподвижно, не отрывая хмурого взгляда от пола и прикрывая рот рукой. Когда рассказ был окончен, он быстро поднял голову, словно собираясь что-то сказать, но брат Чарльз снова заговорил, и он принял прежнюю позу.

— Я вам сказал сегодня утром, что меня привело к вам дело милосердия,— начал старый джентльмен, положив руку на плечо брата.— В какой мере вы замешаны в этой последней сделке и какие серьезные обвинения может выдвинуть против вас человек, находящийся сейчас под арестом, вам лучше знать. Но правосудие должно принять меры относительно лиц, замешанных в заговоре против бедного, беспомощного, несчастного юноши. Не в моей власти и не во власти моего брата Нэда спасти вас от последствий. Все, что мы можем сделать,— это предостеречь вас вовремя и дать вам возможность избежать их. Мы бы не хотели, чтобы такой пожилой человек, как вы, был опозорен и наказан своим ближайшим родственником. И мы бы не хотели, чтобы он забыл об узах крови, как забыли о них вы. Мы умоляем вас,— брат Нэд, я знаю, ты присоединишься к этой мольбе, а также и вы, Тим Линкинуотер, хотя вы сейчас и притворяетесь упрямцем, сэр, и сидите нахмурившись, как будто вы с нами не согласны,— мы умоляем вас уехать из Лондона, найти пристанище в таком месте, где бы вам не грозили последствия этих преступных замыслов и где у вас было бы время, сэр, искупить их и исправиться.

— И вы полагаете,— сказал Ральф, вставая,— и вы полагаете, что вам так легко раздавить *меня?* Вы полагаете, что сотни прекрасно обдуманных планов, сотни подкупленных свидетелей, сотни ищеек, выслеживающих меня, или сотни ханжеских проповедей, составленных из елейных слов, могут на меня повлиять? Благодарю вас за то, что вы мне открыли ваши планы: теперь я ко всему подготовлен. Вы имеете дело с человеком, которого не знаете. Ну что ж, попробуйте. И помните, что я плюю на ваши громкие слова и лицемерные поступки, не боюсь вас и бросаю вам вызов: делайте самое худшее, что только можете сделать!

Так расстались они на этот раз. Но худшее было еще впереди.

ГЛАВА LX

Опасность надвинулась, и совершается наихудшее

Вместо того чтобы идти домой, Ральф бросился в первый попавшийся ему на улице кабриолет и, приказав кучеру ехать по направлению к полицейскому участку того района, где стряслась беда с мистером Сквирсом, вышел из кэба недалеко от участка и, расплатившись с кучером, прошел остальную часть пути пешком. Осведомившись о предмете своих забот, он узнал, что удачно выбрал время для визита, ибо мистер Сквирс как раз в этот момент поджидал заказанную им карету, в которой намеревался отправиться, как подобает джентльмену, в предназначенное ему на неделю жилище.

Попросив разрешения поговорить с арестованным, Ральф вошел в комнату вроде приемной, где мистеру Сквирсу благодаря его ученой профессии и чрезвычайной респектабельности разрешено было провести день. Здесь при свете оплывавшей и закопченной свечи он с трудом мог разглядеть владельца школы, крепко спавшего на скамье в дальнем углу. Перед ним на столе стоял пустой стакан, который наряду с сонным состоянием мистера Сквирса и очень сильным запахом бренди возвестил посетителю, что мистер Сквирс в бедственном своем положении искал временного забвения в этой житейской утехе.

Не очень-то легко было его разбудить — таким летаргическим и глубоким был его сон. Медленно и постепенно придя в себя, Сквирс, наконец, сел и, показывая посетителю очень желтое лицо, очень красный нос и очень колючую бороду (общее впечатление усиливалось благодаря грязному носовому платку, запятнанному кровью, который прикрывал макушку и был завязан под подбородком), горестно посмотрел на Ральфа, а затем чувства его излились в следующей выразительной фразе:

— Ну, приятель, теперь вы свое дело сделали!

— Что у вас с головой? — спросил Ральф.

— Это ваш слуга, ваш шпион и похититель детей проломил ее,— хмуро ответил Сквирс,— вот что такое с ней. Значит, вы, наконец, пришли?

— Почему вы за мной не послали? — спросил Ральф.— Как я мог прийти, пока не узнал, что случилось с вами?

— Мое семейство,— икнув, воскликнул мистер Сквирс, поднимая глаза к потолку. Моя дочь, которая достигла того возраста, когда чувствительность в полном расцвете... Мой сын, юный Норвал * в частной жизни, гордость и украшение обожающей его деревни... Какой удар для моего семейства! Гербовый щит Сквирсов разломан на куски, и солнце их закатилось в волны океана!

— Вы пили и еще не проспались,— сказал Ральф.

— За *ваше* здоровье, старикашка, я не пил, стало быть вас это не касается,— отозвался мистер Сквирс.

Ральф поборол негодование, вызванное наглым тоном владельца школы, и снова спросил, почему он за ним не послал.

— А что бы я выиграл, если бы послал за вами? — возразил Сквирс.— Невелика для меня польза, если бы узнали, что я с вами заодно, а выпустить меня на поруки они не хотят, пока не соберут дополнительных сведений об этом деле... И вот я сижу здесь прочно и крепко, а вы благополучно разгуливаете на свободе.

— Так будет и с вами через несколько дней,— с притворным добродушием отозвался Ральф.— Вам они повредить не могут, приятель.

— Думаю, что ничего особенного они мне не могут сделать, если я объясню, каким образом я завязал добрые отношения с этим трупом, старухой Слайдер,— злобно ответил Сквирс.— Хотел бы я, чтобы она околела, и чтобы ее похоронили, и выкопали из могилы, и рассекли на части, и повесили на проволоке в анатомическом музее еще до того, как я о ней услышал. А вот что сказал мне сегодня утром, слово в слово, этот человек с напудренной головой: «Подсудимый! Так как вас застали в обществе этой женщины, так как у вас был обнаружен этот документ, так как вы вместе с нею были заняты мошенниче-

ским уничтожением других документов и не можете дать никакого удовлетворительного объяснения, я вас задерживаю под арестом на неделю, пока не будет произведено дознание и мы не получим свидетельских показаний. И в настоящее время я не могу отпустить вас на поруки». Так вот теперь я говорю, что *могу* дать удовлетворительное объяснение. Я могу предъявить проспект моего заведения и сказать: «Я — Уэкфорд Сквирс, как здесь указано, сэр. Я — человек, высокая нравственность которого и честность правил гарантируются безупречными рекомендациями. Просто-напросто моими услугами воспользовался друг, мой друг мистер Ральф Никльби, Гольднсквер. Пошлите за ним, сэр, и спросите его, что он имеет вам сообщить. Вам нужен он, а не я».

— Что это за документ был у вас? — спросил Ральф, уклоняясь от затронутой темы.

— Что за документ? Да *тот самый* документ,— ответил Сквирс.— Об этой Маделайн... как там ее фамилия... Завещание, вот что это было.

— Какого характера? Чье завещание? Какого числа подписано? Что ей оставлено? Сколько? — быстро спросил Ральф.

— Завещание в ее пользу, вот все, что я знаю,— ответил Сквирс,— и это больше, чем знали бы вы, если бы вас треснули мехами по голове. Ваша проклятая осторожность виной тому, что они завладели им. Если бы вы мне позволили сжечь его и поверили на слово, что оно уничтожено, оно превратилось бы в кучку золы под углями, а не осталось бы целым и невредимым во внутреннем кармане моего пальто.

— Разбит по всей линии! — пробормотал Ральф.

— Ах! — вздохнул Сквирс, у которого после бренди с водой и удара по голове странно путались мысли.— В очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж, в Йоркшире, юношей принимают на пансион, одевают, обстирывают, снабжают книгами и карманными деньгами, доставляют им все необходимое, обучают всем языкам, живым и мертвым, математике, правописанию, геометрии, астрономии, тригонометрии, каковая является видоизмененной тригиномикой! В-с-е значит: все без исключения. К-о-н-ч-е-н-о — наречие, значит: ни о чем другом уж и

речи нет. С-к-в-и-р-с — Сквирс, имя существительное, воспитатель юношества. А в целом — все кончено со Сквирсом.

Его болтовня позволила Ральфу вновь обрести присутствие духа, и рассудок немедленно подсказал ему необходимость рассеять опасения владельца школы и уверить его, что ради безопасности следует хранить полное молчание.

— Повторяю, вам они повредить не могут,— сказал он.— Вы возбудите дело о незаконном аресте и еще извлечете из этого пользу. Мы придумаем для вас историю, которая помогла бы вам двадцать раз выпутаться из такого пустячного затруднения, как это. А если им нужен залог в тысячу фунтов в обеспечение того, что вы явитесь, в случае если вас вызовут в суд, вы эту тысячу получите. Все, что вы должны делать,— это скрывать правду. Сейчас вы под хмельком, и может быть, не способны понять дело так ясно, как поняли бы в другое время, но вам нужно действовать именно так и владеть собой, потому что промах может привести к неприятностям.

— О! — сказал Сквирс, который хитро смотрел на него, склонив голову набок, словно старый ворон.— Так вот что я должен делать, да? А теперь послушайте и вы словечко-другое. Я не хочу, чтобы для меня придумывали какие-то истории и не хочу их повторять. Если увижу, что дело оборачивается против меня, позабочусь, чтобы вы получили свою долю, можете не сомневаться. Вы никогда ни слова не говорили об опасности! У нас с вами речи не было о том, что меня могут втянуть в такую беду. И так спокойно, как вы полагаете, я к этому относиться не намерен! Когда вы меня впутывали все больше в это дело, я не возражал, потому что мы с вами были связаны, и если бы вы разозлились то, пожалуй, могли бы повредить моему заведению, а если бы вам вздумалось быть милостивым, вы могли бы немало для меня сделать. Ну что ж! Если сейчас дело обернется хорошо, значит все в порядке! Но если что-нибудь пойдет неладно, значит — времена переменились, и я буду говорить и делать только то, что мне выгодно, и ни у кого не буду спрашивать совета. Мое нравственное влияние на этих мальчишек,—

добавил мистер Сквирс с сугубой важностью,— пошатнулось до самого фундамента. Образы миссис Сквирс, моей дочери и моего сына Уэкфорда, страдающих от недоедания, вечно передо мной! Рядом с ними тают и исчезают все прочие соображения. При таком роковом положении дел единственное число во всей арифметике, какое известно мне как супругу и отцу, это число один!

Долго ли еще декламировал бы мистер Сквирс и к какому бурному спору могла бы привести его декламация, никто не знает. На этом месте его прервало прибытие кареты и полицейского агента, который должен был составить ему компанию. С большим достоинством он водрузил шляпу поверх платка, обмотанного вокруг головы, и, сунув одну руку в карман и просунув другую под руку агента, позволил себя увести.

«Я так и предполагал, раз он не послал за мной! — подумал Ральф. — Этот субъект — вижу ясно по всем его пьяным выходкам — решил пойти против меня. Я окружен таким тесным кольцом, что они, подобно зверям в басне, набрасываются теперь на меня, хотя было время, и не дальше чем вчера, когда эти люди были вежливы и угодливы. Но они не сдвинут меня с места. Я не сойду с дороги. Я не отступлю ни на дюйм!»

Он вернулся домой и обрадовался, узнав, что его экономка жалуется на нездоровье: теперь у него был предлог остаться одному и отослать ее туда, где она жила, а жила она поблизости. Затем при свете одной свечи он сел и в первый раз начал думать обо всем, что произошло в тот день.

Он не ел и не пил со вчерашнего вечера и в добавление к перенесенным душевным страданиям бродил в течение многих часов. Он чувствовал дурноту и изнеможение, но ничего не мог есть, выпил только стакан воды и продолжал сидеть, поддерживая голову рукой — не отдыхая и не думая, но мучительно стараясь и отдохнуть и подумать, сознавая только, что все его чувства временно оцепенели, кроме чувства усталости и опустошенности.

Было около десяти часов, когда он услышал стук в дверь, но продолжал сидеть неподвижно, как и раньше, словно не в силах был сосредоточиться. Стук повторялся снова и снова, и несколько раз он услышал, как на улице

говорили, что в окне свет (он знал, что говорят о его свече), прежде чем заставил себя встать и спуститься вниз.

— Мистер Никльби, получено ужасное известие, и меня прислали за вами — просить, чтобы вы сейчас же отправились со мной,— произнес голос, показавшийся ему знакомым.

Поднеся руку к глазам и выглянув, он увидел стоявшего на ступеньках Тима Линкинуотера.

— Куда? — спросил Ральф.

— К нам, где вы были сегодня утром. Меня ждет карета.

— Зачем мне туда ехать? — спросил Ральф.

— Не спрашивайте — зачем, но, прошу вас, поедем.

— Второе издание сегодняшнего дня! — произнес Ральф, делая вид, будто хочет закрыть дверь.

— Нет, нет! — воскликнул Тим, схватив его за руку.— Вы должны услышать, что произошло. Нечто ужасное, мистер Никльби! И близко вас касается. Неужели вы думаете, что я стал бы это говорить или приехал бы к вам, если бы дело обстояло иначе?

Ральф посмотрел на него пристальнее. Видя, что тот в самом деле очень взволнован, он заколебался и не знал, что сказать, что подумать.

— Вам лучше выслушать это сейчас, а не в другой раз,— сказал Тим.— Это может оказать на вас какое-то воздействие. Ради бога, идемте!

Быть может, в другое время упрямство и ненависть Ральфа устояли бы перед зовом этих людей, но теперь, после минутного колебания, он вернулся в переднюю за шляпой и, выйдя, сел в карету, не говоря ни слова.

Тим хорошо запомнил и впоследствии часто говорил, что, когда Ральф Никльби пошел за шляпой, он увидел при свете свечи, которую Ральф поставил на стул, что тот пошатывается и спотыкается, как пьяный. Ступив на подножку кареты,— Тим и это хорошо запомнил,— Ральф оглянулся и обратил к нему лицо такое пепельно-серое, такое странное и безучастное, что Тим содрогнулся, был момент, когда он почти боялся следовать за ним. Многим хотелось думать, что в то мгновение Ральфом овладели мрачные предчувствия, но, пожалуй, с боль-

шим основанием можно объяснить его волнение тем, что он перенес в тот день.

Глубокое молчание не нарушалось во время поездки. Прибыв к месту назначения, Ральф вошел вслед за своим проводником в дом — в комнату, где находились оба брата. Он был так изумлен, чтобы не сказать устрашен, каким-то безмолвным сочувствием к нему, сквозившим и в их обращении и в обращении старого клерка, что едва мог говорить.

Однако он сел и ухитрился произнести отрывисто:

— Что... что вы еще... имеете мне сказать, кроме того... что было уже сказано?

Комната была старинная, большая, очень скудно освещенная и заканчивающаяся нишей с окном, где висели тяжелые драпри. Заговорив, он бросил взгляд в ту сторону, и ему почудилось, будто он смутно различает фигуру человека. Это впечатление подтвердилось, когда он увидел, что фигура шевельнулась, как будто смущенная его пристальным взглядом.

— Кто это там? — спросил он.

— Тот, кто доставил нам два часа назад сведения, побудившие нас послать за вами,— ответил брат Чарльз.— Пусть он побудет там, сэр, пусть он пока побудет там.

— Опять загадки! — дрогнувшим голосом произнес Ральф.— Ну-с, сэр?

Обратив лицо к братьям, он принужден был отвернуться от окна, но, прежде чем те успели заговорить, он снова оглянулся. Было ясно, что присутствие невидимого человека вызывает у него беспокойство и замешательство, так как он оглядывался несколько раз и, наконец, придя в нервическое состояние, буквально лишавшее его сил отвести глаза от того места, сел так, чтобы находиться лицом к нему, пробормотав в виде оправдания, что его раздражает свет.

Братья некоторое время совещались в сторонке. Было заметно по тону их, что они взволнованы. Раза два или три Ральф бросил на них взгляд и в конце концов сказал, сохраняя с большим усилием самообладание:

— Ну, в чем дело? Если меня в такой поздний час увозят из дому, пусть это будет хотя бы не попусту. Что

вы хотели мне сказать? — После короткой паузы он добавил: — Умерла моя племянница?

Он коснулся темы, которая облегчила возможность начать разговор. Брат Чарльз повернулся и сказал, что действительно они должны сообщить ему о смерти, но что его племянница здорова.

— Уж не хотите ли вы мне сказать, что ее брат умер? — воскликнул Ральф, сверкнув глазами.— Нет, это было бы слишком хорошо! Я бы не поверил, если бы вы это мне сказали. Это слишком желанная весть, чтобы она оказалась правдой.

— Стыдитесь, жестокий, бессердечный человек! — с жаром вскричал другой брат.— Приготовьтесь выслушать сообщение, которое даже вас заставит отпрянуть и содрогнуться, если остались у вас в груди хоть какие-то человеческие чувства! А если мы вам скажем, что бедный, несчастный мальчик, поистине дитя, но дитя, никогда не знавшее ни одной из тех нежных ласк и ни одного из тех веселых часов, какие на протяжении всей нашей жизни заставляют нас вспоминать о детстве, как о счастливом сне,— доброе, безобидное, любящее создание, которое никогда не оскорбляло вас и не причиняло вам зла, но на которое вы излили злобу и ненависть, питаемые вами к вашему племяннику, и которым вы воспользовались, чтобы дать волю вашим низким чувствам к Николасу,— если мы скажем вам, что сломленный вашим преследованием, сэр, и нуждой, и жестоким обращением на протяжении всей жизни, короткой по годам, но долгой по числу страданий, этот несчастный отправился поведать свою грустную повесть туда, где вам, конечно, придется дать ответ за вашу долю участия в ней?

— Если вы хотите сказать,— начал Ральф,— если вы хотите сказать, что он умер, я вам прощаю все остальное. Если вы хотите сказать, что он умер, я в долгу у вас, ваш должник на всю жизнь. Он умер! Я это вижу по вашим лицам. Кто торжествует теперь? Так вот оно, ваше ужасное известие, ваша страшная новость! Вы видите, как она подействовала на меня. Вы хорошо сделали, что послали за мной. Я бы прошел пешком сто миль по грязи, в слякоть, в темноте, чтобы именно теперь услышать эту весть!

Даже сейчас, как ни был он охвачен этой жестокой радостью, Ральф увидел на лицах обоих братьев наряду с отвращением и ужасом какую-то непонятную жалость к нему, которую заметил раньше.

— И эти сведения принес вам *он,*— сказал Ральф, указывая пальцем в сторону упомянутой ниши.— И ждал здесь, чтобы увидеть меня поверженным и разбитым! Ха-ха-ха! Но я говорю ему, что еще много дней я буду острым шипом в его боку, а вам обоим я повторяю, что вы его еще не знаете и будете оплакивать тот день, когда пожалели этого бродягу!

— Вы меня принимаете за вашего племянника,— раздался глухой голос.— Лучше было бы и для вас и для меня, если бы я и в самом деле был им.

Фигура, которую он видел так смутно, встала и медленно приблизилась. Он отпрянул. Он увидел, что перед ним стоит не Николас, как он предполагал,— перед ним стоял Брукер.

У Ральфа, казалось ему, не было никаких оснований бояться этого человека. Но бледность, замеченная у него в этот вечер, когда он вышел из дому, снова разлилась по его лицу. Видно было, что он задрожал, и голос его изменился, когда он сказал, устремив взгляд на Брукера:

— Что делает здесь этот человек? Знаете ли вы, что он — каторжник, преступник, просто вор?

— Выслушайте его! О мистер Никльби, выслушайте его, кем бы он ни был! — воскликнули братья с таким жаром, что Ральф с изумлением повернулся к ним.

Они указали на Брукера. Ральф снова взглянул на него — казалось, машинально.

— Этот мальчик,— сказал тот,— о котором говорили джентльмены...

— ...этот мальчик... — повторил Ральф, тупо глядя на него.

— ...которого я видел мертвым и окоченевшим на его ложе и который теперь в могиле...

— ...который теперь в могиле...— как эхо, повторил Ральф, словно во сне.

Человек поднял глаза и торжественно сложил руки:

— ...был вашим единственным сыном, да поможет мне бог!

Среди мертвого молчания Ральф сел, прижимая руки к вискам. Через минуту он их опустил, и никогда еще не видели такого страшного лица, какое он открыл, не видели ни у кого — разве только у тех, кого обезобразила рана. Он посмотрел на Брукера, стоявшего теперь близко от него, но не произнес ни слова, не издал ни звука, не сделал ни одного жеста.

— Джентльмены! — сказал Брукер.— Я ничего не скажу в свое оправдание. Уже давно нет для меня оправдания. Если, рассказывая, как все это случилось, я говорю, что со мной поступили жестоко и, быть может, исказили подлинную мою природу,— я это делаю не для своей защиты, но только потому, что это необходимо для моего рассказа. Я — преступник.

Он остановился, словно припоминая, и, отведя взгляд от Ральфа и обращаясь к обоим братьям, продолжал приглушенным и смиренным голосом:

— Джентльмены! Среди тех, кто имел некогда дело с этим человеком — то есть лет двадцать или двадцать пять тому назад,— был один неотесанный джентльмен, охотник на лисиц, пьяница, который спустил свое состояние и намеревался промотать состояние своей сестры. Родители у них умерли, и она жила с ним и вела его хозяйство. Не знаю, задумал ли он,— Брукер показал на Ральфа,— воспользоваться силой своей натуры и воздействовать на молодую женщину, но он довольно часто бывал у них в доме в Лейстершире и иногда живал там по нескольку дней. Прежде их связывали тесные деловые отношения, и, быть может, он приезжал из соображений деловых или же с целью поправить дела клиента, которые шли очень плохо. Во всяком случае, он приезжал ради наживы. Сестра джентльмена была девушка не очень молоденькая, но, как я слышал, красивая и располагала большим состоянием. С течением времени он на ней женился. Та же любовь к наживе, которая привела его к этому браку, побудила его окружить брак глубокой тайной, так как завещание ее отца гласило, что, если она выйдет замуж против воли брата, ее состояние, на которое она имела только пожизненное право пользования, пока остается в девицах, должно перейти к другой ветви семьи. Брат не давал согласия, если она не купит его и

не заплатит дорого. На такую жертву не соглашался мистер Никльби. Итак, они продолжали хранить брак в тайне и ждали, чтобы брат сломал себе шею или умер от горячки. Этого с ним не случилось, а тем временем у них родился сын. Ребенка отослали к кормилице, подальше от тех мест. Мать видела его только раз или два, да и то тайком, а отец — так жадно домогался он денег, которые теперь были у него, казалось, почти в руках, потому что его шурин был очень болен и с каждым днем ему становилось хуже,— отец ни разу не навестил ребенка, чтобы не возбуждать подозрений. Болезнь брата затягивалась; жена мистера Никльби упорно настаивала, чтобы он объявил о их браке; он решительно отказал. Она осталась одна в скучном деревенском доме, не видя никого или почти никого, кроме разгульных, пьяных охотников. Мистер Никльби жил в Лондоне и вел свои дела. Происходили бурные ссоры, и примерно через семь лет после свадьбы, когда оставалось несколько недель до смерти брата, которая разрешила бы все, она покинула мужа и убежала с более молодым.

Он сделал паузу, но Ральф не шелохнулся, и братья дали знак продолжать.

— Вот тогда-то я услышал об этих обстоятельствах от него самого. Тогда они перестали быть тайной — о них узнали и брат и другие, но мне было сообщено о них не по этой причине, а потому, что я был нужен. Он преследовал беглецов. Кое-кто говорил — чтобы нажиться на позоре своей жены, но я думаю, он преследовал их, чтобы жестоко отомстить, потому что мстительность была свойственна его натуре в той же мере, что и алчность, если не в большей. Он их не нашел, и вскоре она умерла. Не знаю, показалось ли ему, что он может полюбить ребенка, или он хотел увериться, что ребенок никогда не достанется матери, но только перед отъездом он поручил мне привезти его домой. И я это сделал.

Дальше он продолжал еще более смиренным тоном и говорил очень тихо, указывая при этом на Ральфа:

— Он поступил по отношению ко мне плохо. Жестоко. Об этом я ему напомнил недавно, когда встретил его на улице. И я его ненавидел. Я привез ребенка домой, в его собственный дом, и поместил на чердаке. От

плохого ухода ребенок стал болеть, и мне пришлось позвать доктора, который сказал, что мальчик нуждается в перемене климата, иначе он умрет. Я думаю, это-то и навело меня на мысль... И тогда же я ее выполнил. Мистер Никльби отсутствовал полтора месяца, а когда он вернулся, я сказал ему — все подробности были обдуманы и подкреплены доказательствами, никто не мог ни в чем меня заподозрить,— что ребенок умер и похоронен. Может быть, это разрушило какие-то его планы или в нем могло говорить естественное чувство привязанности, но он *был* огорчен, а я утвердился в своем намерении открыть ему когда-нибудь тайну и превратить ее в орудие вымогательства. Как и многие другие, я слыхал об йоркширских школах. Я отвез ребенка в одну из этих школ, которую содержал некий Сквирс, и оставил его там. Я дал ему фамилию Смайк. На протяжении шести лет я платил за него по двадцать фунтов в год, все это время не заикаясь о моей тайне, потому что после новых жестоких обид я бросил службу у его отца и снова с ним поссорился. Меня выслали из этой страны. Я был в отсутствии почти восемь лет. Немедленно по возвращении на родину я поехал в Йоркшир и, бродя вечером по деревне, наводил справки о мальчиках в школе и скоро узнал, что тот, кого я там поместил, убежал с молодым человеком, носившим ту же фамилию, что и отец мальчика. Я разыскал его отца в Лондоне и намекнул, что могу ему коечто сообщить. Я попытался добыть денег на жизнь, но он оттолкнул меня с угрозами. Тогда я отыскал его клерка и, действуя осторожно и внушив ему необходимость вступить в сношения со мной, узнал о том, что происходит. И это я сказал ему, что мальчик — не сын того человека, который выдает себя за его отца. За все это время я ни разу не видел мальчика. Наконец из того же источника я получил сведения, что он очень болен и где он находится. Я поехал туда, чтобы, если возможно, воскресить в его памяти воспоминание обо мне и этим подтвердить то, что я рассказываю. Я появился перед ним неожиданно, но не успел я заговорить, как он узнал меня (у бедняги были все основания меня помнить!), а я мог бы поклясться, что это он, даже если бы встретил его в Индии. Я узнал это жалобное выражение лица, которое

видел у маленького ребенка. После нескольких дней колебаний я обратился к молодому джентльмену, на чьем попечении он находился, и услышал, что юноша умер. Молодой джентльмен знает, что Смайк узнал меня сразу, он часто описывал ему меня, рассказывая о том, как я оставил его в школе. Смайк помнил и чердак — о нем я упоминал,— он есть и по сей день в доме его отца. Вот моя история. Я хочу, чтобы меня свели лицом к лицу с владельцем школы и проверили любую часть моего рассказа, и я докажу, что все в нем — правда и на моей душе этот грех.

— Несчастный! — воскликнули братья.— Чем можете вы его искупить?

— Ничем, джентльмены, ничем! Ничем не могу искупить, и нет у меня теперь никакой надежды. Я стар годами, а горе и невзгоды делают меня еще старше. Это признание не может принести мне ничего, кроме новых страданий и кары, но я не отрекусь от него, что бы ни случилось! Я стал орудием страшного возмездия, настигшего этого человека, который, жадно стремясь к своей низкой цели, преследовал свое родное дитя и привел его к смерти. Это возмездие должно настигнуть и меня. Да, я знаю, оно должно обрушиться на меня! Слишком поздно мне искупать вину и ни в этом мире, ни в будущем не может быть у меня никакой надежды!

Едва он кончил говорить, как лампа, стоявшая на столе неподалеку от Ральфа, была сброшена на пол, и они остались в темноте. После недолгого замешательства зажгли другую. Все это произошло очень быстро, но когда загорелся свет, Ральф Никльби уже исчез.

Некоторое время добрые братья и Тим Линкинуотер ждали его возвращения; когда же стало очевидно, что он не вернется, они заколебались, посылать или не посылать за ним. Наконец, припомнив, как безмолвно и странно сидел он, не меняя позы, во время свидания, и опасаясь, не болен ли он, они решили, невзирая на поздний час, послать за ним на дом под каким-нибудь предлогом. Найдя оправдание в присутствии Брукера, с которым они не знали, как поступить, не справившись с желаниями Ральфа, они постановили выполнить это решение, прежде чем лечь спать.

ГЛАВА LXI,

в которой Николас и его сестра роняют себя в глазах всех светских и благоразумных людей

На следующее утро после исповеди Брукера Николас вернулся домой. При встрече были очень взволнованы и он и его домашние, так как из его писем они знали о случившемся, и, помимо того, что его горе было их горем, они вместе с ним оплакивали смерть того, чье жалкое положение и беспомощность завоевали право на их сострадание и чье правдивое сердце и благородная пылкая натура вызывали с каждым днем все большую их любовь.

— Разумеется,— говорила миссис Никльби, утирая глаза и горько всхлипывая,— я потеряла самое лучшее, самое усердное, самое внимательное существо, которое было при мне когда-либо в моей жизни — конечно, за исключением тебя, мой дорогой Николас, и Кэт, и вашего бедного папы, и той примерной няни, которая ушла от нас, захватив с собой белье и дюжину вилок. Мне кажется, он был самым сговорчивым, самым тихим, преданным и верным созданием, когда-либо жившим на свете. Смотреть теперь на этот сад, которым он так гордился, или зайти в его комнату и увидеть, сколько там этих маленьких вещиц, изобретенных для нашего удобства, которые он так любил мастерить и так хорошо мастерил, даже не помышляя о том, что они останутся недоделанными,— нет, этого я не могу вынести, право же, не могу! Ах! Это великое испытание для меня, великое испытание! Утешительно будет для тебя, дорогой мой Николас, до конца жизни вспоминать о том, как ты был всегда ласков и добр к нему, да и для меня утешительно думать, в каких мы были с ним превосходных отношениях и как он любил меня, бедняжка! Вполне естественно, что ты, дорогой мой, был привязан к нему, вполне естественно, и конечно, ты очень потрясен случившимся. Право же, чтобы заметить это, достаточно посмотреть на тебя и увидеть, как ты изменился. Но никто

не знает, что чувствую я, никто не может знать, это невозможно!

В то время как миссис Никльби весьма искренне изливала свою печаль со свойственной ей привычкой выдвигать себя на первое место, Кэт, хотя она и забывала о себе, когда нужно было думать о других, испытывала такие же чувства. Маделайн была опечалена вряд ли меньше, чем она; а бедная отзывчивая честная маленькая мисс Ла-Криви, которая во время отсутствия Николаса явилась с очередным визитом и, узнав о печальном событии, только и делала, что утешала и подбадривала их всех, теперь, едва увидев входившего в дом Николаса, опустилась на ступеньки лестницы и, залившись потоком слез, долго не хотела слушать никаких увещаний.

— Мне так горько видеть, что он вернулся один! — воскликнула бедняжка.— Я не могу не думать о том, как пришлось ему самому страдать. Я была бы спокойнее, если бы он дал больше воли своим чувствам, но он переносит это так мужественно.

— Но ведь так я и должен себя держать,— сказал Николас,— не правда ли?

— Да, да! — ответила маленькая женщина.— Какой вы хороший человек! Но сейчас такой простой душе, как я, кажется, что... я знаю, нехорошо так говорить, и скоро пожалею об этом... мне кажется, это такая жалкая награда за все, что вы сделали.

— О нет! — ласково сказал Николас.— Какую же лучшую награду мог бы я получить, чем сознание, что последние его дни протекли мирно и счастливо и что я был постоянным его спутником и оставался при нем, хотя этому могли помешать сотни обстоятельств?

— Конечно,— всхлипывая, сказала мисс Ла-Криви,— это сущая правда, а я — неблагодарное, нечестивое, злое, глупое создание! Я это знаю!

С этими словами добрая душа разрыдалась снова и, стараясь овладеть собой, попробовала засмеяться. Смех и плач, столь резко столкнувшись друг с другом, вступили в борьбу; в результате произошел бой, силы противников были равны, и у мисс Ла-Криви началась истерика.

Дождавшись, когда все более или менее успокоились и пришли в себя, Николас, нуждавшийся в отдыхе после долгого путешествия, ушел к себе в комнату, бросился, не раздеваясь, на постель и крепко заснул. Проснувшись, он увидел сидевшую у кровати Кэт, которая, заметив, что он открыл глаза, наклонилась поцеловать его.

— Я пришла сказать тебе о том, как я рада, что ты опять дома.

— А я и сказать тебе не могу, как я рад тебя видеть, Кэт.

— Мы так томились, ожидая твоего возвращения,— сказала Кэт,— и мама, и я, и... и Маделайн.

— В последнем письме ты писала, что она совсем здорова,— быстро перебил Николас и при этом покраснел.— С тех пор как я уехал, ничего не было сказано о том, что предполагают братья сделать для нее?

— О, ни слова! — ответила Кэт.— Я не могу подумать без горечи о разлуке с ней, и, конечно, ты, Николас, не хочешь этого!

Николас снова покраснел и, усевшись рядом с сестрой на маленькую кушетку у окна, сказал:

— Да, Кэт, не хочу! Я могу пытаться скрыть подлинные мои чувства от всех, кроме тебя, но тебе я скажу, что... одним словом, Кэт, я ее люблю.

Глаза Кэт загорелись, и она хотела что-то ответить, но Николас взял ее руку в свою и продолжал:

— Никто не должен об этом знать, кроме тебя. Меньше всех она.

— Дорогой Николас!

— Меньше всех она. Иной раз я стараюсь думать о том, что, быть может, настанет день, когда я смогу честно сказать ей все; но этот день так далек, в такой туманной дали, столько лет пройдет, прежде чем он настанет! А когда он настанет (если это случится), я буду так непохож на того, каков я сейчас, и так далеко позади останутся дни юности и романтики,— но не дни моей любви к ней, в этом я уверен! — что даже я понимаю, как призрачны такие надежды, и сам стараюсь безжалостно их разрушить и покончить с этой мукой, а не ждать, чтобы они увяли с годами, и не обрекать себя на разочарование. Кэт! Со дня моего отъезда у меня по-

стоянно был перед глазами этот бедный юноша, ушедший от нас,— еще один пример великодушной щедрости благородных братьев. Поскольку это в моих силах, я хочу быть достойным их, и если раньше, исполняя свой долг по отношению к ним, я поколебался, то теперь я решил исполнять его неуклонно и без дальнейших промедлений отстранить от себя все соблазны.

— Прежде чем продолжать, дорогой Николас, выслушай, что я должна тебе сказать,— побледнев, произнесла Кэт.— Для этого я пришла сюда, но у меня не хватило мужества. То, что сказал ты сейчас, придает мне храбрости.

Она запнулась и расплакалась.

Ее поведение подготовило Николаса к тому, что должно было последовать. Кэт пыталась говорить, но слезы ей мешали.

— Полно, глупенькая! — сказал Николас.— Кэт, Кэт, будь настоящей женщиной! Мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Это касается мистера Фрэнка, не правда ли?

Кэт опустила голову ему на плечо и, всхлипывая, ответила:

— Да.

— Может быть, он тебе сделал предложение, пока меня не было,— продолжал Николас,— не так ли? Полно, полно! Ты видишь, в конце концов не так уж трудно было признаться. Он сделал тебе предложение?

— На которое я ответила отказом,— сказала Кэт.

— Так. А почему?

— Я сказала ему все, что, как я потом узнала, ты говорил маме,— дрожащим голосом отвечала она.— И хотя я не могла скрыть от него,— и от тебя не могу,— что для меня это горе и большое испытание, однако я это сказала ему твердо и просила его больше не видеться со мной.

— Кэт, ты прямо молодец! — воскликнул Николас, прижимая ее к груди.— Я знал, что ты так поступишь.

— Он убеждал меня изменить решение,— сказала Кэт.— Он заявил, что, каково бы оно ни было, он не только уведомит обоих братьев о сделанном им шаге, но

и сообщит о нем тебе, как только ты вернешься. Боюсь,— добавила она, теряя самообладание, на минуту обретенное ею,— боюсь, что я, пожалуй, недостаточно ясно сказала ему о том, как глубоко тронута я такой бескорыстной любовью и как горячо молюсь о его счастье. Если ты будешь с ним говорить, я бы хотела... я бы хотела, чтобы он это знал.

— Неужели ты думала, Кэт, когда приносила эту жертву долгу и чести, что я уклонюсь от исполнения моего долга? — ласково спросил Николас.

— О нет! Если бы твое положение было такое же, как мое, но...

— Но оно такое же! — перебил Николас.— Маделайн не является близкой родственницей наших благодетелей, но она с ними связана не менее крепкими узами. Историю ее жизни я узнал от них благодаря безграничному доверию, какое они ко мне питают, полагая, что я человек надежный. Как низко было бы с моей стороны воспользоваться обстоятельствами, которые привели ее сюда, или оказанной мною ничтожной услугой и добиваться ее любви, если в случае моего успеха не сбылось бы самое горячее желание братьев позаботиться о ней, как о своей родной дочери! Могло бы показаться, что я надеюсь построить свое благополучие на их сострадании к юному существу, которое я так гнусно и недостойно заманил в свои сети, пользуясь даже благодарностью ее и горячим ее сердцем для собственной выгоды и играя на ее несчастье! Я тоже, Кэт,— я, который почитает своим долгом, гордостью и счастьем признавать права на меня других людей, права, о которых мне никогда не забыть,— я, имеющий средства к благополучной и счастливой жизни и не смеющий посягать на большее, я решил снять эту тяжесть с моей души! Не знаю, не причинил ли я уже зла. И сегодня я без всяких оговорок и умолчаний открою истинные мои побуждения мистеру Чириблу и буду умолять его, чтобы он немедленно принял меры и предоставил этой молодой леди убежище под чьим-нибудь другим кровом.

— Сегодня? Так скоро!

— Я думал об этом в течение нескольких недель, зачем же откладывать? Если картины, только что развер-

нувшиеся перед моими глазами, научили меня размышлять и пробудили во мне глубокое сознание долга, зачем мне ждать, пока впечатление потускнеет? Ведь ты бы не стала отговаривать меня, Кэт, не так ли?

— Но ты можешь разбогатеть...— сказала Кэт.

— Могу разбогатеть! — с грустной улыбкой повторил Николас.— И состариться я тоже могу! Но богатые или бедные, старые или молодые, мы друг для друга всегда будем теми же, что теперь, и в этом наше утешение. Что за беда, если у нас с тобой останется общий домашний очаг? И ты и я никогда не будем одиноки. Что за беда, если мы не изменим этим первым чувствам ради других? Это лишь еще одно звено в той крепкой цепи, которая нас связывает. Кажется, не дальше чем вчера мы играли вместе в наши детские игры, и когда мы станем стариками и вспомним нынешние заботы, как вспоминаем мы сейчас заботы детских дней, нам так же будет казаться, что это были детские игры, и с меланхолической улыбкой мы воскресим в памяти то время, когда эти заботы могли нас огорчать. Мы станем чудаковатыми стариками и заговорим о тех временах, когда наша поступь была легче и волосы не тронуты сединой, и вот тогда, быть может, мы будем благодарны за те испытания, какие укрепили нашу взаимную привязанность и направили нашу жизнь по тому руслу, по какому она протекала так тихо и безмятежно. И, угадав кое-что из нашей повести, молодые люди, окружающие нас,— такие же молодые, как молоды сейчас мы с тобой, Кэт,— быть может, придут к нам за сочувствием. Они будут изливать свои горести, для которых у людей, полных надежд и неопытных, вряд ли найдется достаточно сострадания, изливать отзывчивым слушателям — старому холостяку-брату и его сестре, старой девушке.

Кэт улыбалась сквозь слезы, пока Николас рисовал эту картину, но то не были слезы скорби, хотя они и продолжали струиться, когда он замолчал.

— Разве я не прав, Кэт? — спросил он после короткой паузы.

— Ты совершенно прав, дорогой брат. Я и рассказать не могу, как я счастлива, что поступила именно так, как бы ты хотел.

— Ты не жалеешь?

— Н-н-нет,— нерешительно сказала Кэт, рисуя маленькой ножкой какие-то узоры на полу.— Конечно, я не жалею, что поступила так, как требует честь и долг. Но я жалею, что этому суждено было случиться... во всяком случае, иногда я об этом жалею, и иногда я... Я не знаю, что говорю... Я всего только слабая девушка, Николас, и меня это очень взволновало.

Можно, не преувеличивая, сказать, что, будь в эту минуту у Николаса десять тысяч фунтов, он в порыве великодушной любви к обладательнице этих зарумянившихся щек и потупленных глаз отдал бы все до последнего фартинга, совершенно забывая о себе, чтобы обеспечить ее счастье. Но он мог только утешать и успокаивать ее ласковыми словами, и столько было любви, нежности и бодрости в этих словах, что бедная Кэт обвила руками его шею и обещала больше не плакать.

«Какой человек,— с гордостью думал вскоре после этого Николас, направляясь к дому братьев,— какой человек не был бы достаточно вознагражден за любую денежную жертву, если ему принадлежит сердце такой девушки, как Кэт! Бесценное сердце! Но сердца весят так мало, а золото и серебро — много!.. У Фрэнка есть деньги, и больше ему не нужно. Но где мог бы он купить такое сокровище, как Кэт? И, однако, полагают, что в неравных браках богатый всегда приносит великую жертву, а бедный заключает выгодную сделку! Впрочем, я рассуждаю, как влюбленный или как осел; думаю, что это почти одно и то же».

Заглушив такими самообвинениями мысли, столь мало располагавшие к тому делу, по какому он шел, Николас продолжал путь и скоро предстал перед Тимом Линкинуотером.

— Мистер Никльби! — воскликнул Тим.— Да благословит вас бог! Как поживаете? Хорошо? Скажите же мне, что вы совсем здоровы и никогда не чувствовали себя лучше. Скажите!

— Я совсем здоров,— сказал Николас, пожимая ему обе руки.

— Вот как! — сказал Тим.— Но теперь, присмотревшись, я замечаю, что вид у вас усталый. Послушайте!

Это он, слышите? Это Дик, черный дрозд. Он был сам не свой, с тех пор как вы уехали. Теперь он не может обойтись без вас. Он привязан к вам не меньше, чем ко мне.

— Дик далеко не такой сметливый малый, каким я его считал, если он полагает, что я заслуживаю его внимания не меньше, чем вы,— ответил Николас.

— Вот что я вам скажу, сэр,— начал Тим, принимая свою излюбленную позу и указывая кончиком гусиного пера на клетку,— разве не изумительно, что единственные люди, на которых эта птица обращает внимание, это мистер Чарльз, мистер Нэд, вы и я?..

Тут Тим остановился и с тревогой посмотрел на Николаса, затем, поймав его взгляд, повторил: «Вы и я, сэр, вы и я». А затем он снова посмотрел на Николаса и, сжав его руку, сказал:

— Плохо я умею откладывать разговор о том, что меня беспокоит. Я решил вас не расспрашивать, но мне хотелось бы знать кое-какие подробности об этом бедном мальчике. Вспоминал ли он о братьях Чирибл?

— Да,— отозвался Николас,— много-много раз.

— Это он хорошо сделал,— сказал Тим, вытирая глаза,— это он очень хорошо сделал!

— И десятки раз он говорил о вас,— продолжал Николас,— и часто просил меня передать от него горячий привет мистеру Линкинуотеру.

— Как? Неужели? — сказал Тим, громко всхлипывая.— Бедняга! Жаль, что мы не могли похоронить его в городе. Во всем Лондоне нет лучше кладбища, чем то маленькое, за площадью,— там вокруг него одни торговые конторы, и если вы пойдете туда в ясную погоду, то можете увидеть в открытые окна бухгалтерские книги и несгораемые шкафы. И он передавал мне горячий привет? Да? Я не думал, что он обо мне вспомнит. Бедный мальчик, бедный мальчик!.. Горячий привет!

Тим был так растроган этим маленьким знаком внимания, что в данный момент решительно не мог продолжать разговор. Поэтому Николас потихоньку выскользнул за дверь и отправился в комнату брата Чарльза.

Если до сих пор он и сохранял твердость и самообладание, то это стоило ему усилий, причинявших немалую

боль; но теплый прием, сердечное обращение, простодушное, непритворное сострадание доброго старика проникли в его сердце, и никакая борьба с собой не помогла ему это скрыть.

— Полно, полно, дорогой мой сэр,— сказал благодушный купец,— не следует падать духом. Нет, нет! Мы должны учиться переносить несчастья, и мы должны помнить, что много есть источников утешения даже в смерти. С каждым прожитым днем этот бедный мальчик становился бы все менее и менее приспособленным к жизни и все больше и больше чувствовал бы, чего ему недостает. Это случилось к лучшему, дорогой мой сэр. Да, да, да, это к лучшему.

— Обо всем этом я думал, сэр,— откашлявшись, ответил Николас.— Уверяю вас, я это понимаю.

— Вот и прекрасно! — отозвался мистер Чирибл, который, произнося все эти утешительные слова, был расстроен не меньше, чем честный старый Тим.— Вот и прекрасно! Где мой брат Нэд? Тим Линкинуотер, сэр, где мой брат Нэд?

— Ушел с мистером Триммерсом распорядиться, чтобы этого несчастного человека перевезли в больницу и прислали няню к его детям,— ответил Тим.

— Мой брат Нэд хороший человек, превосходный человек! — воскликнул брат Чарльз, закрыв дверь и вернувшись к Николасу.— Он будет чрезвычайно рад вас видеть, дорогой мой сэр! Мы говорили о вас каждый день.

— По правде сказать, сэр, я рад, что застал вас одного, потому что я хочу кое-что сообщить вам,— проговорил Николас с понятной нерешительностью.— Можете ли вы уделить мне несколько минут?

— Конечно, конечно! — ответил брат Чарльз, посмотрев на него с беспокойством.— Говорите, дорогой мой сэр, говорите.

— Право, не знаю, как и с чего начать,— сказал Николас.— Если были когда-нибудь у человека основания проникнуться любовью и уважением к другому человеку, испытывать к нему такую привязанность, что самая тяжелая служба приносит радость и наслаждение, хранить такую благодарную память, что она должна пробудить

величайшее рвение и преданность, то такие чувства должен питать к вам я, и питаю их всем сердцем и душою, поверьте мне!

— Я вам верю и счастлив этим,— ответил старый джентльмен.— Я в этом никогда не сомневался и не буду сомневаться. Уверен, что не буду.

— Доброта, с какою вы это говорите, дает мне смелость продолжать,— сказал Николас.— Когда вы оказали мне доверие и послали с теми поручениями к мисс Брэй, я должен был бы вам сказать, что видел ее задолго до этого и что ее красота произвела на меня впечатление, которого я не мог забыть, и что я бесплодно старался найти ее и узнать историю ее жизни. Я вам об этом не сказал, потому что тщетно надеялся побороть более слабые мои чувства и подчинить все прочие соображения чувству долга перед вами.

— Мистер Никльби,— сказал брат Чарльз,— вы не обманули доверия, которое я вам оказал, и не воспользовались им недостойно. Я уверен, что вы этого не сделали.

— Я этого не сделал,— твердо заявил Николас.— Хотя я убедился, что необходимость владеть собой и обуздывать себя возрастает с каждым днем и трудности увеличиваются, я никогда не позволял себе ни слова, ни взгляда, каких не позволил бы себе в вашем присутствии. Я никогда не нарушал оказанного мне доверия, не нарушаю его и теперь. Но я вижу, что постоянное общение с этой прелестной девушкой пагубно для спокойствия моего духа и может гибельно повлиять на принятые мною вначале решения, которым я до сих пор не изменял. Короче говоря, сэр, я не могу доверять самому себе и прошу и заклинаю вас незамедлительно увезти эту молодую леди, порученную заботам моей матери и сестры. Я знаю, что для всех, кроме меня,— для вас, видящих неизмеримое расстояние между мной и этой молодой леди, которая является теперь вашей опекаемой и предметом вашего особого внимания,— моя любовь к ней, мои мечты о ней должны казаться верхом безрассудства и дерзости. Я знаю, что это так! Но, наблюдая ее, как наблюдал я, зная, какова была ее жизнь, кто может ее не любить? У меня есть только это одно оправдание. А так как я не

могу бежать от соблазна и не могу побороть эту страсть, постоянно видя предмет страсти перед собою, что остается мне делать, как не просить вас, чтобы вы его удалили и дали мне возможность забыть ее!

— Мистер Никльби,— сказал старик после короткого молчания,— большего вы не можете сделать. Я был неправ, подвергая этому испытанию такого молодого человека, как вы. Я мог бы предвидеть, что должно случиться. Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Маделайн переедет.

— Если бы вы оказали мне милость, сэр, и никогда не сообщали ей об этом признании, чтобы она могла вспоминать обо мне с уважением...

— Я об этом позабочусь,— сказал мистер Чирибл.— Итак, это все, что вы имеете мне сказать?

— Нет! — возразил Николас, встретив его взгляд.— Это не все.

— Остальное мне известно,— сказал мистер Чирибл, которому такой быстрый ответ доставил, по-видимому, большое облегчение.— Когда это дошло до вашего сведения?

— Сегодня утром, когда я приехал домой.

— Вы считали своим долгом немедленно прийти ко мне и сообщить то, что несомненно сказала вам ваша сестра?

— Да,— ответил Николас,— хотя я бы предпочел поговорить сначала с мистером Фрэнком.

— Фрэнк был у меня вчера вечером,— сказал старый джентльмен.— Вы поступили хорошо, мистер Никльби, очень хорошо, сэр! И я благодарю вас еще раз.

Николас попросил разрешения добавить несколько слов. Он выразил надежду, что все им сказанное не поведет к разрыву между Кэт и Маделайн, которые привязались друг к другу, а конец этой дружбы причинит, как он знал, страдание им и принесет еще больше страданий ему, как злосчастному виновнику всего происшедшего. Когда все это забудется, он надеется, что Фрэнк и он смогут быть по-прежнему добрыми друзьями и ни одно слово, ни одна мысль о его скромном доме и о сестре, которая готова остаться с ним и жить его тихой жизнью, никогда не нарушат впредь установившегося

между ними согласия. Он рассказал, по возможности точно, обо всем происшедшем в то утро между ним и Кэт, говорил о ней с такой гордостью и любовью и так бодро упомянул об их уверенности в победе над эгоистическими сожалениями, что мало кто мог слушать его не растрогавшись. Он сам, растроганный больше, чем раньше, выразил в нескольких торопливых словах — быть может, не менее выразительных, чем самые красноречивые тирады,— свою преданность братьям и надежду жить и умереть на службе у них.

Все это брат Чарльз выслушал в глубоком молчании, повернув свое кресло так, чтобы Николасу не видно было его лица. И заговорил он не обычным своим тоном, но как-то принужденно и с некоторым замешательством, совершенно ему чуждым. Николас боялся, что обидел его. Тот сказал: «Нет, нет, вы поступили совершенно правильно»; но больше ничего не добавил.

— Фрэнк — глупый сорванец,— сказал он, наконец, когда Николас замолчал,— очень глупый сорванец. Я позабочусь о том, чтобы немедленно это прекратить. Не будем больше говорить на эту тему, меня это очень огорчает. Придите ко мне через полчаса. Я имею вам сообщить странные вещи, дорогой мой сэр, а ваш дядя просит, чтобы вы вместе со мной посетили его сегодня под вечер.

— Посетить его! Вместе с вами, сэр! — воскликнул Николас.

— Да, со мной,— ответил старый джентльмен.— Вернитесь ко мне через полчаса, и я расскажу вам еще кое-что.

Николас явился в указанное время и тогда узнал обо всем, что произошло накануне, и о назначенном на этот вечер свидании, о котором условился Ральф с братьями. А для того, чтобы все это было более понятно, необходимо вернуться назад и пойти по стопам самого Ральфа, вышедшего из дома близнецов. Поэтому мы оставляем Николаса, которого слегка успокоило их расположение к нему, снова заметное в их обращении; но Николас чувствовал, что их отношение отличается от прежнего (хотя вряд ли он знал, чем именно), вот почему он испытывал смущение, неуверенность и беспокойство.

ГЛАВА LXII

Ральф назначает последнее свидание — и не отказывается от него

Крадучись, как вор, шаря руками, словно слепец, Ральф Никльби потихоньку выбрался из дому и бросился бежать, часто оглядываясь через плечо, как будто его преследовал некто, стремившийся допросить его или задержать; оставив позади Сити, он направился к своему жилищу.

Ночь была темная, и дул холодный ветер, яростно и стремительно гоня перед собой тучи. Черное, мрачное облако как будто преследовало Ральфа — оно не мчалось вместе с другими в диком беге, но медлило сзади и надвигалось угрюмо и исподтишка. Он часто оглядывался на это облако и не раз останавливался, чтобы пропустить его вперед; но почему-то, когда он снова пускался в путь, оно по-прежнему было позади, приближаясь уныло и медленно, как призрачная похоронная процессия.

Он должен был миновать бедное, жалкое кладбище — печальное место, поднимавшееся на несколько футов над уровнем улицы и отделенное от нее низким парапетом и железной решеткой — заросший травой нездоровый, грязный участок земли, где даже дерн и сорняки, разросшиеся в беспорядке, как будто говорили о том, что они поднялись из плоти бедняков и пробились корнями в могилы людей, которые при жизни гнили в сырых дворах и пьяных, голодных притонах. И здесь они лежали, отделенные от живых тонким слоем земли и двумя-тремя досками, лежали вплотную — разлагающиеся телесно, как при жизни разложились духовно,— густая и убогая толпа. Здесь они лежали бок о бок с жизнью, почти под самыми ногами людей, ежедневно тут проходивших. Здесь они лежали, страшная семья, все эти дорогие отошедшие братья и сестры румяного священника, который так быстро сделал свое дело, когда их зарывали в землю!

Проходя мимо, Ральф припомнил, что когда-то он был одним из присяжных по делу о самоубийстве * человека, перерезавшего себе горло, и что этот человек похоронен здесь. Он не мог бы сказать, почему это вспомнилось ему

сейчас, ведь он так часто проходил здесь и никогда об этом человеке не думал, и почему это обстоятельство вызвало у него интерес; но теперь он вспомнил и, остановившись, сжал руками железную решетку и стал жадно всматриваться, размышляя, где может находиться его могила.

Когда он стоял, поглощенный этим занятием, к нему приблизились с громкими криками и пением какие-то пьяные парни; другие, следуя за ними, усовещивали их и уговаривали спокойно вернуться домой. Они были в превосходнейшем расположении духа, а один из них, маленький сморщенный горбун, пустился в пляс. Вид у него был странный и фантастический, и немногочисленные зрители захохотали. Сам Ральф развеселился и засмеялся вместе со стоявшим поблизости человеком, который оглянулся и посмотрел ему в лицо. Когда компания двинулась дальше и Ральф снова остался один, с каким-то новым интересом вернулся он к своим мыслям, ибо ему припомнилось, что последний, кто видел самоубийцу при жизни, оставил его очень веселым; и Ральф вспомнил, что тогда это показалось странным и ему и другим присяжным.

Он не мог установить, где это место, среди такого скопления могил, но он вызвал в памяти отчетливый и яркий образ человека, его внешность и подумал о том, что толкнуло его на этот шаг; все припомнил он без труда. Сосредоточившись на этих мыслях, он унес с собой этот образ, когда пошел дальше, и вспомнилось ему, что в детстве перед ним часто вставал облик какого-то нарисованного мелом на двери гнома, которого он однажды увидел. Но, приближаясь к своему жилищу, он снова забыл о нем и стал думать о том, какая тоска и одиночество ждут его дома.

Это чувство усиливалось, и, дойдя до своей двери, он еле заставил себя повернуть ключ и открыть ее. Вступив в коридор, он почувствовал, что, закрывая ее, он как бы оставит за нею мир. Но он дал ей закрыться, и она захлопнулась с громким шумом. Света не было. Как было мрачно, холодно и безмолвно!

Дрожа с головы до ног, он прошел наверх, в комнату, где в последний раз нарушили его одиночество. Он словно заключил договор с самим собой, что не будет раз-

мышлять о случившемся, пока не вернется домой. Теперь он был дома и позволил себе задуматься об этом.

Его родное дитя, его родное дитя! Он ни разу не усомнился в правдивости рассказа; он чувствовал, что это не ложь, знал это так же твердо, словно всегда был в это посвящен. Его ребенок. И он умер. Умирал около Николаса, любил его и смотрел на него, как на какого-то ангела! Это было самое худшее.

Все отвернулись от него и покинули его при первой же беде. Даже за деньги никого нельзя было купить теперь; все должно обнаружиться, и все должны узнать обо всем. Молодой лорд умер, его приятель за границей и недосягаем, десять тысяч фунтов потеряны, план его и Грайда рухнул в тот момент, когда можно было торжествовать победу, дальнейшие его планы раскрыты, сам он в опасности, мальчик, затравленный им и любимый Николасом, оказался его несчастным сыном; все рассыпалось и обрушилось на него, и он лежит, придавленный развалинами, и пресмыкается в пыли.

Если бы он знал, что его ребенок жив, если бы не было этого обмана и ребенок вырос под его надзором, быть может он был бы небрежным, равнодушным, грубым, жестоким отцом,— весьма вероятно, и он это сознавал; но мелькала мысль, что могло бы случиться иначе, что его сын мог служить ему утешением и они были бы счастливы вдвоем. Теперь он начал думать, что предполагаемая смерть сына и бегство жены в какой-то мере способствовали его превращению в того угрюмого, жестокого человека, каким он был. Он, казалось, припоминал те времена, когда был не таким суровым и ожесточенным, и он почти сознавал, что впервые возненавидел Николаса потому, что Николас был молод и красив и, пожалуй, походил на того юношу, который был повинен в его бесчестье и потере состояния.

Но в этом вихре страстей и угрызений совести одна добрая мысль или одно инстинктивное сожаление были подобны капле воды, бесшумно упавшей в бурное, беснующееся море. Его ненависть к Николасу возросла на почве его собственного поражения, питалась вмешательством Николаса в его интриги, тучнела благодаря давнему вызову, брошенному Николасом, и его победе. Были при-

чины для ее усиления; она росла и крепла постепенно. Теперь эта ненависть стала безумной и переходила, казалось, в буйное помешательство. Как! Именно Николас протянул руку, чтобы спасти его несчастного ребенка; он был его защитником и верным другом; он подарил ему любовь и нежность, каких тот не знал со злосчастной минуты своего рождения; он научил его ненавидеть родного отца и даже имя его проклинать; он знал теперь об этом и торжествовал, вспоминая... вот почему горечь и бешенство захлестнули сердце ростовщика. Любовь умершего мальчика к Николасу и привязанность Николаса к нему были нестерпимой мукой. Смертное его ложе, и Николас подле него, ухаживает за ним, а он шепчет слова благодарности и умирает у него на руках,— а ведь Ральф хотел бы их видеть смертельными врагами, ненавидящими друг друга,— эта картина привела его в бешенство. Он заскрежетал зубами, ударил кулаком в пустоту и, дико озираясь, сверкая глазами во тьме, громко воскликнул:

— Я растоптан и погиб! Правду сказал мне негодяй: спустилась ночь! Неужели нет средства лишить их нового торжества и презреть их милосердие и сострадание? Неужели нет дьявола, который помог бы мне?

Перед его духовным взором вновь быстро пронеслось видение, которое он уже вызвал к жизни в ту ночь. Казалось, тот человек лежал перед ним. Теперь голова его была прикрыта. Так было, когда он в первый раз его увидел. И окоченевшие, сведенные судорогой мраморные ноги он помнил хорошо. Потом предстали перед ним бледные родственники, которые рассказывали во время следствия о том, что было им известно... Вопли женщин... немой ужас мужчин... страх и тревога... победа, одержанная этой горсткой праха, который одним движением руки покончил с жизнью и вызвал среди них смятение...

Больше он не произнес ни слова, но, помедлив немного, вышел потихоньку из комнаты и поднялся по гулкой лестнице на самый верх — на чердак. Там он закрыл за собой дверь, и там он остался.

Теперь здесь был свален всякий хлам, еще стояла старая ветхая кровать, на которой спал его сын, ибо

другой кровати здесь никогда не бывало. Он быстро отошел и сел как можно дальше от нее.

Тусклого света фонарей на улице внизу, пробивавшегося в окно без занавески, было достаточно, чтобы рассеять мрак в комнате, хотя при таком свете нельзя было рассмотреть старые, перевязанные веревкой сундуки, поломанную мебель и всевозможный хлам, валявшийся повсюду. Потолок был скошен: высокий с одной стороны, он спускался с другой чуть ли не до пола. И к самой высокой его точке Ральф устремил взгляд и пристально смотрел на нее в течение нескольких минут. Потом он встал и, передвинув старый ящик, на котором сидел, влез на него и обеими руками стал шарить по стене над головой. Наконец руки его коснулись большого железного крюка, крепко вбитого в балку.

В этот момент ему помешал громкий стук в дверь внизу. После недолгого колебания он открыл окно и спросил, кто там.

— Мне нужно мистера Никльби,— раздался ответ.

— Что вам от него нужно?

— Но ведь говорит не мистер Никльби? — последовало возражение.

Верно, голос отвечавшего был непохож на голос Ральфа, однако говорил Ральф, что он и сказал.

Послышался ответ, что братья-близнецы желают знать, задержать ли человека, которого он видел в тот вечер, и что, хотя сейчас уже полночь, они послали узнать, как следует с ним поступить.

— Задержать,— крикнул Ральф.— Пусть задержат его до завтра! Потом пусть приведут его сюда — его и моего племянника — и сами пусть придут и удостоверятся, что я готов их принять.

— В котором часу? — осведомился голос.

— Когда угодно,— злобно ответил Ральф.— Скажите им — после полудня. В любой час, в любую минуту. Когда угодно. Во всякое время — мне все равно!

Он прислушивался к удаляющимся шагам человека, пока шум не затих, а потом, подняв взор вверх, к небу, увидел — или это ему показалось — все то же черное облако, которое словно следовало за ним до дому и теперь как будто нависло над самым домом.

— Теперь мне понятно, что означает оно,— пробормотал он,— что означают тревожные ночи и сны и почему я терзался последнее время. Все на это указывало. О, если бы люди, продавая душу свою, могли торжествовать хотя бы недолго, как охотно продал бы я мою душу сегодня!

Низкий звук колокола донесся с ветром. Один удар.

— Лги железным своим языком! — крикнул ростовщик.— Возвещай радостным звоном о рождениях, которые заставляют корчиться ожидающих наследства, и о браках, которые заключаются в аду, и горестно звони об усопшем, чей путь уже пройден! Призывай к молитве людей, которые благочестивы, потому что не разоблачены, и каждый раз встречай мелодическим звоном наступление нового года, который приближает этот проклятый мир к концу. Никаких колоколов, никаких священных книг для меня! Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух!

Окинув все вокруг диким взором, в котором сочетались бешенство и отчаяние, он погрозил кулаком небу, по-прежнему темному и зловещему, и закрыл окно.

Дождь и град били по стеклам; дымовые трубы дрожали и шатались; ветхая оконная рама дребезжала под порывами ветра, словно нетерпеливая рука пыталась распахнуть ее. Но не было там никакой руки, и окно не открылось.

— Как же это так? — воскликнул кто-то.— Джентльмены говорят, что никак не могут достучаться, вот уже два часа как они здесь.

— Но ведь он вернулся домой вчера вечером,— сказал другой,— он с кем-то говорил, высунувшись из того окна наверху.

Собралась кучка людей, и, когда речь зашла об окне, они вышли на середину улицы, чтобы посмотреть на него. Тут они заметили, что наружная дверь все еще заперта, — а заперла ее накануне вечером экономка, о чем она и сказала,— и это привело к бесконечным переговорам, закончившимся тем, что двое-трое смельчаков

обошли дом и влезли в окно, в то время как остальные стояли в нетерпеливом ожидании.

Они осмотрели все комнаты внизу — мимоходом открывали ставни, чтобы впустить угасающий свет, и, никого не найдя и убедившись, что все спокойно и все в порядке, не знали, идти ли дальше. Но когда кто-то заметил, что они еще не побывали на чердаке и что там видели его в последний раз, они согласились заглянуть туда и потихоньку пошли наверх, потому что таинственная тишина вселила в них робость.

Секунду они постояли на площадке, посматривая друг на друга, после чего тот, кто предложил не прекращать поисков, повернул ручку, приоткрыл дверь и, посмотрев в щелку, тотчас отшатнулся.

— Очень странно,— прошептал он,— он прячется за дверью! Смотрите!

Люди подались вперед, чтобы заглянуть туда, но один из них, с криком отстранив других, вынул из кармана складной нож и, вбежав в комнату, перерезал веревку.

Ральф оторвал ее от одного из старых сундуков и повесился на железном крюке как раз под самым люком в потолке — под тем самым люком, на который четырнадцать лет назад так часто устремлялся в ребяческом страхе взор его сына, одинокого, заброшенного маленького существа.

ГЛАВА LXIII

Братья Чирибл делают всевозможные декларации от своего имени и от имени других; Тим Линкинуотер делает декларацию от своего имени

Прошло несколько недель, и первое потрясение, вызванное этими событиями, начало забываться. Маделайн увезли; Фрэнк не появлялся; Николас и Кэт добросовестно старались заглушить свои сожаления и жить друг для друга и для матери, которая — бедная леди! — никак не могла примириться с этим новым и таким скучным образом жизни, но вот однажды вечером было получено

через мистера Линкинуотера приглашение от братьев на обед послезавтра — приглашение, относившееся не только к миссис Никльби, Кэт и Николасу, но и к маленькой мисс Ла-Криви, о которой было упомянуто особо.

— Дорогие мои,— сказала миссис Никльби, когда приглашение было принято должным образом и Тим распрощался,— что под этим подразумевается?

— Что вы имеете в виду, мама? — улыбаясь, спросил Николас.

— Я говорю, дорогой мой,— сказала эта леди с видом непроницаемым и таинственным,— что подразумевается под этим приглашением на обед? Какова его цель и смысл?

— Я думаю, смысл его заключается в том, что в такой-то день мы будем есть и пить у них в доме, а цель — доставить нам удовольствие,— ответил Николас.

— Других выводов ты не делаешь, дорогой мой?

— К более глубоким выводам я еще не пришел, мама.

— В таком случае, я тебе скажу одно,— заявила миссис Никльби.— Ты будешь удивлен, вот и все. Можешь быть уверен, что под этим подразумевается не один обед.

— Может быть, чай и ужин? — предположил Николас.

— Будь я на твоем месте, дорогой мой, я бы таких глупостей не говорила,— с важностью ответила миссис Никльби,— потому что они совершенно неуместны и тебе не подобает их говорить. Я хотела только сказать, что мистеры Чириблы не зря приглашают нас на обед. Хорошо, хорошо! Поживем — увидим. Конечно, ты мне не поверишь, что бы я ни сказала. Лучше подождать, гораздо лучше — все будут удовлетворены, и не о чем будет спорить. Я повторяю одно: запомните то, что я сейчас сказала, и, когда я вам скажу, что я это говорила, не разубеждайте меня.

Поставив такое условие, миссис Никльби, которую днем и ночью преследовало видение — разгоряченный вестник врывается в дом и объявляет, что Николас принят компаньоном в фирму,— перешла от этой темы к другой.

— В высшей степени странно,— сказала она,— в высшей степени странно, что они пригласили мисс Ла-Криви. Меня это изумляет, честное слово изумляет.

Разумеется, очень приятно, что ее пригласили, очень приятно, и я не сомневаюсь, что она будет держать себя прекрасно, она всегда держит себя прекрасно. Радостно думать, что мы доставили ей возможность попасть в такое общество, я этому очень рада, я в восторге, потому что она и в самом деле в высшей степени благовоспитанная и добродушная особа. Я бы только хотела, чтобы кто-нибудь дружески намекнул ей, какая у нее плохая отделка на шляпе и какие ужасные банты, но, разумеется, об этом не может быть и речи, и, если ей угодно походить на пугало, она несомненно имеет на это полное право. Мы никогда не видим себя со стороны, никогда! И никогда не видели и, полагаю, никогда не увидим.

Так как это нравоучительное размышление напомнило ей о необходимости быть особенно элегантной, в противовес мисс Ла-Криви, и явиться во всей своей красе, миссис Никльби начала совещаться с дочерью касательно ленточек, перчаток и украшений, а эта тема, будучи сложной и крайне важной, вскоре оттеснила тему предыдущую и обратила ее в бегство.

Когда настал знаменательный день, славная леди отдала себя в руки Кэт примерно через час после завтрака, одевалась не спеша и закончила свой туалет как раз вовремя, чтобы и дочь успела заняться своим туалетом, который был очень прост и не отнял много времени, хотя оказался столь изящен, что никогда еще не бывала она очаровательнее и милее. Явилась и мисс Ла-Криви с двумя картонками (у обеих вывалилось дно, когда их вынимали из кареты) и еще с чем-то, завернутым в газету; некий джентльмен в карете уселся на этот предмет, который пришлось снова разглаживать, дабы привести в надлежащий вид. Наконец все были одеты, включая и Николаса, вернувшегося домой, чтобы их отвезти, и они отбыли в карете, присланной для этой цели братьями. Миссис Никльби очень интересовалась, что подадут на обед, допрашивала Николаса, какие он сделал за это утро открытия, не почуял ли доносившийся из кухни запах черепахи или какие-нибудь другие запахи, и оживляла беседу воспоминаниями об обедах, на которых бывала лет двадцать назад, сообщая подробности не

только о кушаньях, но и о гостях, к коим ее слушатели не проявили особого интереса, так как до сей поры никто ни разу об этих людях не слыхивал.

Старый дворецкий встретил их с глубоким почтением, расплываясь в улыбке, и провел в гостиную, где они были так сердечно и ласково приняты братьями, что миссис Никльби пришла в волнение и у нее едва хватило присутствия духа оказывать покровительство мисс Ла-Криви. Еще больше была растрогана этим приемом Кэт: зная, что братьям известно все происшедшее между нею и Фрэнком, она понимала деликатность и трудность своего положения и трепетала, стоя рука об руку с Николасом, но вот мистер Чарльз подал ей руку и повел в другой конец комнаты.

— Дорогая моя, вы видели Маделайн, с тех пор как она от вас уехала? — спросил он.

— Нет, сэр, ни разу,— ответила Кэт.

— И ничего о ней не слышали, а? Ничего не слышали?

— Я получила только одно письмо,— тихо сказала Кэт.— Я не думала, что она меня так скоро забудет.

— Вот как! — отозвался старик, поглаживая ее по голове и говоря так ласково, как будто она была его любимой дочерью.— Бедняжка! Что ты на это скажешь, брат Нэд? Маделайн только один раз написала ей, только один раз, Нэд, а она не думала, что Маделайн так скоро ее забудет, Нэд!

— О, печально, печально! Очень печально! — сказал Нэд.

Братья переглянулись, молча посмотрели на Кэт, обменялись рукопожатием и закивали головой, словно поздравляя друг друга с чем-то весьма приятным.

— Так, так,— сказал брат Чарльз.— Пойдите-ка в соседнюю комнату, дорогая моя... дверь вон там... и посмотрите, нет ли вам письма от нее. Кажется, оно лежит там на столе. Не спешите возвращаться сюда, милочка, если найдете письмо, потому что мы еще не садимся обедать и времени сколько угодно... Времени сколько угодно.

Кэт послушно удалилась. Проводив взглядом ее изящную фигуру, брат Чарльз повернулся к миссис Никльби и сказал:

— Мы взяли на себя смелость пригласить вас на час раньше, чем сядем за обед, сударыня, потому что нам нужно обсудить одно дело и это займет некоторое время. Нэд, дорогой мой, ты потрудишься рассказать все, как мы условились? Мистер Никльби, сэр, будьте так любезны пойти со мной.

Не получив дальнейших объяснений, миссис Никльби, мисс Ла-Криви остались одни с братом Нэдом, а Николас последовал за братом Чарльзом в его кабинет, где, к великому своему изумлению, увидел Фрэнка, который, по его предположениям, должен был находиться за границей.

— Молодые люди,— сказал мистер Чирибл,— пожмите друг другу руку.

— Я не заставлю себя просить! — воскликнул Николас, протягивая руку.

— Я тоже,— подхватил Фрэнк, крепко пожимая ее.

Старый джентльмен, смотревший на них с восторгом, подумал, что никогда еще не стояли рядом два таких красивых и изящных молодых человека. Сначала взгляд его отдыхал на них, потом он сказал, усевшись за стол:

— Я хочу, чтобы вы были друзьями, близкими и верными друзьями, и не будь у меня этой надежды, я бы колебался, сказать ли вам то, что я намерен сказать. Фрэнк, подойди сюда! Мистер Никльби, встаньте по другую сторону.

Молодые люди заняли места справа и слева от брата Чарльза, который достал из ящика бумагу и развернул ее.

— Это копия завещания деда Маделайн с материнской стороны, который оставил ей двенадцать тысяч фунтов, каковая сумма должна быть уплачена, когда Маделайн достигнет совершеннолетия или выйдет замуж. Выяснилось, что этот джентльмен, разгневавшись на нее (его единственную родственницу) за то, что она, несмотря на неоднократные его предложения, не пожелала отдать себя под его защиту и расстаться с отцом, написал завещание, по которому эта сумма (все, что он имел) переходила к благотворительному учреждению. По-видимому, он раскаялся в своем решении, потому что в том же месяце, спустя три недели, составил вот это, второе завещание. С помощью какого-то мошенничества оно было

похищено сейчас же после его смерти, а первое — единственное, какое было найдено,— было утверждено и вступило в силу. Дружеские переговоры, только на днях закончившиеся, велись с тех пор, как документ попал в наши руки, и, так как не было никаких сомнений в подлинности его и разысканы (не без труда) свидетели, деньги были возвращены. В результате Маделайн восстановлена в правах и является или явится при условиях, мною упомянутых, обладательницей этого состояния. Вы меня понимаете?

Фрэнк отвечал утвердительно. Николас, который не решался говорить, опасаясь, что голос его дрогнет, наклонил голову.

— Фрэнк,— продолжал старый джентльмен,— ты принимал непосредственное участие в отыскании этого документа. Состояние невелико, но мы любим Маделайн и предпочитаем видеть тебя связанным узами брака с нею, чем с какой-нибудь другой девушкой, хотя бы она была втрое богаче. Намерен ли ты просить ее руки?

— Нет, сэр. Я был заинтересован в поисках этого документа, думая, что ее рука уже обещана человеку, который имеет в тысячу раз больше прав на ее благодарность и, если не ошибаюсь, на ее сердце, чем я или кто бы то ни было другой. Кажется, я поторопился с моими заключениями.

— Вы всегда торопитесь, сэр,— воскликнул брат Чарльз, совершенно забыв о принятой им важной осанке,— вы всегда торопитесь! Как смеешь ты думать, Фрэнк, что мы хотели бы женить тебя ради денег, если юность, красоту, все добродетели и превосходные качества можно получить, женившись по любви! Как посмел ты, Фрэнк, ухаживать за сестрой мистера Никльби, не предупредив нас о твоем намерении и не позволив нам замолвить за тебя словечко!

— Я не смел надеяться...

— Не смел надеяться! Тем больше было оснований прибегнуть к нашей помощи! Мистер Никльби, сэр, Фрэнк, хоть он и поторопился, на сей раз не ошибся в своих заключениях. Сердце Маделайн занято. Дайте мне вашу руку, сэр. Оно занято вами, сэр, и это вполне натурально и так и должно быть. Ее состояние будет вашим,

сэр, но в ней вы найдете сокровище, более драгоценное, чем деньги, будь их в сорок раз больше. Она выбирает вас, мистер Никльби. Она делает выбор, который сделали бы за нее мы, ее ближайшие друзья. И Фрэнк делает выбор, который сделали бы за него мы. Он должен получить ручку вашей сестры, хотя бы она двадцать раз ему отказала, сэр, да, должен, и получит! Вы поступили благородно, не зная наших чувств, сэр, но теперь, когда вы их знаете, вы должны делать то, что вам говорят. Как! Разве вы не дети достойного джентльмена? Было время, сэр, когда мой дорогой брат Нэд и я были бедными, простодушными мальчиками, чуть ли не босиком отправившимися искать счастья. Разве с той поры мы изменились, если не говорить о летах и положении в обществе? Нет, боже избави! О Нэд, Нэд, Нэд, какой для нас с тобой счастливый день! Если бы наша бедная мать была жива и увидела нас сейчас, Нэд, какою гордостью преисполнилось бы ее любящее сердце!

Услыхав такое обращение, брат Нэд, который вошел с миссис Никльби и оставался незамеченным молодыми людьми, рванулся вперед и крепко обнял брата Чарльза.

— Приведите мою маленькую Кэт,— сказал брат Чарльз после короткого молчания.— Приведи ее, Нэд. Дайте мне посмотреть на Кэт, поцеловать ее — теперь я имею на это право. Я чуть было не поцеловал ее, когда она сюда пришла, я часто бывал очень близок к этому. А! Вы нашли письмо, моя птичка? Вы нашли Маделайн, которая вас ждала и надеялась увидеть? Вы убедились, что она не совсем забыла свою подругу, сиделку и милую собеседницу? Право же, вот это, пожалуй, лучше всего!

— Полно, полно,— сказал Нэд.— Фрэнк будет ревновать, и вы тут перережете друг другу горло перед обедом.

— Так пусть он ее уведет, Нэд, пусть он ее уведет. Маделайн в соседней комнате. Пусть все влюбленные уйдут отсюда и беседуют между собой, если им есть что сказать друг другу. Прогони их, Нэд, прогони их всех!

Брат Чарльз начал очищать комнату, проводив зарумянившуюся девушку до двери и отпустив ее с поцелуем. Фрэнк не замедлил последовать за нею, а Николас исчез первый. Остались только миссис Никльби и мисс

Ла-Криви, обе в слезах, два брата и Тим Линкинуотер, который вошел, чтобы пожать всем руку. Его круглое лицо сияло улыбкой.

— Ну-с, Тим Линкинуотер, сэр,— сказал брат Чарльз, который всегда брал слово от имени двоих,— теперь молодые люди счастливы, сэр.

— Однако вы не так долго оставляли их в неизвестности, как предполагали раньше,— лукаво заметил Тим.— Да ведь мистер Никльби и мистер Фрэнк должны были уж и не знаю сколько времени пробыть у вас в кабинете, и уж не знаю, что вы должны были им сказать, прежде чем открыть всю правду.

— Ну, встречал ли ты когда-нибудь такого разбойника, Нэд? — воскликнул старый джентльмен.— Встречал ли ты такого разбойника, как Тим Линкинуотер? Он обвиняет меня в том, что я нетерпелив, а сам надоедал нам утром, днем и вечером и терзал нас, добиваясь разрешения пойти и рассказать им обо всем, что тут готовится, хотя наши планы не были еще и наполовину выполнены и мы еще ничего не устроили. Предатель!

— Совершенно верно, брат Чарльз,— отозвался Нэд.— Тим — предатель. Тиму нельзя доверять. Тим — безрассудный юноша. Ему недостает стойкости и солидности. Он перебесится и тогда, быть может со временем, будет почтенным членом общества.

Так как эта шутка была в ходу у стариков и Тима, то все трое от души посмеялись и, быть может, смеялись бы гораздо дольше, если бы братья, заметив, что миссис Никльби силится выразить свои чувства и буквально ошеломлена таким счастьем, не подхватили ее под руки и не вывели из комнаты под предлогом, будто хотят посоветоваться с ней по какому-то весьма важному вопросу.

Тим и мисс Ла-Криви встречались очень часто и всегда очень мило и оживленно беседовали, всегда были большими друзьями, а стало быть, вполне естественно, что Тим, видя, как она продолжает всхлипывать, сделал попытку ее успокоить. Так как мисс Ла-Криви сидела на широком старомодном диване у окна, на котором прекрасно могли усесться двое, то столь же естественно, что Тим сел рядом с ней. А если Тим был одет необычайно изящно и щеголевато, то раз это был великий праздник

и знаменательный день, что могло быть более естественным?

Тим уселся рядом с мисс Ла-Криви и, положив ногу на ногу — ноги у него были очень красивой формы, и он как раз надел самые элегантные башмаки и черные шелковые чулки,— положив ногу на ногу так, чтобы они попали в поле ее зрения, сказал успокоительным тоном:

— Не плачьте!

— Не могу,— возразила мисс Ла-Криви.

— Нет, не плачьте,— сказал Тим.— Пожалуйста, не плачьте, прошу вас.

— Я так счастлива! — всхлипнула маленькая женщина.

— В таком случае, засмейтесь,— сказал Тим.— Ну, засмейтесь же.

Что такое проделывал Тим со своей рукой, установить немыслимо, но он ударил локтем в ту часть оконного стекла, которая находилась как раз за спиной мисс Ла-Криви, а между тем ясно, что его руке совершенно нечего было там делать.

— Засмейтесь,— сказал Тим,— а то я заплачу.

— Почему вы заплачете? — улыбаясь, сказала мисс Ла-Криви.

— Потому что я тоже счастлив,— сказал Тим.— Мы оба счастливы, и мне хочется делать то, что делаете вы.

Право же, не было на свете человека, который бы так ерзал на месте, как ерзал Тим: он снова ударил локтем в стекло — чуть ли не в то же самое место,— и мисс Ла-Криви сказала, что он, конечно, разобьет его.

— Я знал, что вам эта сценка понравится,— сказал Тим.

— Как они были добры и внимательны, вспомнив обо мне! — сказала мисс Ла-Криви.— Ничто не доставило бы мне большего удовольствия.

Но зачем было мисс Ла-Криви и Тиму Линкинуотеру говорить обо всем этом шепотом? Это была отнюдь не тайна. И зачем было Тиму Линкинуотеру так пристально смотреть на мисс Ла-Криви, и зачем было мисс Ла-Криви так пристально смотреть на пол?

— Таким, как мы,— сказал Тим,— которые прожили всю жизнь одиноко на свете, приятно видеть, когда мо-

лодые люди соединяются, чтобы провести вместе многие счастливые годы.

— Ах, это правда! — от всей души согласилась маленькая женщина.

— Хотя,— продолжал Тим,— это заставляет некоторых чувствовать себя совсем одинокими и отверженными. Не так ли?

Мисс Ла-Криви сказала, что этого она не знает. Но почему она сказала, что не знает? Она должна была знать, так это или не так.

— Этого довода почти достаточно, чтобы мы поженились, не правда ли? — сказал Тим.

— Ах, какой вздор! — смеясь, воскликнула мисс Ла-Криви.— Мы слишком стары.

— Нисколько,— сказал Тим.— Мы слишком стары, чтобы оставаться одинокими. Почему нам не пожениться, вместо того чтобы проводить долгие зимние вечера в одиночестве у своего камелька? Почему нам не иметь общего камелька и не вступить в брак?

— О мистер Линкинуотер, вы шутите!

— Нет, не шучу. Право же, не шучу,— сказал Тим.— Я этого хочу, если вы хотите. Согласитесь, дорогая моя!

— Над нами будут смеяться.

— Пусть смеются,— невозмутимо ответил Тим,— я знаю, у нас обоих характер хороший, и мы тоже будем смеяться. А как мы весело смеемся с той поры, как познакомились друг с другом!

— Вот это верно! — воскликнула мисс Ла-Криви, готовая уступить, как подумал Тим.

— Это было счастливейшее время в моей жизни, если не говорить о тех часах, какие я проводил в конторе «Чирибл, братья»,— сказал Тим.— Соглашайтесь, дорогая моя! Скажите, что вы согласны.

— Нет, нет, мы и думать об этом не должны,— возразила мисс Ла-Криви,— что скажут братья?

— Господь с вами! — простодушно воскликнул Тим.— Неужели вы думаете, что я мог затеять такое дело, а они о нем не знают? Да сейчас они нарочно оставили нас здесь вдвоем!

— Теперь я никогда не в силах буду смотреть им в глаза! — слабым голосом воскликнула мисс Ла-Криви.

— Полно! — сказал Тим.— Мы будем с вами счастливой супружеской четой. Будем жить здесь, в этом старом доме, где я прожил сорок четыре года; будем ходить в старую церковь, куда я хожу каждое утро по воскресеньям; нас будут окружать все наши старые друзья — Дик, ворота, насос, цветочные горшки, и дети мистера Фрэнка, и дети мистера Никльби, для которых мы будем все равно что дедушка и бабушка. Будем счастливой четой и будем заботиться друг о друге! А если мы оглохнем, охромеем, ослепнем или болезнь прикует нас к постели, как рады мы будем, что кто-то посидит и поговорит с нами! Так будем же счастливой четой! Прошу вас, дорогая моя!

Через пять минут после этой откровенной и искренней речи маленькая мисс Ла-Криви и Тим беседовали так мило, как будто были женаты уже лет двадцать и за все эти годы ни разу не поссорились. А еще через пять минут, когда мисс Ла-Криви выбежала посмотреть, не покраснели ли у нее глаза, и поправить прическу, Тим величественным шагом направился в гостиную, восклицая при этом:

— Нет другой такой женщины, как она, во всем Лондоне! Право же, нет!

Тем временем с апоплексическим дворецким чуть было не случился припадок из-за того, что так неслыханно долго не садились за стол. Николас, увлекшийся занятием, которое легко могут угадать каждый читатель и каждая читательница, быстро сбежал по лестнице, повинуясь сердитому призыву дворецкого, но его ждал новый сюрприз.

На лестнице, на одном из маршей, он нагнал какого-то незнакомого человека в приличном черном костюме, также направлявшегося в столовую. Так как человек этот прихрамывал и шел медленно, Николас, не обгоняя его, замедлил шаги и последовал за ним, недоумевая, кто бы это мог быть, как вдруг тот обернулся и схватил его за обе руки.

— Ньюмен Ногс! — радостно вскричал Николас.

— Да, Ньюмен, ваш Ньюмен, ваш верный старый Ньюмен! Мой дорогой мальчик, мой милый Ник, поздравляю вас, желаю здоровья, счастья, всех благ! Мне это не

по силам... для меня это слишком много, мой дорогой мальчик... Я превращаюсь в ребенка!

— Где вы были? — осведомился Николас.— Что вы делали? Сколько раз я расспрашивал, а мне говорили, что скоро я о вас услышу!

— Знаю, знаю! — отозвался Ньюмен.— Они хотели, чтобы все радостные события случились в один день. Я им помогал. Я... я... Посмотрите на меня, Ник, посмотрите же на меня!

— Раньше вы не позволяли мне смотреть на вас,— с ласковой укоризной сказал Николас.

— Тогда я не обращал внимания, какой у меня вид. У меня не хватало мужества одеться, как подобает джентльмену. Это напомнило бы мне былые времена и сделало бы меня несчастным. Теперь я другой человек, Ник. Дорогой мой мальчик, я не в силах говорить. И вы не говорите мне ничего. Не осуждайте меня за эти слезы. Вы не знаете, что я сегодня чувствую, вы не можете знать и никогда не узнаете!

Они вошли в столовую рука об руку и уселись рядом.

Никогда еще, с тех пор как существует мир, не бывало такого обеда. Был здесь престарелый банковский клерк, приятель Тима Линкинуотера, и была здесь круглолицая старая леди, сестра Тима Линкинуотера, и так внимательна была сестра Тима Линкинуотера к мисс Ла-Криви, и так много острил престарелый банковский клерк, и сам Тим Линкинуотер был так весел, а маленькая мисс Ла-Криви так забавна, что они одни могли бы составить приятнейшую компанию. Затем здесь была миссис Никльби, такая величественная и самодовольная, Маделайн и Кэт, такие разрумянившиеся и прелестные, Николас и Фрэнк, такие преданные и гордые, и все четверо были так трепетно счастливы. Здесь был Ньюмен, такой притихший и в то же время не помнивший себя от радости, и здесь были братья-близнецы, пришедшие в такое восхищение и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина и, обводя взором стол, чувствовал, как слезы затуманивают ему глаза.

Когда улеглось первое волнение, вызванное свиданием, и они поняли, как они счастливы, разговор стал общим,

и гармоническое и приятное расположение духа еще более укрепилось, если это только было озможно. Братья были в полном восторге, и их настоятельное желание перецеловать всех леди, прежде чем разрешить им удалиться наверх, дало повод престарелому банковскому клерку сделать столько шутливых замечаний, что он перещеголял самого себя и был признан чудом остроумия.

— Кэт, дорогая моя,— сказала миссис Никльби, отводя дочь в сторону, как только они поднялись наверх,— неужели правду говорят о мисс Ла-Криви и мистере Линкинуотере?

— Конечно, правду, мама.

— Никогда в жизни я такого не слыхивала! — воскликнула миссис Никльби.

— Мистер Линкинуотер превосходнейший человек,— возразила Кэт,— и он моложав для своих лет.

— Для *своих* лет, дорогая моя! — повторила миссис Никльби.— Да, конечно, против него никто ничего не говорит, хотя я и считаю, что он самый слабохарактерный и нелепый человек, какого я только знала. Я говорю о *ее* летах. Как он мог сделать предложение женщине, которая... да, разумеется, чуть ли не вдвое старше меня, и как она решилась его принять! Ну, все равно, Кэт. Я в ней горько разочаровалась.

Очень внушительно покачивая головой, миссис Никльби удалилась. И весь вечер в самый разгар веселья, которое она охотно разделяла, миссис Никльби держала себя по отношению к мисс Ла-Криви величественно и холодно, желая этим указать на непристойность ее поведения и выразить величайшее и резкое неодобрение столь открыто совершенному ею проступку.

ГЛАВА LXIV

Старого знакомого узнают при меланхолических обстоятельствах, а Дотбойс-Холл закрывается навсегда

Николас был одним из тех людей, чья радость неполна, пока ее не разделяют друзья былых дней, беспокойных и менее счастливых. Среди всех сладких оболь-

щений любви и надежды его сердце тосковало по простодушному Джону Брауди. Он вспоминал их первую встречу с улыбкой, а вторую со слезами; снова видел бедного Смайка с узелком на плече, терпеливо шагающего рядом, и слышал грубоватые ободряющие слова честного йоркширца, когда тот распрощался с ними на дороге, ведущей в Лондон.

Много раз Маделайн и он собирались вместе написать письмо, чтобы познакомить Джона со всеми переменами в судьбе Николаса и заверить его в своей дружбе и благодарности. Однако случилось так, что письмо осталось ненаписанным. Хотя они брались за перо с наилучшими намерениями, но почему-то всегда начинали беседовать о чем-нибудь другом, а если Николас принимался за дело один, он убеждался в невозможности выразить и половину того, что ему хотелось сказать, или написать хоть что-нибудь, что по прочтении не показалось бы холодным и не выдерживающим сравнения с его чувствами. Так повторялось изо дня в день, и он упрекал себя все сильнее и сильнее, пока, наконец, не решил (тем охотнее, что Маделайн настойчиво его уговаривала) проехаться в Йоркшир и предстать перед мистером и миссис Брауди без всяких предупреждений.

И вот однажды вечером, в восьмом часу, он и Кэт очутились в конторе гостиницы «Голова Сарацина», чтобы заказать одно место в карете, отправлявшейся на следующее утро в Грета-Бридж. Затем они должны были побывать в западной части города и купить кое-какие необходимые для путешествия вещи, а так как вечер был прекрасный, они решили пойти пешком, а домой вернуться в экипаже.

«Голова Сарацина», где они только что побывали, вызвала столько воспоминаний, а Кэт столько могла порассказать о Маделайн, и Николас столько мог порассказать о Фрэнке, и каждый был так заинтересован тем, что говорит другой, и оба были так счастливы и говорили так откровенно, и о стольких вещах хотелось им потолковать, что они добрых полчаса блуждали в лабиринте переулков между Сэвен-Дайелс и Сохо, ни разу не выйдя на какую-нибудь широкую людную улицу, прежде чем Николас начал допускать возможность, что они заблудились.

Вскоре предположение превратилось в уверенность: осмотревшись по сторонам и пройдя до конца улицы и обратно, он не нашел никаких указаний, которые помогли бы определить, где они находятся, и поневоле должен был вернуться и поискать какое-нибудь место, где бы ему указали дорогу.

Улица была глухая, безлюдная, и в нескольких жалких лавчонках, мимо которых они проходили, не было ни души. Привлеченный слабым лучом света, просачивавшимся из какого-то подвала на мостовую, Николас хотел спуститься на две-три ступеньки, чтобы заглянуть в подвал и разузнать дорогу у людей, находившихся там, как вдруг его остановил громкий сварливый женский голос.

— Ах, уйдем! — сказала Кэт.— Там ссорятся. Тебя могут ударить.

— Подождем минутку, Кэт,— возразил брат.— Послушаем, в чем тут дело. Тише!

— Мерзавец, бездельник, злодей, негодная тварь! — кричала женщина, топая ногами.— Почему ты не вертишь каток для белья?

— Я верчу, жизнь души моей! — ответил мужской голос.— Я только и делаю, что верчу. Я все время верчу, как проклятая старая лошадь. Вся моя жизнь — чертовский, ужасный мельничный жернов!

— Так почему же ты не завербуешься в солдаты? — продолжала женщина.— Никто тебе не мешает.

— В солдаты! — вскричал мужчина.— В солдаты! Неужели его радость и счастье хотела бы видеть его в грубой красной куртке с короткими фалдами? Неужели она хотела бы, чтобы его дьявольски били барабанщики? Хотела бы она, чтобы он стрелял из настоящего ружья, чтобы ему остригли волосы и сбрили бакенбарды и чтобы он вращал глазами направо и налево и штаны у него были запачканы трубочной глиной? *

— Дорогой Николас,— прошептала Кэт,— ты не знаешь, кто это. Но я уверена, что это мистер Манталини.

— Посмотри, он ли это. Взгляни на него разок, пока я буду узнавать дорогу,— сказал Николас.— Спустись на одну-две ступеньки.


DONE

Увлекая ее за собой, Николас пробрался вниз и заглянул в маленький погреб с дощатым настилом. Здесь среди белья и корзин стоял без сюртука, но все еще в прежних — теперь заплатанных — брюках превосходнейшего покроя, в некогда ослепительном жилете и украшенный, как в былые времена, усами и бакенбардами, ныне утратившими искусственный глянец,— здесь стоял, пытаясь утишить гнев бойкой особы — не своей законной супруги, мадам Манталини, но хозяйки прачечного заведения,— изо всех сил вертя при этом ручку катка, скрип которого, сливаясь с ее пронзительным голосом, казалось, почти оглушал его,— здесь стоял грациозный, элегантный, обаятельный и некогда неукротимый Манталини.

— Обманщик, предатель! — кричала леди, угрожая неприкосновенности физиономии мистера Манталини.

— Обманщик? Проклятье! Послушай, душа моя, мой нежный, очаровательный и дьявольски пленительный цыпленочек, успокойся,— смиренно сказал мистер Манталини.

— Не желаю! — взвизгнула женщина.— Я тебе глаза выцарапаю!

— О, какая разъяренная овечка! — вскричал мистер Манталини.

— Тебе нельзя доверять! — визжала женщина.— Вчера тебя весь день не было дома, я знаю, где ты шлялся. Ты-то знаешь, что я говорю правду! Мало тебе того, что я заплатила за тебя два фунта четырнадцать шиллингов, вытащила тебя из тюрьмы и позволила жить здесь, как джентльмену? Так нет, ты принялся за старое, хочешь разбить мне сердце!

— Я никогда не разобью ей сердца, я буду пай-мальчиком, я больше никогда не буду этого делать, я исправлюсь, я прошу у нее прощения,— сказал мистер Манталини, выпуская ручку катка и складывая ладони.— Все кончено с ее красивым дружком. Он отправляется ко всем чертям. Она его пожалеет? Она не будет царапаться, а приласкает его и утешит? О черт!

Отнюдь не растроганная, если судить по ее поведению, этой нежной мольбой леди готовилась дать гневную отповедь красивому дружку, когда Николас, повысив голос, спросил, как выйти на Пикадилли.

Мистер Манталини обернулся, увидел Кэт и, не говоря ни слова, одним прыжком очутился на кровати, которая стояла за дверью, и натянул на голову одеяло, судорожно дрыгая при этом ногами.

— Проклятье! — приглушенным голосом крикнул он.— Это малютка Никльби! Закройте дверь, погасите свечу, спрячьте меня в постели! О черт, черт, черт!

Женщина посмотрела сначала на Николаса, а потом на мистера Манталини, как будто не была уверена, кого нужно покарать за столь странное поведение; но так как мистер Манталини, горя желанием удостовериться, ушли ли посетители, на свою беду высунул нос из-под одеяла, она внезапно и с большой ловкостью, какая могла быть приобретена только благодаря долгой практике, швырнула в него довольно тяжелую корзину для белья, так метко прицелившись, что он еще ожесточеннее задрыгал ногами, не делая, однако, никаких попыток высвободить голову, накрытую корзиной. Считая, что настал благоприятный момент удалиться, прежде чем на него обрушится поток гнева, Николас поспешно увел Кэт и предоставил злополучному мистеру Манталини, столь неожиданно опознанному, объяснять свое поведение, как ему заблагорассудится.

На следующее утро Николас отправился в путь. Стояла холодная зимняя погода, что, разумеется, напоминало ему о том, при каких обстоятельствах он впервые ехал по этой дороге и сколько событий и перемен произошло с тех пор. Бóльшую часть пути он был один в карете, задремывал, и когда просыпался и, выглянув из окна, узнавал какое-нибудь место, хорошо запомнившееся ему со времени первой поездки или на обратном пути, пройденном пешком вместе с бедным Смайком,— он почти готов был верить, что все случившееся с тех пор было сном и они все еще бредут, усталые, по направлению к Лондону, а перед ними — целый мир.

Словно для того, чтобы оживить эти воспоминания, к ночи пошел снег, и, когда они проезжали через Стэмфорд и Грентем и мимо маленького трактира, где он слышал рассказ о храбром бароне из Грогзвига, ему казалось, что все это он видел не дальше чем вчера и ни одна снежинка белого покрова на дорогах не растаяла.

Отдаваясь веренице мыслей, нахлынувших на него, он готов был убедить себя в том, что снова занимает наружное место на крыше кареты вместе со Сквирсом и мальчиками, слышит их голоса и снова чувствует — но теперь это чувство и мучительно и приятно — замирание сердца и тоску по родном доме. Занимаясь такими фантастическими размышлениями, он заснул и, грезя о Маделайн, забыл о них.

Ночь по приезде он провел в гостинице в Грета-Бридж и, проснувшись очень рано, отправился в город, чтобы узнать, где дом Джона Брауди. Теперь, став человеком семейным, Джон поселился на окраине, и, так как все его знали, Николас без труда нашел мальчика, который согласился проводить его до самого дома.

Отпустив своего проводника у калитки и даже не остановившись, чтобы полюбоваться преуспевающим видом коттеджа и сада, Николас, охваченный нетерпением, подошел к двери кухни и громко постучал палкой.

— Эй! — раздался голос.— Что случилось? Город, что ли, горит! Ну и шум же ты поднял!

С этими словами сам Джон Брауди открыл дверь и, раскрыв также и глаза во всю ширь, вскрикнул, хлопнул в ладоши и радостно заревел:

— Это крестный отец, ей-богу, крестный отец! Тилли, это мистер Никльби. Твою руку, приятель! Сюда, сюда! Входи, садись к огню, выпей стаканчик. Ни слова не говори, пока не выпьешь! Пей, приятель! Как же я рад тебя видеть!

Сопровождая слово делом, Джон втащил Николаса в кухню, заставил его сесть на широкую скамью перед пылающим огнем, налил из огромной бутыли около четверти пинты виски, сунул ему в руку стакан, а сам открыл рот и запрокинул голову, приглашая его немедленно выпить, а потом остановился перед ним, радостно улыбаясь всем своим широким красным лицом, словно весельчак-великан.

— Я бы должен был догадаться, что, кроме тебя, никто не будет так стучать,— сказал Джон.— Ты так же стучал школьному учителю в дверь, а? Ха-ха-ха! Но послушай, что это толкуют о школьном учителе?

— Значит, вам уже известно? — спросил Николас.

— Вчера вечером в городе поговаривали,— ответил Джон,— но как будто толком никто ничего не понимает.

— После разных увертох и долгих проволочек он был приговорен к ссылке на каторгу на семь лет за незаконное присвоение украденного завещания. А затем ему еще придется отвечать за участие в заговоре.

— Ого! — воскликнул Джон.— В заговоре! Что-нибудь вроде порохового заговора, а? Что-нибудь вроде Гая Фокса?

— Нет, нет, этот заговор имеет отношение к его школе. Я потом объясню.

— Правильно! — сказал Джон.— Объяснишь не сейчас, а после завтрака, потому что ты голоден и я тоже. Да и Тилли должна послушать объяснения, она это называет взаимным доверием. Ха-ха-ха! Ей-богу, забавная штука это взаимное доверие!

Приход миссис Брауди в изящном чепчике, приносящей извинения в том, что они сегодня завтракают в кухне, пресек рассуждения Джона об этом серьезном предмете и ускорил появление завтрака, каковой состоял из больших холмов гренков, из свежих яиц, из ветчины, йоркширского пирога и других холодных яств (одна перемена следовала за другой, доставляемая из второй кухни под наблюдением очень дородной служанки). Это было весьма уместно в холодное, промозглое утро, и все присутствующие воздали должное завтраку. Наконец завтрак был окончен; дрова в камине, затопленном в парадной комнате, разгорелись, и они перешли туда послушать, что расскажет Николас.

Николас рассказал им все, и ни один рассказ никогда еще не пробуждал такого волнения в сердцах двух любопытствующих слушателей. Честный Джон то стонал сочувственно, то ревел от восторга, то давал обет съездить в Лондон поглядеть на братьев Чирибл, то клялся, что Тим Линкинуотер получит с почтовой каретой (доставка оплачена!) такой окорок, какого никогда еще не разрезал нож смертного. Когда Николас начал рисовать портрет Маделайн, Джон сидел, разинув рот, время от времени подталкивал локтем миссис Брауди и восклицал вполголоса: «Видно, красотка». А когда он услыхал, что его молодой друг приехал сюда только для того, чтобы

поведать о своей счастливой судьбе и заверить его в своих дружеских чувствах, которые он не мог с достаточной теплотой выразить в письме, что он предпринял это путешествие с единственной целью поделиться с ними своей радостью и сказать им, что, когда он женится, они должны приехать навестить его и на этом настаивает Мадлайн так же, как и он,— Джон дольше не мог выдержать: посмотрев с негодованием на жену и пожелав узнать, почему она хнычет, он провел рукавом по глазам и разревелся не на шутку.

— Я тебе вот что скажу, если уж говорить о школьном учителе,— серьезно произнес Джон, когда они обо всем переговорили,— если эту новость узнали сегодня в школе, у старухи ни одной целой кости не останется, да и у Фанни тоже.

— Ах, Джон! — воскликнула миссис Брауди.

— Вот тебе и «ах, Джон»,— отозвался йоркширец.— Мало ли что могут наделать эти мальчишки! Как только заговорили о том, что школьный учитель попал в беду, кое-кто из отцов и матерей забрал своих мальчуганов. Если оставшиеся узнают, что произошло, у нас будет настоящее восстание и бунт! Ей-богу, они закусят удила, и кровь польется, как вода!

Опасения Джона Брауди были столь сильны, что он решил немедленно поехать верхом в школу и предложил Николасу сопровождать его; однако тот отклонил это приглашение, заметив, что его присутствие может усугубить горечь постигшего семью несчастья.

— Верно! — воскликнул Джон.— Мне это и в голову не пришло.

— Завтра я должен отправиться в обратный путь,— сказал Николас,— а сегодня хочу пообедать с вами, и если миссис Брауди может предоставить мне кровать на ночь...

— Кровать! — воскликнул Джон.— Я бы хотел, чтобы ты мог спать сразу на четырех кроватях. Ей-богу, ты бы их получил — все четыре! Ты только подожди, пока я вернусь, ты только подожди, а уж тогда мы отпразднуем этот день!

Крепко поцеловав жену и не менее крепко пожав руку Николасу, Джон вскочил в седло и отправился в путь,

предоставив жене заниматься гостеприимными приготовлениями, пока его молодой друг бродит по окрестностям и посещает места, с которыми было связано столько печальных воспоминаний.

Джон ускакал легким галопом и, прибыв в Дотбойс-Холл, привязал лошадь и направился к двери классной комнаты, которая оказалась запертой изнутри. Оглушительный шум и гул доносились оттуда, и, прильнув к широкой щели в стене, он недолго оставался в неведении относительно того, что это значит.

Весть о падении мистера Сквирса донеслась до Дотбойса, это было совершенно ясно. По всей вероятности, молодые джентльмены узнали об этом совсем недавно, так как мятеж только что вспыхнул.

Это было утро серы и патоки, и миссис Сквирс, по обыкновению, вошла в классную комнату с большой миской и ложкой в сопровождении мисс Сквирс и любезного Уэкфорда, который в отсутствие отца принял на себя исполнение некоторых второстепенных обязанностей — лягал учеников ногой в подбитом гвоздями башмаке, дергал за волосы младших мальчиков, других щипал за чувствительные места и многими подобными же выходками доставлял радость и утешение своей матери. Их появление в классе — то ли по сговору, то ли непреднамеренно — послужило сигналом к восстанию. В то время как один отряд ринулся к двери и запер ее, а другой взобрался на столы и скамьи, самый здоровый мальчик (то есть — принятый в школу последним) схватил палку и, с суровым видом подступив к миссис Сквирс, сорвал с нее чепец и касторовую шляпу, напялил их себе на голову, вооружился деревянной ложкой и приказал миссис Сквирс под страхом смерти опуститься на колени и немедленно принять дозу лекарства. Не успела достойная леди опомниться и оказать сопротивление, как толпа мучителей уже поставила ее на колени и принудила проглотить полную ложку отвратительной смеси, оказавшейся более пикантной, чем обычно, благодаря тому, что в миску погрузили голову юного Уэкфорда, каковая процедура была поручена еще одному мятежнику. Успех этой первой выходки побудил озлобленную толпу мальчишек, худые, голодные лица которых были одно безо-

бразнее другого, перейти к дальнейшим противозаконным действиям. Вожак настаивал на том, чтобы миссис Сквирс приняла вторую дозу, а юный Сквирс подвергся вторичному погружению в патоку, и мальчики уже начали яростно штурмовать мисс Сквирс, когда Джон Брауди, энергическим пинком вышиб дверь и бросился на помощь. Крики, вопли, стоны, гиканье, хлопанье в ладоши мгновенно стихли, и спустилось мертвое молчание.

— Молодцы, мальчуганы! — сказал Джон, солидно осматриваясь по сторонам.— Что это вы тут затеяли, щенята?

— Сквирс в тюрьме, и мы отсюда убежим! — раздались десятки пронзительных голосов.— Мы здесь не останемся! Не останемся!

— И не оставайтесь,— отозвался Джон.— Никто вас не просит оставаться. Удирайте, как настоящие мужчины, но женщин не обижайте.

— Ура! — еще пронзительнее крикнули пронзительные голоса.

— Ура? — вопросительно повторил Джон.— Ну, что ж, и «ура» кричите, как мужчины. Ну-ка, все разом: гип, гип, гип — ура!

— Ура! — подхватили голоса.

— Ура! Еще раз,— сказал Джон.— Громче!

Мальчики повиновались.

— Еще раз! — предложил Джон.— Не бойтесь! Гаркнем вовсю!

— Ура-а!..

— А теперь,— сказал Джон,— крикнем еще разок напоследок, а потом бегите во всю прыть, если вам этого хочется. Сначала передохнем... Сквирс в тюрьме... школа закрылась... все кончено... было и прошло. Подумайте об этом, и дружно крикнем «ура».

Такой радостный крик раздался в стенах Дотбойс-Холла, какого они никогда не слыхали и не суждено им было услышать еще раз. Когда замер последний звук, школа опустела, и из суетливой шумной толпы мальчиков, заполнявшей ее всего пять минут назад, не осталось ни одного.

— Прекрасно, мистер Брауди! — воскликнула мисс Сквирс, красная и разгоряченная после недавней стычки,



но до последней минуты злобствующая — Вы пришли, чтобы подговорить наших мальчиков к бегству. Посмотрим, не придется ли вам заплатить за это, сэр! Если моему папаше не повезло и враги попрали его ногами, мы все-таки не допустим, чтобы над нами гнусно издевались и топтали нас такие люди, как вы и Тильда!

— Брось! — оборвал ее Джон.— Никто тебя не топчет, можешь мне поверить. Будь о нас лучшего мнения, Фанни. Я вам обеим скажу: я рад, что старик, наконец, попался, чертовски рад. Но вы и без того пострадаете, и нечего мне над вами издеваться, да и не таковский я, чтобы издеваться, и Тилли не таковская, это я тебе напрямик говорю. И вот что я еще тебе скажу: если тебе понадобятся друзья, которые помогли бы вам убраться из этих мест,— не задирай нос, Фанни, это может случиться,— ты увидишь, что и Тилли и я помним старые времена и охотно протянем тебе руку. Но хоть я это и говорю сейчас, ты не думай, будто я раскаиваюсь в том, что сделал. Я еще раз крикну: «ура!». И будь проклят школьный учитель!.. Вот оно как!

Закончив свою прощальную речь, Джон Брауди вышел, тяжело ступая, сел на лошадь, снова пустил ее легким галопом и, громко распевая отрывки из какой-то старой песни, которой весело аккомпанировал топот лошадиных копыт, поспешил к своей хорошенькой жене и к Николасу.

В течение нескольких дней окрестности были наводнены мальчишками, которые, по слухам, тайком получали от мистера и миссис Брауди не только щедрые порции хлеба и мяса, но и шиллинги и шестипенсовики на дорогу. Этот слух Джон всегда стойко отрицал, сопровождая, однако, свои слова чуть заметной усмешкой, преисполнявшей сомнениями людей недоверчивых и укреплявшей уверенность тех, кто и раньше готов был верить.

Осталось несколько робких ребят, которые, как ни были они несчастны и сколько слез ни пролили в ужасной школе, не знали другого дома и даже привязались к ней, что вызывало у них слезы и заставляло льнуть к Дотбойс-Холлу, как к пристанищу, тогда как более смелые духом бежали. Кое-кого из этих ребят нашли под живыми изгородями — плачущих, испуганных одиноче-

ством. У одного была клетка с мертвой птицей: он прошел почти двадцать миль, но, когда его бедная любимица умерла, потерял мужество и улегся рядом с ней. Другого нашли во дворе, подле самой школы, заснувшего рядом с собакой, которая огрызалась на тех, кто хотел унести его, и лизала бледное личико спящего ребенка.

Детей отвели обратно и подобрали еще нескольких замешкавшихся беглецов, но постепенно их вытребовали домой или они пропали без вести. И мало-помалу соседи начали забывать о Дотбойс-Холле и закрытии школы или говорили об этом как о чем-то давно минувшем.

ГЛАВА LXV
Заключение

Когда срок траура истек, Маделайн отдала свою руку и состояние Николасу, и в тот же день и в тот же час Кэт стала миссис Фрэнк Чирибл. Думали, что по этому случаю третьей четой будут Тим Линкинуотер и мисс Ла-Криви, но они уклонились. Однажды утром, две-три недели спустя, они вышли перед завтраком из дому, вернулись с веселыми лицами, и оказалось, что в тот день они скромно сочетались браком.

Деньги, принесенные Николасу его женой, были им вложены в фирму «Чирибл, братья», компаньоном которой стал Фрэнк. По прошествии немногих лет фирма начала вести дела под вывеской «Чирибл и Никльби». Таким образом, пророчество миссис Никльби, наконец, сбылось.

Братья-близнецы ушли от дел. Нужно ли говорить, что они были счастливы? Их окружали люди, счастье которых было делом их рук, и братья жили только заботами о нем.

После долгих уговоров и угроз Тим Линкинуотер согласился стать пайщиком фирмы, но так и не пошел на то, чтобы его имя, как компаньона фирмы, было оглашено, и упорно настаивал на аккуратном и неукоснительном исполнении своих обязанностей клерка.

Он с женой остался жить в старом доме и занимал ту самую спальню, в которой спал в течение сорока четырех лет. С годами его жена стала еще более веселым беззаботным маленьким существом, и их друзья имели обыкновение задавать себе вопрос, кто счастливее — Тим, когда он спокойно сидит, улыбаясь, в своем кресле по одну сторону камина, или его бойкая маленькая жена, которая болтает и смеется и то вскакивает с кресла, то снова опускается в него по другую сторону камина.

Черный дрозд Дик был вынесен из конторы и, получив повышение, поселился в теплом уголке в общей гостиной. Под его клеткой висели две миниатюры, писанные рукою миссис Линкинуотер: на одной была изображена она сама, на другой Тим, и оба очень усердно улыбались всем посетителям. Голова Тима была напудрена, как крещенский пирог, а очки тщательно выписаны, поэтому посетители с первого взгляда обнаруживали величайшее сходство, а так как оно помогало им угадывать, что вторая миниатюра является портретом его жены, и придавало храбрости заявить об этом без всяких колебаний, миссис Линкинуотер с течением времени начала очень гордиться своими успехами и почитать эти портреты самыми удачными из всех когда-либо писанных ею. Да и Тим преисполнился глубоким уважением к ним, ибо по этому вопросу, как и по всякому другому, они придерживались одного мнения. И если жила когда-либо на свете «утешительная чета», то такой четой были мистер и миссис Линкинуотер.

Так как Ральф умер, не оставив завещания и никаких родственников, кроме тех, с которыми жил в такой вражде, последние были признаны его законными наследниками. Но им претила мысль воспользоваться деньгами, таким путем приобретенными, и они чувствовали, что не может быть надежды на преуспеяние с помощью этих денег. Они не заявили прав на наследство. И сокровища, ради которых он трудился всю свою жизнь, перешли в конце концов в сундуки казны, и ни один человек не стал благодаря им ни лучше, ни счастливее.

Артура Грайда судили за незаконное сокрытие завещания, которое он получил, прибегнув к краже, или бесчестным образом приобрел и оставил у себя, обратившись

к иным средствам, не менее преступным. Благодаря хитроумному адвокату и подделке документов он ускользнул от правосудия, но лишь для того, чтобы подвергнуться более суровой каре: спустя несколько лет в его дом проникли ночью грабители, соблазненные слухами о его несметном богатстве, и утром его нашли убитым в постели.

Миссис Слайдерскью отправилась за океан почти одновременно с мистером Сквирсом и, согласно законам природы, оттуда не вернулась. Брукер умер, раскаявшись. Сэр Мальбери Хоук прожил несколько лет за границей, окруженный лестью, пользуясь завидной репутацией изящного и бесстрашного джентльмена. В конце концов он вернулся на родину, был брошен в тюрьму за долги и там погиб самым жалким образом, как обычно погибают такие удальцы.

Когда Николас стал богатым и преуспевающим негоциантом, он первым делом купил старый дом своего отца. По мере того как шло время и подрастали вокруг Николаса прелестные дети, дом перестраивался и расширялся; но ни одной старой комнаты не разрушили, ни одного старого дерева не выкорчевали: сохранилось все, с чем были связаны воспоминания о былых временах.

Неподалеку стоял другой уединенный дом, в котором также звенели милые детские голоса. Здесь жила Кэт, окруженная многочисленными новыми заботами и хлопотами и многочисленными новыми лицами, ожидающими ее улыбки (и одно лицо было так похоже на лицо Кэт, что миссис Никльби видела свою дочь снова ребенком),— все та же кроткая, преданная Кэт, все та же нежная сестра, любящая своих близких так же, как в девические дни.

Миссис Никльби жила то с дочерью, то с сыном, сопровождая то ее, то его в Лондон, когда дела заставляли обе семьи переезжать туда, и неизменно сохраняла чувство собственного достоинства и делилась своим опытом (в особенности по вопросам, связанным с уходом за детьми и их воспитанием) весьма торжественно и важно. Немало времени прошло, прежде чем ее уговорили вернуть свое расположение миссис Линкинуотер, и до сих пор еще неизвестно, окончательно ли она ей простила.



Был здесь еще некий седовласый, тихий, безобидный джентльмен, который жил и зимой и летом в маленьком коттедже в двух шагах от дома Николаса и в его отсутствие присматривал за его делами. Радость его и счастье заключались в детях, с которыми он сам превращался в ребенка и руководил всеми их буйными играми. Малыши никак не могли обойтись без своего милого Ньюмена Ногса.

Трава зеленела на могиле мальчика, и такие маленькие и легкие ножки ступали по ней, что ни одна маргаритка не поникла головкой. Весной и летом гирлянды свежих цветов, сплетенные детскими руками, покоились на могильной плите, а когда дети приходили, чтобы заменить их другими, опасаясь, что старые увянут и перестанут его радовать, глаза их наполнялись слезами, и они тихо и нежно беседовали о своем бедном умершем дяде.

Конец

КОММЕНТАРИИ

Стр. 6. *...появление погребального герба.*— Если владелец дома был дворянин, то в случае его смерти иногда вывешивали на фасаде дома изображение фамильного герба.

Стр. 23. *Парик с кошельком* — парик, уложенный сзади в сетку в виде кошелька.

Стр. 28. *Земля Тома Тидлера* — так в Англии называется «ничья» земля; обычно это бывает незаселенная, бесплодная земля на границе двух государств, никому не принадлежащая. Под таким заглавием, спустя двадцать два года после «Никльби», Диккенс напечатал рассказ в своем журнале «Круглый год»; рассказ написан Диккенсом совместно с Уилки Коллинзом.

Стр. 50. *...убегал от медведя.*— Фраза миссис Никльби (о парикмахере, который мчался по улице так, что казалось, убегал от медведя) непонятна, если не вспомнить анекдотический рассказ Сэма Уэллера, героя «Посмертных записок Пиквикского клуба». Этот рассказ не вошел в роман и был опубликован в «Часах мистера Хамфри» примерно через год после окончания «Николаса Никльби» (напечатан нами в приложении к «Посмертным запискам Пиквикского клуба», см. т. 3 наст. изд.). Сэм Уэллер рассказывает о некоем парикмахере Джинкинсоне, который «тратил все деньги на медведей и вдобавок влез из-за них в долги». Джинкинсон с коммерческой целью завел у себя медведей, которых держал в погребе. Он убивал их, а сало продавал, о чем оповещал плакат «с портретом медведя в предсмертной агонии». Этот рассказ Сэма кажется столь же невероятным, как и другие его «истории», но такой вывод ошибочен. Просматривая старые газеты, Диккенс наткнулся на номер га-

зеты «Таймс» от 1793 года, в котором было помещено объявление о некоем парикмахере Россе, державшем у себя медведей. В объявлении сообщалось, что совсем недавно убит был Россом «замечательный жирный русский медведь». За сходную цену (16 шиллингов за фунт) Росс предлагал медвежье сало всем желающим, причем обещал, что это сало он отрежет от туши на глазах покупателя. Таким образом, фраза миссис Никльби и анекдот Сэма имеют реальные основания.

Стр. 50. *Вам не случалось... обедать у Гримбля... где-то в Норт-Райдинге?* — Вопрос миссис Никльби становится понятным, если вспомнить, что Норт-Райдинг — один из районов графства Йоркшир, а Смайк жил в Йоркшире.

Стр. 56. *...подъехал к Банку.* — Речь идет об Английском банке, который хотя формально и является частным акционерным банком, но выполняет функции Государственного банка Англии и находится под контролем правительства.

Стр. 57. *Ост-индские доки* — доки, принадлежавшие в эпоху Диккенса Ост-Индской Торговой компании, основанной в начале XVII века; эти доки входили в состав гигантских доков Лондонского порта и находились в восточной части города.

Стр. 65. *...из нижнего дворика.* — В XIX веке в Лондоне еще сохранялись перед многими домами площадки (area) ниже уровня мостовой; устройство подобных «двориков» объясняется тем, что из них можно было непосредственно попасть в служебные помещения при доме (кухня, кладовые, помещения для прислуги и пр., обычно находившиеся в полуподвале), минуя так называемый «парадный» вход в дом.

Стр. 69. *...с нее писали Британию на Холлоуэй-роуд.* — Символическая фигура Британии — сидящая полная женщина с короной или венком на голове, держащая в руках скипетр (иногда — трезубец).

Стр. 77. *Часы Конной гвардии* — часы на доме, в котором помещался в Лондоне штаб Конной гвардии.

Сандарак — особого рода смола, применявшаяся для изготовления лака, приготовления промокательной бумаги и т. д.

Стр. 87. *Бишоп* — смесь из портвейна, лимонного сока и теплой воды.

Стр. 90. *...в колледже молодые люди очень заботятся о своем ночном колпаке.* — Миссис Никльби, в простоте душевной, полагает, что ее покойный муж, как и «молодые люди в колледже», заботился о ночном колпаке, тогда как «ночным колпа-

ком» назывался не только головной убор, но и выпивка перед сном.

Стр. 91. *Принц-регент* — принц Уэльский, назначенный регентом в 1811 году, когда его отец, король Георг III, сошел с ума. После смерти Георга III в 1820 году принц Уэльский вступил на английский престол под именем Георга IV.

...Дэниел Ламберт, тоже дородный человек...— Дэниел Ламберт — необычайный толстяк, которого показывали в Лондоне в течение четырех лет, с 1805 по 1809 год.

Мисс Бифин.— Диккенс упоминает о мисс Бифин не только в «Николасе Никльби, но и в «Мартине Чезлвите» и в некоторых рассказах. Мисс Бифин была художницей-миниатюристкой, писавшей свои миниатюры кистью, которую держала в зубах, так как родилась безрукой и безногой.

Стр. 110. *...пахнет... может быть, и анатомией...*— Сквирс, запугивая Смайка, угрожает ему виселицей и теми последствиями, которые связаны с казнью: по английским обычаям, труп казненного передавался в анатомический театр медицинского факультета.

Стр. 148. *Ботани-Бей* — залив в Австралии, неподалеку от города Сиднея, в Новом Южном Уэльсе. В прошлом побережье этого залива было местом ссылки преступников, осужденных в Англии на каторжные работы.

Стр. 156. *Гог и Магог* — см. комментарии к 5-му тому наст. изд. (стр. 502).

Стр. 180. *Орден Подвязки* — высший английский орден, учрежденный в 1350 году Эдуардом III; кавалеры этого ордена, если они облачены в парадное одеяние, должны носить ниже левого колена узкую голубую орденскую ленту.

Стр. 225. *...вы бы не успели вымолвить «Джек Робинсон»* — то есть мгновенно; переводчик сохранил эту оригинальную английскую идиому.

Стр. 233. *...в пределах «тюремных границ» тюрьмы Королевской Скамьи...*— «Тюремные границы» — районы вокруг некоторых тюрем, в том числе и вокруг упомянутой лондонской тюрьмы; в пределах этих районов несостоятельный должник, заключенный в тюрьму, имел право проживать вне ее стен, уплачивая администрации крупную сумму (см. также статью «Быт англичан 30—60-х годов» в 1-м томе наст. изд.).

Стр. 249. *...расходы по содержанию должника.*— По английским законам времен Диккенса, когда несостоятельного долж

ника заключали в тюрьму по требованию кредитора (этот порядок существовал в середине прошлого века и в России), последний регулярно должен был выплачивать государству некоторую сумму на содержание заключенного должника.

Стр. 249. *...по ту сторону Канала* — то есть за проливом Ламанш, который в Англии называют «Канал».

Стр. 269. *Ричард Терпин, Том Кинг и Джерри Эбершоу* — английские разбойники, «прославившие» себя в XVII—XVIII веках; их имена стали нарицательными, и они сделались героями баллад и прозаических произведений (например, В. Энсуорта, популярного исторического романиста XIX века).

Билл.— Джентльмен-литератор называет так Шекспира (Билл — уменьшительное от имени Уильям).

Стр. 271. *...в чем разница между такой кражей...*— Весь этот абзац о театральных «переделках» романов и повестей — отголосок тех нравов в литературной жизни Англии, жертвой которых стал сам Диккенс уже в эпоху написания «Николаса Никльби». Недобросовестные литераторы так уродовали в своих переделках романы Диккенса, что, например (как свидетельствует друг и биограф Диккенса Джон Форстер), Диккенс во время представления в театре «Сарри» «Оливера Твиста» демонстративно лег на пол ложи, выражая этим свое возмущение бесстыдством «передельщика»; несмотря на неоднократные протесты Диккенса в печати против таких «переделок», английские законы его эпохи не давали ему права запретить такого рода театральные постановки.

Стр. 279. *...Жаждущая Женщина из Тэтбери, или Привидение на Кок-лейн...*— Миссис Никльби упоминает о двух происшествиях, которые в свое время получили широкую огласку благодаря газетам, падким до сенсаций. Первое происшествие — добровольная голодовка некоей Энн Мур из деревушки Тэтбери в графстве Стэффордшир (миссис Никльби, часто путающая факты, назвала ее «жаждущей», тогда как Мур добровольно постилась). Энн Мур, рассчитывая на рекламу, которая могла принести ей выгоду, объявила полную голодовку. Вся бульварная пресса сообщала читателям о «ходе» этой голодовки, пока специальная экспертиза не обнаружила на двадцать шестой день голодовки Мур, что эта особа отнюдь не голодает и является просто-напросто мошенницей. На таком же мошенничестве построена была и другая «сенсация», упоминаемая миссис Никльби,— «Привидение на Кок-лейн»: на лондонской улочке Кок-лейн

в 1762 году жильцы дома некоего Персона услышали какие-то шумы и стуки, которые долго не прекращались. Людская молва приписала эти стуки «привидению»; даже тогда, когда обнаружилось что все эти шумы производила дочь Персона, двигая доской, спрятанной у нее под кроватью, немало невежественных лондонцев продолжало верить в «Привидение на Кок-лейн».

Стр. 294. *Игра в «горошину и наперсток»* — азартная игра, популярная в Англии и основанная на ловкости рук: предприниматель (владелец «стола», трех наперстков и одной горошины) на глазах у зрителей должен накрыть горошину одним из наперстков; желающие участвовать в игре ставят ставки, которые переходят в собственность предпринимателя, если игроки не догадаются, под каким наперстком лежит горошина.

Стр. 295. *Rouge-et-noir* («Красное и черное»; *франц.*) — вид рулетки.

Стр. 311. *...брось старый башмак.*— Существовало английское народное поверье: если отъезжающим для заключения брака невесте и жениху бросить вслед старый башмак, то этим самым можно обеспечить чете счастливое супружество.

Стр. 351. *«Трусу не победить красотки»* — строка из стихотворения Р. Бернса «Доктору Блейклоку».

Стр. 374. *Тростниковая свеча* — сальная свеча с мягким фитилем из сердцевины камыша; в эпоху Диккенса была очень распространена и чаще всего употреблялась как ночник.

Стр. 401. *...во дворе близ Лембета...*— в районе дворца Лембет — лондонской резиденции архиепископа Кентерберийского, за Темзой (то есть на правом ее берегу); в районе этого дворца, выстроенного свыше 600 лет назад и не раз перестраивавшегося, находились трущобы, приобретшие такую же печальную известность, как и трущобы Ист-Энда.

Стр. 412. *...назначения кандидата на должность настоятеля прихода.*— Крупные землевладельцы Англии (лендлорды), на чьей земле выстроены были церкви, узурпировали в свое время право представлять церковным властям для утверждения кандидатов на должность настоятеля приходской церкви (ректора); таким образом, фактически назначение настоятелей приходов в сельской местности находилось в руках лендлордов, о чем и упоминает Диккенс.

Стр. 440. *Норвал* — герой трагедии писателя XVIII века

Джона Хома «Дуглас», написанной на сюжет шотландской баллады.

Стр. 464. *...присяжных по делу о самоубийстве...* — Ральф Никльби участвовал как присяжный в решении вопроса о характере скоропостижной смерти, вызывавшей подозрение в том, что причиной ее является не самоубийство, а убийство; в этих случаях специальный чиновник (коронер), согласно английским законам, созывал так называемое «большое жюри» в составе пятнадцати — восемнадцати присяжных (см. также статью «Быт англичан 30—60-х годов» в 1-м томе наст. изд.).

Стр. 484. *Трубочная глина* — белая глина, которой английские солдаты чистили металлические пуговицы и пряжки.

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 6

Редактор С. Маркиш

Художник Е. Семпер

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Г. Каунина

Корректоры В. Седова и Е. Козлова

Сдано в набор 10/III 1958 г. Подписано к печати 31/V 1958 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 16 печ. л.=26,24 усл. печ. л. 25,78 уч.-изд. л. Тираж 600 000. (150 001—300 000). Цена 9 р. 65 к Заказ № 3808.

Гослитиздат.

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.